Л.ДОБЫЧИН

Полное собрание сочинений и писем



Полное собрание сочинений и писем

Л.ДОБЫЧИН



Л. И. Добычин. Фотография 1934 г.

журнал звезда

Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации Санкт-Петербурга

Л.ДОБЫЧИН

Полное собрание сочинений и писем

Составитель, автор примечаний
В. С. Бахтин

Автор вступительной статьи
А. Ю. Арьев

Научный редактор, автор примечаний
А. Ф. Белоусов

Художественное оформление
В. И. Цикота

Л. ДОБЫЧИН

Полное собрание сочинений и писем

Союз писателей Санкт-Петербурга
Журнал «Звезда»
2013

Добычин Л.

Д 34 Полное собрание сочинений и писем. — СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, ООО «Журнал „Звезда“», 2013. — 544 с. 16 с. илл.

ISBN 978-5-7439-0176-0

Леонид Иванович Добычин (1894—1936) — одна из самых трагических фигур русской литературы. Мелкий служащий, проживший почти всю жизнь в провинции, оторванный от большой культуры, он тем не менее проявил такую глубину понимания истории, природы советского строя, человека, на какую были способны немногие его современники. Необычен и его творческий метод.

Затравленный грубой и несправедливой критикой, униженный и оскорбленный, он свел счеты с жизнью.

Литературная деятельность Л. Добычина продолжалась недолго, с 1924 по 1936 год. За это время вышли лишь три его книги. Значительная часть написанного осталась неопубликованной.

Ныне впервые представляется возможным объединить в одной книге все, что вышло из-под пера писателя. Большой человеческий и литературный интерес представляют, кроме прозы, впервые собранные вместе 159 писем писателя.

ББК 84.Р7

Издание 2-е,
исправленное и дополненное

ISBN 978-5-7439-0176-0

ОТПЛЫТИЕ

Все неладно с этим Маленьким Сочинителем, нежно сравнившим Большую Медведицу с фиалкой в волосах гимназистки. Юбилеи его не справляются, где его могила — не ведаем, да и существовала ли она когда-нибудь? Как писать на обложках книг его литературное имя? Даже этого до сих пор не знаем толком: «Л. Добычин»? «Л. И. Добычин»? «Леонид Добычин»?

«А меня не ищите — я отправляюсь в далекие края», — написал он перед исчезновением. Записка с этой фразой пропала — в тот же день, что и ее автор. Если существуют знаки судьбы, если возможно их улавливать, то «исчезновение» — доминирующий мотив, венчающий сюжеты этого прозаика. Исчезновение автора, рассказчика, подразумеваемого главного героя — как бы мы это лицо ни называли. Исчезновение среди бесчисленного множества мелькающих на страницах добычинской прозы персонажей, среди тьмы аксессуаров провинциального быта и отраженных в воде пейзажей. Но и полифонии безвестные герои и анонимные реплики в этой прозе не создают. По доброй и скорбной воле автора они лишь приглушают тот единственный голос, что мы пытаемся уловить, говоря о неповторимом художественном мире его творца.

Как будто и на самом деле был он «не от мира сего», с таким лицом, как на его фотографиях, тянет представить себе инопланетянина с какой-нибудь маленькой, старой и еще более несчастной, чем Земля, планеты. «Он не всегда жил здесь», — единственное, что он считает нужным сообщить об одном из своих героев.

И куда он в самом деле пропал? Даже Начальники и приставленные к нему осведомители не смогли дать ответа — ускользнул. Корней Чуковский, правда, не сомневался: «...бросился в Неву». И Вениамин Каверин утверждал: тело его много позже того, как он канул весной 1936 года, было найдено в Неве. Странно тогда, что никто его не хоронил, не удосужился указать место погребения.

В справочной литературе долгое время годом его рождения указывался 1896-й, Двинск, нынешний Даугавпилс. Лишь в самом конце прошлого века нашлись документы, из которых следует, что родился он на два года раньше — 5(17) июня 1894 года. И не в Двинске, а в Люцине, теперь Лудза, то ли русская, то ли латвийская провинция. Впрочем, от Даугавпилса не очень далеко. Кажется, только в этом городе и считают его своим писателем, проводят ежегодные Добычинские чтения, издают Добычинские сборники. И в самом деле: единственное осязаемое свидетельство о пребывании рода Добычиных на земле сохранилось на берегах Даугавы, она же Двина. Свидетельство грустное — могила отца писателя, Ивана Адриановича Добычина, врача, умершего в Двинске в 1902 году. Где упокоилась мать? Где братья и сестры? Где хоть кто-нибудь? Молчание.

Всюду лишь призрачные тени — у фасада «дома Канатчикова» в Даугавпилсе, в котором мать писателя снимала квартиру в его отроческие годы, в подвале под снесенным домом в Брянске, где он жил в начале 1930-х, в коммунальной квартире № 8 дома на Мойке, 62, где он обитал последние месяцы жизни в Ленинграде.

Окончил он реальное училище в Двинске, куда Добычины переехали в 1896 году, в 1911-м поступил на Экономическое отделение Петербургского политехнического института, в котором числился, так и не окончив, до июня 1917 года. В институтский период успел поучаствовать в статистико-экономических обследованиях Области Войска Донского и бассейна реки Сырдарья. В 1916–17 годы заведовал Статистическим бюро по делам бумажной промышленности и торговли в Петрограде, затем служил в Главном земельном комитете, после чего — в Совнархозе Северного района.

Сведений о политической ориентации Л. Добычина во время революции нет. Существовал он, скорее всего, на манер Кунста, героя рассказа «Тетка» (в первой, сокращенной, редакции он назывался «Прощание» и открывал сборник «Портрет»). Последние его эпизоды относятся к началу мая 1918 года, что для нас существенно — это одна из немногих вещей с узнаваемым как авторское «альтер эго» персонажем. Родство подтверждается незатейливой тайной выбранного прозаиком имени (Kunst, по-немецки — искусство). Это самый взрослый из подобных автору героев (Кунсту должно быть около двадцати трех лет). Как и прочие, он слегка инфантилен. То есть — поэтичен.

По совокупности двух редакций произведения можно отчетливо судить не о взглядах, но о настроениях Л. Добычина в Петрограде. Они сводились к одной подспудной мысли — об отъезде. Потому что явь революции — это не притяжение будущего, не осуществление мечтаний, а развоплощение прошлого, насыщение желудков. Что и подчеркнуто в «Тетке» мимолетным упоминанием «сытых

кронштадтцев». На фоне такого вот пейзажа: «Политехнический стоял запачканный, снег был загажен, моряки Кронштадтского училища расхаживали по дорожкам, точно у себя в Кронштадте».

Здесь — и в других вещах прозаика — имеет место то, что называют «социальной критикой». Однако чаще всего она носит редуцированный характер, анализ всюду уступает дорогу ироническому скольжению «вдоль темы», печальной усмешке: Боже, где мы живем!

Согласно статистическому анализу синтаксиса добычинской прозы, структура причинно-следственных отношений в ней многократно ослаблена, как по сравнению с прозой Толстого или Достоевского, так и с прозой его современников. Какие силы приводят в движение ее сюжетные механизмы, обнаружить затруднительно. Анализ происходящего сводится в этой прозе едва ли не к нулю.[1] Автор изначально знает что-то такое, чему объяснений не требуется. Слегка перефразируя Канта, скажем: в художественном мире Л. Добычина господствует «бесцельная целесообразность». То есть довлеющее себе художество.

Весной 1918 года из Петрограда, только что лишившегося по спешной инициативе большевиков столичного статуса, он уезжает в Брянск, куда за год перед тем эвакуировалась из Двинска мать. Сюда же приехали две ее дочери и младший сын Николай, затем и вернувшийся из США на родину средний сын Дмитрий. Собственно говоря, и писателем-то старший, Леонид, оказался не «двинским», а «брянским»: большая часть его творений явлена здесь. Да и род Добычиных известен на Брянщине с XVII века.[2]

В XX веке это не значило ничего. Где-то под Брянском в годы Второй мировой войны погибли мать и младшая сестра писателя. Еще одна сестра тогда же исчезла. Братья, не раз арестовывавшиеся в советское время, расстреляны, Николай — в 1927-м, Дмитрий — в 1938-м.

Со второй половины 1918 года Л. Добычин работает в Брянске — в Губстатбюро и других учреждениях «статистиком-экономистом», одно время занимая место губернского «заведующего секцией Промышленной статистики и статистики труда», но с ноября 1921 года подыскивает менее обременительные должности. Результатом его трудов по специальности стала безымянная брошюра «Промышленность Брянской губернии» (1928). В ней Л. Добычин для раздела «Труд» составил, как отмечено в предисловии, «всю тек-

---

[1] См. Фоменко И. В. Частотный словарь как основа интерпретации романа Л. Добычина «Город Эн» // Добычинский сборник 3. Даугавпилс, 2001.

[2] Подробнее см.: Голубева Э. Писатель Леонид Добычин и Брянск. Брянск, 2005.

стовую часть».[1] С осени 1930-го и до 6 июня 1934 года писатель — с перманентными отлучками — служит на Брянском механическом (артиллерийском) заводе.

Не будет преувеличением сказать: без занятий статистикой уникальный стиль Л. Добычина, скрупулезный и лапидарный одновременно, не сформировался бы. Для настоящего писателя, прозаика в особенности, праздного жизненного опыта не существует. Статистике, как бы он ею в итоге ни мучился, отданы «лучшие годы» его творческой жизни. По существу — все: с 1911-го по 1934-й. Это данность. Есть в нашей литературе Лев Толстой-офицер. Есть Чехов-врач. И есть Л. Добычин-статистик…

Первые попытки его профессиональной литературной деятельности относятся к началу 1924 года, когда Л. Добычин посылает в Ленинград Михаилу Кузмину рукописный сборник из пяти рассказов «Вечера и старухи». Помимо отвращения к идеологизированной эстетике, с Кузминым его сближают и некоторые прикровенные черты характера: он не имел детей, никогда не был женат, а судя по его прозе и письмам, к женским нарядам испытывал любопытство более устойчивое, чем к самим дамам. В этом пункте он напоминает не одного Кузмина, но и Гоголя, влияние которого на его прозу общепризнанно.

«Гордец» Кузмин начинающему автору не ответил, и 12 августа 1924 года Л. Добычин отправляет в ленинградский журнал «Русский современник» два рассказа — «Встречи с Лиз» и «Козлова»; первый из них сразу же печатается Чуковским (1924. № 4). Был бы напечатан и второй, но последний из частных литературных журналов, организованный Чуковским и Евгением Замятиным, большевики тут же прикрыли.

С 1925 года начинаются регулярные поездки Л. Добычина из Брянска в Ленинград, «в далекие края», в литературную землю обетованную. Мог ли не знать он, поклонник Чехова и Флобера, чем чреваты подобные порывы, каков для любого смертного конечный пункт?

О главном его сочинении, романе «Город Эн», говорили, что оно все обращено к ушедшему, умершему прошлому. Нет, смерть у этого автора не позади, она у него всегда — впереди.

«Надо уезжать» из этой жизни — такова сюжетная метафизика автора «Тетки» и «Города Эн». Ею обосновано и поразительное свойство авторского художественного миросозерцания, влекущего не задерживаться дольше мгновения ни на каком из попавших в поле зрения предметов, ни на каком из лиц. Но окружающий про-

[1] См. Л. И. Добычин. Материалы по статистике труда / Публ. Э. С. Голубевой // Добычинский сборник 6. Daugavpils. 2008. С. 5–16.

винциальный мир статичен, и те же самые пейзажи, те же силуэты маячат невдалеке, вновь и вновь сменяя друг друга, как сменяются времена года. Выбраться отсюда невозможно: свистки невидимых поездов да скрип похоронных дрог — вот приметы движения в этой прозе. Действие как будто перманентно спотыкается, ему неподвластны дальние расстояния, оно обречено развертываться одновременно и на глазах автора, и на глазах читателя. Писатель только *обращает внимание* на ускользающую в проулках натуру. Если реалисты стараются выделить главные черты, когда не воссоздать картину в целом, то наш автор, наоборот, подразумевает, что главное «и дураку ясно».

Ни об Области Войска Донского, ни о бассейне реки Сырдарья в его прозе ни слова. Брянск да Двинск — вот преимущественные источники его сюжетов. «Дальние края» остались мечтой и сказкой его героев, обрекая автора на иронический, в основе своей автоиронический, взгляд окрест себя. Отрочески импульсивная, с легкостью избегающая императивной тональности его проза чурается наставлений, но также несомненно, что ее «прозрачность» всецело затушевана поздней и безысходной авторской рефлексией. На ней и держится добычинская эстетика. Сверхсубъективная и универсальная одновременно. Эстетика поэта, и если говорить о близости его «бытовой прозы» к какому-либо стилеобразующему течению, то рядом с ней легко расположить «бытовые» вещи обэриутов.

Стилистически очень близок Л. Добычину ранний Николай Заболоцкий. И прозаик, и поэт, вооружившись живыми приемами новой авангардной живописи, недвусмысленно свидетельствовали о скоропостижно ветшавшей пореволюционной действительности. Да, они «судили по внешности». Как раз этого-то и боялась, как огня, советская идеология. Их родство не ускользнуло от современной писателям критики, но сравнивала она одного с другим в уничижительном для обоих идеологическом смысле. В сборнике «Портрет» обнаруживалось «последовательно реакционное мировоззрение новобуржуазного писателя». И тут же обобщалось: оно «...соответствует небезызвестным „Столбцам“ Заболоцкого, знаменовавшим активизацию новобуржуазных настроений на поэтическом фронте. Заболоцкого и Добычина объединяет идеалистический творческий метод, выросший на основе реакционного буржуазного мировоззрения».[1] Нет нужды пояснять: ни «буржуазной», ни «новобуржуазной» русская литература, тем паче — авангардная, никогда не была.

---

[1] Левин Л. Автопортрет врага // Красная газета. Вечерний выпуск. 1931. № 67, 20 марта.

* * *

Противостоящая реальности внутренняя модель мира Л. Добычина — центробежна, предполагает главным и возможным в жизни реализацию вне ареала своего обитания, вне дома и отечества, исповедует «этику любви к дальнему». В этом отношении она, конечно, достаточно традиционна и внятна равно невинному отроку и искушенному философу ницшеанского типа, а в известном смысле и человеку верующему, не исключая и верующего во Христа. Это тем более интересно, что сам писатель как личность, в принципе, интроверт, а не экстраверт. Так что творимая им художественная реальность неизбежно соткана из сплошных антиномий. Подобно бодлеровскому отроку, он готов ночи напролет проводить над эстампами — под домашней лампой. Он весь в каких-нибудь «садах Цирцеи», но его тайное знание уныло: «Бесплодна и горька наука дальних странствий...» Истинное плавание цель утрачивает.

Это настолько так, что даже когда в одном из немногих рассказов Л. Добычина речь идет по сюжету о «возвращении» (в той же «Тетке», где герой уезжает из Петрограда к родным в провинцию), «возвращение» это подается как «исчезновение», как бегство, спровоцированное разговорами о прелестях заграничной жизни, олицетворением которой для любого подданного совдепии являлась полумифическая «заморская тетушка».

Понятно, что, поселившись в Брянске, он начнет думать о Петрограде-Ленинграде.

О характерном добычинском сплаве идей, тем и стилистики можно говорить при анализе не только его книг, но и отдельных рассказов, главок, абзацев и даже предложений. Вот, например, небольшой рассказ «Дориан Грэй» — четыре страницы, типичный добычинский объем и жанр. В нем безымянная «грудастая девица» сует неведомо кому записку: «Придите, послушайте слово „За что умер Христос“».

Художественная интуиция писателя нацелена прежде всего на алогичное, отвращающее разум. Сюжет куется из связей несвязуемого: в данном случае — публичной девицы с публичным словом о Христе. Клонированная Мария Магдалина ничего о тайне Христа знать не может. Клон — это всего лишь немыслящий двойник.

О замысле этой вещи Л. Добычин упоминает в трех письмах к Михаилу Слонимскому — от 20 июля, 8 и 31 августа 1925 года. Во всех трех случаях писатель обозначает темой этого рассказа сюжет об «отъезжающей девице» (первоначальная ее фамилия Солоухина при подготовке к печати заменена на Сорокину, птичью, то есть «перелетную»).

Поражает, что с подобной эфемерностью автор собирается триумфально прибыть в Ленинград, «как некоторый Флобер в Париж

с „Мадамой“». Таким образом, сюжет этого в конверт укладывающегося шедевра приравнивается к сюжету «Госпожи Бовари» — с тоской героини по Парижу. Или к сюжету чеховских «Трех сестер» — там тоже, как хорошо известно русской публике, вздыхают: «В Москву, в Москву...»

Между тем, без постороннего, затекстового знания подобное со держание никаким действием или хотя бы репликой в рассказе не подкрепляется. Нигде не говорится, что Сорокина куда бы то ни было отъезжает или собирается уехать. Этот факт в последний момент с удивлением обнаруживает и сам автор. «Сочинил „Сорокину“, — пишет он 9 сентября 1925 года М. Л. Слонимскому, — (она уже не отъезжающая, ибо никуда не едет и не собирается). Сорокину <...> попрошу прочесть, потому что сам в ней ничего не могу понять и не знаю, может ли быть такой рассказ».

Непонятность написанного мучит и раздражает писателя настолько, что он начинает свой замысел едва ли не ненавидеть: «Сорокину, пожалуйста, выбросьте. Я окончательно увидел, что она — гадость, хуже, чем пресловутая „Нинон“...» (18 сентября 1925 г.). И еще раз: «„Сорокина“ подправлена, но все-таки какая-то мерзкая» (9 октября 1925 г.).

Подобная аттестация загадочным образом не мешает автору включить рассказ в оба своих изданных сборника — «Встречи с Лиз», «Портрет» — да еще и в неизданный «Матерьял». Содержательная «мерзость» добычинского шедевра не давала автору покоя до тех пор, пока он не нащупал более отчетливо его сюжетный фокус, переименовав «Сорокину» в «Дориана Грэя» и тем самым совместив в одной вещи два потаенных мотива, составляющих экзистенциальную доминанту его творчества: томление открытого любви слабого существа и неотчуждаемый от него мотив «крестного пути», бегства, исчезновения с людских глаз. Все это вместе в экзистенциальной философии называется «покинутость».

Сорокина в рассказе лишь внешним образом «никуда не едет и не собирается». Потому что фабула рассказа изменилась в «уайльдовском» направлении: желание уехать ушло у героини на мелкое дно ее души, она живет мелькнувшей надеждой на романтическое свидание с конторщиком Ваней. Мотив движения в неизвестность остается, но преображенным в коварную идиллию, в прогулку с Ваней на лодочке. Похожий на Дориана Грэя, этот малый, грезилось Сорокиной, «ужо закрутит с ней роман на своей лодке „Сун-Ят-Сен“». К счастью для героини, Ваня оказался навеселе и на свидание не пришел. К счастью, ибо «к беде неопытность ведет», о чем твердит равно и опыт пушкинских героинь и опыт жертв дорианов (в рассказе и на самом деле использован эпизод из Уайльда, когда, в одном-единственном случае, герой английского романа по небрежности и праздному великодушию «спасает» свою жертву).

Мотив «отъезда» исчез из фабулы «Сорокиной», не исчезая из сознания писателя. Он был его наваждением и в следующей вещи должен был возникнуть отчетливо. 9 ноября 1925 года Л. Добычин пишет К.И. Чуковскому о новом рассказе «про женщину, которая удачливей меня: она уедет». Рассказ этот в печати не появился и, вероятно, утрачен навсегда. Но нам важен потаенный импульс, владеющий художником и им самим «не понятый».

Даже если не использовать внеположные тексту подсказки, добытые из эпистолярных и иных свидетельств, добычинский «Дориан Грэй» именно — сочинение об отъезде, сочинение, выражающее суть художественных сюжетов автора, их подтекст.

На эту мысль наводит в рассказе уже первая относящаяся к героине строчка: «Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала». «Рассеянно слушала» — это значит не находилась там, где ее застали, в мечтах она уже где-то «в дальних краях».

Не только психологические подробности, но и прямая символика рассказа указывают на вектор его сюжета, на направленность действия. Оно неустанно устремляется вдаль и вверх: «тучи разбегались», «моргали звезды», зарождался «ветер до Вознесенья». В конце концов, и сама героиня поднимает голову: «Эти звезды, — показала Сорокина, — называются Сэптентрионэс...» То есть Большая Медведица и определяемая по ней Полярная, путеводная звезда.

При всей абстрактности этого порыва, да и самого трактуемого таким образом сюжета, он имеет вполне романтическую подоплеку. Она обнаруживается по изощренно тонкому намеку, который сошел бы за обычное указание на «примету времени», если бы эта «примета» не раскрыла свое дополнительное измерение.

В рассказе появляется библиотекарша, непререкаемо положительный в русской культуре персонаж. Она «смотрела на входящих и угадывала: „Джимми Хиггинс“?» «Джимми Хиггинс» в данном контексте — в первую очередь «американский роман», авторство тут не играет роли, да Эптон Синклер в рассказе и не упоминается. Вместо него звучит анонимная реплика и ключевой авторский комментарий из одного слова:

«В Америке рекламы пишутся на облаках... — Мечтали».

Цель путешествия, реализация себя вне своего дома и крепости, ассоциируется с некоей идеальной «Америкой», юношеской романтической грезой, отвергаемой трезвым взрослым миром. Она, эта греза, кажется не совсем адекватной сознанию какой-нибудь дамочки, вроде Сорокиной: ей достаточно путешествия лунной ночью в лодке «Сун-Ят-Сен» или, на худой случай, — поездки в Питер. Подобная сцена рисуется в другом рассказе Л. Добычина — «Встречи с Лиз»: «...ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью... О, Петербург!»

О, как автор их понимает!

Свойственной Л. Добычину игрой на понижение при объяснении мотивов человеческих поступков миф об Америке в «Дориане Грэе» не объяснишь. Он содержательнее иронической прихоти автора, забавляющегося стереотипами человеческого мышления. Во всяком случае, эта прихоть писателем сознательно или бессознательно, но канонизируется как неотвязная тема.

«По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывавшему в ее мечтах», — поведано в рассказе «Савкина».

В рассказе «Чай» миф этот превратился в содержание, в финальный символ:

«— В Америке, — засуетилась она, — всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад. <...> Там тротуары двигаются, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей».

На этой скептической ноте недоверия рассказ завершается. И весь этот скепсис и ирония совершенно оправданы с точки зрения обыденного взрослого сознания. Да и с точки зрения сознания авторского: что за убогость — так глупо, публично восхищаться чужими неведомыми красотами...

И вот тут, возвращаясь к рассказу «Дориан Грэй», кстати поделиться главным наблюдением, касающимся его основного содержания: в этом произведении названная героиня, Сорокина, отсутствует...

Никакой Сорокиной нет, то есть существо под этой фамилией занимает чужое место, играет оставшуюся безымянной роль.

Какое место и чью роль, вот в чем вопрос.

Вслед за появлением на авансцене Сорокиной в рассказе следует такое описание: «Пришел отец, веселый <...> Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну...»

Разве не ясно: если упоминаются «отец» и «мать», жди и появления их ребенка. Или же вся сцена должна описываться с его точки зрения.

Однако никакого ребенка, никаких детей в рассказе нет вовсе. Не проявляется в нем и специфически детская, заинтересованная точка зрения на происходящее. Повествование ведется в типичной для всей прозы Л. Добычина манере: господствует взгляд невовлеченного участника событий, «хроникера», того самого «блаженного», что «нищ духом». И только в этом смысле — это взгляд младенца, ничего не ведающего о скрытом смысле событий.

Скрытый смысл рассказа «Дориан Грэй» приоткрывается в том очевидном факте, что пространство, отведенное описанию семейной жизни ребенка, занимает посторонняя женская фигура. Бук-

вально: там, где должен вертеться ребенок, с полотенцем в руке крутится перед зеркалом Сорокина. Ибо отец появляется в следующее за Сорокиной мгновение, в следующей фразе: «Пришел отец, веселый...» А где же мальчик?

Не нужно никакой фантазии, чтобы понять: он замещен в рассказе чужой тетей. Быть может, произведено это замещение на уровне бессознательного: автор отождествляет себя со слабым полом. Принадлежат к нему равно и женщина и мальчик. (О том, что мы тут сталкиваемся с проблемой потаенно авторской, говорит еще и такая подробность: отец в рассказе вертит в руках стетоскоп. То есть он, как и отец Л. Добычина, врач.)

При таком взгляде на сюжет становится ясной и его финальная американская тема. Это рассказ о традиционном для русских интеллигентных мальчиков «бегстве в Америку». Достаточно вспомнить «Мальчиков» Чехова, его рассказ так озаглавленный.

Герой Л. Добычина, его «метагерой», как сказали бы сегодня, — это чеховский мягкосердечный Володя, вдобавок лишенный поддержки своего решительного дружка Чечевицына. (С Чечевицыным можно сравнить максимально отдаленного от автора последнего его персонажа — Шурку, в финале повести «Шуркина родня» решительно сбегающего из дому и на вопрос «Зачем?» отвечающего: «Известно зачем: жить, разбойничать». Причем это его решение мотивировано впечатлением от увиденного некогда фильма из американской жизни с «высокими домами и разбойниками в автомобилях».) У основного добычинского героя, как и у чеховского Володи, довлеющий себе способ переживания жизни — это воображение, которое с действительностью совладать не в состоянии.

Один счастливо отплывший в Америку русский писатель заявил: «Всякий истинный сочинитель эмигрирует в свое искусство и пребывает в нем».[1] Став в советское время писателем, Л. Добычин торги с действительностью прекратил, замыслив побег в более радужные, чем Америка, края. Вот за эту «эмиграцию» Л. Добычин и расплачивался всю жизнь и всей жизнью.

* * *

В 1930 году при издании сборника «Портрет» Л. Добычин переименовал рассказ «Сорокина» в «Дориана Грэя». И тем самым перенес смысловой акцент с вопроса о человеческих иллюзиях на вопрос о смертельном спросе с художника за их воплощение.

В романе Уайльда живописец Бэзил Холлуорд создает портрет прекрасного юноши Дориана Грэя, вложив в эту работу слишком

---

[1] Набоков В. Воззвания о помощи. Определения / Публ. и коммент. А. Бабикова // Звезда. 2013. № 9. С. 119.

много самого себя и создав шедевр, в котором, по мнению лорда Генри Уоттона, с самим живописцем «нет ни малейшего сходства».

К счастью или к несчастью, но то же самое можно сказать о работе Л. Добычина-прозаика: он вкладывает всю свою душу в создание персонажей, у которых «внутри ничего нет», и весь вопрос в том, найдется ли у них тогда хотя бы «утешительная фикция», по выражению исследовательницы из Констанца Каролины Шрамм.[1]

С этим суждением нетрудно согласиться, только отвлекшись от отечественного духовного контекста, культивирующего представление о «духовной нищете» как «блаженстве». «Немудрые мира сего», посрамившие «мудрых», у Л. Добычина — это дети. То есть, конечно, не сами разнообразные детские персонажи его прозы, но единственный гипотетический ребенок, которого в самом себе носит автор и который изредка показывается наружу, как в «Городе Эн», или присутствует в произведении незримо, как в «Дориане Грэе».

Этот мальчик — отлученный от взрослой премудрости поэт, своего рода «Дельвиг». Окажись в его библиотеке эта «книга Дельвиг», она бы его приворожила не слабее, чем «книга Гоголь»:

«В Лицее мне запрещали носить очки, зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался в них после выпуска!»

Слова, которыми можно было бы закончить «Город Эн» и начать жизнеописание Л. Добычина. Без очков, он остается мечтающим о путеводной звезде отроком. Но, вооруженный зрением творца, открывает одну перспективу — смерти.

«„Дориан, Дориан", — там и сям было напечатано в книге» — этот соблазняющий финал добычинского рассказа, данный в простодушно детской огласовке, можно распространить и на всю добычинскую прозу, весьма дистанцированную как от традиционного бытового реализма, так и от святоотеческого проповедничества. Среди «безразличных» ему сведений Л. Добычин спокойно перечисляет такие: «бог — в трех лицах, земля вертится и прочее» (письмо М.Л. Слонимскому от 20 июля 1929 г.). В религиозном отношении Л. Добычин переживает истины откровения апофатически или даже еще горше: он ощущает свою «покинутость», «оставленность» на земле. Как человеку христианской культуры ему понятно, что в антихристианском обществе вопрос «За что умер Христос?» насущен, но ему отвратительно, когда его навязывают «грудастые девицы». На публике подобное обсуждение становится нестерпимой профанацией самой идеи жертвенности.

При всем реализме подробностей, почти топографической привязанности событий к месту действия, произведения Л. Добычина

[1] См.: Шрамм К. «Что за история!» — поэтика недостаточности Леонида Добычина («Старухи в местечке») // Добычинский сборник 2. Даугавпилс. 2000.

в не меньшей степени, чем саму физическую жизнь, отражают метафизические априорности — и жизни, и искусства. В том же «Дориане Грэе» служащая прозаику моделью захолустная натура в художественном пространстве рассказа уподобляется живописному полотну авангардно примитивистского толка. На этом полотне одновременно показаны события, в реальном времени и пространстве подлежащие разделению. Изображение квартиры вмонтировано у Л. Добычина в изображение улицы, церковь не отделена от винного погреба, стадион от подоконника, а садовая скамейка от застолья. И все это простирается под открытым небом и звездами. (Так что, даже когда мы говорим о «Городе Эн» и Двинске, несомненно в нем запечатленном, — без него произведение написать было бы невозможно, таким, каким мы его знаем, — кстати будет постоянно иметь в виду осторожное предостережение А. Ф. Белоусова слишком этим тождеством не соблазняться: прозаик и в этом произведении стремился к иному эффекту, чем фиксация нравов города своего детства.)

Конечно, мы можем всегда переключать регистр нашего внимания на то, что нам душевно ближе, или на то, что нас заинтриговало сегодня. И так далее. Как во всяком настоящем произведении искусства, в прозе Л. Добычина открывается не один какой-нибудь четкий план, но множество органически сосуществующих уровней. И сам писатель тоже волен актуализировать то один из них, то другой.

В сборнике «Портрет» Л. Добычин уместил свой вариант романа Уайльда. Ибо само его заглавие есть редукция заглавия «Портрет Дориана Грэя». Оно восполнено «Сорокиной», обернувшейся «Дорианом Грэем». Прозаик переакцентировал сюжет книги на уайльдовский толк, весьма для него значимый и в биографическом, и в творческом плане.

Убедиться в этом можно по одной композиционной особенности рассказа Л. Добычина. Если не сравнивать его с романом Уайльда, то особенность эта в глаза не бросится, уйдет в трудно уловимый подтекст вещи. Но на сравнение, изменив заглавие, наталкивает сам автор. Мы просто обязаны поискать, в чем заключается связь маленького рассказа никому в пору его написания не известного автора и всемирно почитаемого «аморального» романа, появившегося раньше, чем увидел свет наш уездный сочинитель.

В добычинском произведении, только что оцененном нами как живописное полотно, мы должны найти еще и «портрет». То есть сам уайльдовский сюжет. Искать его долго не приходится. Как и у английского писателя, «портрет» выставляется еще раньше, чем читатель знакомится с самой моделью.

В первой же строчке добычинского рассказа живописуется (подчеркнем: именно живописуется, что у Л. Добычина бывает редко, преимущественно он вводит героев в текст номинально, называя

одну фамилию), так вот, живописуется «правозаступник Иванов — с брюшком и беленькими усиками». Мало того, он тут же «рассказал два т*аинственных* (курсив мой. — *А. А.*) случая из своей жизни».

Напомню для ясности изложения: сюжет романа Уайльда состоит в том, что художник Бэзил Холлуод написал портрет прекрасного юноши Дориана, после чего «таинственный случай» не замедлил произойти. Юный красавец получил возможность пребывать на земле в своей первозданной прелести, незапятнанным, в то время как все его дурные поступки и пороки по ходу действия и времени проступали на живописном холсте.

Зная, чем такие фантазии увенчиваются, Л. Добычин сразу же и дает итоговый «портрет» милейшего конторщика Вани, в которого влюблена Сорокина (фамилия правозаступника «Иванов» указывает на Ванино преображение).

Помимо «портрета с брюшком и усиками», выставлен в рассказе еще и портрет Энгельса «в кумачевой раме», каковая и есть превращенный коммунистический идеал...

И как весть из притягательно опасного равно для мальчика и для барышни агрессивно мужественного (в смысле — «мужского») мира в абзаце, следующем за портретными описаниями, взвивается солдатская песня: «Перед ротой командир хорошо маршировал...»

Безрадостное одиночество Л. Добычина неотвратимо усугубляло то обстоятельство, что оно нарушалось вне выходов в культуру. Вместо задевавших его воображение эстетов с фиалками в петлицах, подобных Оскару Уайльду или Михаилу Кузмину, он опускался до уровня каких-то темных молодцев вроде брянского Зайцева или ленинградского соседа по коммуналке Дроздова. Трагедия состояла в том, что сам писатель искал и находил в себе черты, вызванные образом Дориана Грэя: не старея душой, он свою бренную оболочку воспринимал как тот самый стареющий вместо него «портрет». И вот эта юная душа писателя «скорбела смертельно».

* * *

Так как же все-таки человека с такой скорбящей душой величать? По имени и фамилии, как принято среди людей искусства? «Леонидом Добычиным»? Так написано на обложках и титулах большинства его начавших издаваться в постсоветское время книг, в том числе здесь процитированной: «Писатель Леонид Добычин». Завершается книга письмом прозаика к М. Л. Слонимскому, и вот его последние строчки: «Только „Л. Добычин“, а не „Леонид“, как некоторые мерзавцы неизвестно на каком основании практикуют. Кланяюсь. Ваш *Л. Добычин*».

Конечно, надпись на современном издании появилась помимо воли составителя, крупнейшего знатока и публикатора добычинских

текстов В. С. Бахтина, — в процессе художественного оформления книги. Но это не просто казус. Скорее всего, мы читаем сейчас не совсем того писателя, каким он был при жизни, тем более — в собственных глазах. Думаем и пишем о нем как о некоем царе Спарты, геройски погибшем в советских Фермопилах: «Последние дни Леонида Добычина»... И т. д. Не только поздние исследователи, но и авторы мемуаров, глубоко чтившие прозаика, не сомневаются: «Я хорошо знал Леонида Добычина». Не оговариваясь. Но и на самом деле, как еще писать: «Я хорошо знал Л. Ивановича Добычина»? Можно, конечно, лапидарно говорить «Добычин», но и это не соответствует авторской воле. Видимо, мы имеем дело с псевдонимом. Псевдонимом весьма загадочным — он не отличается от собственного имени.

Но почему все-таки его раздражала такая малость? Тот же «М. Горький» еще при собственной жизни без особенного скандала превратился в «Максима Горького». И потом, существуют же Андрей Белый (А. Ф. Белоусов считает, между прочим, литературным камертоном «Города Эн» его мемуарную эпопею «На рубеже двух столетий»), Леонид Андреев (писатель Л. Добычину чуждый, но вряд ли в нем одном дело), Лев Толстой, наконец. Больше того, такие авторы, например, как Георгий Иванов, полагали оскорбительным написание их литературного имени сокращенным. Никаких «Г. Ивановых»!.. Понятно, почему Л. Пантелеев негодовал, когда его называли «Леонидом Пантелеевым». Чтобы не отождествляли с Ленькой Пантелеевым, известным бандитом. К тому же имя самого писателя Алексей, а не Леонид.

Мотивировка Л. Добычина — иная.

Многими исследователями (первым, кажется, Виктором Ерофеевым[1]) замечено, что основная стихия писателя — вода, влага, источник жизни... Подытоживая разнообразные мнения, заметим: этот ведущий образ у прозаика амбивалентен. С водой связан у Л. Добычина мотив исчезновения, растворения, небытия. Смерть он понимает как развоплощение жизни, а не как окоченение, обызвествление. В противодействие сугубой вещественности описаний, Л. Добычин предпочитает все, что не успело окостенеть. «Вода» у него — это граница между «тем» и «этим» светом, путь в загробное царство — точь-в-точь как это утверждает народная мифология. Если не в философии, то в художественном умопостижении Л. Добычина это представление различимо: жизнь есть путешествие к смерти. Воля писателя направлена к тому, чтобы изобразить это путешествие как нескончаемое, а в принципе «неначинающееся», завязшее в быте, прикорнувшее на диванной подушке, как это описано в пер-

[1] См. Ерофеев В. В. В лабиринтах проклятых вопросов. М., 1990. С. 139–160.

вом же опубликованном Л. Добычиным произведении — во «Встречах с Лиз»: «В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами». Но та же самая «вода», пока она не унесет нас слишком далеко, пока мы не «заплывем за поворот», как Лиз Курицына, — «живая», в ней отражается и чудо природы и чудо человеческих верований. Последнее особенно существенно: вера Л. Добычина — отраженная, преломленная в эстетическом зеркале. Более онтологично для него чувство судьбы, которая его ведет и в чьей власти он находится. То, что он и сам «заплыл за поворот», — это и его судьба, и его миф. Никто ведь не знает, как он кончил свои дни, но миф о нем говорит правду — писатель «утонул».

Одна из статей о нем проницательно озаглавлена «Человек купающийся».[1] Резюме автора определенно: Л. Добычин «...из этого купания вытянул все, что только мог вытянуть самый выдающийся писатель». Протягивая смысл за недоступный персонажам его прозы горизонт, обнаружим: все они именно что «купающиеся», но не «плавающие-путешествующие». Их «купание» — редуцированное, им недоступное «отплытие», явившее себя лишь как порыв, как потаенное содержание жизни. Куда ж им плыть, если все они повально, как установил М. В. Строганов, купаются нагишом? И рады бы в рай да мелкие грешки не пускают. Так в этих своих грешках и плещутся. А когда представляются спортсменами, автор не об их достижениях пишет, а о мерцающих влажных телах.

Но и это еще не все. С водной стихией связана и разгадка псевдонима писателя. Он несомненно хотел, чтобы его имя звучало мягко, как «Эль Добычин». Это влажное «эль» — смысловой звукообраз его прозы: «Лиз» — «любовь» — «Натали» — «гибель» — «Лета». Он отказывался от имени «Леонид», наполненного брутальными ассоциациями, памятью о коллективном геройстве. Он презирал современный ему культ агрессивного мужества, любил тех, кто развенчивал его, например французского писателя Луи Селина (вот снова эти «л»). Он прав: частное, «единичное» имя «Л. Добычин» оказалось достойнее звучного «Леонид Добычин» или отдающего стяжательством твердого «Добычин».

За это имя, за эту прикровенную любовь ему в марте 1936 года и устроили «Фермопилы» в проходе между двумя рядами кресел ленинградского Дома писателя. Конечно, для Начальников он был всего лишь удобно подвернувшейся пешкой в начавшейся «большой игре». Но если бы он и осознавал это, ничто ему помочь уже не могло. Любая борьба была ему отвратительна.

[1] Строганов М. В. Человек купающийся // Добычинский сборник 7. Daugavpils. 2011. С. 142–161.

* * *

Проблема имени ставится в одной из самых крупных работ, Л. Добычину посвященных, статье В. Н. Топорова «Рассказ Л. Добычина „Встречи с Лиз“ в контексте *бедной Лизы* „железного века“».[1] Исключительно важным представляется в ней описание новой, сложившейся в русском искусстве XX века «особой „номиналистической“ ситуации, при которой <…> не столько сходные образы (и, следовательно, смыслы, за ними стоящие) кодируются общим именем, даваемым разными авторами независимо друг от друга разным персонажам, сколько одно общее имя имплицирует целую серию сближающихся друг с другом образов <...>. Иначе говоря, речь идет о парадоксальной конструкции, в которой первенствующим оказывается имя, а смысл вторичным, вызванным именем».

То есть сущность вещи выступает лишь как ее языковое обозначение, знак. Без него всему — грош цена. В художественном выражении значащего отсутствия человека, уловленном прозой Л. Добычина — ее новаторство и ее завоевание.

Таким образом, в рассказе «Встречи с Лиз» главное не характер героини Лиз Курицыной (он в подобном культурном контексте закономерно не выписывается) и не отношение к героине жовиального ухажера (отношений между персонажами тоже нет никаких), главное — ее единичная судьба под гнетом «общей идеи». Уподобленная карамзинской героине, она не могла не утонуть. Историческая реальность аннигилируется, но сохраняется предопределенность трагедии: всякий раз обречен отдельный человек с конкретным именем и фамилией, оплачивающий «универсальные» к нему претензии. Ситуация действительно «номиналистическая», свидетельствующая об интимизации, но и обесценивании, любого конкретного содержания, сведении его к сугубо личностному уровню — в противовес «универсуму» господствующих идеологий.

В новом искусстве на авансцену выходит принцип индивидуализации; как в средневековые времена, вновь господствует разделение бытия на мир «единичных вещей» и мир «сущностей» или «универсалий». Интимизация содержания добычинской прозы безусловно и бесконечно трагична. Имена собственные превращаются, по решительному замечанию исследователя, в «…бирки или номера в концентрационном лагере. Человек может исчезнуть вместе со своим именем, и никто этого не заметит».[2] Побеждает «универсальный» Леонид под ручку с «универсальной» же Лизой.

---

[1] См. сб. «Вторая проза». Русская проза 20-х — 30-х годов XX века. Составители В. Вестсейн, Д. Рицци, Т. В. Цивьян. Trento. 1995. С. 77–112.

[2] Сапогов В. А. Имя в поэтике Л. Добычина («Встречи с Лиз») // Первые Добычинские чтения. Даугавпилс. 1991. С. 35.

Ужас в том, что всякая идеология, всякая философия, всякая реальность, оприходованные людскими сообществами, утверждают свою «объективную» значимость и тем самым — конечную степень совершенства, перед чем всякая единичная вещь ущербна.

Решимся заметить: окончательное и внятное доказательство того, что писатель на самом деле покончил с собой, и того, каким образом он это сделал, — «Лизин текст», которым он манифестировал начало литературной жизни. Как же еще должен был закончиться его роман с современной «реалистической» литературой?

* * *

В такой ситуации художник выбирает нейтральную позицию «хроникера». «Особенностью хроники (летописи), — говорит по поводу «Города Эн» Ю. Щеглов, — является то, что события в ней не обязаны складываться в какие-нибудь известные конфигурации, иметь развитие, кульминацию, развязку и т. п.».[1] При этом добычинская «летописность» чурается стремлений к архаизации стиля. Она удобна как раз для решения современных художественных задач и прежде всего — для замены традиционного в беллетристике фабульного построения сюжета монтажом, на что обращают внимание большинство исследователей стилистики Л. Добычина. Восходящую к «монтажным» открытиям Флобера в «Госпоже Бовари» «летописность» эту особенно утвердило знакомство с кинематографом. Немым, конечно, в изобразительном плане шедшим рука об руку с мировым художественным авангардом. Смысловой единицей прозы Л. Добычина стал «...абзац-кадр; он имеет тему, но в нем нет ни зачина, ни концовки, в сущности, нет и разработки, а есть констатация некой сиюминутной данности. <...> Подобного типа структура восходит к теории объективного метода, созданной и утвержденной на практике Флобером...».[2]

Антипсихологический метод Л. Добычина обоснован *психологической* установкой на «инфантилизм», разрушающий своей дискретностью моноритм «взрослого» сознания. Из него рождается «своеобразный диалогизм профанного и духовного», как утверждает Ф. Федоров.[3]

Когда в Л. Добычине настойчиво ищут обличителя, продолжателя Н. Щедрина или завершителя сологубовского «Мелкого беса»,

[1] Щеглов Ю. К. Заметки о прозе Леонида Добычина («Город Эн») // Литературное обозрение. 1993. № 7–8. С. 25–36.

[2] Федоров Ф. П. Добычин и кинематограф // Писатель Леонид Добычин. СПб., 1996. С. 70–71.

[3] Федоров Ф. П. Слово о Добычине // Леонид Добычин. Город Эн. Daugavpils, 2007. С. 14. / Комментарий и примечания А. Ф. Белоусова.

то нужно, по крайней мере, учитывать, что это какой-то необычайно грустный «Щедрин» и едва ли не простодушный «Сологуб».

В прозе Л. Добычина верх берет печаль, а не сатира. Из чего не следует, что к «страшному миру» он был слеп или глух. С первых же литературных шагов он все прекрасно понимал — и про «Начальников», и про «Цензуру» (подобные «опасные» слова Л. Добычин с саркастической почтительностью неизменно пишет с заглавных букв). Но «обличительство» его состояло в том, что он как бы не замечал предмет обличения, лишал его чести быть персонифицированным, описывал как мертвую природу. Буквально писал «натюрморты» на поле брани и воплей: «Сегодня день скорби, и базар утыкан флагами, как карта театра войны, какими обладали иные семейства». Это написано 21 января 1926 года, то есть во вторую годовщину со дня смерти В. И. Ленина. Точно так же он «не заметил» в своей прозе никаких Больших Людей, никаких Больших Идей. «Не заметил» и саму Советскую власть. (Зато сама эта власть в лице НКВД заметила прозаика очень даже хорошо, собирая о нем сведения через своих информаторов, в том числе, увы, из писательской среды.) В добычинском отстранении от господствующих фантомов вся философская соль его работы: поместить в центр художественных интересов такого человека, который в данную эпоху глядит особенно малым и ничтожным существом. Здесь сказывается прямая честь писателя: оставить в стороне персонажей, на которых время смотрит снизу вверх.

Сталкиваясь с «историческим временем», с телеологией, человек в прозе Л. Добычина превращается в младенца, в недоросля. Это аутсайдерство, антиисторическая, антипрогрессистская интуиция автора «Встреч с Лиз», «Портрета» и «Города Эн» — ответ на тотально-тоталитарный вызов эпохи. Декларирована ли эта стратегия? Незаметно. Но и недаром он называл себя «Уездным Сочинителем». Он был им. Что и являлось его, быть может, главным достоинством в эпоху Великих Свершений. «Писатель на полпроцента», по иронической автоаттестации, Л. Добычин в одиночку «убежденно враждует с одной из главных идей 1920-х годов — идеей истории как орудия необходимости», утверждает И. З. Серман.[1]

* * *

К осени 1925 года относится первая неудачная попытка Л. Добычина переселиться в Ленинград. В это время он знакомится с семейством Чуковских и через него с несколькими писателями. Круг его литературного общения в дальнейшем не расширяется. В нем числятся Чуковские, Слонимские, Г. С. Гор, В. А. Каверин, Н. Л. Степа-

[1] Серман Илья. Лишний // Писатель Леонид Добычин. С. 35.

нов, Л. Н. Рахманов, Е. М. Тагер, Ю. Н. Тынянов, Е. Л. Шварц, М. М. Шкапская, В. И. Эрлих.

В 1927 году в ленинградском издательстве «Мысль» выходит его первый сборник ««Встречи с Лиз». Жизнь писателя спокойнее от этой радости не стала. В мае 1927 года в Москве был арестован и 3 октября приговорен к расстрелу за принадлежность «к контрреволюционной террористической группе»» его брат Николай.

Следующий сборник рассказов Л. Добычина «Портрет» появляется в конце 1930-го (в выходных данных — 1931). В 1933 году прозаиком подготовлен, но не издан сборник «Матерьял» — в нем предполагалось использовать уже печатавшиеся тексты.

Установка Л. Добычина такова: книгу всякий раз можно монтировать заново — главное в ней добротность, качественность материала. Важна исходная чистота, открытые самим автором «первоэлементы» искусства, его «монады». Для Л. Добычина жизнь, увиденная на расстоянии вытянутой руки, и есть та самая субстанция, которую следует в первую очередь соотносить с мировой гармонией и мировыми катаклизмами.

При скрупулезной тщательности литературной отделки Л. Добычин оставляет свои произведения «открытыми». В том числе и создававшийся несколько лет роман из провинциальной жизни «Город Эн» (к 1934 году прозаик написал 34 главы, как бы обещая на каждый следующий год еще по эпизоду). В романе запечатлен конкретный город Двинск с конкретными его жителями, как это всеобъемлюще доказано и показано в многочисленных комментариях А. Ф. Белоусова. Но уже говорилось: слишком соблазняться тождеством изображенного города и его обитателей с романным пространством опасно.

Не любивший «претензий на обобщения», Л. Добычин как художник искал индивидуальное и неповторимое, отказываясь от «общего плана» истории и жизни.

Авторская ирония носит в этой прозе не социальный, но экзистенциальный характер. Вопрос формулируется так: если я здесь живу, значит, это и есть жизнь? И жалкое наше существование ничем не лживей наших несказанных интуиций, обманно властвующих над воображением героя основной вещи писателя, романа «Город Эн»?

Такую точку зрения вряд ли разделят те, кто ценят в писателе сатирика, сокрушительного критика обывательских иллюзий и мещанского образа жизни в целом. Некоторые Почитатели видят в этой прозе даже подрыв Устоев.

Это не совсем так. Даже совсем не так. Рутинным в ней изображено само по себе человеческое существование, и революция в еще большей степени, чем обыденная жизнь, обнажает незыблемую шаблонность человеческих реакций и мотивов поведения,

ничьего ума положительно не преображая. Грустно искать сатиру в произведениях, где честно воспроизведенные подробности жизни сами по себе изобличают сложившийся уклад:

«— Я извиняюсь, — сказала она. — Не знаете, откуда эта музыка?

— Возвращаются со смычки с Красной армией, — ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно» (рассказ «Ерыгин»). Разве это не наш «простой советский человек»? Не «население»?

Человек в этой прозе не прочь ориентироваться на флюгер, под ним он и копошится: «На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь».

Это «последняя запись» героя «Города Эн». Соблазнительно придать ей символическое значение. Но остережемся: художественный мир этого писателя не символистичен, даже не метафоричен. Просто богат сравнениями, «выражением временного подобия», как нельзя кстати замечено именно об Л. Добычине.[1]

«Копошатся, следовательно, существуют», — сказал бы Беккет.

Советский опыт предлагал автору «Города Эн» другие, ослабляющие интересующую нас здесь экзистенциальную тематику, синонимы: «толкутся», «толпятся», «проталкиваются», «продираются»... Сделавшая это наблюдение Виола Эйдинова слово «толпа» выделяет у писателя как гнездовое, позволяющее ему в одном абзаце сопрягать несопрягаемые смыслы.[2]

В подобной «броуновской» структуре отношений заложена катастрофическая близость друг к другу случайных людей и положений. При ней: «Монологи немыслимы. Диалоги невозможны. Реплики направлены в никуда. Никто ни на что не получает ответа», — описывает добычинский мир Ирина Мазилкина[3] (точно так же, кстати, можно охарактеризовать сюжеты Беккета).

Чем ярче бытовая клавиатура добычинских сюжетов, тем осторожнее приходится говорить о каких-либо запечатленных в них исторических сдвигах, об обличительных или сатирических интенциях писателя. Доминирует в них скорее от века неизменный и родимый хаос, неподвластная веяниям эпохи органика жизни, как заметил бы Василий Розанов. Правда кажет она себя столь холодно и тонко, что не сразу ей и поверишь.

Это-то и важно в писательском методе: чтобы припомнилась жизнь, добычинскому персонажу достаточно взглянуть на воз с се-

---

[1] Новикова Марина. Портрет в рассказах Л. Добычина // Писатель Леонида Добычин. С. 253.

[2] Эйдинова Виола. О стиле Леонида Добычина // Там же. С. 108.

[3] Мазилкина Ирина. Порядок хаоса в прозе Л. Добычина //Там же. С. 84–85.

ном, на то, как «тоненькие стебельки свисали и чертили снег». Если это и прустовский прием, то максимально деэстетизированный: вместо печенья «Мадлен» и утонченного сознания главного героя нам преподносят клок сена и шаблонные фантазии сочинителя с задворок. Но тем же самым и подчеркивается: сущностной разницы между прустовским героем и незадачливым Ерыгиным нет.

Что же тогда есть жизнь в глухой добычинской вселенной?

Человек здесь знает одну историческую меру — отмеренный ему срок собственной жизни. И хочет он не истории, а счастья.

Но ничего у него не получается, потому что счастье он понимает как объективацию желаний. Что есть форма самоотчуждения от собственного «я», подчинения себя «другому». Иллюзия о материализации иллюзий.

Все чего-то ждут в этой прозе: вестей, писем, советов, мнений...

Достаточно взглянуть на исходную точку отсчета, на первый добычинский рассказ «Тимофеев». В его финале провалившийся на экзамене студент, жуя на крыльце ситный, задумывается: «...что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее назавтра дождь, небо».

И в последней опубликованной вещи писателя все то же самое. Помыслы героя-рассказчика «Города Эн» связаны с одним: «...и меня что-то ждет впереди необычайное».

Персонажи, проведшие жизнь в ожидании «чего-то значительного», в русской прозе не новость. Но у Л. Добычина, как ни у кого другого, кроме, может быть, Чехова, это ожидание обострено, говоря сниженным, но поэтическим языком, «взаимным непониманием».

«Взаимное непонимание» есть та *связь*, которая притягивает людей друг к другу и в добычинском мире, и в чеховском. Не понимая друг друга, персонажи переходят на язык своих оппонентов и конфидентов, тем самым имитируя понимание. «Чужое слово» — вот истинный герой и источник драматических коллизий в этой прозе. Оно здесь — эрзац-заменитель счастья.

В «Городе Эн» тоскующий о «необычайном» герой-рассказчик не в состоянии выразить от первого лица даже собственные беглые житейские впечатления, постоянно сбивается на коллективное «мы», высказывается от имени своей «маман» и, более широко, от имени ее круга. Но и этого мало: в речи матери тоже не заложено довлеющего себе личностного начала. Что, между прочим, подчеркнуто и выбранной ею профессией телеграфистки, и следовательно, в первую очередь передатчицы «чужих слов».

Захватанное и захваченное грубой существенностью жизни «чужое слово» глядит очищенным и очищающим лишь с высот художественных творений, из суверенной области верифициро-

ванных желаний, из «Города Эн». Счастья нет, но есть «чужое счастье» — мир культуры. Название романа указывает как на место действия — провинциальный российский город, — так и на идеальный план существования героя, на «Небесный Иерусалим». Искусство запредельно по отношению к жизни, и в ней самой мало оснований различать запредельное, внеположное автономному бытию человека начало.

Номиналистический уклон усиливает экзистенциальное смятение художника из-за «невозможности сущностного объяснения мира, отсутствия цельности и целесообразности» в нем. Замечательно, что это не философский вывод, а результат лингвистического анализа прозы Л. Добычина, проведенного Ольгой Абанкиной.[1] «Универсальное», «норма» проникают в мир Л. Добычина как совращающий призрак: из естественного опасения подростка «не быть как все». Герой «Города Эн» лишь потенциально свободен. «Норма», которой он бессознательно следует, персонифицируется для него в авторитете — сначала «маман», затем в фигурах «первого друга» и старших сверстников. Чужое обличие — ее опасная, но неизбежная в этом возрасте суть. О чем лишь подозревает подросток, время от времени ассоциируя «первого друга» с мелькнувшим образом «страшного мальчика».

Невидимое и неназванное содержание духовной жизни героя «Города Эн» несомненно почерпнуто из «психологических глубин» автора. Не упомянутый по имени мальчик (вот так же не хотел видеть своего имени писатель) рассказывает о детстве и отрочестве, которыми никто, кроме самого Л. Добычина, не обладал. Разница в том, что прозаик уже осознал свою отдельность от других людей не как беду или условие существования, но как залог свободы, как дар. И весь этот роман есть демонстрация обретаемой свободы. Автору уже не надо описывать свои былые переживания, вообще «чувства», они сублимированы. Л. Добычин становится изумительно беспристрастным «хроникером» — ничего не оценивающим, ничего не благословляющим. Он не опускается даже до скепсиса, лишь пронзительный юмор никогда не улыбающегося человека придает неувядаемую живость его прозе.

Геннадий Гор полагал, что добычинский «холодный, „закрытый“ юмор <...> генетически связан с юмором Флобера».[2] Типологически еще ближе ему все-таки Чехов. В добычинской прозе, выражаясь словами Ремизова, «человек человеку бревно». Из чего не следует, что сам человек здесь «бревно». Наоборот, персонаж,

---

[1] См.: Абанкина Ольга. Внутренняя индивидуальная модель мира в романе Л. Добычина «Город Эн» // Писатель Леонид Добычин. С. 235–240.

[2] Гор Г. Пять углов. Л., 1983. С. 250.

которого Л. Добычин выбирает в герои, — весьма субтильное, тонкое существо; лейтмотив его жизни — неоднократно поминаемые в «Городе Эн» слова Христа «Ноли ме тангере» — «Не тронь меня». Потому он и обитает в объективированном мире «чужого слова», что собственная его речь лишена коммуникативной функции, это всего лишь никому не слышимый внутренний голос, зарождающийся глагол, речь-молчание.

Герой Л. Добычина живет интуицией о любви, но само слово «любовь» для него пугающе реалистично, грубо. Природой данное естественное влечение к женщине ему ужасно вдвойне: решительно и прежде всего оно требует нарушения суверенности своего «я», приведения жизни к общему всем людям знаменателю. Но нет, «Не тронь меня».

Истолковывая добычинскую ориентацию в мире, нельзя не напомнить: слова Иисуса обращены к женщине, к Марии Магдалине. И в романе — вопреки фабуле — слышится убедительно аллитерированный рефрен, обращенный к предмету воздыханий: «Натали! Ноли ме тангере!» И Натали исчезает навсегда, хотя и последняя строка романа — о ней.

Силою вещей номиналистическая установка есть установка на одиночество, конечное выражение которого — смерть, кладбище, место действия одного из самых «лирических», по мнению Марины Чуковской, рассказов Л. Добычина «Отец». Даром что на речевом уровне этот «лиризм» выражается вполне утробно: «скорей», «ух», «шлеп» — вот едва ли не все, что могут произнести персонажи. А когда герою нужно объяснить главное обстоятельство жизни над могилой жены, матери его детей, то вот что получается: «Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать?»

Лиризм Л. Добычина проявляется в сочувствии неуправляемому трогатель ному человеческому «косноязычию», оберегающему тот слой душевных переживаний, что не подлежит объективации.

Закон эволюции в мире писателя Л. Добычина — это закон возрастания одиночества. Как бы ему ни было скучно в Брянске, как бы ни надоедало месяцами ни с кем не разговаривать, его переезд в Ленинград стал катастрофой. Любые коллективистские формы общения Л. Добычину оказались противопоказаны. Поразительно, какую картину рисует ему воображение, когда речь заходит об обложке его собственной книги: «жалкая гостиная (без людей)» (письмо к И. Слонимской от 4 июня 1930 г.).

Хорошо знавшая прозаика по Ленинграду Марина Чуковская называет мемуарный очерк о нем «Одиночество». Она проникновенно защищает писателя от обвинений, на ходу воображенных ею же самой: «А может, автор попросту сухой человеконенавистник? ...Какое там „человеконенавистничество“! Ненависть — к пошлости,

ненависть — к глупости, но не к людям!»[1] Конечно, не дай бог нам, гуманистам, усомниться в Человеке. Хотя ненависть вызывают как раз конкретные пошляки и глупцы, то есть люди, а не абстрактные категории. Главное же, никакой ненависти — ни к кому — у Л. Добычина решительно не обнаруживается. В этом его даже и хулители не обвиняли. Скорее у него можно найти к людям холодную снисходительность, загадочную дистанцированность от персонажей. Одно из достоинств его прозы — поразительная неаффектированность манеры изложения. Он и сатириком-то, повторим, не был, вопреки утверждению самых авторитетных его истолкователей, таких, например, как Георгий Адамович. Заявляя в рецензии на «Город Эн», что «резкостью и отчетливостью сатиры» Л. Добычин напоминает Щедрина (общее место в суждениях о прозаике), ведущий критик русской эмиграции все-таки спохватывается и подозревает нечто неладное: «...смех идет даже дальше непосредственного предмета сатиры и подрывает нечто большее, чем данный общественный строй: яд проникает в общее жизнеощущение, ирония разъедает все».[2]

В самом деле: довольно дико — и неблагородно — заниматься подрывом уже взорванного — действие романа относится к дореволюционным временам. И яда в нем, если верно понять добычинскую тему, на удивление мало, аптекарские, часто целительные, дозы. Речь в произведении — не об обличении порядка, а о жизнеощущении подростка. Яд у него в крови, передан по наследству, и соотношение наследуемого и выбираемого, данного и желанного составляет драматическую коллизию романа. Автор психологически безупречно описывает процесс идентификации сознания ребенка со взрослым сознанием, рост его «я». Сделано это с исключительным блеском — без сентиментальных описаний переживаний и неясных самому ребенку страхов, в остраненной форме. Демонстрируются пути зарождения, становления ценностной ориентации личности — через усвоение «чужого слова». Оно подхватывается героем в чистом виде, без опосредствующих, косвенных интерпретаций, подсказанных автором. Стереоскопически яркое описание жизни в романе не искажается мировоззренческим диктатом.

Роман заканчивается обретением подростком собственного «я», в последней сцене он наконец осознает возможность видеть и действовать самостоятельно. Во многажды истолкованном эпизоде с очками (надев их, герой стал видеть мир «правильно») заключен прямой положительный смысл, а не эстетическая, как полагают,

---

[1] Чуковская Марина. Одиночество // Писатель Леонид Добычин. С. 8.

[2] Адамович Г. Литературные заметки: Мих. Зощенко «Голубая книга». М., 1935; Л. Добычин. «Город Эн». М., 1935 // Последние новости. Париж. 1936. № 5509, 23 апр. С. 2.

шарада: дескать, он потерял уникальный художественный взгляд на мир, обретя взамен сомнительное право видеть «как все». Так сказать, среда доконала-таки юное дарование. Дело обстоит как раз противоположным образом: впервые герой отказывается от стереотипов поведения и воспитания — и даже несколько грубо:

«— Погоди, — сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла».

В этой сцене герой наконец решительно и без подсказки делает то, что позволяет ему самоутвердиться в жизни. До сих пор он и на самом деле переживал и видел мир неправильно — чужими глазами. Физическая слабость зрения (подчеркнутая в романе, а не сказавшаяся вдруг) только усиливала его ориентацию на внеположный ему опыт.

«Правильно» увидел мир лишь автор, тот же самый мальчик, ставший художником. Не погнавшись за созданием «объективного» реалистического полотна, он беспристрастно зафиксировал нетиражированный, оригинальный, то есть номинальный, опыт *единственного* свидетеля эпохи, опыт, *многократно* резонирующий в посторонних суждениях. Совершенно закономерно роман обрывается на эпизоде с очками. Следующая часть должна была бы называться «Портрет художника в юности». «Дублинцы» уже написаны.

Какой бы беспросветной ни казалась среда, в которой живет герой романа, она не беспросветна для него самого. Скорее, она и вольно и невольно помогает его становлению, не слишком навязчиво демонстрируя ему многообразие опыта. Тревога, испытываемая им, вызвана более глубокой, экзистенциальной темой его освобождения — преодолением сиротства. Обращает на себя внимание очень раннее исчезновение из повествования образа отца — не в том смысле, что он быстро умирает, а в том, что с его образом в дальнейшем не связаны ретроспекции. Отведенные на сообщение о его смерти лапидарные полстраницы закрывают тему, табуируют ее в сознании мальчика, загоняя в бессознательное. «Меня удивляло восхищение Ершова отцом», — поражается он эмоциям своего приятеля. Очень важное в этом возрасте «верховное начало» устраняется из жизни героя, а все паллиативы — сомнительны. Продолжая внятное современникам и почему-то непопулярное у сегодняшних исследователей сравнение Л. Добычина с Джойсом, обратим внимание на сходство их тем в этом существенном пункте. У обоих писателей их внеконфессиональная редуцированная религиозность — знак сыновней оставленности, покинутости. В их «одиссеях» ближайший автору герой — обездоленный сын, Телемак, — в омерзительном мире «взрослых женихов» и эмансипированных, присматривающих и поглядывающих на отрока матрон, чей

удел нравственный паралич. Как и для Джойса, зыбкий «портрет художника в юности» для Л. Добычина загадочнее и пленительнее любых канонизированных типов.

В общении с паралитиками уже безразлично — добрые они или злые. В подобной индифферентности кроется разгадка добычинских и джойсовских сюжетов. Во всяком случае — сюжетов главной книги Л. Добычина «Город Эн» и ближайших к ней по предмету исследования «Дублинцев».

* * *

Подобно бедной Лиз Курицыной, мы наконец «заплыли за поворот» и готовы утонуть вместе с исследователями, трактуя самую болезненную на сегодняшний день добычинскую тему.

Духовный наставник первой Даугавпилсской старообрядческой общины Алексей Жилко ясно и твердо представляет автора «Города Эн» «глумителем христианских ценностей» и «скрытым проводником атеизма».[1] Статья его так и называется: «Проводник атеизма», и в ней автор приводит примеры некорректных по отношению к православию эпизодов в романе. Их насчитано шесть, можно было бы набрать больше, присовокупив «выпады» против католицизма, но Алексей Жилко, конечно, не экуменист. И это характерно для раздраженного проповедника из города, знавшего, говоря словами поэта, «с десяток или два *единственных* религий». Тем более в сознании юного добычинского героя многоконфессиональный уклад Двинска начала XX века с его «похожими на наши», но «ложными», вероисповеданиями дробится калейдоскопически.

Не будем объяснять заново, что играющее решительно важную роль в романе «чужое слово» — это не авторское слово. Даже когда в романе делится своим впечатлениями главный герой, мальчик, — он и есть мальчик (а не взрослый автор) — со всеми, свойственными подростковому возрасту немотивированными дерзостями и склонностью к пересмешничанию. Так что если в тексте написано: «Он посмотрел мой учебник „закона“ и, посмеявшись над картинкой „фелонь“, предложил пройтись...» — слова эти могут много говорить о взаимоотношениях в романе различных персонажей и их интересах, но и только. Достоевский, например, не становясь атеистом, позволяет Версилову в «Подростке» расколоть в щепу икону. Именно к Достоевскому, и к этому роману в частности, отсылает в «Городе Эн» одна из «кощунственных» сцен. В ней герой «...прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел „Катехизис“, чтобы вспомнить смешные места».

---

[1] См.: Жилко Алексей. Проводник атеизма // Писатель Леонид Добычин. С. 89–92.

Бессмысленно превращать Л. Добычина в апостола православной духовности или ее дерзкого хулителя. Легко согласимся: «добрым христианином» он ни в какой мере не является. По отношению к любой из конфессий он просто — «Другой».

Привычка шпынять людей за то, что они исповедуют иные, чем мы, ценности, или вообще неизвестно чем дышат, дорогу к истине не проторяет. Подозрительность отнюдь не синоним проницательности, хотя, увы, слишком часто в нашей жизни ее заменяет.

В чем же тогда «пафос» нашего автора? Он неотвязчив, даром что его персонажам неведом: человек волен игнорировать ценности рода, среды или социальной системы. Он — свободен. Последствия чего — печальны, наяву отказаться от столпов, утверждающих истину — драма. Всегда и всюду такой человек — не в чести. Долго жить и не выть по-волчьи среди волков вряд ли возможно. Разве что — молча.

Вот о том, о чем человек молчит, не в силах адекватно выразить свое интуитивное, сердечное знание, мы постоянно догадываемся по добычинским внешне простодушным сюжетам. В этом секрет и притягательность его прозы.

Непроизвольно преподанные автором «Города Эн» «уроки номинализма» с любой церковью не в ладах, всюду в ней — и давно — победил «реализм». Но и сама «христианская тема» — не ведущая в романе. «Главное» совсем не в том, что Л. Добычин ее «взял добровольно» (читай: «добровольно продался дьяволу»). Ни «христианский», ни «антихристианский» роман у Л. Добычина писать никаких оснований не было. И если Алексей Жилко думает, что роман этот «не случайно» начинается с рассказа «о хождении в тюремный замок на молебствие», то ему можно насмешливо, но не лживо возразить: он и начинается с описания дамских юбок, и заканчивается вздохом о предмете страсти, о Натали. Из чего, опять же, не следует, что перед нами «любовный роман». Скорее уж «роман воспитания».

Поразительно, между прочим, что приводящий в недоумение Алексея Жилко «нерусский» синтаксис в прозе Л. Добычина лучше него понимает австрийская исследовательница Элизабет Маркштейн.[1] Если у Л. Добычина «Город Эн» начинается словами «Дождь моросил» вместо «Моросил дождь», то этот оборот предполагает, что «перед тем шел проливной дождь». Обычный для прозаика измененный по отношению к «норме» порядок слов говорит о необозначенном предшествующем действии. Этот лапидарно акцентированный синтаксис тем и хорош, что максимально обогащает контекст любой добычинской вещи. Плюс к тому в его прозе

[1] См. Маркштейн Элизабет. Синтаксис абсурда. О прозе Леонида Добычина // Там же. С. 130–141.

зачины — на 80 процентов, по вычислению Юрия Орлицкого, «охвачены метром».[1] Ненавязчивая ритмизация сообщает ей гармонический лад, питаемый русской, а не какой-либо иной языковой стихией. Скрупулезными стараниями И. В. Фоменко, С. И. Кормилова, В. В. Эйдиновой и других авторов, занятых изучением языка писателя, наглядно демонстрируется, что блоковское определение поэта как «носителя ритма» значимо в русской литературе и по отношению к художнику слова как таковому.

Сдержаннее о христианстве Л. Добычина судит Иосиф Трофимов. Хотя и он не упускает посетовать об «утратившем веру» писателе и о «кризисе духовности». Речь о православной вере и православной духовности. Это вроде бы подтверждается соответствующей сценой из романа: «„Православный“, — сказал нам на уроке „закона“ отец Николай, — значит „правильно верующий“. — По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он начал меня избегать». Хотя это и не «утрата веры», но и на самом деле герой романа лишь пересказывает наставления старших, использует их, чтобы образумить несостоявшегося приятеля, не задумываясь о существе христианских конфессий, в данном случае лютеранства.

Все же, говоря о внеконфессиональной религиозности писателя и даже об «усиленной атаке на религиозное сознание» в «Городе Эн», Трофимов примечает, что автор «не задевает саму идею Христа».[2] Это естественно. Л. Добычин, повторим, человек христианской *культуры*, а не *веры*, и Христос для него — символ немеркнущий, в этой культуре — центральный. Но это и все. Если не говорить о том, что отторжение от ценностей культуры в русском православии носит хронический характер у его самых выдающихся представителей, таких, например, как о. Павел Флоренский. Да и у того же старообрядчества в целом.

Но не все в этом вопросе так суровы. Даугавпилсцы Михаил и Тайга Бодровы говорят о «Городе Эн» как о «библии XX века». Они пишут также: «Л. Добычин в лице рассказчика повести вместе с читателями, в сущности, совершают путь к новозаветному восприятию мира, к новозаветному человеку». Приветствуя отчаянную смелость заявления, от комментария воздержимся. Добавим лишь, что их сближение Натали, Тусиньки Сиу, с пушкинской Натальей Николаевной и через нее с Мадонной, может навести на еще одну неординарную мысль. Авторы уже и сами почти дошли до нее,

---

[1] См.: Орлицкий Юрий. Метр в прозе Леонида Добычина // Там же. С. 155–160.

[2] Трофимов Иосиф. Кризис духовности (Религиозное сознание как объект исследования в романе Л. Добычина «Город Эн») // Там же. С. 192–197.

резонно заметив, что необычная фамилия предмета воздыханий героя — Сиу, — возможно, составлена из чьих-то реальных инициалов. Да, она анаграмматически составлена из букв, образующих искомое исследователями имя — «Иисус».[1] Для героя все, связанное с Натали, сакрально.

* * *

Первостепенные вопросы для разгадки феномена Л. Добычина, отходя от догматических пристрастий, ставит как раз Иосиф Трофимов — не о «еретичности» этого писателя, но о смысле его «провинциальности», о «возможности конструирования с использованием этого материала неких новых моделей мира, с заложенными в них определенными умозрительными концепциями».

За сто лет до того как довлеющая себе провинциальность дала новые ростки на месте спаленных «дворянских гнезд», Петр Вяземский писал Пушкину 26 июля 1828 года: «В провинциях прелесть, здесь только, как в древности или в Китае, поэт сохраняет свои первобытные права и играет свою роль не хуже капитана-исправника, или дворянского заседателя».[2]

Похоже, что Л. Добычин появился у нас как раз прямо из «китайской древности».

«Провинция» у Л. Добычина уже и есть «модель мира», не менее репрезентативная в художественном смысле, чем какая-либо иная. Не потому, что «свет мира» исходит из нее. Но потому, что сам наш мир онтологически, сущностно «провинциален». «Вселенная — место глухое», — говорит поэт. С развитием цивилизации — чем грандиознее наши представления о Вселенной, чем обозримее наша планета, тем «провинциальней» представляется земная жизнь каждого из нас, тем затерянней в нашем о ней умозрении. Куда бы мы ни воспаряли, она уподобляется «крестику на ткани и метке на белье». Замысел и мечта вознестись с Земли в некие эмпиреи тускнеет год от года. И у Л. Добычина — потускнела.

«Провинция — функционирование каких-то промежуточных, несамостоятельных и в то же время очень активных элементов бытия, — пишет Трофимов. — Поэтому в художественном сознании XX столетия, кризисном в своей основе, исключительное место занял топос провинции, топос „пограничной ситуации“».

---

[1] См. две статьи Бодровых в кн. Писатель Леонид Добычин: Книга в книге Леонида Добычина «Город Эн» (С. 217–224) и В школе «Города Эн» Леонида Добычина (С. 225–229). На самом деле Сиу — реальная фамилия известных по всей России кондитеров.

[2] Пушкин. Переписка 1828–1831 // Полн. собр. соч. Т. 14. М.-Л., 1941. С. 24.

Показательно, что переселение Л. Добычина в Ленинград совсем не придало его прозе «столичного лоска» и не обогатило ее ни петербургской мифологией, ни просто какими бы то ни было петербургскими сюжетами — при всех благах и свободном времени, которые ему дал статус профессионального литератора. Написанные после «Города Эн» последние вещи писателя — рассказ «Дикие» и повесть «Шуркина родня» — поражают своей «захолустной» тематикой как таковой и, что печальнее всего, понижением уровня тематической суверенности автора. Первый публикатор этой повести А. Ф. Лапченко былые обвинения в адрес прозаика, занятого «опошлением лозунгов революции, <…> мещанина, насыщенного беззубой злобой», как писал в 1931 году об авторе книги «Портрет» Осип Резник,[1] не только снимает, но обращает во благо. Раскавычив цитату, он посмертно награждает Л. Добычина орденом «Красной звезды»: «Обывательская стихия неукротима — таков смысл всех его рассказов, — она опошляет революционные лозунги, приспосабливает их для своих мелких нужд, порождая новые извращенные представления о жизни и самые ее формы».[2]

Добычинским шедевром остался «Город Эн», это гиперпровинциальное озарение русской прозы XX века, «прозы эн», как ее уместно назвали авторы вступления к итальянскому сборнику «Вторая проза» В. Вестстейн, Д. Рицци и Т. В. Цивьян. Под «второй прозой», или «прозой эн», они имеют в виду сочинения малоизвестных широкой публике авторов 1920–30-х годов, дистанцировавших себя от сферы прямого воздействия коммунистической доктрины. И в этом смысле художников в СССР тоже «провинциальных», где бы они ни жили.

Сомненителен поэтому основной тезис идеологических интерпретаторов Л. Добычина, прославляющих его как автора антимещанских сочинений. Эта точка зрения обоснована тем, что мещанство являет собой «силу, враждебную человеку, культуре».

Вряд ли Л. Добычина стоит характеризовать «страстным, язвительным, острым обличителем мещанства», как видит дело безусловно признававший его талант В. Каверин. Не мещанство обличал Л. Добычин, а печалился о человеке как таковом. О том, что растерян и наг стоит он перед лицом Истории.

Человеку, родных которого таскали по «чрезвычайкам», младшего брата расстреляли как «контрреволюционера», а его самого

[1] Резник О. Позорная книга // Литературная газета. 1931. № 10, 19 февр. Цитируем по ее анонимному варианту, появившемуся в бюллетене «Книга — строителям социализма»! (1931. Март. № 9).

[2] Добычин Л. И. Шуркина родня / Публ. А. Ф. Лапченко // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 216.

беспардонно поносили в печати,[1] враждебными должны были ощущаться совсем другие силы. Захоти Л. Добычин кого-нибудь «обличать», и воображения не надо, чтобы представить, какие рожи у него появились бы вместо обывательских.

Мещанство в своей враждебности чему бы то ни было из пеленок не вышло, по сравнению со сталинским режимом, во времена которого писал Л. Добычин. Мещанская жизнь, если угодно, и была единственно действенной формой оппозиции тоталитаризму. Пушкинская формула «Заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна» действительна во все времена. Именно идеологи власти — имперской ли, фашистской ли, коммунистической ли — разрабатывают концепцию «мещанина» как презренного «обывателя» и «человеконенавистника». Наличие врага — условие существования «сильного режима». А данный «враг» и удобен своей слабостью, и изготовлен на все времена и художественные вкусы. Нужно быть снобом, одержимым или простофилей, чтобы из двух зол выбирать большее. Но если снять семантическую нагрузку, стереть гневно вычерченные романтиками валтасаровы знаки со слова «мещанин», то и яда в сердцевине останется ровно столько, сколько его имеется в слове «человек».

Человек — это и есть «мещанин» и «звучит гордо».

С момента появления на свет и до момента исчезновения писатель Л. Добычин никакой иной жизни, кроме как жизни «мещанина», «маленького человека», «уездного сочинителя», не знал.

Что не помешало ему стать уникальным художником — и в жизни, и в творчестве гарантом достоинства и чести.

Именно он отправил в небытие персонажей, на которых время смотрит снизу вверх. Именно он поставил в центр художественных интересов такого человека, который в данную эпоху глядит особенно малым и ничтожным существом. Именно он дерзнул в провинциальном «копошении» увидеть естественную среду обитания человека.

* * *

Кто же они, из статьи в статью пинаемые «мещане» и «обыватели» города Эн? Окружение героя — это семьи врачей, инженеров, преподавателей... То есть *устойчивый мир русской провинциальной*

---

[1] Вот как, к примеру, откликнулась на появление в городе нового писателя ленинградская критика в лице Е. С. Добина, опубликовавшего на первой странице возглавлявшегося им «Литературного Ленинграда» (1936. 27 марта. № 15) статью «Формализм и натурализм — враги советской литературы»: «„Город Эн“ — любование прошлым, причем каким прошлым? Это — прошлое выходца самых реакционных кругов русской буржуазии — верноподданных, черносотенных, религиозных». Все это было высказано перед публикацией Л. Добычину в лицо — на писательском собрании.

интеллигенции. И все существующие или приписываемые добычинскому миру пороки суть традиционные пороки этого доблестного ордена. Среди самых заметных — в изображении автора — предрассудки националистического толка. Например, если в городе Эн открывается костел и местная газета пишет об этом событии, то «маман» героя утверждает, имея в виду ее редактора: это «естественно, потому что Бодревич поляк».

«Либералы» в этой среде редки. Среди бесчисленных персонажей «Города Эн» едва ли не один — Андрей Кондратьев. Зато о нем герой и думает (как обычно, чужими словами): он «не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать». Очевидно: увиденное и услышанное персонажем совпадает с тем, что видел и слышал в том же самом городе и в том же возрасте Л. Добычин. Но еще очевидней: это не авторский глагол, а всего лишь благоприобретенная точка зрения его персонажа.

В Советском Союзе 1920–30 годов под категорию «мещанство» перьями последователей «великого пролетарского писателя» подводилась «гнилая интеллигенция», в лучшей своей части расстрелянная, изгнанная, гнившая по лагерям и ссылкам, а в дальнейшем старательно низводимая до уровня «образованщины».

Согласен: между «интеллигенцией» и «мещанством» дистанция небольшая, и она не увеличивается, а сокращается. Все мы «маленькие люди», «существователи» на неведомых провинциальных дорожках.

Прозу Л. Добычина совершенно естественно соотносили с прозой Чехова. Близость эта несомненна, и добычинский город Эн — не только реминисценция из «Мертвых душ», но и из чеховской «Степи», начинающейся с отъезда мальчика из уездного города N. Добравшись из подобного же уезда в Ленинград, Л. Добычин надеялся избавиться от тоски. «А мне очень скучно ни с кем не разговаривать», — писал он М. Слонимскому.

Прежде всего его сюжеты близки чеховским потому, полагает А. Н. Неминущий, что все они — «рассказ о несостоявшемся событии».[1] Еще более локализуя определение, скажем: проза Л. Добычина — это проза о «неначинающемся путешествии».

Оно и не может начаться. Автор, в отличие от его духовно ничего не ведающих героев, прекрасно знает, что все наши несчастия происходят от того, что мы не умеем сидеть дома. В таком духе выразился однажды Паскаль.

«Несостоявшееся событие» в любой человеческой жизни одно — смерть. Уже в 1930 году Л. Добычин писал о «дороге» к ней. «И не столь далекой, как я предполагаю», — добавлял он без обиняков.

[1] Неминущий А. Н. О поэтике рассказа Л. Добычина «Лекпом» // Первые Добычинские чтения. Даугавпилс. 1991. С. 51.

С простодушной эпичностью в том же 1930 году прозаик извещал М. Слонимского о своих душевных мытарствах: «...если бы все описать (как кончается евангелие Иоанна), то весь мир не мог бы вместить этих книг». И это, конечно, так, если говорить о цельном опыте художника, пожившего в советском XX веке.

До 1934 года Л. Добычин жил «несостоявшимся событием» переезда в Ленинград, когда, наконец, получил от Союза писателей комнату в коммунальной квартире на Мойке. Ее обстановка — зловеще реализованная метафора сочиненного автором для самого себя упоминавшегося эскиза обложки. Бывавший у него в последний год его жизни А. Л. Григорьев вспоминает: «Комната у него была совершенно пустая. Я сидел на ящике. Происходил как бы литературный вечер. Пришло человек десять».[1] Вероятнее всего, находился среди присутствовавших и добычинский сосед по квартире А. П. Дроздов, «Шурка», последняя и напрасная надежда писателя. Ему посвящен «Город Эн», его имя Л. Добычин поставил рядом со своим перед рассказом «Дикие», и о его детстве написана последняя вещь писателя — повесть «Шуркина родня». Впервые в добычинской прозе герой — отрок Шурка — «эволюционирует» в ходе повествования — и явно не в лучшую сторону. Описанная в «Шуркиной родне» глухая провинциальная жизнь бурных военных и революционных лет к добрым делам не склоняет никого из персонажей. Заканчивается эта история просто: «Шурка подумал и решил, что нужно снова идти в жулики». Невозможно отделаться от ощущения, что дружба с молодым Дроздовым лишь подчеркивает безрадостное добычинское одиночество.

В литературной атмосфере дышать, впрочем, было не легче. При жизни писателя пресса отозвалась о нем доброжелательно на трех страничках (Н. Степанов). Другие рецензенты не стесняли себя ни в объеме, ни в выражениях: «Позорная книга», «Об эпигонстве», «Формалистское пустословие» и т. п.

Особенно досталось «Городу Эн». А между тем лейтмотив этого романа — человеческая потребность в дружбе и душевном общении. Что все это невозможно в современной жизни, что полная открытость иллюзорна и ведет к драме — об этом еще только начинает смутно догадываться маленький его герой. Осязаемо воссозданный, разваливающийся, абсурдно дискретный мир романа есть проекция этой впервые нащупываемой становящимся детским сознанием трагедии. Мальчик из «Города Эн» показан в мгновение, когда он судорожно изыскивает последние возможности осуществить бесценное желание прорваться внутренне от одной личности к другой, цепляется то за наполовину воображаемого друга, то за Манилова

[1] Звезда. 1993. № 10. С. 147.

с Чичиковым: «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим». Вот ведь в чем согревающий, теплящийся мотив этой частной, маленькой человеческой жизни: нет в ней никаких героев, никаких Больших людей, так не отбирайте хоть и последних, «черненьких», говоря словами того же Гоголя.

* * *

Что же было делать этому писателю, когда даже известные люди, понимавшие в глубине души оригинальность и существенность не ко двору пришедшихся его художественных замыслов, говорили: «Добычину надо бежать от своей страшной удачи» (К. Федин).

Не один Федин должен был испугаться, когда Л. Добычин в разгар декларируемых побед Большого Искусства показал, что «уродливое», «одномерное» существование «маленького человека» по-прежнему «вечная тема» русской прозы. Л. Добычин здесь, разумеется, не монополист. Сохраняется этот мотив и у других авторов «прозы эн». О наших обывателях, «на всякую власть отходчивых», писал, например, без святых упокоившийся в безымянной могиле на Колыме Николай Баршев…

Не стоит поэтому так уж распространяться ни о тотальном конформизме наших художников в 1930-е годы, ни об их бездумном утопизме. По данным В. С. Бахтина, в Ленинграде из состоявших в Союзе писателей четырехсот с лишним человек репрессированы около ста тридцати. Из них расстреляно, погибло в лагерях и ссылках около семидесяти... Обречен был каждый третий!

Конечно, кровавые жернова стирали в лагерную пыль и «лояльных» и «нелояльных». Но при всем юридическом абсурде предъявляемых обвинений они все-таки основывались на «информации». Безнравственной, изуверской, лживой, но... информации. *Ни один из писателей не избежал тайной проверки, слежки, на каждого поступали доносы и рапорты осведомителей.* Так что «отбор» все-таки шел, уничтожались, как правило, наиболее достойные. Но железной логики тут нет, не было, и среди уцелевших мерцает достаточно славных имен. В том числе тех, кто совсем не был чужд автору «Города Эн»: Корней Чуковский, Юрий Тынянов, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин...

И сам Л. Добычин, в отличие от многих достойных писателей 1920–30-х, прямым репрессиям не подвергался. Но его жребий, быть может, тягостней других. Его уничтожили не Начальники, а писательская братия. Одного из первых — у всех на виду.

Пестуемый обществом «коллективизм» проявил себя во всей красе на собрании 25 марта 1936 года, когда Л. Добычин в ленинградском Доме писателя был оболган и дезавуирован в угоду очередным пар-

тийным лозунгам. Подлость состояла еще и в том; что жертва была выбрана расчетливо: недавно переселившийся из провинции, средне известный, мало с кем связанный литератор, «слабак».

По точной оценке В. С. Бахтина, в последние месяцы жизни Л. Добычин был вовлечен в своего рода репетицию спектакля всесоюзного размаха, разыгранного в том же Доме писателя десять лет спустя с иными героями — Ахматовой и Зощенко.

Вслед за статьей «Правды» от 28 января 1936 года «Сумбур вместо музыки» на веренице литературных обсуждений и собраний Л. Добычин оказался в Ленинграде главной мишенью — и как «формалист», и как «натуралист». 25 марта он отверг обвинения в Доме писателей одной фразой: для него «неожиданно и прискорбно», что его книга признана «классово враждебной». И сразу же ушел. Собрания, на которых его клеймили, продолжались и дальше: 28 и 31 марта, 3, 5, 13 апреля. Л. Добычина на них не было и, судя по всему, быть не могло. Он исчез. В ночь с 25 на 26 марта с ним разговаривала Марина Чуковская, 26-го днем — В. Каверин. Подводящая черту фраза из его письма (Н. Чуковскому) нам известна...

Начиная с 28 марта, ни живым, ни мертвым никто Л. Добычина не видел. Его стали искать после встревоженного письма матери из Брянска. Обратились в Дом писателя. По распространенной Начальниками версии, почерпнутой из донесений тайных Информаторов, Л. Добычин «уехал в Лугу».

Что же касается следов его пребывания в самом писательском сообществе, то характерный документ с упоминанием его имени обнаружен и опубликован В. С. Бахтиным. Это протокол Правления Литфонда:

«12. I. 1937. Задолженность писателей, выбывших из Ленинграда и сомнительная к получению: <...>

32. Добычин Л. И. — 302 р. 40 коп.».

Если слова об «иронии судьбы» не устаревший лукавый оборот, то вот что это такое. Последнее, что мы знаем о Л. Добычине, — это сведения о нем из донесения в НКВД осведомителя «Морского», видевшего прозаика перед его исчезновением 28 марта в 11 часов 30 минут. Писатель передал ему ключи от своей комнаты и сказал, что больше в квартиру не вернется (связанные с Л. Добычиным выдержки из донесений Секретно-политического отдела Управления госбезопасности НКВД по Ленинградской области, направлявшиеся в Ленинградский обком А. А. Жданову, опубликованы А. В. Блюмом[1]). Этот последний жест доверия возможен, надо полагать,

[1] См.: Искусство идет впереди, конвой идет сзади: дискуссия о формализме 1936 г. глазами и ушами стукачей (По секретным донесениям агентов госбезопасности) / Публ. А. В. Блюма // Звезда. 1996. № 8.

исключительно по отношению к другу. Вот так и получается, что «река времен» вынесла художника в объятия «Морского»...

Легко вычислить фамилию этого человека: его «дружескими заботами» не оставлены и другие ленинградские писатели. Согласимся все же снова с В. С. Бахтиным: делать этого не стоит, если есть хотя бы один шанс из четырехсот ошибиться.

Однако имена слишком значимы и в добычинском творчестве, и в его жизни, чтобы остановиться лишь на самом факте предательства. Жгучий смысл «иронии» заключается в том, что «судьба», послав художнику в друзья предателя, наделила своего агента кличкой, оставляющей четкий след в этом дьявольском действии. Пусть он тонок и подобен следу волос на песке, бережному знаку, с которого Л. Добычин начинает рассказ «Ерыгин», но он есть.

«Мне нравится, — написано в одном из добычинских ранних рассказов, — „ветер бурный, называемый Эвроклидон“». Этот ветер упоминается в «Деяниях Апостолов» и ничего с собой хорошего не несет: бурный и свирепый, он преграждает путь в Рим кораблю, на котором заточен апостол Павел. Вопрос напрашивается: побеждает ли тот, кто этому ветру, и тем самым судьбе, противостоит? Не совсем простой ответ заключается в том, что ветра этого не перебороть, но до Рима все равно добраться можно. Что и произошло с апостолом Павлом, успешно проповедовавшем в Риме христианство и там же потерявшим на плахе голову — при Нероне.

Перебравшись в Ленинград, Добычин себя обрек. Бурный ветер Эвроклидон подхватил его, но никуда дальше Луги не унес. Да ему никуда дальше и не нужно было — ни в Рим, ни в Америку. Цену иллюзий он знал как никто. Ибо всю предшествующую жизнь ими одними и существовал. Романтические «дальние края» явили себя в случае Добычина метафорой смерти.

Нужно быть гением, чтобы не истрепать эту метафору, вдохновляться ею всю жизнь.

Безнадежность случая Л. Добычина состояла в том, что он погиб, противостоя всей «литературной общественности», а не только Начальникам. «Вопрос „За что вы его убили?“ — говорит Каверин, — витал в воздухе Дома писателя». По чести он должен был бы звучать иначе: «За что мы его убили?»

Владимир Набоков в лекции о Чехове сказал о его героях: «...это обещание лучшего будущего для всего мира, ибо из всех законов Природы, возможно, самый замечательный — выживание слабейших».

И мне не раз приходилось слышать мнение: вообще-то, в исторической перспективе «слабые победят».

Л. Добычин уже победил.

Рассказы

ПРОЩАНИЕ

Зима кончалась. В шесть часов уже светло было. Открыв глаза, Кунст видел трещины на потолке, из трещин получалась юбка и кривые ноги в башмаках с двумя ушками. За стеной сиделка уже шлепала своими туфлями без пяток и будила раненого. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. — Безобразие, — говорила она и показывала головой на стену. Замолчав, она прислушивалась и потом смеялась. Кунст краснел.

В студенческом пальто, с кусочком хлеба, завернутым в газету «Век», в кармане, он выходил из дома. Снег был темен. Почки ро́жками торчали на концах ветвей. Старухи возвращались из хвостов и прижимали к кофтам хлебы. Сумасшедшие солдаты, разбредясь из лазаретов, бормотали на ходу. Встречалась прачка Ку́бариха и здоровалась. Порядочные люди разбежались, — горевала она,— нет уже тех жильцов. Вот и она — впустила к себе фею, уличную бабочку.

Звенел трамвай. — Вперед пройдите, — восклицал кондуктор. Лед на реках посерел уже. Перед домами было сухо. Саботажники с газетами кричали на углах. За Троицким мостом Кунст вылезал и шел по набережной. Темные дворцы смотрели мрачно. Каменные старики стояли в рыжих нишах, разводя руками и выделывая па.

Иван Ильич уже писал, тщедушный, за большой конторкой с перламутровыми птицами, и Мирра Осиповна, поправляя волосы, уже сидела. В меховом воротнике, она поеживалась и подрагивала. — Слушайте, я замерзаю, — говорила она томно и драпировалась.

Прибегал начальник Глан, коротенький, в коротеньком костюме, и, усевшись в кресло, разворачивал свою газету «Луч». — «Навстречу голоду!» — прочитывал он громко. Девушка Маланья, колыхая мякотями, разносила чай. Мужчины на нее посматривали сбоку. Заходил инструктор Баумштейн с докладом, и начальник Глан величественно слушал его. — Честь имею, — козырял инструктор Баумштейн и подмигивал девицам. — Но какой он интересный, — удивлялись они. — Я пишу магистерскую диссертацию, — взглянув на окна, говорил тогда Иван Ильич: — и каждый вечер я на несколько часов позабываю эту жизнь. — Ах, я понимаю вас, — роняла набок голову и нежно улыбалась Мирра Осиповна.

— Время, — наконец, сорвавшись с места, складывал начальник Глан свой «Луч». Все схватывались. Доставалась пудра и карандаши для губ. Иван Ильич смотрелся в лак конторки и со скромным видом освежал пробор. У выхода стояли саботажники с газетами. — Вичернии, — кричали они звонко и приплясывали. Хлопали себя руками по бокам и топали ногами низенькие генералы с «Новым Временем». Шпиль крепости блестел. Морские облака летели.

Сбросив обувь и взяв в руки «Век», Кунст осторожно, чтобы не измять штаны, укладывался на кровать. Сиделка за стеной похрапывала. Возвращалась из конторы Фрида и шумела. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. — Что в газетах? — говорила она и присаживалась. — Фрида всё поет. Она такая поэтическая. Я была другая. — Иногда, таинственно хихикнув, она делала игривое лицо. — Письмо, — с ужимками вручала она и хитро смеялась: — Верно, от хорошенькой. — Кунст брал конверт и, посмотрев на свет, вскрывал. Писала тетка. «Приезжай», — звала она. — «Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Стаял снег. Подсохло. Лед прошел — с дорогами и со следами лыж. На улицах уселись бабы с вербами. — Нам будет выдача, — обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич. — Мед с пчелами, — вскочила Мирра Осиповна и, считая, отогнула палец. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась. — Красная икра́ и грушевый компот в жестянках! — К концу дня костлявая девица с желтой головой промчалась через комнату. — Не расходитесь, — объявила она. — Ждите. Я поеду на грузовике за выдачей. — Возьмите двух вооруженных, — закричали ей. — Возьму, — сказала она, обернувшись, и светло взглянула: — И сама вооружусь. — Девица Си́мон,— проводив ее глазами, посмотрел Иван Ильич вокруг. — Пожалуй, правильнее было бы Симо́н,— предпо-

ложил он погодя, подумав. Ждали долго. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась: — Как коров поить, — сравнила она. Тени появились. За окном газетчики кричали нараспев: — Ви-чер-нии. — Кунст, опершись на подоконник, тихо подтянул им, и Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

— слезы лились
из вокзала

— шепотом пропели они вместе и сконфузились.

Настала пасха. Делать было нечего. Кунст спал, смотрелся в зеркало, ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли. — Ах, что́ вы получили, — разглядела она и прижала к сердцу руки. — Фриде дали воблу: тоже хорошо. — В соседней комнате сиделка угощалась с сослуживицами. Ударяли в бубен, пили спирт и крякали. Они ругали раненых: — Чуть выйдешь, — говорили они, — а уж он порылся у тебя в корзине. — Дезинфекцией тянуло от них. Фрида, поэтическая, распустила волосы, открыла в коридоре форточку и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед палисадником. Кунст вышел, и они пошли за ним. Он встретил Ку́бариху в праздничном наряде. — Заверните, — зазвала́ она и подала кулич с цветком на верхней корке и яйца. Фея — уличная бабочка — была приглашена. Красиво завитая, она скромно кашляла, чтобы прочистить горло, и учтиво говорила «да, пожалуйста», и «нет, мерси». — Вот то-то, — одобряла ее Ку́бариха, и она краснела.

Раздвигая прошлогодний лист, полезли из земли травинки. Птичка завелась на Черной речке и по вечерам посвистывала. Фея принялась ходить под окнами. Конфузясь, Кунст задергивался занавеской. Беженцы из Риги стали приезжать из города по воскресеньям. Сняв чулки и башмаки, они сидели над водой. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них. — Мои компатриоты, — поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть и сняла свой воротник. Она носила с собой ветки с маленькими листиками и, потребовав у девушки Маланьи кружку, ставила их в воду. Забегал инструктор Баумштейн и, нагнувшись, нюхал их. — Ах, — заводя глаза, вздыхал он. — Утро года,— говорил Иван Ильич, обдергиваясь. Перламутр на его конторке блестел. За окнами синелось небо, Кунст засматривался, и письмо от тетки вспоминалось ему.

Приоткрыв однажды дверь, девица Си́мон крикнула, что выписали наградные. — Неужели? — поднялась и томно сомневалась Мирра Осиповна. Девушка Маланья появилась среди шума. — Получать, — осклабясь, позвала́ она. Все ринулись. — Расписывайтесь, — ликовала за столом бухгалтерша и стригла листы денег. — Дельная бабенка, — толковали про нее, толпясь. — Урок для скептиков, — сказал Иван Ильич и посмотрел на Мирру Осиповну. Девушка Маланья шлепнула кого-то по рукам. Приятно было. Через день пришел мужчина и созвал собрание: союз не допускает наградных. Постановили, что их нужно вычесть, и вернулись на места уныло. — Я не ожидала, — говорила Мирра Осиповна мрачно. Вытащив из кружки свою ветку с листьями, она ломала ее. — Вы читали Макса Штирнера? — согнувшись и повеся нос, бродил Иван Ильич. Кунст думал, положив на ру́ки голову.

«Я еду», — написал он тетке и купил билет. В последний раз хозяйка принесла вечерний чайник. — Я сама уехала бы, — села она и потерла рукавом глаза. — Курляндская губерния, — потряхивая головой, торжественно сказала она: — никогда не позабуду я тебя. — Кунст вышел на крыльцо. Луна без блеска, красная, тяжеловесная, как мармеладный полумесяц, пробиралась над задворками. Закутавшись в большой платок, сиделка, неподвижная, сидела на ступеньке. Кунст сел выше. Красный запад был исчерчен пыльными полосками. Далёко свистнул паровоз. — Фильянка, — прошептала, не пошевелясь, сиделка. — Может быть, приморская, — подумал молча Кунст. С рассветом подкатил извозчик. Капал дождь. — Прощайте, — крикнула с крыльца хозяйка. — Прощайте, — обернулся Кунст. — Прощайте, — высунулась Фрида из окна. — Прощайте. — Поэтическая, в одеяле и чепце, она махала голыми руками. Фея — уличная бабочка, позевывая, шла домой. — Прощайте.

КОЗЛОВА

1

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет бог и расточатся враги его.

Козлова приложилась и, растирая по лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла Интернационал.

— Мерзавцы, — шептала Козлова, — гонители... — Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски.

Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье.

Вот — чай. Мосье рассказывает о лурдской богородице. Авдотья отворяет двери и подсматривает. Козлова показывает на нее глазами. — Приветливая женщина, — говорит мосье. Потом он берется за шляпу, Козлова встает, и они отражаются в зеркале: он, аккуратненький, седенький, раскланивается, она — прямая, в длинном платье; пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах — старомодная улыбка. — Приходите, мосье...

А вот — в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья. — Как грустно, мосье... — Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном.

— Так и вы, мосье, забудете нас, как сон.

— О, мадмуазель!

Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб», — напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечера Козлова просиживала на лежанке, — штопала белье или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский день — ходили с Авдотьей в баню: орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. — Гражданка, гражданка, — высовываясь из будок, зазывали торговки: — Барышня или дамочка!

Иногда приходила Суслова, и долго пили чай: хозяйка — чинная, с любезной улыбкой, гостья — растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях.

— В Петербурге я кого-то видела, — рассказывала круглощекая Суслова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая — с Адмиралтейством): — Не знаю, может быть — саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и — порх в подъезд.

— Может быть, экономка с покупками, — отвечала Козлова...

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров... Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.

— Мерзавцы, гонители...

— Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?

Потом взошла луна, и души смягчились... В соборе трезвонили. В саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Демещенку, Гаращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками.

Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой:

— Венеция, — прошептала Козлова.

— «Венеция э Наполи»*, — ответила Суслова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно:

— Когда горел кооператив, загорелись духи, и так хорошо запахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу — в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано:

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб».

---

* Венеция и Неаполь» (*ит.*).

Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед канцелярией забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду.

Столб с преображением и зеленым куполом стоял под кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображением.

— Недолго мучиться, — радостно думала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно — хотела сходить к Сусловой, но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Садилось солнце; и закат был простенький: одна полоска — красноватая и одна — зеленоватая. Козлова была любительница поливать. — Когда поливаешь, — говорила она, — душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Ли́ла двенадцатую лейку, и луна блестела в быстро исчезавших лужицах. Загремел оркестр, Козлова бросилась к воротам.

Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на виселице. Свет перебегал по лицам маршировщиков.

— Ать, два! Левой! Да здравствует коммунистическая партия! Ура!

Разинув рот, маршировала Суслова.

Из темноты пробежала Авдотья: — Англия воюет. — Перед киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью.

С светлым лицом, Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. — Пасха, — наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Суслову.

3

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол, дребезжа подпевали стекла.

Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: — Товарищ Ленин.

Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую.

— Завтра Иоанна-воина, — сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. — Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и, знаете, ее забрали и присудили на три года.

— Хорошая женщина, — подумала Козлова, — религиозная... Сутыркина, кажется.

Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: — Вы где живете?

Вышли вместе: Козлова — степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина — вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями.

У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной.

— Свое холщовое пальто, — говорила Сутыркина, — я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них караулила сад, жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера!

— Вы говорите, в девятнадцатом году, — сказала она любезным и приятным голосом: — помните, все тогда ахали — того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиться хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды.

— Вы не были на губернской олимпиаде? — спрашивала иногда Сутыркина: — почти совсем голые! Фу, какое неприличие. — И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида...

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись клены. Рябины с красными кистями напоминали Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала́ Сутыркина: — Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов. — Козлова поджала губы.

— Знаете, — с достоинством сказала ей Сутыркина, — я всегда соображаюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку, — пополнять свои сельскохозяйственные знания...

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету.

— Вот два интересных объявления.

Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина — к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое — от епископа: седьмого ноября во всех церквах будет торжественная служба и благодарственный молебен.

— Понимаете, какое теперь веяние?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника. Александра Николаевна вышла за Петра Иваныча — стоя под венцом, они блистали красотой. А Алексей Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была молоденькой...

Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Суслова — красная, в большом платке, с петухом под мышкой.

— Ну, как? — бормотала она. — Давно не встречались... тяжело жить. Вот, купила петуха — на два раза. При такой-то семье... Мусью не пишет?

Козлова взяла ее за руки. — Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки.

Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам.

Из ворот был виден монастырь святого Кукши — тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились: красно-коричневый дворец, желтое Адмиралтейство...

Сегодня вечером чувствительная Суслова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из «Приложений», будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином. — Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, — скажет Козлова: — Настоящей дружбы у нас с ней не было.

На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье Пуэнкарэ.

1923

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

1

Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула из улицы Германской революции в улицу Третьего интернационала.

С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами.

Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо.

Дверь хлопнула. Торговки, сидя на котелках с горячими углями, предложили Кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он, радостный, спустился на реку.

— Пожалуй, — мечтал он, — уже разделась. Ах, черт возьми!

Ледяная корка на снегу блестела на вечернем солнце. Погоняя лошадей, мужики ехали с базара. Вереницами шли бабы с связками непроданных лаптей и перед прорубью ложились на брюхо и, свесив голову, сосали воду:

— Животные, — злорадствовал Кукин.

Когда он шел обратно через сад, луна была высоко, и под перепутанными ветвями яблонь лежали на снегу тоненькие тени.

— Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков, — подумал Кукин, и ему представились захватывающие сцены между ним и Лиз, расположившимися на белых лепестках.

Он посмеялся шуткам молодых людей, которые подзывали извозчиков и говорили «проезжай мимо», и в приятном настроении повернул в свой переулок.

Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной еловыми ветвями двери висело объявление: труппа батальона ставит две пьесы — «Теща в дом — все вверх дном» и антирелигиозную.

Чайник был уже на самоваре. Мать сидела за евангелием.

— Я исповедовалась.

Кукин сделал благочестивое лицо, и под тиканье часов «ле руа а Пари»* стали пить чашку за чашкой — седенькая мать в ситцевом платье и ее сын в парусиновой рубахе с черным галстучком, долговязый, тощий, причесанный ежиком.

---

* «Король в Париже» (*фр.*).

2

В канцелярию приковыляла хромоногая Рива Голубушкина и велела идти к Фишкиной — графить бумагу.

— Читали газету? — спросила она, подняв брови: — есть статья Фишкиной: «Не злоупотребляйте портретами вождей». — И, откинув голову, она выкатила груди.

Было холодно. В открытое окно дул мокрый ветер.

Рива усердно переписывала. Кукин, стоя, разлиновывал.

Фишкина, приблизив темное лицо к его руке, смотрела, и ее черная прическа прикоснулась к его бесцветным волосам. Тогда она встряхнулась и отошла к окну.

Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная. Потом негромко высморкалась и, повернувшись к комнате, сказала:

— Товарищ Кукин.

Приоткрылась дверь, и кто-то заглянул. Она надела желтую телячью куртку и ушла.

— Вы ей понравились, — выкатывая груди, поздравляла Рива и таинственно оглядывалась. — Старайтесь к ней подъехать: она вас будет продвигать. Жаль только, что нас с ней переводят. Но ничего, я вам буду устраивать встречи.

— Возможно, — радовался Кукин. — В конце концов, я не против низших классов. Я готов сочувствовать. — И, ликуя, он насвистывал «Вставай, проклятьем».

Красные и синие шары метались по ветру над бородатым разносчиком. На углах голосили калеки. От дома к дому ходила старуха в черной кофте:

подайте милостыньку, христа ради,
что милость ваша —
кормилица наша,
глухой, больной старушки.

У ворот с четырьмя повалившимися в разные стороны зелеными жестяными вазами Кукин положил руку на сердце: здесь живет и томится в компрессах Лиз. У нее нарывы на спине — в газете было напечатано ее письмо, озаглавленное «Наши бани».

В библиотеке висели плакаты: «Туберкулез! Болезнь трудящихся!» — «Долой домашние! Очаги!»

— Что-нибудь революционное, — попросил Кукин. Девица с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам.

— Сейчас нет. Возьмите из другого. «Мерседес де-Кастилья», сочинения Писемского...

Ах, черт возьми, а он уже видел себя с теми книжками — встречается Фишкина: — Что это у вас? Да? — значит, вы сочувствуете!

Мать сидела на диване с гостьей — Золотухиной, поджарой, в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой.

— Не слышно, скоро переменится режим? — томно спросила Золотухина, протягивая руку.

— Перемены не предвидится, — строго ответил Кукин. — И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

— Где хороша весна, — вздохнула Золотухина, — так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»...

Ну, а вы, молодой человек: вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое...

Она зажмурилась и покрутила головой.

— Еще бы, — сказал Кукин. — Культурная жизнь... — И ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью...

О, Петербург!

3

— Идемте, идемте, — звала Золотухина. — Долой Румынию.

Кукина отнекивалась, показывала свои дырявые подметки...

Ходили долго. Развевались флаги и, опадая, задевали по носу.

эх, вы, буржуи,
эх, вы, нахалы.

Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками.

— Вот, все развалится, — вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домики: — где тогда жить?

Фишкина презрительно посмотрела направо и налево: — Фу, сколько обывательщины!

Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива и, пожимая плечами, отворачивалась: он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, марширована и вертела поясницей Лиз. Когда переставали трубы, Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой:

— В губсоюз принимают исключительно по протекции...

В канцелярию пришел мальчишка:

«Не теряйте времени, — прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса: — подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читали «Сад пыток»? — чудная вещь».

— Лиз, — сказал Кукин, — я вам буду верен...

— Плохи стали мои ноги, — жаловалась мать. — Сделала я студень и оладьи, хотела отнести владыке, но, право, не могу. Попрошу бабку Александриху, а ты будь любезен, Жорж, присмотри за ней издали.

— Сейчас, — сказал Кукин и, дочитав «Бланманже», закрыл переложенную тесемками и засушенными цветками книгу.

— Ах, — вздохнул он, — не вернется прежнее.

Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками по насыпанной вдоль батальона песочной полоске: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Лиз, лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела.

Кукин остановился и обдергивал рубашку. Лиз засмеялась, покачнулась, сорвалась с места и отправилась.

За ней бы, — но нельзя было оставить без присмотра Александриху.

Возвращались вместе — Александриха в холщовом жилете и полосатом фартуке и унылый Кукин в парусиновой рубашке с черным галстучком — и белесым отражением мелькали в черных окошках.

— Утром дух бывает очень вольный, — рассказывала Александриха...

Бегали мальчишки и девчонки. Хозяйки выходили встречать коров. В лоске скамеек отсвечивалась краснота заката.

Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба — какое предзнаменование!

4

В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами.

Солнце жарило подставленные ему спины и животы.

— Трудящиеся всех стран, — мечтательно говорил Кукину кассир со станции, — ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?

Шурка Гусев, мокрый, запыхавшись, с блестящими глазами прибежал по берегу и схватил штаны:

— Девка утонула.

Толпились мужики, оставив на дороге свои возы с дровами, бабы в армяках и розовых юбках — с ворохами лаптей за спиной, купальщицы — застегивая пуговицы.

— Вот ее одежа, — таинственно показывала мать Ривы Голубушкиной, кругленькая, в гладком черном парике с пробором:

— Знаете ее обыкновение: повертеть хвостом перед мужчинами. Заплылá за поворот, чтоб мужчины видели...

«Почему вы к ней не подъезжаете? — писала Рива. — Я опять пришлю билет. Будьте обязательно. Есть вокальный номер:

деньги у кого,
сад наш посещает,
а без денег кто —
в щелки подглядает.

После него сейчас же подойдите: — Что за обывательщина! Я удивляюсь; никакого марксистского подхода!»

Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. Тихо прилетел звук маленького колокола, звук большого — у святого Евпла зазвонили к похоронам. Бросились к окнам, посрывали на пол цветочные горшки, убрали ставни.

— Курицыну, — объявила Золотухина, по пояс высунувшись наружу.

Кукина перекрестилась и схватилась за нос: — Фу! — Чего же вы хотите в этакое пекло, — заступилась Золотухина. — А мне ее душевно жаль.

— Конечно, — сказал Кукин, — девушка с образованьем...

После чаю вышли на крыльцо. Штрафные пели Интернационал.

Блеснула на гипюровом воротнике серебряная роза:

— В ротах, — встрепенулась Золотухина, — в этот час солдаты поют «Отче наш» и «Боже, царя». А перед казармой — клумбочки, анютины глазки... Я люблю эту церковь, — показала она на желтого Евпла с белыми столбами, — она напоминает петербургское.

Все повернули головы. По улице, презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесучовой юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина.

— Интересная особа, — сказала Кукина.

Жорж поправил свой галстучек.

ЛИДИЯ

1

На руке висела корзинка с покупками. Одеколон «Вуайаж» Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

— лейся, песнь моя,
пионерска-я.

Коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря на ноги марширующих, солидно покрикивал:

— Левой!

— Это кто ж такой? — спросила Зайцева.

— Вожатый, — пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

— Здравствуйте, — сказал он. — Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела за забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с плоским куполом.

— Рай был прекрасный сад на востоке.

Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету. — Каковы китайцы, — восхищался он. Напился чаю и лег спать. Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

— Водили к козлику? — интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе. Выплыла луна.

— Я пробовала все ликеры, — сказала Дудкина задумчиво: — у Селезнева, на его обедах для учителей.

2

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина еле поспевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

— Принимаю икону, — похвалилась она.

— А мы — к утопленнику, — крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные. — Дом Зуева, — вздохнула Дудкина. — Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались по двое и по трое солдаты.

Над водоворотом толкались зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку — нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Молодые люди в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

— Нырни, — веселились они, — и скажи: под лавкой.

Смеялись: — Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали.

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами: — Эх, молодость!

— «Левой!» — замечталась Зайцева.

Возвращаясь, поболтали о политике.

— Отовсюду бы их, — кипятился муж.

— Нет, я — за образованные нации, — не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

3

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда — повеселел.

— Утопленник, — рассказал он новость, — выплыл.

Зайцева купила кнопок. Бил фонтанчик и краснелись низенькие бегонии и герани перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

«Закусочная всех холодных закусок», — прочла Зайцева над дверью и вскочила.

— Я мыла голову, — уныло улыбаясь, сказала толстая хозяйка с распущенными волосами. Откупорила квас. — У меня печник: вчера поставила драчёну — получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от грудей прилипавшую кофту.

— Радуга! — девица выскочила. Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастенький, без пояса, босиком, размахивая хворостиной, выпроваживал на улицу козла.

— Ихний? — просияла Зайцева.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу, маршировали:

— красная армия
всех сильней.

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза. Зайцева позвала:

— Лидия, Лидия!

— Лидия, Лидия, — вывесились из окон дефективные.

Закат светил на вывеску с четырьмя шапками. Играли вальс. В окне лавчонки висел ранец.

— Жоржик! — закричала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. — Не женское имя, — объясняла она.

1925

САВКИНА

1

Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки.

Дунуло воздухом. — Двери! Двери! — закричали конторщики. Вошел кавалер — щупленький, кудрявый, беленький...

Солнце грело затылок. Гремели телеги. Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина. Морковникова, затененная бутылками, смотрела из киоска. Блестя трубами, играли похоронный марш. Несли венки сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов. Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки. — Там все так прилично одеты, — уверяла Олимпия и таращила глаза. — У некоторых приколоты розы... Ах, родина, родина!

Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

Накрыли стол. — Не очень налегайте на пироги, — предупредила мать и пригорюнилась: — Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания...

Разделавшись с посудой, Савкина припудрилась, взяла тетрадь и, втирая в руки глицерин, вышла за сараи почитать стишки. Кукель в синем фартуке доил корову.

— Обиждаются, что без ксендза, — пожаловался он. — А когда я — партейный.

На обложке тетради был Гоголь с черными усиками:

«Чуден Днепр при тихой погоде».

Появилась маленькая белая звезда. Савкина, мечтательная, встала и пошла к воротам.

У Кукеля шумели поминальщики. Где-то наигрывали на трубе. Павлушенька, с побледневшим лицом и мокрыми волосами, вернулся с купанья. Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки.

2

На полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Савкина заваривала чай. Павлушенька брился.

Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками, чесала волосы.

— Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел, — сказала она, — и поставила бы свечку.

В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Свечного ящика не оказалось. Низенький ксендз Валюкенас сделал перед алтарем последний реверанс и отправился за перегородку. Вздохнув, поднялась и прошла мимо Савкиной Марья Ивановна Бабкина, француженка, — в соломенной шляпе с желтым атла́сом, полосатой кофте и черной юбке на кокетке, обшитой лентами.

Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Воняло табачищем и кислятиной. Стенная газета «Красный луч» продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...

Оглядывая друг друга, расхаживали по залу. Мимоходом взглядывали в зеркало. Савкина, в лиловой кофте пузырем, смеялась и шмыгала глазами по толпе. Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски.

— Буржуазно одета, — показывал он. — Ах, чтоб ее!.. — На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн* Байбл стояли на палубах... И вот, мисс Май все опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывающему в ее мечтах. Вдруг из автомобиля выскочил Байбл — в охотничьем костюме и тирольской шляпе.

Савкина была взволнована. Ей будто показали ее судьбу...

Лаяли собаки, капала роса. Морковникова в киоске, освещенная свечой, дремала.

3

После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу.

Окна флигеля были раскрыты и забрызганы известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене. На деревьях зеленелись яблоки. Небо было серенькое, золотые купола — белесые. Гуляльщики галдели. Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией.

На мосту сидели рыболовы. В темной воде отражались зеленоватые задворки. Купались два верзилы — и не горланили.

* Член клуба (*англ.*).

Савкина вошла в воротца. Пахло хвоей. На крестах висели медные иконки. Попадались надписи в стихах. За кустами мелькнул желтый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса.

Дома пили чай. Сидела гостья.

— Наука доказала, — хвастался Павлушенька, — что бога нет.

— Допустим, — возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо. — Но как вы объясните, например, такое выражение: мир божий?

Расправляя юбки, Савкина уселась. Налила на блюдечко.

— Опять я их встретила.

— Не собирается ли в католичество? — мечтательно предположила гостья.

— Проще, — сказал Павлушенька и махнул рукой. Мать, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Посмеялись.

— Съешьте плюшечку, — усердствовала мать: — американская мука́ — вообразите, что вы — в Америке!

Савкина грустила над стишками. Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: «Наробраз, обрати внимание».

4

Савкина, растрепанная, валялась на траве. Била комаров. Сорвала́ с куста маленькую розу и нюхала. Она устала — задержали переписывать о поднесении знамени.

Приятно улыбаясь, из калитки вышла с башмаками в руке новая жилица и пошла к сапожнику... Мимо палисадника прошел отец Иван.

— Роза, Роза, —

вбежал в дом Павлушенька. — Где моя газета с статьей про Бабкину? — Запыхавшись, высунулся из окна. — Нюшка, где газета? Мы с ним подружились. Как я рад. Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка... — Этот, — говорит, — пень, давайте, выкопаем и расколем на дрова.

Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся.

— Идите за сараи, — сказала мать в комнате: — Он там с сыном новой жилицы: подружились.

Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы. Мать в доме зашаркала туфлями. Загремела самоварная труба.

— Иди, зови пить чай.

— всех коммунаров, —

пели за сараями, —

он сам привлекал
к жестокой, мучительной казни.

Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот, щупленький.

1924

ЕРЫГИН

1

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волоса чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова идти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лугу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч. — Физкультура, — подумал Ерыгин, — залог здоровья трудящихся.

Базар был большой. Стояла вонища. Китайцы показывали фокусы. На будках висели метрические таблицы. — Подайте, граждане, кто сколько может, если возможность ваша будет. — Ерыгин прошелся по рядам — не торгует ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов, мордастый, в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Красная Пресня. Наслаждались погодой и пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой на руке. — Клеопатра — русское имя? — говорили они. — Да. — А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папиросу и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев. — Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать. — Так как же на бухгалтерские? — Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом, — короче. — Бухгалтера прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведро. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другой с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крохотными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте. — Я извиняюсь, —

сказала она. — Не знаете, откуда это музыка? — Возвращаются со смычки с Красной армией, — ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот, если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно!

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрогивала голову — не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы: розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной. Мать штопала. Ерыгин переписывал:

Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за Красной армией. Бандитов расстреляли. Начдив уехал, а Настя выкинула из избы иконы и записалась в РКП(б).

2

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила.

Они проезжали через разные страны и нигде не видели такой свободы. — Ура! — Играла музыка, торжествовали и, гордясь отечеством, смотрели друг на друга.

— Сóвьет репёблик.

— Реакшьон фашишт*.

Возбужденные, вернулись. Разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и Двенадцатью Произведениями Мировой Живописи, Ерыгин — за решетку.

Захаров и Вахрамеев подскочили расспрашивать. Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, черт побери, проспали.

Впустили безработных...

Небо побледнело. Загремела музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвила окоп и приколола к кофте резеду.

Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу.

Девицы выходили из калиток и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер — в пользу наводнения.

— Под руководством коммунистической партии поможем трудящимся Красного Ленинграда!

* Советская республика, фашистская реакция (*испорч. англ.*).

Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музеи. Их обгоняют дюжие матросы — бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом... — Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата! — Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгальские огни.

Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, набеленная, с свиными глазками, и с ней — кассир Едренкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбредались. Без грохота обогнала́ телега, блестя шинами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями выплыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской.

— Ты? — удивилась мать. — Скоро!

3

«Настя» будет напечатана. Пишите...

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку из баллады. — Кинематограф, — посмеялась мать и засучила рукава — мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блестел. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку. — Мы поступили на бухгалтерские. — Нет, — сказал Ерыгин, — у меня в голове другое.

Он пошел. Они взобра́лись на перила и бултыхнулись.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракитами. В шляпе набекрень, она была похожа на разбойника. Ерыгин сделал под козырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной армии или ответственных работников не приходило в голову.

> Шагает рота, красная, с узелками и вениками, хочет квасу...
> Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генералову. А у него на кушетке Фаня Яковлевна с Красной Пресней — принесли котлету. — Товарищ, прошу оставить этот кабинет!..

А постороннее, чего не нужно, вертелось:

> Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: — «Немцы — звери». — На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенькие императорши, в медалях, с голыми плечами и с улыбками... — До свиданья. — Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня — сует солдатам мармелад. Последние три штучки отдает Ерыгину...

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна — красная, тусклая, кривая.

Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой, и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны были тарелки с хлебом и горчичницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша. — Бельгийский город Льеж посмóтрите? — подкрадывался панорамщик. Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские. Будет много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса: дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выглядывают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь». Возвращаясь, плевалась.

Висели тучи. С канцелярий убирали транспаранты и гирлянды из крашеных бумажек: — Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа!

За рекой было бело — с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег... Что-то припомнилось. Барабанный треск, песок тонко исчерченный...

> По зеленой улице с серыми тропинками разгуливают архиерей и нэпманша — затевают контрреволюцию. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай. Зовет ее в РКП (б), она — ни да ни нет. В чем дело? Вот Гадова выходит кормить кур. Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговор. Мужественно преодолевает он свою любовь. Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит.

1924

КОНОПАТЧИКОВА

1

Бросая ласковые взгляды, инженер Адольф Адольфович читал доклад: «Ильич и специалисты».

Добронравова из культкомиссии, стриженая, с подбритой шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке. Следующее выступление ее: «Исторический материализм и раскрепощение женщины».

Конопатчикова, низенькая, скромно посмотрела направо и налево, незаметно поднялась и улизнула. — Боль в висках, — пробормотала она на всякий случай, поднося к своей седеющей прическе руку, будто отдавая честь.

Плелись старухи с вениками, подпоясанные полотенцами. Хрустел обледенелый снег. Темнело. Не блестя, горели фонари.

Звенел бубенчик: женотделка Малкина, поглядывая на прохожих, ехала в командировку.

Сидя на высоком табурете, инвалидка Кац величественно отпустила булку. Стрелочник трубил в рожок. Взъезд на мост уходил в потемки, и оттуда, вспыхнув, приближалась искра. Обдало махоркой, с песней прошагали кавалеры:

ветер воет, дождь идет,
Пушкин бабу в лес ведет.

Гудели паровозы. Дым подымался наискось и, освещенный снизу, желтелся. Из ворот, переговариваясь, выходили Вдовкин и Березынькина: поклонились праху Капитанникова и были важны и торжественны.

Конопатчикова с ними кое-где встречалась. Она остановилась и приветливо сказала: — Здравствуйте.

Негромко разговаривали и печально улыбались: Конопатчикова в шерстяном берете с кисточкой, Вдовкин, плечистый и сморкающийся, и Березынькина, кроткая, с маленькой головкой. Раздался первый удар в колокол. Примолкли и, задумавшиеся, подняли глаза. Вверху светились звезды.

— Жизнь проходит, — вздохнул Вдовкин и прочел стишок:

так жизнь молодая
проходит бесследно.

Дамы были тронуты. Он чикнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы.

Сговорились вечером пойти на стружечный.

2

«Машинистка Колотовкина», — поглядывая на часы, сидела Конопатчикова за губернской газетой, — «пассивна и материально обеспечена.

зачем писать ей на машине?
может играть на пианине».

Зашаркали в сенях калоши. Постучались Вдовкин и Березынькина.

Похвалили комнату и осмотрели абажур «Швейцария» и карты с золотым обрезом. Тузы были с картинками «Ль эглиз дэ Энвалид», «Статю дэ Анри Катр»*.

— Парижская вещица, — любовался Вдовкин. — Я и сам люблю пасьянсы, — говорил он: — «Дама», например, «в плену», «Всевидящее око»...

— «Деревенская дорога», — подсказала Конопатчикова.

Вытянув перед собою руки, вышли. Пахло ладаном. Учтивый Вдовкин осветил ступеньки зажигалкой.

Наверху захлопали дверьми: Капитанничиха выбежала в сени убиваться по покойнике.

и зачем ты себе все это шил, —

причитала она, —

если ты носить не хотел ? —

и притопывала.

и зачем ты пол в погребе
цементом заливал,
если ты жить не хотел?

Остановились и, послушав, медленно пошли по темным улицам, оглядываясь на собак.

* «Церковь Инвалидов», «Памятник Генриху Четвертому» (*фр.*).

«Жизнь без труда», — было написано над сценой в театре стружечного, — «воровство, а без искусства — варварство». Оркестр играл кадриль.

Рвал, рявкая, железные цепи и становился в античные позы чемпион Швеции Жан Орлеан. Скакали и плясали мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, тряся юбчонками, вскрикивали под балалайки:

чтоб на службу
поступить,
так в союзе
надо быть.

— Эх, — сияя, передергивал плечами Вдовкин. Конопатчикова улыбалась и кивала головой...

Морозило. Полоска звезд серелась за трубою стружечного. Постукивало пианино. В форточке вертелся пар. За черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась.

— Счастливые, — скрестила на груди ладони и задумалась Березынькина.

— Они, — проникновенным голосом сказала Конопатчикова, — читают книгу, очень интересную. Заглавие выскочило у меня из головы.

Поговорили о литературе...

Улыбающаяся, полная приятных мыслей, Конопатчикова ощупью нашла край лампы: загорелись звезды над швейцарскими горами и цветные огоньки в окошках хижин и лодочных фонариках.

В дверь поскреблись. В большом платке, жеманная, вскользнула Капитанничиха. С скромными ужимками, перебирая бахрому платка, она просила, чтобы завтра Конопатчикова помогла в приготовлениях к поминкам.

— Не откажите, — двигала она боками, егозливая, и прижимала голову к плечу. — Я загоню его костюмчики, и пусть все будет хорошо, прилично.

3

У Капитанничихи кашляли духовные особы. Пономарь в сенях возился над кадилом. Конопатчикова, проходя, взяла щепотку дыма и понюхала.

Блестел на колокольне крест. Флаг над гостиными рядами развевался. Тетка Полушальчиха кричала и потряхивала капитанни-

ковскими костюмчиками. — Маруська убивается? — спросила она, наклонясь и прикрывая рот рукой, и, выпрямившись, в черном плюшевом пальто квадратиками, гордая, победоносно огляделась.

Конопатчикова в ожидании бродила. Солнце пригревало. Под ногами хлюпало.

Дремали лошади. Толкались с бабами солдаты в шлемах, долгополые и низенькие. Середняки, столпившись за возами, пили из зеленого стаканчика.

Вдоль домов, по солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпачке, прохаживался инженер Адольф Адольфович. Он жмурился на свет и улыбался людям на крылечке, согнувшись ждавшим очереди в зубоврачебный кабинет его жены.

Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбежались. Мужики смотрели, опустив кнуты. Вздыхали бабы в кружевных воротничках на зипунах и в елочных бусах.

Народу было много. Капитанничиха вскрикивала. Вдовкин, подпевая, шел с склонившей набок голову Березынькиной, Конопатчикова проводила их глазами.

— Продала́, — сказала, протолкавшись, Полушальчиха и показала деньги. Начали покупки для поминок.

Возвращались на дровнях, спиною к лошади. Блестела на дорогах жижа. Воробьи кричали. Убегал базар. Беседовали, выйдя постоять на солнце, оба в фартуках, кондитер Франц и парикмахер Антуан...

Капли с крыши падали перед окном. Сизо-лиловый дым взлетал над паровозами. В плите шумел огонь. Внизу, перебирая струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров. В углах темнело.

— Никишка, — говорила Полушальчиха и плакала над хреном, — нарисовал картину «Ленин»: это — загляденье.

На кофейной мельнице был выпуклый овал с голландской королевой Вильгельминой. Конопатчикова медленно молола, стоя у окна. Задумавшись, она глядела вслед начальнику милиции, скакавшему, красуясь, в сторону моста и инвалидки Кац. Воспоминания набегали.

4

Поблескивали рюмки, и бутылки, толстобрюхие и тоненькие, мерцали. Капитанничиха, в черном платье, прилизанная, постная, стояла у стола и, горестная, любовалась.

Конопатчикова, скромно улыбаясь, завитая и припудренная, сидела на диване и сворачивала в трубку листик от календаря: рисунок

«Нищета в Германии» и две статьи — «О пользе витаминов» и «Теория относительности».

— Благодари, Марусенька, — учила Полушальчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свах».

Входили гости. Конопатчикова выпрямлялась и в ожидании смотрела на отворявшуюся дверь...

Стучали ложки, и носы, распарившись над супом, блестели. Полушальчиха, одетая кухаркой, в фартуке, прислуживала. Кланялись Маруське, подымая рюмочки. Она откланивалась, скорбная, и выпивала. Повеяло акацией. Любезно улыбаясь, прибылá внушительная Куроедова. — Как ваши, — с уважением справлялись у нее, — на стружечном? — Они, — засуетилась Конопатчикова, — еще читают эту книгу, интересную? — «Тарзан»? — спросила Куроедова, глотая...

Красные, блаженно похохатывая и роняя вилки, громко говорили. — Есть смысл, — доказывала Куроедова, — покупать билеты в лотерею. Наши, например, недавно выиграли игрушечную кошку, херес и копилку «окорок».

Маруська слушала, зажав в колени руки и состроив круглые глаза, как тихенькая девочка, умильная, и приговаривала: — Выпейте.

Никишка встряхивал свисавшими на бархатную куртку волосами. — Искусство, — восклицал он. Полушальчиха пришла из кухни и, гордясь, стояла. — Тайна красок!

— Жизнь без искусства — варварство, — цитировал рабкор Петров... Зеленое кашне висело у него на шее.

— Я не могу, — заговорил задумавшийся Вдовкин, — забыть: в Калуге мы стояли у евреев; в самовар они чего-то подсыпáли, и тогда распространялось несказанное благоухание.

— В Витебске, — нагнувшись, заглянула Конопатчикова ему в лицо, — к вокзалу приколочен герб: рыцарь на коне. Нигде, нигде не видела я ничего подобного.

Березынькина, запрокинув голову, с закрытыми глазами, счастливая, макала в рюмку кончик языка и, шевеля губами и облизываясь, наслаждалась.

1926

ДОРИАН ГРЕЙ

1

Заходил правозаступник Иванов — с брюшком и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни.

Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала. Смотрела равнодушно и снисходительно, как ленивая учительница. Над стулом висел календарь и Энгельс в кумачной раме.

Ломились в лавки. Несло постным. Взлетали грачи с прутьями в клювах. Гора на другом берегу была бурая, а зимой — грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя.

— перед ротой командир, —

пели солдаты, —

хорошо маршировал.

С полотенцем на руке, Сорокина смотрелась в зеркало: под глазами начинало морщиться.

Пришел отец, веселый:

— Я узнал рецепт, как варить гуталин.

Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну.

— Пахомова! Вся изогнулась. Откинулась назад. Остановилась и оглядывается.

И, поправив черную наколку, осанисто, словно дама на портрете в губернском музее, посмотрела на отца.

Он, бравый, с висячим носом, как у тапира в «Географии», стоял перед зеркалом и протирал стетоскоп.

Тучи разбегались. Старуха Грызлова, в черной мантилье с кружевами и стеклярусом, несла церковную свечу в голубом фарфоровом подсвечнике. — Сегодняшний ветер, — подняла она палец, — до вознесенья.

То там, то здесь ударяли в колокол.

Сорокина поколебалась. Нищая открыла дверь.

Тоненькие свечи освещали подбородки. Духовные особы в черном бархате толпились на средине, перед лакированным крестом.

— Глагола ему Пилат!..

Пахомова, в толстом желтом пальто, не мигая, смотрела на свою свечку.

Моргали звезды. Сторож, задрав бороду, стоял под колокольней:

— Нюрка, шесть раз бей.

— Я полагала, вы неверующая, — подошла курносенькая регисторша Мильонщикова.

Вертелась карусель, блестя фонариками, и, болтая пестрыми подвесками, медленно играла краковяк.

— русский, немец и поляк,

— напевала Мильонщикова.

Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

— Ваня, не падай...

— Кто это?

— Не знаю. Вылитая копия Дориана Грея — как вы полагаете?

Ваня. Плескались в вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками.

Ваня.

2

На скамейках губернского стадиона сидели няньки. Голый малый в коротеньких штанишках, задыхаясь, бегал вдоль забора.

Сорокина встала и, оглядываясь, медленно пошла.

— Вы не Василий Логгинович? — прислонясь к воротам, тихо спросил пьяный.

Грудастая девица сунула записку и отпрянула:

«Придите, послушайте слово „За что умер Христос“».

Цвела картошка. На оконцах красовались занавесочки, были расставлены бутылки с вишнями и сахарным песком. Побулькивали граммофоны.

Поздоровалась дебелая старуха в красной кофте — уборщица Осипиха.

— Товарищ Сорокина, — сказала она, — я извиняюсь: какая чудная погода.

Голубые и зеленые пространства между облаками бледнели.

На гвозде была чужая шапка и правозаступникова палка с монограммами.

Самовар шумел. На скатерти краснелся отсвет от вазочки с вареньем.

— Религия — единственное, что нам осталось, — задушевно говорила мать: — Пахомова — кривляка, но она — религиозная, и ей прощаешь.

И, держа на полдороге к губам чашку, значительно глядела на отца.

Он дунул носом.

Правозаступник принялся́ рассказывать таинственные случаи. В тени на письменном столе показывал зубы череп.

Фонари горели под деревьями. Музыканты на эстраде подбоченивались, покуривали и глазели. Заиграли вальс. Притопывая, кавалеры чинно танцевали с кавалерами. Расходясь, раскланивались и жали руки.

Сорокина ждала в потемках за скамейками.

Вот он. Шапка на затылке, тоненький...

Если бы она его остановила:

— Ваня, —

может быть, все объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а в шесть.

— Не забираться же с пяти, раз — в шесть.

Она взяла бы его за руку, и он ее повел бы:

— Мы поедем в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен».

3

Мать вышла запереть. В сандалиях, она стояла низенькая, и ее наколка была видна сверху как на блюдечке.

Старуха Гры́злова прогуливалась — в пелерине. Нагибалась и рассматривала листья на земле.

— Шершавым кверху, — примечала она: — к урожаю.

В открытое окно Сорокина увидела затылок ее внучки. Она сидела за роялем и играла вальс «Диана». Правозаступник Иванов, опершись на окно, стоял снаружи. Покачивая головой, он пел с чувством:

— дэ ин юс вокандо,
дэ акционэ данда.*

И его чванное лицо было мечтательно: приходила в голову Италия, вспоминался университет.

Развевались паутины. Под бурыми деревьями белелась церковь с синими углами.

— Мама, — кляузничала девчонка за забором: — Манька поросенка то розгами, то — пугает.

Библиотекарша смотрела на входящих и угадывала:

— «Джимми Хиггинс»?

---

* Действовать, опираясь на закон (*лат.*).

По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных шляпах:

— В Америке рекламы пишутся на облаках... — Мечтали.

В сквере подкатилась Осипиха с георгиной на груди и старалась разжалобить:

— Говорят, я гуляка, — горевала она, — а я и дорог не знаю.

— В первую декаду — иссушающие ядра, — предложил газету зеленоватый старичок, — во вторую — обложные дожди.

Подсела Мильонщикова:

— Пройдемтесь в поле.

Голубенькое небо блекло. Тоненькие птички пролетали над землей.

— Помните, — оглянулась и понизила голос Мильонщикова: — однажды весной мы обратили внимание...

Молчали. В городе светлелись под непогасшим небом фонари. Расстались не скоро.

— Эти звезды, — показала Сорокина, — называются Сэптэнтрионэс...

Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки.

Тикали часы. Били. Тикали.

За окном собака лаяла по-зимнему.

«Дориан, Дориан», — там и сям было напечатано в книге:

— «Дориан, Дориан».

1925

СИДЕЛКА

Под деревьями лежали листья.

Таяла луна.

Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице. На лугах за речкой блестел лед, шныряли черные фигурки на коньках.

— Здоро́во, — трогал шапку Мухин. Улыбаясь бежал вниз. Выше колен — болело от футбола.

Толклись перед дворцом труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие, — говорила Катя Башмакова и смотрела Мухину в глаза.

Наконец отправились. Играла музыка. На кумаче блестела позолота. Над белыми домами канцелярий небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, стояло что-то тощее.

— Вдруг там скелет, — хихикала товарищ Окунь.

Сдернули холстину. Приспустились флаги. Заиграл оркестр. У памятника егозили, подсаживали влезавших на трибуну.

— Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач!

Вертелись. Сзади было кладбище, справа — исправдом, впереди — казармы.

Щекастая в косынке — сиделка, — высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил.

На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком — с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к обелиску с головой товарища Гусева на острие.

Сиделка уходила.

— Мне необходимо, — устремился Мухин. — Пардон.

Дорогу перере́зали. Трубя, маршировали — хоронили исключенную за неустойчивость самоубийцу Семкину:

— вы жертвою пали.

Ее приятельница, кандидатка Грушина, ревя, смотрела из ворот.

— Дисциплинированная, — похвалил растратчик Мишка-Доброхим: — в процессии не участвует.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на две — ближнюю и дальнюю.

Запихнув руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

— Выпустили? — встрепенулся и поздравил его Мухин.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой, — простился Мишка. — Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник — образец монументального искусства...

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет, — покачал Мухин головой печально: — кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно, — согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептался кто-то. Шелестели листья под ногами.

Шли под руку. Задумчивые, напевали:

— чистим, чистим,
чистим, чистим,
чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды.

Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билет...

В столовой «Моссельпром» гремела музыка. Таинственно горела маленькая лампа. — Где вода доро́га? — говорили за столиком. — Рога у коровы, вода в реке.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: — Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Я чуть не познакомился с сиделкой, — сказал Мухин.

1926

ЛЕКПОМ

Человек сошел с поезда, вытащил зеркальце и огляделся. К нему подбежала дожидавшаяся возле звонка телеграфистка.

— Фельдшер? — спросила она и стояла, как маленькая, смотря на него. Он поднял брови, соединявшиеся на переносице, и взглянул снисходительно.

— Лекпом, — поклонился он.

Идти было скользко. Он взял ее под руку.

— Ах, — удивилась она.

Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик.

— Сюда. — С трех сторон темнелись сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. Взбежали по лестнице, в кухне сняли пальто и повесили их на дверь.

В комнатке было тепло. Мать дышала за ширмой.

— Разбудить? — заглянув туда, вышла на цыпочках телеграфистка.

— Нет, — помахал он галантно руками. — До поезда долго, пусть спит. — Оборачиваясь, она выкралась в кухню и стала греметь самоваром.

Цикламен цвел в горшке. Лекпом нюхал. Под окном шла дорога, валялась солома. За плетнем лежал снег, и из снега торчала ботва. Пили чай и тихонько говорили про город.

— Интересная жизнь, — восхищался лекпом, — Мери Пикфорд играет прекрасно.

Он смотрел на огонь и, чуть-чуть улыбаясь, задумывался. Брови были приподняты. Волосок, не захваченный бритвой, блестел под губой.

Перешли на диван и сидели в тени. Печка грела. Самовар умолкал и опять начинал пищать.

— Женни Юго брюнетка, — заливался лекпом и сам же заслушивался. — Она — ваш портрет.

Поджав ноги и съежившись, телеграфистка молчала. Глаза ее были полузакрыты и темны от расширившихся, как под атропином, зрачков.

— Вас знобит, — присмотрелся лекпом. — Вы простудились. Весна подкузьмила вас. — Нет, я здорова, — сказала она и застучала зубами, — может быть, форточка.

Он оглянулся и повертел головой: — Закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться, как следует, перед выходом из дому — есть. — Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся, прошелся на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал романс. Мать проснулась.

ОТЕЦ

На могиле летчика был крест — пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там где хмель, была зарыта мать. — Мы к ней потом, — сказал отец, — а то мы опоздаем к вóлнам.

Заревел гудок. — Скорее, — закричали мальчики. — Скорее, — заспешил отец. Все побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли постоять и, подняв головы, полюбоваться на него.

Сбегáли по тропинке, и гудок опять раздался. — Опоздаем, — подгонял отец. Сердца стучали, в головах отстукивалось.

Сбрасывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на землю: успели. Справа тарахтело, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков. Вскочили, заплясали, замахали шапками. Величественный капитан командовал. Шумело колесо, шипела пена, след в воде кипел. Присели, потому что с палубы смотрели женщины, и, глядя на них боком, сжали себе руки коленями.

— Шлеп, — набежала первая волна. — Скорей! — все бросились.

Река была как море. — Ух, — кричали люди и подскакивали. — Ух, — кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая. — Ух, ух, — кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он мылся, и они по очереди терли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и двигал мускулами: вечером он должен был отправиться к Любовь Ивановне. Он думал: — Но зато я не плохой отец.

Назад шли медленно. — А то купанье, — говорил отец, — сойдет на нет. — Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Оборачивались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались. Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой потемнел.

— Вы подождите здесь, — сказал отец у липы. — Я приду. — Они уселись, сняв картузики, и взялись за руки. Пищал комар.

Кусты сливались, черные. Верхи крестов высовывались из них. Хмель светлелся. Здесь отец остановился и стоял без шапки. Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать? А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. В разбитое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться. Стало хорошо, когда пришел отец.

Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь.

МАТРОС

Лешка соскочил с кровати. Мать дежурила.

Склонившись, словно над колодцем, чуть белелась полукруглая луна. Не шевелилась жидкая береза с темными ветвями. На траве блестели капельки. Поклевывая, курицы с цыплятами бродили по двору.

Покачивая животом, в черном капоте с голубыми розами, по лестнице спустилась Трифониха. У нее в руке был ключ, а на руке висела вышитая сумка — с тигром.

— Фу, — покосилась Трифониха, — поросенок! — и, важная, отправилась за булками.

— Я мылся, — крикнул ей вдогонку Лешка.

Усатый водовоз, кусая от фунта ситного, гремел колесами. Пыль сонно поднималась и опять укладывалась.

— Дяденька, — умильно попросился Лешка, — прокати, — и водовоз позволил ему сесть на бочку. Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, кондукторша в очках, которая гнала́ корову и замахивалась на нее веревкой, и четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.

— Обокрали чердак, — показал водовоз и ссадил Лешку на землю.

Солнце поднялось и припекало. Освещало ситный в чайной у Силебиной. Мальчишка из кинематографа расклеивал афиши. Там было напечатано: «Бесплатное», но Лешка не умел читать.

В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке.

— Трансваль, Трансваль...

Было хорошо у палисадника. Забор уже нагрелся и был теплый, сзади пригревало плечи, пахло клевером.

Матрос...

А мать уже вернулась и перед осколком зеркала чесала волосы.

Пили кипяток с песком и с хлебом. Отдувались. Мать велела не ходить на речку и, задернув занавеску, легла спать.

Вдруг загремела музыка. Все бросились.

Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны.

Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.

Вслед! с мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая:

— В лес!

Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.

Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У Лешки колотилось сердце. Он бежал на речку — за матросом.

Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке — вскочили.

Матрос!

Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и поплыл. На его руке был синий якорь, мускулы вздувались — как крученый ситный у Силебиной на полке.

— Это я его привел, — хвалился Лешка.

Было жарко. Воздух над рекой струился. Всплескивались рыбы. Проплывали лодки, женщины в цветных повязках нагибались над бортом и опускали в воду пальцы.

Купальщики боролись, кувыркались и ходили на руках.

А солнце подвигалось. Было сзади, стало спереди — пора обедать.

Мать ждала́. Картошка была сварена, хлеб и бутылка с маслом — на столе.

Наелись. Мать похваливала масло. Облизали ложки. Вышли на крыльцо.

Во дворе, разостлав одеяла, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове.

— И мы устроимся, — обрадовалась мать и сбегала за одеялом.

Лежали. Лешка положил к ней на колени голову. Она перебирала пальцами в его кудлатых волосах. По небу пролетали маленькие облачка в матросских куртках, облачка, похожие на ситный и на вороха белья.

Хотелось спать и не хотелось...

— Бабочки, — вскочила мать, — купаться, так купаться: опоздаем на бесплатное.

Бесплатное!

Повскакивали, зашмыгали, повязали головы и выбежали за ворота. Бегали наперегонки и смеялись, а потом притихли и печально пели:

платье бедняги за корни цепляется,
ветви вплелись в волоса.

Срывали жесткую высокую траву — класть под ноги, когда выходишь на́ берег. Тек горький белый сок и засыхал на пальцах.

Молотя ногами, плавали и, взвизгивая, приседали. Садилось солнце. Начали кусаться комары. Заквакали лягушки. Небо выцвело.

Трава похолодела. Пыль в колеях лежала теплая и грела ноги. Улица кипела. Все спешили на бесплатное.

Шел водовоз, поглядывая сверху вниз, как с бочки, и крутя усы.

Помахивая рукой, как будто в ней была веревка, торопилась старая кондукторша, и весело бежали обокравшие чердак четыре жулика.

Был гвалт. Стояли очереди к мороженщикам. Шуршала подсолнечная шелуха. В саду горели фонари, играла музыка и бил фонтан. Мать потерялась. Маленьких в кинематограф не пускали. Лешка заревел.

Темнело. Музыка кружилась невысоко, прибитая росой. Силебина сидела на крылечке — тихо, тихо, задумчивая, не замахивалась полотенцем, не орала. В палисаднике, впотьмах, матрос тихонечко наигрывал на балалайке:

Трансваль, Трансваль.

Он, как и Лешка, не был на бесплатном — миленький...

Вздыхая, по двору прохаживалась Трифониха и, любуясь звездочкой, жевала. Из сумки с тигром вынула пирог и протянула Лешке.

Сидя на ступеньке, он стал есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки — соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на берег.

1926

ХИРОМАНТИЯ

Петров с наслаждением вдохнул продушенный воздух и, сосчитав ожидающих, сел. Ладислас извинился, отлучился от бреемого и задвинул задвижку. — Я успел, — посмеялся Петров и подумал, что это к хорошему.

Парикмахеры брили в молчании — устали, спешили и не отпускали учтивостей. Звякнули ножницы. Рождество наступало. Колокола были сняты и не гудели за окнами. — Пи, — басом пищал иногда и, тряся улицу, пробегал грузовик.

Петров не читал. Он — просматривал. Он уже изучил эту книгу с изображенными на каждой странице ладонями. Он кончил ее вчера вечером и, закрыв, присел к зеркальцу и вспомнил стишки, которые когда-то разучивал в школе:

> исполнен долг, завещанный от бога
> мне, грешному.

Подбритый и подстриженный, он вышел. Он благоухал. Усы, бородка и завитушки меха на углах воротника покрылись инеем. Высокая луна плыла в зеленом круге. Жесткий снег переливался блестками. Как днем, отчетливы были афиши на стенах. Петров уже читал их: показательный музей «Наука» с отделениями гинекологии, минералогии и Сакко и Ванцетти снизил цены.

Маргарита Титовна жила недалеко. Петров смеялся. Как всегда, она шмыгнет в другую комнату, мать будет ее звать, она придет, зевая и раскачиваясь, и состроит кислую гримасу. Не смущаясь, он задержит ее руку, повернет ладонью вверх, прочтет, что было и что будет, кого надо избегать. Она заслушается... — Маргарита Титовна, — пел мысленно Петров, ликуя и покачивая станом.

Громко разговаривая, пробежали под руку два друга в финских шапках. — Я ей сделал оскорбительное предложение, — услыхал Петров, — она не согласилась. — Он задумался: она не согласилась — предзнаменование, пожалуй, неблагоприятное.

И правда: Маргариты Титовны не оказалось дома. — У музей ушодчи, — посочувствовала мать. — Ко всенощной теперь не мода, — посмеялась она. — Да, — вздохнул Петров. — Мышь одолела, — занимала его мать беседой: — Я на крюк в ловушке насадила сало: уж теперь поймается. — Поймается, — похохотал Петров.

Шаги визжали. Провода и ветви были белы.

Церкви с тусклыми окошками смотрели на луну.

Музей сиял. Прелестные картины, красные от красных фонарей, висели возле входа. Умерла болгарка, лежа на снегу, и полк солдат усыновляет ее дочь. Горилла, раздвигая лозы, подбирается к купающейся деве: «Похищение женщины». Петров шагнул за занавеску и протер очки. — Билет, — потребовал он, посучил усы и тронул бороду и хиромантию, выглядывавшую из кармана.

ПОЖАЛУЙСТА

Ветеринар взял два рубля. Лекарство стоило семь гривен. Пользы не было. — Сходите к бабке, — научили женщины, — она поможет. — Селезнева заперлá калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась.

Предчувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники.

Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли — с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками и в шапках со значками, гордые, прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них: ей платили сорок рублей в месяц, им — рассказывали, что шестьсот.

Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали. — Тетка, эй, — кричали мальчуганы и катились на салазках пóд ноги.

Дворы внизу, с тропинками и яблонями, и луга и лес вдали видны были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка, с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку, и в шинели, отворила ей.

— Смотрите на ту сосенку, — сказала бабка, — и не думайте. — Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке. — Вот соль, — толкнула Селезневу бабка: — вы подсыпьте ей...

Коза нагнулась над питьем и отвернулась от него. Понурясь, Селезнева вышла. — Вот вы где, — сказала гостья в самодельной шляпе, низенькая. Селезнева поздоровалась с ней. — Он придет смотреть вас, — объявила гостья. — Я — советовала бы. Покойница была франтиха, у него все цело — полон дом вещей. — Подняв с земли фонарь, они пошли, обнявшись, медленно.

Гость прибыл — в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником. — Я извиняюсь, — говорил он и, блестя глазами, ухмылялся в сивые усы. — Напротив, — отвечала Селезнева. Гостья наслаждалась, глядя.

— Время мчится, — удивился гость. — Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн.

— Сестры,

— посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв.

— наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз.

— Братья,

— раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Селезневой, чтобы и она не отставала:

— раскройте друг другу объятья:
пройдены годы страданья и слез.

— Прекрасно, — ликовала гостья. — Чудные, правдивые слова. И вы поете превосходно. — Да, — кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой. — До свиданья, — распростились наконец.

Набросив кацавейку, Селезнева выбежала. Мокрым пахло. Музыка неслась издалека. Коза не заблеяла, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе.

Рассвело. С крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила с ним. — Да она жива, — войдя в сарай, сказал он. Селезнева покачала головой. Мальчишки побежали за санями. — Дохлая коза, — кричали они и скакали. Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку.

— Здравствуйте, — внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся, в котиковой шапке из покойницыной муфты, и блестел глазами. Его щеки лоснились. — Ворота у вас настежь, — говорил он, — в школу рановато, дай-ка, думаю. — Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво. — Плачу и рыдаю, — начал напевать он, — егда вижу смерть. — Потупясь, Селезнева прикасалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали на рукава. Ворона каркнула. — Ну, что же, — оттопырил гость усы: — Не буду вас задерживать. Я, вот, хочу прислать к вам женщину: поговорить. — Пожалуйста, — сказала Селезнева.

САД

Делегаты окружного съезда союза медсантруд сидели на скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали ноги и блаженствовали.

Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя набок головы. — А в будущем году еще прекрасней будет, — говорил садовник Чау-Дин-Ши. Растроганные делегатки окружили его. — Можете пустить фонтан? — просили они.

Чернякова посмеялась, глядя на них. — Ишь, — сказала она. В красном галстуке, в кудряшках над морщинами, она сидела под акацией. — Господин китаец, что я вам скажу, — подозвала она: — сегодня будем хоронить Таисию, уборщицыю: вы пожалуйте уже. — С огромным удовольствием, — ответил Чау-Дин-Ши, и она встала и пожала ему руку. — Мы надеемся, — простилась она и, сорвав травинку, повернулась и пошла, мурлыча.

Поэтесса Липец встретилась ей, и она остановилась и любезно поздоровалась: — Мое почтение, товарищ Ли́пецковая, куда спешите?

Обмахнув скамейку, поэтесса Липец села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:

гудками встречен день. Трудящиеся.

— и она, под плеск фонтана, декламировала их. Чернякову ждали неприятности. Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей. Она заголосила. — Это кучер доказал, — сказала она.

Гроб с Таисией прибыл из больницы. Кучер привязал вожжами лошадь и пришел сказать. Управделами отпустил конторщиц проводить Таисию. Построились за гробом. Чернякова, поправляя галстук, встала с профуполномоченным, за ними встали регистраторша с курьершей, а за ними — машинистки: Закушняк и Полуектова. — Но, — крикнул кучер и, держа концы вожжей, пошел рядом с телегой. Загремели по булыжникам колеса. Профуполномоченный взмахнул рукой, шесть голосов запели. Чау-Дин-Ши прошел по саду с колокольчиком и выпроводил посетителей. Он запер на замок калитку и догнал процессию. Чернякова оглянулась на него. Пенсионерка Закс, постукивая палкой, подскочила к нему и спросила, кто покойница. — Уборщица окрэспеэс, — ответил Чау-Дин-Ши любезно. — Знаю я ее, — сказала радостно пенсионерка Закс: — я с ней служила вместе, когда я была секретарем союза работпрос. — Она посеменила, чтобы попасть в ногу, и запела, подымая голову, как курица, глотающая воду. Солнце жарило. Пыль набивалась в рты.

Таисию засыпали. Вскочив на дроги, кучер укатил. Девицы побежали. Секретарь союза медсантруд дал им по делегатскому талону на обед в столовой — надо было захватить места, пока не набрались сезонники. Пенсионерка Закс, попрыгивая, шла с китайцем. Чернякова возвращалась с профуполномоченным.

— Товарищ профуполномоченный, — учтиво говорила она, — на меня доказывают, но подумайте, какая моя ставка: двадцать семь рублей.

В окрэспеэс уже никого не было. Один отсекр окрэмбеит, товарищ Липец, инженер-электротехник — еще сидел. Он подал заявление о прибавке и начал каждый день задерживаться. Он держал газету: был его портрет, его статейка и стихотворение его дочери:

гудками встречен день. Трудящиеся.

Чернякова заперла все двери и смотрела на него. — Товарищ Липецков, — почтительно сказала она, проведя ладонью по губам: — я уж пойду, а то сезонники наскочат. Ключ повесьте в телефонной, если милость ваша будет: у меня там ключевая соберительница, кассыя ключевая.

Было жарко. Тротуар размяк. Телеги, подвозившие кирпич к постройкам, громыхали. Регистраторша, курьерша, машинистки Закушняк и Полуектова уже поели и плелись распаренные, ковыряя языком в зубах. Они перемигнулись с Черняковой. — Хорошо? — спросила она и заторопилась. Образованные люди чинно ели, отставляя пальцы и гоняя мух. На кадках пальм было выведено «Новозыбков». На стенах висели зеркала. Напротив Черняковой интересный кавалер любезничал с девицей. — Вы и сами лимонады, — наливая ей стаканчик, говорил он, — только красненькие. — Неужели, я такая красненькая? — удивлялась она. — Ишь ты, — посмеялась Чернякова и, доев, утерла губы галстуком и вышла, повторяя этот разговор.

Стараясь обогнать друг друга, ей навстречу, бородатые, неслись сезонники. В окрэспеэс она открыла окна. Воздух ворвался. За крышами видны были луга, стада пестрелись, голые мальчишки бегали вдоль речки. Чернякова подоткнула юбку, засучила рукава и начала уборку. — Вы такие красненькие, — говорила она, делала приятную улыбку и смеялась.

Перестали грохотать телеги. Конартдив, резерв милиции и ассенобоз по очереди проскакали к речке: подымалась пыль и затемняла солнце. Тусклое, оно спускалось к кепке памятника. Сад был полон.

Женщины стояли у фонтана и бродили вокруг клумб. Мужчины, развалясь, в рубашках из «туаль-дю-нор»*, сидели. Волейбольщики скакали, отбивая головами мяч. Пенсионерка Закс ходила за китайцем.

— Я воображаю, как вам скучно с нами, — говорила она. Черникова подошла и слушала с участием. — Умерла́ Таисия, — сказала она, кашлянув. Побагровели облака и побледнели. Съезд союза медсантруд закрылся и запел «Вставай». Цветы запахли. Громкоговоритель закричал «Алло». Темно стало, присматривать за посетителями стало трудно. Чау-Дин-Ши прошелся с колокольчиком. Он запер на замок калитку и пошел к Прокопчику. Пенсионерка Закс и Чернякова провожали его. Фонари покачивались тихо. Запах сена прилетал с лугов. В окне у оптика стояли гипсовые головы в очках, и в их глазах то загоралось электричество, то гасло. — Господин китаец, это красота, — сказала Чернякова. — Замечательные вещи, — согласился Чау-Дин-Ши. Пенсионерка Закс, насупившаяся, простилась. — Не подумайте, что я устала, — предостерегла она.

Костры плотовщиков горели у реки. Луна всходила. Золотые буквы водной станции окрэспеэс блестели. Поздние купальщики плескались в темноте. Прокопчик сосал трубку. Он был рад гостям. — Мое почтение, — приветливо здоровались они, — как поживаете? — и жали ему руку. — Прилетела культотдельша, — рассказал он, — требовала, чтобы все были в труса́х. — Качали головами и смеялись. В городе горели огоньки. Вода журчала. — Кучер на меня доказывает, сукин сын, — пожаловалась Чернякова. — Эх, — сказала она, заиграла на губах и завертелась, грохоча. Мужчины ей подтопывали. Галстук разлетался.

вы такии
красненькии,

— выводила она и трясла боками, топоча, и вскрикивала.

Поэтесса Липец, обратив лицо к луне, прогуливалась, и ее отец, отсекр окрэмбеит, прогуливался вместе с ней. Они прогуливались, отсмотрев спектакль, делегатские билеты на который получили от секретаря союза медсантруд. Шарф поэтессы Липец развевался. Глядя вверх, она покачивала головой и декламировала тихо:

— гудками встречен день. Трудящиеся.

---

* *Букв.*: холст с севера (*фр.*).

ПОРТРЕТ

1

Как всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина.

Он тряс над тазом самовар и, как всегда, любезно пошутил, кивнув на мои ведра: — Фызькультура.

Как всегда, раскланявшись с маман, мы вышли, и в воротах, распахнув калитку, отец, галантный, пропустил меня. По тени я увидела, что горблюсь, и выпрямилась.

Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. Старики сидели на завалинках. Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, разбрызгивались. Как всегда, на повороте, тронув козырек, отец откланялся.

Четыре четырехэтажных дома показались, площадь с фонарями и громкоговорителями. Подоткнув шинели, бегали солдаты с ружьями, бросались на землю и вскакивали. Стоя на крыльце и переглядываясь, канцелярские девицы их рассматривали. Шляпы отражались в полированных столбах.

Хваля погоду, мы уселись. Счеты стали щелкать. В кофте «сольферин» прошла товарищ Шацкина и осмотрела нас. Передвигалось солнце. Тень аэроплана пробежала по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики.

После обеда, кончив мыть, маман переоделась и, в перчатках, чинная, отправилась.

— Мы выбираем дьякона, — остановилась она и взглянула на меня и на отца внушительно.

— Прекрасно, — похвалили мы.

Отец, прищуриваясь, шелестел газетой. Ветви перекрещивались за окном. В конюшне за забором переступала лошадь.

Постучались гостьи и, расстегивая выхухоль на шее, радостно смотрели на нас кверху, низенькие. Брошь-цветок и брошь-кинжал блестели. — Я иду сказать маман, — сбежала я.

Она, торжественная, как в фотографии, сидела в школе. Старушенции шептались. Кандидат на дьяконскую должность, в галифе, ораторствовал.

— Я из пролетарского происхождения, — восклицал он.

Разноцветные, с готическими буквами, висели диаграммы: мостовых две тысячи квадратных метров, фонарей двенадцать, каланча одна.

— А вы учились в семинарии? — поднялась маман.

Я позвала ее.

Затягивались лужицы в следах. Выскакивали люди без пальто и шапок, закрывали ставни. Мальчуганы разговаривали, сидя на крыльце, и их коньки болтались и позвякивали.

Улица Москвы, по-старому — Московская, шумела. Рявкали автобусы. Извозчики откидывали фартуки. Взойдя на паперть, я взяла билет. Стояли пальмы. Рыбки разевали рты. Топтались кавалеры, задирая подбородки, и выпячивали бантики. Я терлась между ними.

Ричард Толмедж был показан в безрукавке и коротеньких штанишках. Он лечился от любви, и врач его осматривал.

— Милашка Ричард, — улыбались мы и взглядывали друг на друга, сияя.

Сверх программы — музыкальные сатирики Фис-Дис трубили в веники. — Осел, осел, — кричали они, — где ты? — и отвечали: — Я в президиуме Второго интернационала.

Наскакивая на прохожих, я гналась за ним. — Послушайте, — хотела крикнуть я. Он шел, раскачиваясь, невысокий, с поднятым воротником и в кепке с клапаном.

Отец остановил меня. Он тоже убежал от го́стий. — Ричард мил? — спросил он, и по голосу я видела, как он приподнял брови: — И идеология приемлемая?

Узкая луна блестела за ветвями. На тенях светлелись дырки. Дикие собаки спали на снегу.

— Да, да, — кивала я, не слушая... Тот, в кепке, — в толкотне у двери он ощупывал меня.

Маман, с полузакрытыми глазами, с полотенцем на плече, перемывая чашки, улыбалась. Гостьи только что ушли — сапожной мазью еще пахло.

— Вот, — снисходительно сказала нам маман, — вы ничего не знаете. Поляки взяли Полоцк. Из Укра́ины пришло письмо — она решила не давать нам мяса.

Как всегда, мы сели. Кошка, тряся стул, лизала у себя под хвостиком. Отец шуршал страницами. Маман, посмеиваясь, пришивала кружево к штанам. Я перелистывала книгу. — Анна Чилляг, волосастая, шагала и несла перед собой цветок. Поль Крюгер улыбался. Это — гостьи принесли.

2

На крыльце, таинственный, хозяин задержал нас. — Подрались, — сказал он: — Луначарский двинул Рыкову.

Мы вышли. Лужицы темнелись у ворот. Вытягивая шеи, куры пили. Пробегали кавалеры и посвистывали. Их прически выбивались. Капельки блестели на плечах. Мальчишка мазал стены, прилеплял афиши и разглаживал: Митрополит Введенский едет.

Есть ли бог?

Отец откланялся. Аэроплан жужжал. Флаг развевался, прикрепленный за углы, и небо между ним и древком синелось.

К надписи над театром проводили электричество. Монтер, приставив к глазам руку, шел по крыше и раскачивался, невысокий. — Это он, — подумала я. — Что там? — спрашивали у меня, остановясь. Меня толкнули. Лаком для ногтей запахло. Выгнув бок, кокетливая Иванова в красной шляпе поздоровалась со мной. Я сделала приятное лицо, и мы отправились. — Весна, — поговорили мы.

В двенадцать, когда, взглядывая в зеркальце, положенное в стол, она закусывала, я подъехала к ней. Колбаса лежала на газете. — «И избил», — прочла я, — «проходившую гражданку по улице Москвы». — Я кашлянула скромно.

— Вы будете на вечере? — спросила я.

Все были приодеты. Благовония носились. К лампочкам были привязаны бумажки. Хвоя сыпалась. Подшефный середняк сидел с товарищ Шацкиной и кашлял.

Выступали физкультурники в лиловых безрукавках, подымали руки, волоса под мышками показывались. Хор пел.

Балалаечники, поводя глазами, забренчали. Мы покачивались на местах, приплясывая туловищами.

Товарищ Шацкина, довольная, оглядывала нас: — Хорошо, — зажмуривались мы и хлопали ладошками. Содружественная часть подтопывала.

— тихо,

— как когда я была маленькая, завертелся вальс, —

— кругом,
и ветер на сопках рыдает.

— Я пойду на лекцию, — перестав смотреть на дверь, сказала Иванова: — нет ли там чего, — и вытащила пудру: озеро с кувшинками и лебедь.

Подмерзло. Две больших звезды, как пуговицы на спине пальто, блестели. Над театром, красные, окрашивая снег на площади и воздух, горели буквы. Люди в кепках проходили.

Я — приглядывалась к ним.

Сад цвел на сцене. Нимфа за кустом белелась, прикрывая грудь. Митрополит Введенский возражал безбожнику губернского значения Петрову. Мы рассматривали зрителей. Отец сидел, зевал. Он кивнул мне. — Гостьи, — объяснил он.

— Вот он, — засияла Иванова и толкнула меня: Жоржик с электрической увидел нас.

— Электрик, — рекомендовался он мне.

— Выйдемте, — сказала Иванова и в фойе, отсвечиваясь в мраморных стенах, под пальмой, упрекала его. Он оправдывался, задирая брови. — Я хотел прийти, — в чем дело? — говорил он, — но, представьте, прачка подвела. — А ну вас, — отворачивалась Иванова томно.

Препираясь, мы спустились к улице Москвы. Бензином завоняло. Невский вспомнился — с автомобильными лучами и кружащимися в них снежинками.

От бакалейной, наступая на чужие пятки, мы шагали до аптеки и повертывались. Милиционериха стояла скромно, в высоко надетом поясе. Встряхнулась лошадь, и бубенчик вздрогнул.

— Пушкин, где ты? — говорили впереди. Конфузясь, Иванова прыскала. — Товарищи, — солидно сказал Жоржик: — Неудобно. — На́ плешь, — оглянулись на него.

Снимая шапку, он раскланивался. — Доброго здоровья, — восклицал он. Я — присматривалась.

У больших домов отец догнал меня. Он что-то говорил, смеясь, и пожимал плечами. Я поддакивала и хихикала, не вслушиваясь. Было пусто в переулках. Вырезанные в ставнях звезды и сердца светились.

— в магазине Кнопа,

— пели за углом.

Маман была оживлена. Сапожной мазью и помадой пахло. Библия лежала на столе.

— Все, все предсказано здесь, — радостно сказала нам маман и посмотрела значительно.

3

Маман прислушалась. — Идут, — вскочила она и концами пальцев обмахнула грудь — как стряхивают крошки.

Как всегда, мы вышли переждать под грушами. Кулич был виден. Цинерария стояла на окне.

— Христос,

— задребезжали в доме. Запах церкви прилетел. Кругом звонили. Кошка, глядя вверх, следила за аэропланами. Затопотали по ступенькам. Духовенство, надевая шляпы и качая талиями, спускалось, и маман, величественная, с крыльца кивала ему.

Прибыли хозяева и поздравляли. — Милости прошу, — усаживала их маман. Все улыбались. — Я к больным, — сказал отец. Я тоже улизнула. Вилки и ножи стучали вслед.

Гуляли семьи. Маленькие дети спали на руках. Колокола звонили. — «Праздники», — расклеены были афиши, — «дни есенинщины».

Гостьи семенили, горбясь, — торопились к нам, в роскошных кофтах и в чалмах из шалей. Я свернула в садик, нелюбезная.

Шуршали листья — прошлогодние. Травинки пробивались.

— В Пензе, — разговаривали на скамье, — все женщины безнравственны.

Подкралась Иванова, ткнула меня пальцем и сказала: — Кх. — Она благоухала. Коленкоровые фиалки украшали ее.

— Я тянула счастье, — засмеялась она.

Хлопала калитка. Совработники в резиновых пальто входили. Щелкнув сумкой, мы смотрелись в зеркальце. Часы пробили. — Знаю, — встала Иванова, — где он.

Громкоговорители на площади хрипели. Кавалеры в новеньких костюмах, положив друг другу руки на плечи, толпились над лотками. Яйца стукались. В окне светился транспарант с цитатой, и веревка, унизанная красными бумажками, висела. Мы вошли. Засаленными книжками воняло. Подпершись, библиотекарша сидела за прилавком. Дама в профиль красовалась на ее воротнике.

— У вас щека запачкана, — сказала Иванова. — Это от пороха, — ответила она и посмотрела гордо. Общество друзей библиотеки заседало — Жоржик и стеклографистка Прохорова. В голубом, она жевала что-то масляное, и ее лицо блестело.

Жоржик был рассеян. Вдохновенный, он ерошил волосы. — «Проклятие тебе», — раскрашивал он надпись, — «мистер Троцкий». — Вежеталем «Виолетт де Парм»* пахло.

— Лозгуны́? — приблизившись, спросила Иванова мрачно. Я посторонилась. «Виринея» и «Наталья Тарпова» лежали на рекомендательном столе. В газете я нашла товарищ Шацкину: она идет в рядах, — «Прочь пессимизм и неверие», — несет она плакатик, — «Пуанкаре, получи по харе», — реет над ней флаг.

Дождь хлынул. Отворилась дверь. Все посмотрели. — Гришка с огородов, — объявила Прохорова.

Невысокий, он стоял, отряхивая кепку с клапаном...

Из главной комнаты, присев на стул, на нас смотрела подавальщица. Мы чокались, стесняясь. На столах были расставлены бумажные цветы.

— За ваше, — подымал галантно Жоржик и опрокидывал. — Жаль, — горевал он, заедая, — что здесь не разрешают петь: как

---

* Туалетная вода «Пармская фиалка» (*фр.*).

дивно было бы. — Да, — соглашались мы, а подавальщица вздыхала в другой комнате и говорила: — Запрещёно.

— Вы чуждая, — сказала Прохорова, — элементка, но вы мне нравитесь. — Я рада, — благодарила я. Тускнели понемногу лампы. Голоса сливались. Откровенности и дружбы захотелось. Иванова встала и пожала Прохоровой руку. — Я иду, — бежала я тогда.

Прильнув к окну, хозяева подслушивали. Цинерария бросала на них тень. За занавеской ложки звякали, маман солидно рассуждала, гостьи, умиленные, поддакивали ей.

Я уходила, спотыкаясь. — Набрала́сь, — оглядывались на меня. Хихикнув, совторгслужащие говорили шепотом: — Кабу́ки. — Громкоговорители наигрывали.

В театре, как всегда, стреляли. Чистильщик сапог укладывал свой шкаф. Мороженщики, разъезжаясь, грохотали.

Шум стоял на улице Москвы. На паперти толпились кавалеры, покупая семечки.

В фойе чернелись пальмы. Рыбки разевали рты. Гремел оркестр. Зрители приваливались к дамам. Али-Вали́ отре́зал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.

— Не чудо, а наука, — пояснил он: — Чудес нет.

Мы переглядывались в изумлении. У дверей толкались. Зашипев, взвилась ракета. Звезды над аптекой вздрагивали.

Я одна осталась. В темноте отзванивали. Щелкали по башмакам шнурки.

Укра́инская труппа топотала, вскрикивая: — Гоп. — Губернский резерв милиции раздевался, сидя на кроватях.

Сонные собаки подымали головы. В разливе отражались какие-то огни.

На огородах было тихо. Ничего не видно было. Сыростью прохватывало.

4

Груши падали, стуча. Хозяева выскакивали и, бросаясь, схватывали их. По приставленной к забору лестнице они перелезали на соседний двор и возвращались с яблоками: юс толленди*.

Почтальонша отворила дверь и крикнула. Я приняла газету. Циля Лазаревна Ром меняла имя. Буржуазная картина «Генерал» обругивалась: почему не северянина изображает Бестер Китон?

— С праздником, — пришла маман. Демонстративно посмотрела и, вздыхая, сунула свой поминальник за горчичницу.

* Право отнимать (*лат.*).

Деревья были желты. Листья приставали к каблукам.

— Рахиля,

— напевал меланхолично чистильщик. Его фуфайку распирали мускулы. В разрезе ворота чернелись волоса. Шнурки для башмаков, повешенные за один конец, качались.

— вы мне даны.

В саду Культуры клумбы отцвели. — «Желающие граждане купить цветы», — не сняты были доски, — «можно у садовника». Фонтанчик «гусь» поплескивал.

Борцы сидели, подбоченясь. В модных шляпах, они напоминали иностранцев из захватывающих драм. Гражданки, распалясь, вставали и подрагивали мякотями.

В цирке щелкал хлыст. Мелькали за открытой дверью лошади. Наездница подскакивала.

Прохорова вышла из буфета с чемпионом мира Слуцкером. Они дожевывали что-то, и ее лицо блестело.

Ивановой не было. Общественница, она работала в комиссии по проводам товарищ Шацкиной.

Кружок военных знаний занимался за акациями. — Самый, — хмурил брови лектор, — смертоносный газ — забыл его название — начинается на хве. — Карандаши скрипели.

Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике «юнг-штурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый. — Теплый день, — поговорили мы и помолчали. Прохорова, вероломная, была видна ему. — А подмораживало уж, — сказала я. — Действительно, — ответил он: — температура превышала.

— Осень, — попрощались мы.

На улице Москвы толпились — ожидались похороны летчика. Зеленый шар мерцал в аптеке. На окне стоял флакон с Невой и Крепостью.

Автобус загудел. Сквозь стекла пассажиры посторонними глазами посмотрели на нас. Они — ехали.

Обоз с картошкой прибыл. — «Наш ответ китайским генералам», — пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее.

Хозяин, отставляя руку, нес в жестянке керосин. — За Иордан? — осклабясь, как всегда, полебезил он. Звери в балагане вскрикивали. Музыкант с букетом на груди отзванивал на водочных бутылках. — «Мост опасен», — предостерегала надпись. Рыболовы,

молчаливые, вертели ручки удочек с накручиваньем. Прачки с красными ногами наклонялись над водой. Ракиты осыпа́лись.

Паутина облепила кочки на лугу. Бродили гуси. Черепа и кости были нарисованы на электрических столбах.

Я села у большого камня, про который знала из газеты, что его желательно использовать при установке памятника. Узенькие листья плыли. Новые дома, белеясь на горе, блестели стеклами. На огородах кочаны круглелись, как зелененькие розы.

Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркались в трусиках. Потом посбрасывали их и бегали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через голову.

Я поднялась, бледнея. Это он был — не монтер, не Гришка, а тот самый, с клапаном.

— Послушайте, — хотела крикнуть я.

— Сфотографировать? — спросил он расторопно, повернулся, наклонился и дотронулся до сгиба. — Вот портрет, — сказал он, показав ладонь.

Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой.

МАТЕРЬЯЛ

Годулевич получила вызов на соревнованье и обдумала его. Два пункта приняла, два отклонила и в один внесла поправку.

По соревнованию она должна была вести работу среди масс на воздухе. Закрыв библиотеку, она каждый вечер с несколькими книжками переходила в сад и привлекательно раскладывала их на столике в конце аллеи. Под залог какого-нибудь документа можно было брать их и читать под фонарем.

Она сидела. Киноаппарат трещал. Оркестр играл от времени до времени. Мальчишки подбегали иногда и делали ей эротические знаки пальцами или смотрели на нее в картонные очки, похожие на маски, с красным и зеленым стеклышками, выдававшиеся к «Чудесам теней». Один раз мимо столика прошли два кавалера, разговаривая о крем-соде.

Когда било десять, Годулевич уходила. Краковяки и мазурки раздавались вслед. Светила иногда луна, а иногда висели тучи и мигали молнии вдали. Из окон венстационара, освещенные из комнаты, высовывались люди в незастегнутых рубахах. — Дайте покурить, — просили они. Годулевич убегала в страхе. Башмаки стучали. — Всё работаете, — говорила ей хозяйка, отпирая, и она ложилась.

В выходные дни она ходила на картину, если была драма. Когда шла комедия, она сидела во дворе на ле́днике. Она читала, а внизу расхаживали люди, петухи кричали. Приходили гости к инженеру Сидорову — инженер Смирнов из коммунального отдела и старушка Паскудня́к из цеэрка́. Малинников со скрипкой появлялся у окна, насупясь, и играл «Кол-Нидрэй».

Вечер наступал. Гремели иногда телеги. Музыка летела из садов. Дверь открывалась. Сидоровы, стоя на пороге, оба длинные, махали вслед своим гостям. Белеясь в темноте, они отмахивались.

Раз Смирнов вернулся. — Да, — сказал он, — вы слыхали новые куплеты «Ленин любит деток»? — оглянулся и запел вполголоса. Приблизясь, Годулевич кашлянула. Стало тихо, дверь захлопнулась, и гости разошлись.

Дни были до́лги, а недели коротки. Прошли кампании о кооперации и антивоенная. — «Работая на воздухе», — писала Годулевич в заявлении о предоставлении ей места в доме отдыха, — «я не

ослабила работу и в зимнем помещении. В результате мои нервы несколько расстроились». — И правда, она стала раздражительной и чуть не поругалась с абоненткой Рекс, которая спросила песенник.

В газете появилось объявление о чистке в коммунальном. Годулевич села и взяла перо. Она решила выступить там с матерьялом о Смирнове. Чтобы не забыть чего-нибудь, она составила записку.

В синем платье с желтыми полосками она отправилась. Венерики смотрели на нее из окон. На углах были расклеены портреты корифейки Степанянц и прима-балерины Праведниковой. Встречались абоненты и притрагивались к козырькам.

На чистке было людно. Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые. Смирнов держал перед собой газету. Он дул нá руки, подсовывал их под себя, вставал и выходил, позеленевший. Годулевич пожалела его. — Ну его, — подумала она.

Она раскаивалась в этом малодушии, когда приехала из дома отдыха, потяжелевшая на восемь фунтов, черная и шумная. Но ничего уже нельзя было исправить. Инженер Смирнов в ее отсутствие выбыл вместе с Сидоровыми в Таджикистан, откуда инженер Хозяинов по телеграфу известил их о местечках с дефицитными предметами и ставкой тысяча семьсот.

Уже прислали циркуляр о зимней культработе, и заведующий клубом обещал дать Годулевич почитать его. Старушка Паскудня́к, несмело улыбаясь, приходила на закате и сидела во дворе. — Когда они грузились, — просияв, смеялась она, — помните? — сбежались люди и смотрели. — Я была в отъезде, — говорила Годулевич и рассказывала ей о доме отдыха. Старушка Паскудняк заслушивалась, тихая. Малинников в подтяжках подходил.

Она рассказывала, сколько там давали масла и какой приятный собеседник был товарищ Шацкий из Клинцов. Она рассказывала, как придумала заметку для живой газеты, и как с Эльгой Нóхимовной Рог пошла смотреть деревню: хлеб уже был убран, и кругом просторно было; ящерица побежала из-под ног; покрытые соломой, показались избы — сани и ходы́ валялись возле них.

ЧАЙ

Произносили речи: и родитель Пе́хтерев, член горсовета (— Я скажу вам кратенько, — предупредил он), и заведующая, — поглядывая кверху, как колоратурное сопрано, исполняющее номер после кинодрамы, — и руководительницы, называемые тётями, и красноармеец Миша от содружественной части, — покраснев, — и Коля-пионер, — бася́, — и Гаврик с детплощадки. Уговаривали выступить Агафьюшку, колхозницу. Она не соглашалась.

— Детки, — встала тогда докторша и кашлянула. — Мы передаем вас в школу. Но не надо беспокоиться. Там тоже будет врач, и он вам будет подавать медпомощь.

Поднялáсь кухарка Дарьюшка, поправила на голове платок и помолчала. — Детки, — жалостно сказала она, — вы довольны мной? — Довольны, — отвечали они. — Я вас обижала? — продолжала она спрашивать. — Ругала вас? Бесчестила вас? — Нет, — разжалобясь, пищали они хором, — нет! — Все́ были тронуты.

Торжественная часть закончилась. Президиум сошел с подмостков. — Миша, — закричали дети, обступив красноармейца, и повисли на нем. Коля-пионер нахмурился и, отойдя в сторонку, ревновал. Родители толпились возле стен, рассматривая развешенные на них детские работы и «строительные матерьялы» в ящике в углу. — Тётя, — подзывали они иногда и спрашивали разъяснений.

— Детки, — появляясь в растворившихся дверях столовой, позвалá заведующая. За нею самовар и крýжки на столе видны были. — А для родителей, — блаженно улыбнулась она, — будет позже, когда отведут детей.

Все́ посмотрели друг на друга. Для родителей! Вот это был сюрприз. — А я, пожалуй, не смогу прийти второй раз, — заявила мама Гаврика. — Так кáк же быть? — спросила у нее заведующая в раздумье, просияла и, обняв ее за талью, посадила ее пить с детьми.

Счастливые, напившись, они спели. — Мы вернемся, — говорили, уходя, родители. — Прощайте, дети, — восклицали тёти.

Пионеру Коле и красноармейцу Мише дали по конфете и, пока идет уборка, попросили подождать в саду.

Закат был красный, и антенны над домами напоминали «кóлья для насаживания черепов» из книжки с путешествиями. Белый

исправдом казался синим. Арестанты, привалясь к решеткам, длинно пели: — А!

Красноармеец Миша поднял яблоко и по́дал Коле. — Ка́к, брат? — взяв его за плечи, спросил он, и Коля полюбил его. Они разговорились. Незаметно летело время. Из открытых окон радиодоклады раздавались. Расходясь со стадиона, распаленные футбольщики, невидимые за забором, переругивались.

Чай был параден. Чинно пили. — Пироги, — сияя, поясняли тёти, — испекли мы сами, а жа́мочки нам отпустили в цеэрка́. — Приятно было. Шайкина и Порохонникова перечислили предметы, выдаваемые из закрытого распределителя. Все́ оживились. Стало шумно. Дарьюшка, облокотясь, расспрашивала Мишу, что бывает у красноармейцев на обед. Агафьюшка развеселилась и рассказывала, как выходит на работу, а сама боится, чтобы не спалили двор.

Родитель Давидю́к принес с собой гармонию. Поблескивая бляхами, она лежала. Перешли в большую комнату, и Давидю́к уселся и закинул ногу на́ ногу. Вальс начался́. Поправив галстук, Коля побежал к красноармейцу Мише, чтобы пригласить его. А Миша, обхватив техничку Настеньку, уже вертелся и нашептывал ей что-то. Дарьюшка смеялась и кивала на них. Тёти, уронив головки на́бок, скромно танцевали, взяв друг друга за́ руки.

— Поищем яблочка, — шепнула Порохонниковой Шайкина. Танцуя, они выскользнули. На крыльце был Коля. Не оглядываясь, он стоял лицом в потемки. Докторша сидела, съёжась. Подтолкнув друг друга, Порохонникова с Шайкиной остановились. Сорвала́сь звезда и покатилась, словно сбросилась на парашюте. Было тихо впереди, оттопывали сзади.

Пе́хтерев, член горсовета, появился на крыльце. Он почесал затылок. — Целое собрание, — сказал он. — А для воздуху́, — хихикнув, пояснила Шайкина. Поговорили о водоразборных будках: горсовет постановил сломать их и поставить автоматы с дыркой для гроше́й. Пенсне блеснуло. Докторша заволновалась на скамье. — В Америке, — засуетилась она, — всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад. — Скажите, — отвечали ей.

Никто не расходился. Все́ хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника. Там тротуары двигаются, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей.

Город Эн

ГОРОД ЭН

Александру Павловичу Дроздову

1

Дождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались «паж». Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. — Не оглядывайся, — говорила мне маман.

Тюремный за́мок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней. — Нет, в самом деле, — говорили они, — трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме.

Сморкаясь, нас обогнала́ внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку «Чичиков». В воротах все остановились, чтобы расстегнуть пажи, и дама-Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. — Симпатичная, — сказала про нее маман.

Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. — На проскомидию, — отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кадил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За за́мком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хор на нас смотрели арестанты. — Стой как следует, — велела мне маман.

Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. — Мадмазель Горшкова, — пояснила Александра Львовна, покивав ей. Дама-Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды.

Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все́ встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях. — Не надо избегать их, — говорил он. — Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбе́й и горько плакал: — Бог забыл меня, — печалился он.

— Ах, как это верно, — удивлялись дамы, выйдя за воро́та и опять принявшись за «пажи». Дождь капал понемногу. Мадмазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадмазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них.

Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор взобрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом. — Верно, верно, — соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой. Мадмазель Горшкова куталась в боа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама-Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом.

Простившись с мадмазель Горшковой, мы поговорили про нее. — Воспитанная, — похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь. — Завернем сюда, — сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин Л. Кусман. Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная Л. Кусман блеклыми глазами грустно оглядела нас. — Я редко вижу вас, — сказала она нежно. — Дайте мне «Священную историю», — попросила у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня.

Л. Кусман показала на меня глазами, сунула в «Священную историю» картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. — Рубль десять, — объявила она цену и потом сказала: — Для вас — рубль.

Картинка оказалась — «ангел». Весь покрытый лаком, он, вдобавок, был местами выпуклый. Маман накле́ила его в столовой на

обои. — Пусть следит, чтобы ты ел как следует, — сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. — Миленький, — с любовью думал я.

2

Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам, и что́ там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узна́ет об их дружбе и пожалует их генералами.

— Чем увлекаетесь? — спросила у меня маман. Она всегда так говорила вместо «что читаете?». — Зови Цецилию, — сказала она, — и иди гулять. — Цецилия, — закричал я, и она примчалась, низенькая. Доставая фартук, она слазила в свой сундучок, который назывался «скрынка». Проиграла музыка в замке́, и показался Лев XIII. Он был наклеен изнутри на крышку.

День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, ло́снилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра к-ца Митрофанова. Марш грянул. Приближалась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Л. Кусман приоткрыла свою дверь.

Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубахе с кружевом нес крест, ксендз выступал, надувшись. — Там, — произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху, — няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им. — Я не верил этому.

— Вот, кажется, хороший переулочек, — сказала мне Цецилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей, он белелся за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего от улицы, сидели нищие. Цецилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Л. Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирев. Шаги звучали гулко. — Наша вера правильная, — хвасталась Цецилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней.

Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне и подтолкнул Цецилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их книзу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цецилия закрыла мне лицо ладонью. — Плюнь, — велела она мне и закрестилась: — Езус, Марья. — Мы бежали.

— «Страшный мальчик», — озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно.

Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам, и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она «на практике». Мне прибавляли киселя два раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорей восстановились. На стене передо мной был ангел от Л. Кусман. С пальмовою веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой.

Явился Пшиборовский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами, он напоминал картинку «Ницше». Поднявши́сь, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. — В объятия Морфея, — пояснил с почтительностью Пшиборовский, поклонившись ему вслед. — Располагайтесь здесь, — распорядилась, оставаясь за столом, маман. — Не сто́ит зажигать вторую лампу. — Истинно, — ответил Пшиборовский.

Заблестели разные щипцы и ножницы. — Сегодня, — говорил он, чистя, — мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная. — И он рассказывал ее: как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности. — Это верно, — согласилась снисходительно маман и призадумалась. — Ведь бог один, — сказала она, — только веры разные. — Вот именно, — расчувствовался Пшиборовский. Он сиял.

Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Лей. Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился.

В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, взволновались и, пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо. — Нет, а Лейкин, — засыпая, слышал я: — Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? — И они смеялись шепотом.

3

Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цецилию мы выгнали. Она поносила нашу религию, и это стало известно маман.

Замóк скрынки сыграл свою музыку, папа Лев показался еще раз — в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решил распроститься с Цецилией дружески и поднести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул его ей, но она оттолкнула его.

Фáкторка Кáган прислала нам новую няньку. Она была из униаток, и это всем нравилось. — Есть даже медаль, — говорили нам гости, — в честь уничтожения унии. — Рождество наступило. Маман улыбалась и ходила довольная. — Вспоминается детство, — твердила она.

Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завитáя и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивал нас духами из пульверизатора. — Как светло на душе, — подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман. — Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?

Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемистóклюсом и Алкидом Маниловыми.

Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубочисты и банщики и поздравляли нас. — Хорошо, хорошо, — говорили мы им и давали целковые. Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визитными карточками: оркестры из ангелов играли на скрипках, мужчины во фраках и дамы со шлейфами — чокались, над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны.

Маман, улыбаясь, подсела ко мне. — Нынче ночью, — сказала она, — я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь. Завтра он будет у нас. — Она встала, посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять.

Пахло снегом. Ворóны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало. — Вдруг это Серж, — говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам. Толстый

Штраус прокатил, в серой куртке и маленькой шляпе с зелененьким перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на пояснице. В соборе звонили, и все́ направлялись в ту сторону — посмотреть на парад.

Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притопывали. Полицейские на больших лошадях, наезжая, отодвигали народ. Колокола затрезвонили. Все встрепенулись. Нагнувшись, в дверях показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен. Парад начался. Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами, это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела (на обоях в столовой), и я умилился. — Голубчик, — подумал я.

Мы возвращались военной походкой под звуки удалявшейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвёз меня. Нянька бежала за нами.

Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитёр. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу «Дрейфус читает журнал» и рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины. — Идете, — сказал он, — и видите, как извозчичьи дрожки несутся бесшумно.

Обедая, мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшиборовского, но она оказалась, бедняжка, на практике.

Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах. — Успехи науки, — подивились они. Бородатые, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким. — Пас, — объявляли они. Один из них был «выходящий», и маман занимала его. — Я вчера познакомилась, — говорила она, — с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас. — И Серж тоже, — сказал я.

Час их прихода настал наконец. Зазвенел колокольчик. Я выбежал. Лампа горела в передней. Маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб, дама-Чичиков и Страшный мальчик.

4

Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира». — Вы ездите в крепость? — спросила она: — по субботам там бывают акафисты.

Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спéреди. — Как у больших, — удивился я. Мы поболтали с ним. — Серж, — оглянувшись, спросил я его: — это ты один раз состроил мне страшную рожу? — Он побожился, что нет. Я был тронут.

Отец вышел к чаю, когда гости óтбыли. Страшно довольная, маман напевала и с хитреньким видом посмеивалась. — Знаешь, — сказала она, — мы условились с ней перечесть вместе Лейкина.

Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку елки. Серебряный дождик блестел на ней. — Серж, Серж, ах, Серж, — повторял я.

Потом мы с маман побывали у них. Целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимназистку Софи Самоквасову. — Очень приятно, — сказала Софи. Взяв друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся «будуар». Я пожал Сержу руку: — Мы с тобой — как Манилов и Чичиков. — Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их. — Вот Дон-Кихот, — показал мне Серж: — он был дурак. — Перед чаем Софи Самоквасова потанцевала нам с шарфом. — Прекрасно, — рукоплеща, говорила маман. — Серж хороший? — спросила она, когда мы возвращались. — Да, он воспитанный мальчик, — ответил я ей.

К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинок саратовской фабрики. Мы рассказали ей о нашей дружбе с Кармановыми.

Через несколько дней мы увиделись с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного. Мы жмурились, стоя на дамбе.

Внизу шевелились хоругви. Пестрелись туалеты священников. Елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софи Самоквасова прибежала откуда-то и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам. — Очень рад, — восклицал он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якори и топоры. Борода у него была всклочена и казалась нечесаной. — Водосвятие прошло очень мило, — сказал он и из-за пенсне подмигнул мне. Прощаясь, он пригласил меня на железнодорожную елку.

Расставшись с ним, мы впятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие, они издали походили на свечки. — Говорят, это бывший костел, — рассказала Софи Самоквасова. Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Мимо, с солдатом на козлах, промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке:

Мадам Фу-Фу —
Голова в пуху.
Одета по моде,
А голова-то в комоде.

Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась. — Дни стали заметно длиннее,— сказала она.

Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чаплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались.

На том же извозчике мы отправились в театр. Военный оркестр играл там под управлением капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они — электрические. Нам поднесли по игрушечной лошади, и мы послали Чаплинского отнести их домой.

Серж бывал уже здесь. Он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский за́мок». — Послушай, — сказал он мне вдруг: — это я тогда состроил тебе страшную рожу.

Потом он поклялся, что это не он был.

5

Кармановы перебрали́сь в дом Янека и заняли квартиру в десять комнат. Самая больша́я называлась «зал». На масленице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды подсмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и протягивала к нему руки. — Александр, — говорила она трогательно, — о, прости меня.

Белугиных перевели в Митаву. Уезжая, они пе́редали нам свою квартиру в доме Янека. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чаплинского — помочь при переезде. К огорчению маман, отец не принял его. Пшиборовский, упаковывавший вещи, посочувствовал ей.

Ангел, поднесенный мне Л. Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было. Я поцеловал его.

К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам пироги и крендели. Маман явился ночью господин, который умер в этом доме. — Можете себе представить, — говорила она. По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора. Он отслужил молебен. Александра Львовна Лей и инженерша с Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была поставлена икона и вода в салатнике. Попев, как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе.

Ка́ган, фа́кторка, опять искала для нас няньку. Униатка нагрубила, и маман отправила ее. Взволнованная, она в тот вечер не читала с инженершей Лейкина, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей. — Находка, — закричала она, что-то разворачивая. Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами. — Замечательно, — одобрили мы. Дело в том, сказала Александра Львовна, что при выходе из дома она встретила портниху, панну Пле́пис. Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах.

Масленица приближалась. Пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделывали па.

Пойдем, пойдем, ангел милый, —

напевали они тоненько, —

Польку танцевать со мной.
Слышишь, слышишь звуки польки,
Звуки польки неземной?

Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка и в ней — Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки.

Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей. — Софи, — сказала она, подходя к девицам, — там Иван Фомич. Он сделал предложение. — Мне было жаль, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Сенченкова. Из нее шел дым.

Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди ученики стояли скромно. На средине бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лестно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в «училище», а инженерша стала сообщать училищные новости. Так мы узнали об ученике шестого класса Васе Стрижкине. Во время физики он закурил сигарку и с согласия родителей был высечен.

Зима кончалась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег. Опять загрохотали дрожки. Наши матери говели и водили нас с собой. На потолке в соборе было небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его.

Раз как-то инженерша с Сержем завернула к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах «карамель Мерси», имеющихся в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с красными физиономиями. Бабы с квасом останавливали их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел, посвистывая.

Карамель «Мерси» понравилась нам. На ее бумажках были две руки, которые здоровались. Она была невелика, и в фунте ее было

много. Пока Серж и дамы наблюдали за развешиваньем, крюковская дочь отозвала́ меня в сторону и дала́ мне пряничную женщину.

6

Уже просохло. Уже дворник сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Л. Кусман выставила у себя в окне пасхальные открытки.

Раз после обеда я прогуливался по двору. Серж вышел. — Завтра мы поедем в крепость, — объявил он: — и вы с нами. — Оказалось, инженерша собрала́сь туда молиться о покойном Самоквасове.

— Бом, — начали звонить в соборе. Мы перекрестились. Пфердхен подошел с свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому. — Киндер, — покричали мы им вслед, — тэй тринкен,* — и потом задумались, прислушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и барыни проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувыркалась в воздухе. Она расшевелила нас. — Пойдем к подвальным, — предложил мне Серж.

Мы ощупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскали двери. У подвальных воняло нищими. У них на окнах в жестяных коробочках цвела герань. В углу с картинками, как в скрынке у Цецилии, улыбался, с узенькими плечиками, папа Лев. Подвальные проснулись и смотрели на нас с лавки. — Ваши дети не дают проходу, — как всегда, пожаловались мы. — Мы им покажем, — как всегда, сказали нам подвальные.

Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшиборовского за дрожками. Он усадил нас и, любуясь нами, кланялся нам вслед.

Денек был серенький. Колокола звонили. Приодевшиеся немки под руку с мужьями торопились в кирху, и у них под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали.

Загремев, мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка поднялась на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытащенных во дворы матрацев выколачивали пыль. Река текла широко. — Пробуждается природа, — говорила поэтически Софи, и дамы соглашались.

---

* Дети, чай пить (*нем.*).

Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них — не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам.

Сойдя с извозчика, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед ним был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшим поставленным вверх дулом пушечкам и свешивались между ними.

На скамейке я увидел новогоднего ученика (того, что меня щелкнул). Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула. — Вот Вася Стрижкин, — показала она. — Вася, — шепотом сказал я. Он взглянул на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак.

На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я о́тдал свой пятак, и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф. — Ай, цвай, драй,* — сказал снаружи Янкель. Я увидел всё, о чем был так наслышан, — и «Изгнание из рая», и «Семейство Александра III». Вокруг стояли люди и завидовали мне.

В субботу перед пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне евангелие. «Любимый ученик» в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке.

Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. — «Пан Христус з мартвэх вста», — писал нам Пшиборовский, — «алелюя, алелюя, алелюя».**

Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутрени. Мне разрешили встать. Торжественные, мы поели. Александра Львовна Лей участвовала.

Утро было солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадмазель

* Раз, два, три (*нем.*; здесь, возможно, *идиш*).

** Христос воскресе, хвала господу (*польск.*, *др.-евр.*).

Горшкова. В окна прилетал трезвон. Гремя пролетками, подкатывали гости и, коля нас бородами, поздравляли нас. Маман сияла. — Закусите, — говорила она им. С руками за спиной, отец похаживал. — Пан Христус з мартвэх вста, — довольный, напевал он. Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду.

После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и у Пшиборовского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня.

7

Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, низенький, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Кантóрек провожал его. Я рассказал маман об этой встрече, и она задумалась. — Я никогда не видела его, — сказала она, а отец пожал плечами. Он не любил людей, которые были богаче нас. Он и с Кармановым, хотя маман и приставала постоянно, не знакомился.

Кондратьевы зашли проститься с нами и переселились в лáгери. Они нас звали, и однажды утром мы, принарядясь, послали за извозчиком, уселись и отправились туда. Мы миновали баню, крюковскую лавку и галантерейную торговлю Тэкли Андрушкевич. У нее в окошечке висели свечи, привязанные за фитиль, и елочная ватная старушка с клюквой. Мостовая кончилась. Приятно стало. За плетнями огородники работали среди навоза. Жаворонки пели. Впереди был виден лес, воинственная музыка неслась оттуда. — Это лáгери, — сказала нам маман.

Барак Кондратьевых стоял у въезда. Золотой зеркальный шар блестел на столбике. Денщик Рахматуллá стирал.

Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях. — «Как для кого!» — было написано химическим карандашом и смочено. — «Ого!» — «Так говорил, — прочла маман заглавие, — Заратустра». — Это муж читает и свои заметки делает, — сказала нам Кондратьева. Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.

Мы отпросились побродить и осмотрели лáгери. Нам встретился отец Андрея. Длинный, с маленьким лицом и узким туловищем,

он сидел на дрожках и драпировался в брошенную на одно плечо шинель. — К больному в город, — крикнул он нам. Мы остановились, чтобы помахать ему. — Когда дерут солдат, то он присутствует, — сказал Андрей. Оркестр, приближаясь, играл марши. Не держась за руль, кадеты проносились на велосипедах. Разъездные кухни дребезжали и распространяли запах щей.

Вдруг набежала тучка, брызнул дождь и застучал по лопухам. Мы переждали под грибом для часового. Я прочел афишу на столбе гриба: разнохарактерный дивертисмент, оркестр, водевиль «Денщик подвел». Я рассказал Андрею, как один раз был в театре, как на елке, разноцветное, горело электричество, и как на занавесе был изображен шильонский за́мок. Рассказал про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова и про то, как до сих пор не знаю, кто был «Страшный мальчик» — Серж или не Серж.

— И не узнаешь никогда, — сказал Андрей. — Да, — согласился я с ним, — да! — Так разговаривая, мы спустились на берег. Река была коричневая. Плот, скрипя веслом, плыл. За рекой распаханные невысокие холмы тянулись. Коля Либерман купался. Он стоял, суровый, подставляя себя солнцу, и я вспомнил, как Софи, коленопреклоненная, взирала на него. — О, Александр, — восклицала она, каясь и ломая руки, — о, прости меня. — Какой он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела. — Да, да, — ответил мне Андрей на это, — да! — Глубокомысленные, мы молчали. Марши раздавались сзади. Рыбы всплескивались иногда. С вальком и ворохом белья, как прачка, на мостки пришел Рахматулла́.

Мне предстояло разлучиться с Сержем. С инженершей и с Софи он уезжал на лето в Самоквасово.

День их отъезда наступил. Я и маман явились на вокзал с конфетами. Иван Фомич, Чаплинский, инженер и Эльза Будрих провожали. Окруженную узлами, в стороне от путешественников мы увидели портниху панну Пле́пис. Она ехала с Кармановыми, чтобы шить прида́ное. Она стояла в красной шляпе, низенькая, и поглядывала. Инженер распорядился, чтобы нам открыли «императорские комнаты». — Здесь очень мило, — похвалил он, сев на золоченый стул. Нам принесли шампанское, и инженерша омрачилась. — Это уже лишнее, — сказала она. Все-таки мы выпили и крикнули «ура». Софи была довольна. — Как в романе, — облизнувшись и посоловев, сравнила она. Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами, она стала неуклюжей и внушительною.

Возвращались мы расслабленные. — Все-таки, — откинувшись на спинку дрог и нежно улыбаясь, говорила мне маман, — она подскуповата. — Я дремал. Я думал о портнихе, панне Плéпис, и о счастье, которое приносят Александре Львовне встречи с ней. Я вспомнил свои встречи с Васей, пятак, который нашел в крепости, и пряник, который мне подарила крюковская дочь.

8

Лето мы провели в деревне на курляндском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был «палац».*

К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Парадная, в костюме из саратовской сарпинки, в шляпе «амазонка» и в браслете «цепь» с брелоками, она дышала шумно: — Чтобы легкие проветривались лучше, — поясняла она нам. Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их, и она негодовала.

Я один раз видел его. С нянькой я отправился в местечко за баранками. К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухъярусная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил. — Они католики, — сказала нянька и, взволнованная, поспешила завернуть в костел. Я тоже был растроган.

Сенокос уже прошел. Аптекаршу фон-Бонин посетила мадам Штраус, и пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько наезжал. Летело время. Ужинать садились уже с лампой. Наконец явился Пшиборовский, и мы стали упаковываться.

Подкатил извозчик и сказал «бонжур»**. Он сообщил, что седоки-военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяева стояли и смотрели вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал. — До свиданья, крест на повороте, — говорили мы, — прощайте, аист.

Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбегала через огород в одной ротонде нá реку. Она

---

* Дворец (*польск.*).

** Здравствуйте (*фр.*).

купалась, а кухарка с простыней, готовая к услугам и впотьмах чуть видная, стояла у воды.

Опять к нам стали ходить гости. Дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые, они беседовали про изобретенную в Соединенных штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам.

Маман посовещалась кое с кем из них. Она решила, что мне надо начинать писать. Она любила посоветоваться. Мы зашли к Л. Кусман и купили у нее тетрадей. Как всегда, Л. Кусман куталась и ежилась, унылая и томная. — Проходит лето, — говорила она нам, — а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка. — Это верно, — отвечала ей маман. Мне было грустно; и, придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединясь, подумать о писанье, предстоявшем мне. Желтели уже листья. Небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темных кофтах, толстые, сидели под каштанами и тоненькими голосками пели хором:

Несчастное творенье
Орловский кондуктóр.
Чернила его именье,
А тормоз его дом.

Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказал мне, что из Витебска приедет архиерей и после службы будет раздавать кресты с брильянтиками. — Если мы получим их, — сказал я, — то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими.

Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде, чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он рóздал жестяные, и мы óтдали их нищим.

У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчея была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло йодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там. Мы поговорили. Мне приятно было с ним, и так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это.

Александра Львовна Лей, когда она теперь бывала у нас, то всегда расспрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи. — Сентябрь, — озабоченная, звякая брелоками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась. — Интересно, интересно, — говорила она нам.

Раз я писал после обеда. Солнце освещало сад. Окно было открыто. Пфердхенские голоса слышны были. — «Кафтаны», — списывал я с прописи, — «зелёны». — Брось, — сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горé стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу.

Мы возвращались уже в сумерки. Уже показались звезды, и извозчики уже позажигали фонари у кóзел. Вдруг заслышался какой-то незнакомый звук. Остановясь, мы обернулись. Мимо нас бесшумно прокатились дрожки. Их колеса не гремели, и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще. — Резиновые шины, — наконец заговорили мы.

9

Этой осенью заразился на вскрытии и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была óтперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебывали по множеству раз. Вместо того, чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения.

На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мной у распятия. Иоанн у креста, миловидный, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал.

Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл ее, точно в гостях, по имени-отчеству и говорил маман «ты». — Бог послал тебе скорбь, — говорил он, — и в ней посетил тебя. Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом.

Вечером, когда óтбыли последние гости и с нами осталась только дама из Витебска и стала снимать с себя платье со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира.

Маман подыскала другую, неподалеку от кирхи, мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином и наружными ставнями. Через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из

которого, очень нарядная, выходила чета новобрачных. Я вызвался сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что все это — сахарное.

Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшиборовского, и маман, отвернувшись, всплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялáсь и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью.

Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная фáкторкой Кáган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать.

Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под вéчер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.

В «монументальной И. Ступель» маман заказала решетку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на краснощёкенькую богородицу тюремной церкви. — «Мадонна, — напечатано было под ней, — святого Сикста».

Карманов устроил маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай.

После праздников мне предстояло начать готовиться в приготовительный класс. Маман побывала со мной у Горшковой и договорилась. Горшкова жилá при училище. В красном капоте, она отворила нам. Стены передней были уставлены вешалками. На обоях отпечатаны были пáгоды с многоэтажными крышами. — Мы к вам по делу, — сказала маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике. В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом.

Прошло рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне.

Дама из Витебска в длинном письме сообщала нам, что она делала после того, как была у нас. — «Все вспоминаю, — писала она

между прочим, — веночек, который тогда возложила на гроб инженерша Карманова». — А, — улыбнувшись, сказала маман.

В Новый год падал снег. Визитеры раскатывали. Я побродил возле кирхи, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орга́н.

Почтальон перестал приносить нам «Русские ведомости» и начал носить «Биржевые». Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей приходилось продолжать посещать телеграф.

Через несколько дней она показала мне, как надо связывать тетради и книжки, и повела меня. — Все-таки, — говорила она, по дороге, — день стал заметно длинней. — У крыльца мы расстались. Я дернул звонок. Сторожиха впустила меня. У Горшковых я увидел девчонку Синицыну в бусах и сторожихина сына. Горшкова учила их. — «Всуе», — говорила она им, — это значит «напрасно». — Она усадила меня, и мы стали писать.

10

Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинками, висели над кроватью. Мадмазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная. — «Тюленьи кожи, — диктовала она и пускала дым колечками, — идут на ранцы». — Сторожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши лица тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадмазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее.

Иногда, идя учиться, я встречался с Пфердхенами. В шубах с пелеринами, они шагали в ногу. Один раз я видел Пшиборовского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел.

Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда, в этот вечер мне удало́сь чистописание, и мадмазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку.

Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице. — Великопостные, — взглянув на небеса, сказала она басом, — звезды, — и потом спросила у меня, когда у нас бывает инженерша.

Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы, и Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софи. — Да вы зайдите к ней, — сказала инженерша. Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого». — Ангелы совсем другое, — пояснил он. Дамы недовольны были. — Не тебе судить об этом, — стали говорить они. Карманова негодовала. — За такие штуки надо драть и солью посыпать, — сказала она после.

Первого апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело идти по улицам. — У вас на голове червяк, — обманывали друг друга люди. Перешептываясь о Софи и Александре Львовне Лей, таинственные, дамы уединились в «будуаре» и отпустили меня и Сержа в сад. Там, как и прежде, под каштанами сидели няньки. Со двора подсматривали сквозь забор подвальные. — Какие дураки, — поговорили мы о них. Вдруг пфердхенская Эдит прибежала запыхавшаяся. — Господа, — кричала она и жестикулировала. — Карла будут бить. Кто хочет слушать? Я открыла форточку. — Мы устремились вслед за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением посматривала. Чем-то она напоминала мне богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской И. Ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее. — Кто это? — спросил я на бегу у Сержа. — Тусенька Сиу, — ответил он.

Когда я шел с маман домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке. Он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Сиу представилась мне — на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: — Александр, о, прости меня.

Я скоро был представлен ей. Чаплинский раз после обеда постучался к нам. Он сообщил нам, что у Софи родился мальчик. Воодушевленные, мы наскоро оделись и послали за извозчиком.

Опять маман сидела с инженершей в будуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки

с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа. — Это сын одной телеграфистки, — рекомендовал он меня.

В день перед экзаменами мадмазель Горшкова рассказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня, — Пойдемте в сад, — зва́ла она меня, спровадив Синицыну и Осипа. — Смотрите, яблони цветут. — Нет, мне пора, спасибо, — отвечал я. Она вышла проводить меня. С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная.

Маман была дежурная. Розалия подала́ мне чай. Трепещущий, я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло. Шурша, носилась пыль. Мороженщики в фартуках стояли на углах. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стрижкин, с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему. — Васенька, — сказал я и перекрестился незаметно, — помоги мне.

11

Штабс-капитанша Чигильдеева жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошлись с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку-стул и подвигалась с нею, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом». — Что ты там читаешь? — спрашивала иногда она, и я показывал ей.

— Это книги для больших, — сказала она мне однажды, поднялась к себе наверх и принесла мне книгу детскую. — «Любезность за любезность», — называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученице, перешедшей в третий класс. Родители Сусанны были знатны, говорилось в ней. Стояла хорошая погода, и они устроили пикник. Дочь городского головы Елизавета тоже, хотя и не была дворянкою, была приглашена́. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица, голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы.

Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла. — Муштруете уж очень, — заявила она нам. Мы рассердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза.

Лес, который начинался за Вилейкской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и когда она открылась, мы отправились туда.

Послеобеденное солнце пригревало нас. На крае неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем»* и ссадил помещицу в митéнках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.

Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже. — Осень, осень близко, — покачали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». Туда были отдельные билеты, мы посовещались и купили их.

Внутри стояли стулья, полотно висело перед ними, и когда все сели, — свет погас, рояль и скрипка заиграли, и мы увидели «Юдифь и Олоферн», историческую драму в красках. Пораженные, мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на картине, двигались, и ветви нарисованных деревьев шевелились.

Утром, когда я расположился писать Сержу про Юдифь, вошла Евгения и подалá мне записку, свернутую в трубочку. — «Как вам понравилась живая фотография?» — было написано в ней. — «Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться. С.»

---

* Пожалуйста (*польск.*).

Составительница этого письма ждалá ответа, сидя на скамейке перед домом, и когда я вышел за ворóта, встала. — Я Стефания Грикюпель, — назвалá она себя, и мы прошлись немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью булочной и сахарным костелом. — Мой друг Серж уехал в Ялту, — рассказал я, — а Андрей Кондратьев в лáгерях. Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать. — Стефания Грикюпель, оказалось, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет: цифры по-арабски, сочинения сочинять.

Довольные друг другом, мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны — факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стрижкин.

Мне влетело от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвалá Стефанию развратницею. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня. — Но это так естественно, — сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слазила наверх и принесла «Любезность за любезность». — Я дарю ее тебе, — сказала она мне.

12

Училище было коричневое, и фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треугольному полю фронтончика был приделан чугунный орел. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест.

Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стрижкиным. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх, в коридор старшеклассников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины: «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Бóрках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнёва продавала в гимнастическом зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеич любезничал с ней. Ее муж Головнёв, вахтер, низенький, стоя у печки, смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне. Но Вася и там не встречался мне.

Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих. Он жил возле кирхи, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там. Репейник цвел между могилами. Каменный ангел держал в руке лиру. Телеги гремели вдали. Господ и госпож еще не было, и я сел на плиту подождать их. — «Статские, — выбиты были на ней старомодные буквы, — советники Петр Петрович и Софья Григорьевна Щукины». — Я их представил себе.

Никого не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью которого была нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивые. — «Монументы, — заметил я вывеску с золотом, — всех исповеданий. Прауда». — Я вспомнил И. Ступель, мадонну у нее в заведении и Тусеньку.

Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины. — У нас теперь есть граммофон, — говорила она нам. А мы рассказали ей о живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился всем, и его повторили. — Но жалко, — сказал один гость, — что наука изобрела это поздно: а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди. — Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в «приемную». Снова я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Андрей, разговаривая, нарисовал на полях «Заратустры» картинку. — «Черты, — подписал он под нею название, — лица».

Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна «Биржевые», внезапно за окном появился Чаплинский. Он пóдал две маленьких дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Дорóгой я с ним побеседовал. Я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числится, хотя и состоит при Карманове.

Серж был любезен. — Приятно, — сказал он мне, — быть знакомым с учащимся. — Нáскоро инженерша напоила нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали и потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи. — Она, — посмеялся он, — думала, будто ваша фамилия — Five. — Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия.

Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги, и я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним. — Вообразите, — сказал я, — учащиеся пишут на партах плохие слова. — Части тела? — оживясь, спросил Серж. Я подумал об Андрее с «Чертами лица» и о том, что предосудительно в присутствии друга вспоминать о других.

В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как из поезда, нам видны́ были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. — Маршировка прошла очень мило, — сказал он. При выходе мы задержались и посмотрели на городовых, отгонявших зевак. — Да, — толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стрижкине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.

13

— «Православный», — сказал нам на уроке «закона» отец Николай, — значит «правильно верующий». — По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православные, и он на́чал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что — нет. Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете. — У них всегда грязные ногти, — сказал я, — и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «ква́ртал», «галоши» и «одену пальто». — Дураки, — посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напомнила нам за чаепитием о Тусеньке. Мы подмигнули друг другу и, точно стишок, повторяли весь вечер:

Сиу и компания, Москва,
Сиу и компания, Москва.

Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От окон тянулись лучи, пыль вертелась в них. Время ползло еле-еле. Наконец Головнёв вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван Моисеич повел нас к инспектору на перекличку.

Инспектора, мужа Софи, переводили в Либаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день, перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая, в шляпе с пером и в вуали с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказала ей, что Евгения очень уж льстива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Ма́угли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не «Любезность» ли я «за любезность» читаю.

— Сегодня, — объявила Карманова как-то раз, когда я глазел с Сержем в окно, — будет «страшная ночь», — и она посоветовала нам пойти на́ реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи. Под охраной Чаплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо».

Уже подмерзало. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны. Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила триста рублей, и маман не велела мне распространяться об этом.

Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирхе блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел огни на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчичьи санки. В шинели офицерского цвета, Вася Стрижкин сидел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал счастья, которое мне должна была принести эта встреча. И вот, в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал нам, что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре урока.

— «Спектакль для детей», — возвестили однажды афиши. Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед внушительным юношей и восклицающая: — О, Александр! — Чаплинский принес нам билеты. Театр был полон. Военный оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел. Перед нами был занавес с замком. Мы ждали, пока он подымется, и жевали конфеты. Стефания Грикюпель откуда-то выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне. Я рад был, что маман и Кармановы в эту минуту смотрели на мадам Штраус, входившую в зал.

Рождество пролетело, и в экстренном выпуске газета «Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обедни — и начинались молебны «о даровании победы». В окне у Л. Кусман появились «патриотические открытые письма». Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии броненосцев и кре́йсеров и наклеивать их в «Черновую тетрадь». Мы с маман были раз у Кармановых. Дамы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и именитые женщины не собираются вместе и не щиплют ее.

В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести «Черновую тетрадь». Я и Тусенька были вдвоем в конце «зала». Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену которой я подсмотрел. Я хотел рассказать ее Тусеньке. — Натали́, ах, — хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж. — Ты читал книгу «Чехов»? — краснея, наконец спросила она.

14

На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем зараз исповедаться мысленно.

Быстро наступила весна. В воскресенье перед страстною неделей в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец Николай, огороженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В боа и с лорнетом, она была очень внушительна. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменила приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок.

Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Но́ли ме та́нгере», она нас поздравила с пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, помещика, и что они уезжают в имение и сама она тоже собирается двинуться с ними.

Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели. Сидя в садике, я повторял про сложение. Открылось окно, и маман позвала́ меня в дом и велела проститься с Александрою Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме «сестры», торопилась и пила, наливая в два блюдечка: — Пусть остывает скорей. — Завоюете их, — говорила маман, — и тогда у нас чай будет дёшев.

На ле́то Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и маман побывали у них. С парохода «Прогресс» нам видны были дамба и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. — Христианский народ, — говорили они, — а помогает японцам. — Действительно, — пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась маман. Я смутился. На книге про Ма́угли напечатано было, что она переводная с а́нглийского, и я думал поэтому, что Англию надо любить.

Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничные, мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком, и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях, сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это — нотариусиха Конра́диха фон-Сасапаре́ль. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с фестончиками из парусины. На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежились дачницы. Бегая и пререкаясь друг с другом, девицы и мальчики играли в крокет.

Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чаплинский сторожит ее тщательно. В этот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чаплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и, значительный, указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные. — Пользуются, — пояснил он нам мрачно, — что господа поразъехались. — Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали Канто́реку, чтобы он принял меры.

Недолго я оставался без дела. Маман сговорилась с Горшковой, и я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий

в училище что-нибудь уже знать. — «Вас ист дас?»* — диктовала Горшкова и, пока я писал, подходила ко мне. Я запрятывал руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня. Раз в передней она мне сказала, что Плéве убит, и, расстроенная, быстро набросясь, схватила меня и потискала.

Изредка я встречался с Стефанией. Кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со мной.

15

— В училище завтра молебен, — объявила однажды маман и подалá мне «Двину». Я прочел извещение. — Итак, — думал я, — уже кончилось лето. — Я съездил в последний раз в Шавские Дрожки. На лóзах там ужé поредела листвá. Паутина летала ужé. У Кармановых я увидел Софи. Мимоездом она там гостила с ребеночком. Неповоротливая, встав с качалки, она осмотрела меня. — Всё такой же, — эффектно сказала она, — но в глазах уже что-то другое. — Конрáдиха фон-Сасапарéль завернула при мне. Представительная, она опиралась на посох. На нем были рóжки и надпись «Кримé»**. Инженерша подсела к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово, и что вообще хорошо бы распродать всё и выехать. Я был встревожен. — Уедет и Серж, — думал я, — и конец будет дружбе. — Печальный, я возвращался домой на «Прогрессе». Шумели его два колеса. Пассажиры молчали. Был виден на холмике садик, и сквозь садик виднелся закат.

В приложение к книгам Л. Кусман далá мне в этом году «Мысли мудрых людей». На обложке их было написано, что они стоят двенадцать копеек. Маман просмотрела их и одобрила кое-какие из них, и я рад был. Но в школе я узнал, что Ямпóльский и Лившиц давали «Товарищ, календарь для учащихся». Разочарованный, я решил не иметь больше дела с Л. Кусман. Я думал об этом, когда вечером вышел пройтись. Озабоченный, я не заметил на улице учителя чистописания, и меня посадили за это в карцер на час. Я рыдал весь тот день, и маман подносила мне капли.

К нам в церковь водили теперь гимназисток. Они были в белых передничках, бантиках и, не вертя головой, углом глáза смотрели

---

* Что это? (*нем.*)

** «Крым» (*фр.*).

на нас. Их начальница, в «ленте», торжественная, иногда доставала из мешочка платок, и тогда запах фиалки долетал до нас. Тусенька чинно стояла в рядах, притворяясь, что ничего не замечает вокруг, и краснела, когда кто-нибудь поглядит на нее. — Натали, Натали, — думал я, и обедни уже́ не казались мне больше такими длинными.

В классе я сидел рядом с Фридрихом Оловым. Он был плохой ученик и во время уроков, вырвав лист из тетради, любил рисовать на нем глупости. Он уверял меня, будто всё, что рассказывают про Подольскую улицу, — правда, и я, возвращаясь из школы, несколько раз делал крюк и ходил по Подольской, но я не увидел на ней ничего замечательного. Один раз мне попался там Осип, который когда-то учился со мной у Горшковой, и он посмеялся, что встретил меня там. Он был оборванец, и мне пришло в голову позже, что у него мог быть нож и он мог бы помочь мне отомстить учителю чистописания. Обдумав, как мне говорить с ним, я пошел к нему в школу, в которой он жил, но его уже не было в ней.

Этой осенью мы переехали на другую квартиру. Она была в том же кварта́ле, в каменном доме Канатчикова. Приходя за деньгами, Канатчиков заводил разговор о религии. Он нам показывал, как надо креститься двуперстно. Из дома теперь нам видна́ была площадь, на которой учили солдат. В уголке ее, окруженная желтой акацией, была расположена небольшая военная церковь. Молебен, который служили на площади, когда отправляли полки на войну, мы слышали, стоя у окон.

Кармановы были у нас на новоселье. Они не уехали. Им подвернулось недорого место вблизи Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу. С двоими из Пфердхенов Серж уже начал учиться у Га́усманши, чтобы весной поступить в первый класс. Серж сказал мне, что Га́усманша говорит «пять раз пять». Посмеявшись над этим, мы приятно болтали вдвоем в моей комнате и не зажигали огня. Прогудели гудки в мастерских. Позвонили негромко на колокольне на площади. С линии иногда доносились свистки. Мы серьезно настроились. Я рассказал кое-что из «Истории», и мы подивились славянам, которые брали в рот для дыхания тростинку и сидели весь день под водой. Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял, как Манилов. Упала звезда, и мне жаль было, что в эту минуту я не думал о мести учителю, — а то бы она удалась мне.

16

— Надо больше есть риса, — говорила теперь за обедом маман, — и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис — и смотри, как они побеждают нас.

Как каждый год, мы опять были у Кондратьевых на именинах. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа. Мне очень понравились в них слова «гаолян» и «фанза́». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича.

Все мальчуганы теперь были за́няты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный кло́бук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало.

Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы бог посадил его в ад. Но он скоро явился. — «Иуда», — вывел он на доске, — «целованием предал Иисуса Христа», — и мы начали списывать.

На рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открыточку с кирхой и надписью «Фрёлихе ве́йнахтен»*.

В этом году инженерша полюбила политику. Часто она принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза.

Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне всё больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром, значительный, Головнёв сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили и в двенадцать часов мы отправимся на панихиду, а оттуда — домой. Он любил сообщить неожиданное.

С панихиды я вышел торжественный. Олов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, остановясь у возов с съестным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. Я в пер-

* Счастливого Рождества (*нем.*).

вый раз еще видел их близко. — Они как скоты, — сказал Олов, и мы поболтали о них.

Приближалось говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признаюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость.

Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звала́ погостить у нее. Мы решились, и маман написала прошение об отпуске.

Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отправились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канатчикова.

Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже показалось имение. Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Воро́ны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова.

Мы явились, и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой. — Простонародье бунтует, — сказали мы. — Мер принимается мало.

Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был настлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду.

Возвратясь, мы, как «Гоголь в Васильевке», посидели на ступенях крыльца. Птица щёлкнула вдруг и присвистнула. — Тише, — сказала маман. Она поднесла к губам палец и с блаженным лицом посмотрела на нас. — Соловей, — прошептала она.

Мне не велено было ходить за воро́та, и я не стремился туда. Страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся «библиотека», я вытащил «Арабские сказки для взрослых» и, пока мы гостили, читал их в саду. В них написано было про «глупости». Я убедился теперь, что мальчишки не врали.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и ве́тками и надели на всех нас венки. Они долго скакали и пели и жгли бочки с смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлись и огни были за́литы и ворота закрыты и сторож заколотил, как всегда, по доске.

Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, сто́я у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные, но коренастенькие, несли ружья и пели про Стесселя:

Стессель-генерал доносит,
Что нет снарядов никаких.

17

Я еще раз попал в обучение к Горшковой. Когда мы приехали в город, маман отдала́ меня поучиться французскому. — Это трудный язык, — говорила Горшкова. — Все буковки в нем пишутся так, а читаются этак. — Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро. Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую.

Был жаркий день. Солнца не было видно. Из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с «Двиной». — Заключение мира! — выкрикивал он. Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие.

Горшкова о мире не знала еще; и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня.

Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас. — Если бы мы воевали подольше, — говорила она нам, — то мы победили бы. Витте нарочно подстроил всё это, потому что он женат на еврейке, и она подстрекала его.

Серж давал мне смотреть «модель дачи» — деревянную, с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме.

Учебники в этом году я купил у Ямпольского. Я получил наконец «Календарь». Я не ходил теперь мимо Л. Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить, почему это я до сих пор не иду к ней за книгами.

Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в «основном», а Андрей — в «параллельном». Уроки «закона» у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время закона картинку. — «Пожалуйте к столику», — называлась

она, — «мои милые гости». — Карманова очень была недовольна, увидев ее. — Всё какие-то пáсквили, — стала она говорить с отвращением. — Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством. — Она приказала, чтобы Серж пересел.

Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину «спасения в Борках». Назавтра, когда прозвенели звонки и учитель вошел, гладя бóроду, и, крестясь, стал у образа, а дежурный начал читать «Преблагий», с страшным треском разорвалáсь вдруг где-то пóд боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли.

Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застрелено четверо. Бунтовщики подобрали их и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ.

Мы смотрели, когда хоронили их. С важными лицами впереди выступали ксендзы. — Вот мерзавцы, — сказала Карманова и разъяснила нам, что, по религии, им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на всё, чтобы только напакостить нам. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка, и в ней Вася Стрижкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог ни лежать на спине, ни сидеть.

Чтобы я не болтался, маман мне велела читать «Сочинения Тургенева». Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня.

Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серж и Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. «Алфавит» начинался: «Анóхина, Бóлдырева». Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что всé делают что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредёт.

У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была «правая», но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что, пока он там

был, он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его.

И Ямпольский и Лившиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на десять рублей — получал что-нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Ямпольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему написали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения».

— Возьмите унцию смирения.
Прибавьте две — долготерпения, —

начинались они и подписаны были: «С благословением иеромонах Гавриил». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник.

18

Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом, и чтобы встретить монаха, я думал сойтись с Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись наши полки́, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними.

Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешиванья на стена́х. На столе у него, где когда-то лежал «Заратустра», красовался теперь «Красный смех». Он давал нам читать его.

Вскоре мы увиделись и с Александрою Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Ва́гелем, и намекнула, что, может быть, даже вообще не расстанется с ним. Мы приятно задумались.

Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развинтили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться «гарнизонный собор». С интересом мы ждали, каков-то он будет.

В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, к нам явился Чаплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в Карма-

нова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа.

Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше маман рассказала им, что она уже несколько лет не жила с инженером. Я был удивлен и поправил ее, но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших.

Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе «подводная лодка», которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли. Зато я нашел в толпе Тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня.

Серж сказал мне потом, что он дал себе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и не стал говорить ему, что отомстить очень трудно.

Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженерша уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня.

Стали строить собор. Рыли землю. Возили булыжник. В квартале за кирхой начали строить костел. Староверы приделали колокольню к «моленной». Отец Николай разъяснил нам, что всем исповеданиям дали свободу, но это не имеет большого значения и главным по-прежнему останется наше.

Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся. Мы помахали ему. — Серж, Серж, ах, Серж, — не успел я сказать, — Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя?

Из Митавы на лето приехали в Шавские Дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть курзал, парк и знать, что я уж не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна.

У Белугиных мы застали Сиу, отца Тусеньки. Он был с бородкой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича. — Вы не читали речь Муромцева? — благосклонно спросил он маман.

Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним в Шавские Дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под со́снами, покачи-

ваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры. — «Кара́тельная», — пояснила нам Ольга Кускова.

При мне иногда заходила к Белугиным Тусенька, но она со мной важничала и говорила мне «вы».

Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я — как ошпаренный.

Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания.

Однажды я встретился с Осипом. Он был любезен. Он вызвался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем. — Осип, — сказал я, — ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер? — Я взял его руку и в волнении смотрел на него. Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.

19

Снова осень была на носу. В палисаднике уже щелкали, лопаясь, стручья акаций. Во время дождя, когда пыль прибивало, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам. — Прежде, — говорила маман, — можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им.

В училище я не нашел уже Фридриха Олова. Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом «Кни, Фальк и Федоров». Вместо него поступил новичок по фамилии Софро́нычев. Звали его «Грегуар». Он был сын полицмейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Грегуара «Агатой» и бесплатно ходила с ней в театр и цирк. Я бы мог часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Грегуару. Но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских.

Андрей в один праздничный день завернул ко мне. Он посмотрел мой учебник «закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил мне пройтись с ним.

Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отправясь с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам. — Не бейте, — сказала она, — того мальчика в серых чулках. — Мы смеялись. Потом мы послушали, как мужчина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе.

«Мел, гвоздей», —

перечислено было на прибитой к калитке дощечке, —

«кистей, лак и клей», —

и, задумавшись, мы напевали это под звуки трубы.

Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы. Осыпались деревья. Нескла́дные ангелы, стоя одною ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей, все же, тоже хороший. И вдруг возле столбика с урной над прахом Карманова он принялся городить всякий вздор. — Без причины, — между прочим, сказал он, — его не убили бы. — Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти.

Я решил, что мне лучше всего совершенно не видеться с ним. Но опять нас позвали на кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка внизу, наклонившаяся над скамейкой с харча́ми. Я сел за маман. Говорили, что, когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери «приемной», и я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться отправиться в сад.

Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы занялись ими, сев на ступеньку. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно, необыкновенно прекрасен. — Андрей, — сказал я, пододвинувшись ближе: — есть одна ученица по имени Тусенька. — Сусенька? — переспросил он. Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что «Тусенька» — правда, какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так: Натали́.

В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса́ электрической станции и побродил. Огороды, пустые

уже, начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-предавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовкé у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже «вспоминается детство».

Маман как-то встретилась в бане с Александрою Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля. — Он, — рассказала она, — не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности. — Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонечко в Гриве Земгальской. Довольные, мы посмеялись.

Софрóнычев несколько дней «фуговáл»: выходил утром и́з дому и не являлся в училище. Стало известно потом, что учитель словесности посетил полицмейстера. Вместе они отодрали Грегуара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.

20

«Серж, — писал я во время уроков на вырванных из тетради листках, — я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство. Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, всё охотней является в комнаты и толкует со мной». — Я писал, как она мне рассказывала про Канатчикова, что под домом у него сидит сын на цепи, и что сын этот — глупый, или про подвальную Аннушку — как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное, когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск, но Канатчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом.

«Серж, — писал я, — ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике. Мне, все равно, не везет в ней. Я думаю, не оттого ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удается следить за уроком».

«Я много читаю. Два раза уже я прочел «Достоевского». Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

«Серж, что ты сказал бы о таком человеке, который а) важничает, б) по протекции, не платя, ходит в театр?»

Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал клочья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки, маман же перед отправкой читала бы их.

«Серж, — писал я еще, — ты не видел борцов? Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но, ты знаешь, маман где-то слышала, что это — грубо».

На святках в помещении училища состоялся «студенческий бал». В гимнастическом зале, уставленном елками, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательная, держа в руках сахарницу, которую выиграла в «лотерее аллегри».

На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. Мадмазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшавшим ее голову, Щукина, содержательница «Музыкального образования для всех». — Может быть, — думал я, — она дочь этих «статских советников Щукиных», на могиле которых когда-то я сидел, дожидаясь «господ и госпож».

Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и «распорядительском банте». Я вспомнил Софи, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме, и мне стало грустно: бедняжка, она почему-то казалась уже лет на двадцать старее его.

На расчищенном месте уже завертелись вальсёры. Карл Пфердхен кружился с своей сестрой Эдит. Конрадиха фон-Сасапарель выступала с Бодревичем, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приня́ла приглашение подскочившего к ней Грегуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с «почты амура» письмо. — «Отчего это», — кто-то спрашивал в нем, — «вы задумчивы?» — Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал. Я увидел при этом Л. Кусман и поспешил убежать.

Я не сразу вернулся домой, а прошелся по дамбе. Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее

прятал. Погода менялась от оттепели к небольшому морозику, и на глазах у меня расползлись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня. — У тебя ли табак? — спросил задний мужик у переднего. Я удивился немного, услышав, что мужики, как и мы, разговаривают.

Письмецо я хранил, и минуты, которые я иногда проводил над ним, я считал поэтическими.

Подходила весна. От Кармановых я получил предложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики.

Этой зимою мы видели члена Государственной думы. Канатчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ощупывал рамы. Член думы проехал вдруг — в маленьких санках, запряженных большой серой лошадью под оливковой сеткой. Канатчиков крикнул нам. Мы подбежали и успели увидеть молодцеватую щёку и черную бóроду. — Наш, крайний правый, — сказал нам Канатчиков. Мы улыбнулись приятно.

21

У Кармановой были еще в нашем городе кое-какие делишки. Она продавала участок, который достался ей по закладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней.

Я и Серж побывали вдвоем в Шавских Дрожках. Оркестр играл, как всегда. Из купален слышны были всплески. Лозá над рекою цвела. — Серж, ты помнишь, — сказал я, — когда-то мы были здесь счастливы.

Долго мы ехали в поезде. Утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облакá принимали вид гор, обступающих воду.

Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером óтплыли. Мы заболели в пути морскою болезнью. Мы прúплыли поздно, и я не увидел впотьмах ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке «Приветствие из Евпатории».

Нас посадили на шлюпки. Мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. — Васенька, — мысленно вскрикнул я. Кто-то подхватил меня снизу.

У мола нас ждал Караат, запряженный в линейку. Он взят был на лето напрокат у татар. Держа вожжи, возница — на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож — обернулся к Кармановой и начал ей делать доклад.

Одинаковые, друг за другом шли дни. Мы вставали. Карманова в «красном, с турецким рисунком, матинэ из платков» принималась сновать между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей». Являлись с корзинами булочники. Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор, томно глядя, выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю.

У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернышку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. Я часто чего-нибудь не понимал. — Ты дитя, — говорил тогда Серж: — шаркни ножкой. — В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог.

Отобедав, я уходил с Сержем в тень. Он читал там «Граф Монте-Кристо» или «Три мушкетера». Он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу — окончив ее, Серж отдавал ее. Я вспоминал тогда о деньгах Чигильдеевой. Если бы я ими мог уже распоряжаться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы.

Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, драпируясь в «чадры» из расшитого блёстками «газа», они уводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную. Дети садились на доску качелей и тихо покачивались. Я и Серж подходили и прислонялись к столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде «Кво вадис?». Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой, чистили к завтраму овощи. В море гудел пароход. Иногда недалёко начинали играть на трубе.

— Мел, гвоздей, —

подпевал я тогда ей беззвучно,

— Кистей, лак и клей. —

Тарахтела, приближаясь к воротам, линейка, вбегал Караат, и его распрягали.

В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел ее прячась и никому не сказал, что читал ее. — В чем же тогда, — говорил я себе, — можно быть совершенно уверенным?

Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал», крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали «комиссию». Я дочитал на нее «Мушкетеров» и «Графа» и скопил два двугривенных.

Скоро появились арбузы и дыни. Теперь Караата кормили их корками. — Значит, он сыт, — говорила Карманова, — если не ест их.

В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные, мимо нас пробегали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. Я думал о том, что он слишком уже увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне.

Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми, низенькие, росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой «чадре». — Побеседуемте, — предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. — Без причины, — сказал я, — конечно, его не убили бы.

Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала́ мне для маман «перекопскую дыню». Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты, и Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.

22

Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему. Дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе «Графскую пристань» — колонны и статуи и ступени к воде. — Серж, Серж, ах, Серж, — по привычке вздохнул я.

Собор против нашего дома почти был достроен. Его купола́ были скрыты холщовыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там — золотильщики.

Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. — Может быть, — подумал я, — глядя на эти шатры, она вспоминает маневры. — Она поклонилась и крикнула что-то.

Маман была дома. Увидя меня из окна, она выбежала, и Евгения выбежала вслед за нею. Они расспросили меня, пока я умывался. — Вот видишь, — сказала маман, — как приятно иметь знакомых со средствами.

Всё разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось, теперь называется «Николаевский парк». Там устроено было гулянье в пользу «Русского человеколюбивого общества». Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей: господин Сиу встретил ее и усадил.

Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, «Образование» которой посещала в «нечетные дни» Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что, может быть, это — предзнаменование.

Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки. Магистр Ян Ютт перебра́лся со своею аптекой в новый собственный дом — он украшен был около входа барельефом «сова́».

Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь — благовоспитанная, с скромным видом и с папкой «мюзик», — я сказал бы ей: — Здравствуйте.

В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» и — Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на третий. Отец отлупил его и о́тдал в пекарню «Восток».

Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье, случившемся с Александрою Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее. — Мало, мало, — сказала маман, — довелось ей наслаждаться семейною жизнью.

Мы были на похоронах. Там мы встретили нескольких прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми. Маман упрекала

их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели. — Вот «мел, гвоздей», — говорили мы. — Будьте здоровы, «И. Ступель».

На кладбище, возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкою больше, чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись.

Обратно Кондратьевы нас подвезли. — Электрический театр, — сказали они нам, — открывается на этих днях. — И они предложили нам посмотреть его вместе.

Уже по ночам подмораживало. Уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке.

Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустера, что его «посадили». Он продал дерюгу, которою в пекарне «Восток» накрывались дежи.

К октябрю уже кончили строить собор. В именины наследника происходило его «освящение». В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье, и как он помог мне во время падения при спуске по веревочной лестнице в шлюпку.

Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в «фойе». Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скала́, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. — Господа, — закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене: — это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией. — Да, — подтвердила маман.

23

Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его «видовые» с озерами, «драмы», в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и «комические». — До чего это глупо, — довольные, произносили мы по временам. Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицмейстерской ложе.

Девица, которая разводила людей по местам, посадила один раз рядом со мной Карла Будриха. Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, и я чувствовал жар его. — Карл, — хотел я сказать.

Младший Шустер пришел из тюремного за́мка, и отец не впустил его в дом. — Ты фамилию нашу, — сказал он, — снес в острог. — Он был видный мужчина с усами, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела мадам Ге́ниг, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров и она оказалась свободной.

Снег выпал. Кондратьева прикатила с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окон на гарнизонный собор. — Как прекрасно, однако, — оглядываясь, говорила она нам. Сергей Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караа́том. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом. — Крупичатый малый, — сказала она, и маман разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушали с четверть часа. — Разговор идиоток, — сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним.

Софронычев стал приносить с собой в класс интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон». За копейку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за «крем».

Год назад я бы мог написать в «письмах к Сержу», что мне нравится, как в этих книжках льет дождь, Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед, и он пьет горячительное. — Наконец-то я, — думает он, — отдохну. — Но внезапно раздается звонок, экономка бежит открывать, и доро́гою она изрыгает проклятия.

Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги «М. Лермонтов», я был — один. Горько было мне это. — Вдруг, — ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил, — мне сейчас кто-нибудь встретится: Мышкин или Алексей Карамазов, и мы познакомимся.

Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадмазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла «сонату аппассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбежал, потому что Стефания Грикюпель вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расчищенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла «Агата», сестра Грегуара, — бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был — я не был знаком с ней.

Газета «Двина» занималась опять Александрою Львовной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Взволнованные, мы поспешили поздравить. — Билет ведь его, — рассказала она нам. — Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее. — Да, — говорила маман: — вспоминаю, как я была тогда рада за вас.

Мы узнали еще, что она собирается переселиться в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький, и куда она к нам приезжала. Она не забыла еще, как ей нравился тамошний воздух. — К тому же, — сказала она, — там приличное общество. — Так, — вспомнил я, когда мы возвращались, — я думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить.

Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали — и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке, — то забирали. Сначала мадам Гениг высовывалась и давала ему из окошка еду, но отец не позволил.

Уже потемнели доро́ги. Днем таяло. Вечером небо было черно, звезд в нем было особенно много. Все чаще вынимал я два «женских письма» («отчего вы задумчивы?» и «вы не такой, как другие») и снова читал их.

В церквах уже зазвонили по-постному. Мы исповедывались. Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про «воображение и память».

24

Даме из Витебска мы написали поздравление с пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою «Нóли ме тáнгере». Эту картинку она уже нам присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного. Прочтя же, маман стала плакать. — Всё меньше, — сказала она мне, — у нас остается друзей. — Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла.

Перед пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова. В день «божьего тяла» мы видели, стоя у окон, «процессию». Позже «Двина» описала ее, и маман говорила, что это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Наконец школьный год был закончен. В один жаркий вечер маман разрешила мне пойти с Шустером на реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним. Возле костела он мне рассказал, как один господин «лежал кшижом»* и выронил в это время бумажник, в котором хранил сто рублей.

В Николаевском парке мы увидели младшего Шустера. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой. — Мерзавец, — сказал я. Вдали нам видны были лагери. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки, Либерман загорал, а денщик, словно прачка, шел с валькóм на мостки портомойни.

Вдоль берегов на реке нагорожены были плоты. Перескакивая, мы добрались до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками.

Я скоро начал ходить без него, потому что мне было неловко с ним. Он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один, я валялся на брёвнах и слушал, как вода

---

* *Буквально:* лежал крестом, т. е. в молитвенной позе, распластавшись (*польск.*).

о них шлёпается. Я читал «Ожидания» Диккенса, и мне казалось, что и меня что-то ждет впереди необычайное.

Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо. — Что такое? — дивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтересованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный», — называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напечатана, — «возраст». — Так вот как, — сказал я, прочтя. Я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать.

С Александрою Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно «Свента-Гура». Со станции нас вёз извозчик, говоривший «бонжур». Мы задумались. Воспоминания нас обступили.

«Вдова А. Л. Вагель», — уже красовалась доска на вoрóтах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер «стрелá». Здесь жил раньше «граф Михась». Мы слышали, что он «умер во время молитвы».

Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понравилась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступéням.

Маман повела А. Л. Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осмотрел Свенту-Гуру. Базарная площадь окружена была лавками. Вывески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цыперóвича. Дом к-ца Мамóнова, белый, украшен был около входа столбами. Над дверью аптеки фон-Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлопотавшихся старцев и скромных девиц.

Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо: — Это ваш сын? Это очень приятно. — Она угостила меня пфеферкухеном.

Вскоре «Человеколюбивое общество» было превращено в «Православное братство». Его председателем стал наш директор, а вице-председателем — Щукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Щукиной, хóром собора

и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесён отцу Федору крест.

А. Л. Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слыхали о ней. Наконец фрау Анна, явясь с своим «вдовьим листом» в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А. Л. посетила «палац», но графиня не согласилась к ней выйти. А. Л. собирается основать в Свентой-Гуре, подобно тому, как оно есть у нас, православное братство и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы», и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана. — Я представляю себе, как это будет красиво, — сказала маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.

25

Когда это было готово, А. Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в форме миски для супа. А. Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в средине. Кровь била дугой.

Мы остались у А. Л. до последнего поезда. После обеда из города к ней прикатила «мадам», и А. Л. занималась с ней. — «Ки се рессамбль, — бубнила она по складам в „кабинете“, — с’ассамбль»*. — Потóм пришло много гостей — свентогурских чиновников, пенсионерок и дачников. А. Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор».

— Интересно, — заметил почтмейстер Репнин, — что у них на палáце есть палка для флага, а флага они не вывешивают. — После этого поговорили о том, как печально бывает, когда вдруг узнáешь, что кто-нибудь против правительства, и фрау Анна, которая, улыбаясь приятно, молчала, вдруг вздрогнула. — Я вспоминаю, — сказала она, — девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери.

---

* Кто похож друг на друга, те сходятся (*фр. пословица*, аналогично: рыбак рыбака видит издалека).

Затем мы отправились в «парк». На А. Л. была автомобильная шляпа, в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошлись вслед за ней по дорожкам. — Гимн, — крикнул почтмейстер Репнин, когда мы оказались на главной площадке, где были подмостки. Тут всё сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой и синей бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали «ура», ликовали и требовали опять и опять повторения.

— Не понимаю, зачем, — говорила маман, когда мы возвращались и, сидя в вагоне, смотрели на искры за окнами, — вéртятся возле нее эти малые — сурирпшин и бóниншин. — Я ничего не сказал ей. — «Опасный», — подумал я, — «возраст», когда я пойму ужé это, — пятнадцать, а мне еще только четырнадцать лет.

Через несколько дней после этого я получил письмецо. Маман не было дома, и оно не попало к ней в руки. — «Я очень прошу вас, — писали мне, — быть на бульваре».

Когда пришло время, я вышел взволнованный. Я задержался в дверях, потому что увидел Горшкову. Она растолстела. Живот у нее стал огромным. Чуть двигаясь, в шляпе с цветами и в пелерине из кружев, она направлялась в собор.

Переждав ее, я побежал. Мадам Гениг стояла у дерева и подстерегала меня. — Я смотрела, — загородив мне дорогу, сказала она, — во дворе, как развешивают там ваше белье. Всё такое хорошее, и всего очень много. — Она попыталась схватить меня за руку. — Если бы, — томно вздохнув, заглянула она мне в глаза, — дети Шустера были как вы.

Из-за задержек я прибежал с опозданием. На месте свиданья я увидел Агату. — Прекрасно, — подумал я. — Пусть она смотрит и после расскажет обо всем Натали.

Она ёрзала, сидя на лавочке, и вытаращивалась. Проходил Митрофанов. Я с ним поболтал. Он сказал мне, что уже не вернется к нам в школу и будет учиться в коммерческом. Я понимал, что ему не должно быть удобно у нас после тех разговоров, которые у него состоялись с отцом Николаем на исповеди. Я подумал, довольный, что я никогда не поймался бы так. Я огляделся еще раз. Агата вскочила и села опять. Я пошел с Митрофановым. Дама, по приглашению которой я прибыл сюда, очевидно, не дождалась меня. Было досадно.

Простясь с Митрофановым, я возвращался по дамбе. Звонили в церквах. Громыхая, катили навстречу мне ассенизаторы. Я удивился, узнав среди них того Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной кланяться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему.

В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей нá голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в колбасную.

Похороны были очень торжественны. Шел полицейский и заставлял снимать шапки. Потом ехал пáстор. За дрогами первым был Штраус. Его вели пóд руки Йозес (рояли) и Ютт. Дальше шли мадам Ютт, мадам Йозес и Бонинша, явившаяся из местечка. Затем начиналась толпа. В ней был Пфердхен, Закс (спички), Бодревич, Шмидт, Грилихес (кожа), отец Митрофанова. В кирхе звонили. Печальный, я смотрел из окна. Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних.

26

На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосаниваясь, я стоял независимо. — Двое и птица, — сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение «троицы». Я не ответил ему.

Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор. Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких «наблюдателей» освобождают от платы. Смотря ему на бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздёв, шестиклассник, покажет мне, чтó и как надо делать.

Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздевым. — Не он ли, — говорил я себе, — этот Мышкин, которого я все время ищу?

На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с зеленоватыми глазками. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду.

Этот вечер был похож на весенний. Деревья раскачивались. Теплый ветер дул. Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды

блестели сквозь них. Запах ле́са иногда проносился. Гвоздёв меня ждал на углу. Я сказал ему: — Здравствуйте, — и мне понравился голос, которым я это сказал: он был низкий, солидный, не такой, как всегда.

По дороге Гвоздёв рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Иван-Моисеича и мадам Головнёвой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я радостный слушал его.

Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа́, и концы их сигарок светились. Гвоздёв чиркал спичками «Закс». Из «физического кабинета» мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами. Мы постояли у них и послушали, как галдят на бульваре внизу.

Возвращаясь, мы шли мимо Ютта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздёв сообщил мне, что все украшения этого дома придуманы нашим учителем чистописания и рисования Се́ппом. Он мне рассказал, что Сепп, Ютт и учитель немецкого Матц происходят из Дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут.

Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Грегуаром. — «Гвоздёв», — на мотив «мел, гвоздей» напевал я, оставшись один, — «дорогой мой Гвоздёв».

Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные места.

Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. Назавтра Гвоздёв подошел ко мне на «перемене». На куртке у него сидел клоп. Это расхолодило меня.

Я представил Гвоздёва Софронычеву, и они подружились, и даже Грегуар записал это в свой «Календарь». Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его. — «Самое», — увидел я надпись, — «любимое:
книга — «Балакирев»,
песня — «По Волге»,
герой — Суворов и Скобелев,
друг — Н. Гвоздёв».

Этой осенью я не ходил на кондратьевские именины. — Мне задано много уроков, — сказал я, — и кроме того, мне придется бежать еще на «наблюдение».

Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток. — Хорошо для здоровья, — сказала она мне. Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова.

Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были Шавские Дрожки вдали, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась А. Л.

Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток. Там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр. Гудели и горели лиловым огнем фонари. Конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинки скамеек, покачивались и вели разговоры под музыку зрители. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся, она мчалась по льду с Грегуаром. Схватясь за Гвоздева, Агата, коротенькая, приналегáла, и не отставала от них. Карл Пфердхен, красуясь, скользил внутрь круга, проделывал разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и всё чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд.

Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости. Раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно.

Как всегда, на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда — с «почты амура» я надеялся получить, как всегда, письмецо.

В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами, блистающий, был расположен оркестр. Евстигнеева пела, тщедушная, встав на подмостках во фронт. Было всё как всегда. Не хватало одной мадам Штраус.

Стефания незаметно подкралась ко мне. — Сколько времени мы не встречались, — сказала она и, схватив меня за руку, стала трясти ее. Тут подоспела девица, которая, мечá в меня снегом, напала на

меня один раз на катке, и Стефания ее мне представила. — Жаждет, — пояснила она, — познакомиться с вами. Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда вдруг испарились. — Девица кивала, чтобы подтвердить это. Крепенькая, она была рыжая, с «греческим» носом и узкими глазками. Звали ее, оказалось: Луиза Кугенау-Петрошка.

27

— Ну, я исчезаю, — сказала Стефания. С ужимками она показала ладонь, по-куриному, боком, взглянула на нас и шмыгнула куда-то. Луиза осталась, сияющая. Мы прошлись с ней вдоль вешалок и сообщили друг другу, какие у нас по какому предмету отметки.

От вешалок она повлекла меня в зал. Там, с скрещенными около груди руками, кавалеры и дамы ногами выделывали кренделя и скакали по кругу, отплясывая «хиавату». Припрыгивая, они боком отходили один от другого в противоположные стороны и, возвращаясь, сходились опять.

Натали в двух шагах от меня пронеслась с Либерманом. Она была счастлива. Глазки ее — они были коричневые — были подняты на́искось влево. Ее волоса, как у взрослой наплоенные, были взбиты, и в них была сунута фиалка.

Мне подали с «почты амура» письмо. В нем написано было: «Ого!» — и я вспомнил заметки Кондратьева на «Заратустре».

Луиза училась в «гимназии Брун» и свела меня с разными ученицами этой гимназии. Большею частью они были не в первый уже раз второгодницы и девицы в лета́х. Бродя толпами, всё свое время они проводили обычно на воздухе. Я каждый вечер, примкнув к ним, старался увлечь их в места, на которых могла бы встретиться нам Натали. Я узнал, что она ходит к «залу для свадеб и балов» Абрага́ма, где дамба сворачивает и с нее можно видеть три четверти не́ба, и оттуда любуется вместе с Софронычевыми кометой. Я стал заводить своих спутниц туда и, притопывая, чтобы ноги не мёрзли, стоять с ними там и рассуждать о комете. Они ее видели, мне же ее почему-то ни разу не удалось разглядеть.

От Кармановых мы получили открытку. Они предлагали мне съездить на масленице посмотреть, что за город Москва. Мы решили, что я могу съездить. Маман подала заявление, и мне прислали бесплатный билет.

Я приехал в Москву в полуоттепель. В воздухе было туманно, как в прачечной. Тучи висели. — Арбат, дом Чулкова, — сказал я, садясь один в сани. Большие дома попадались кое-где рядом с хибарками, и боковые их стены расписаны были адресами гостиниц. Поблизости где-то раздавались звонки электрической конки. Блестя куполами, стояли разноцветные церкви. Крестясь возле них, мужики среди улицы кланялись в землю.

Извозчик свернул, и мы стали тащиться за занимавшими всю ширину переулка возами с пенькой. Там мне встретилась Ольга Кускова. Мы ахнули. Я соскочил, и она, объявив мне, что я возмужал, обещала явиться к Кармановым.

Серж растолстел. Его рот стал мясистым, и около губ его уже что-то темнелось. Карманова, протерев краем кофты пенсне, с интересом на меня посмотрела, и я постарался, чтобы у меня в это время был «непроницаемый вид».

На столе я увидел фотографию, прикрытую толстым стеклом: рядом с мужем, обставленная симметрично троими детьми, Софи, грузная, с скучным лицом, опирается на балюстраду, обитую плюшем с помпончиками. — Кто сказал бы, — подумал я с грустью, — что это она так недавно, прекрасная, распростиралась у ног Либермана, играя с ним в драме, и так потрясала присутствующих, ломая перед ним свои руки, в то время, как он, отшатнувшись, стоял неприступный, как будто Христос на картинке, называемой «Нóли ме тáнгере»?

Серж показал мне журнальчики «Сатирикон». Я еще никогда их не видел. Они чрезвычайно понравились мне, и мне жаль было оторваться от них, когда Серж стал тащить меня осматривать город.

Мы вышли. — Известно вам, Серж, — спросил я, когда мы отдалились от дома Чулкова, — что ваша мамахен прислала моей сочинение об опасностях нашего возраста? — Серж посмеялся. — Она вообще, — сказал он, — аматёрша клубнички. — Он мне рассказал, что она (по-французски, чтобы он не прочёл) услаждает себя, например, Мопассанчиком. — Это, — спросил я его, — неприличная книга? — и он подмигнул мне.

Когда мы вернулись, он мне показал эту книгу. Она называлась «Юн ви»*. Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано

* «Жизнь» (*фр.*).

было, что, вот, наконец-то, и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы Европы — конституционные.

Вечером Ольга Кускова была, рассказала нам случай из жизни одного лихача и сказала, что, кажется, скоро Белугиных переведут в Петербург. Я и Серж проводили ее, и она сообщила нам, как всего легче найти ее дом: после вывески «Чайная лавка и двор для извозчиков» надо свернуть и идти до «двора для извозчиков с дачею чая». Она мне шепнула украдкой, что завтра будет ждать меня в сумерки.

Мы распростились. Навстречу мне с Сержем по переулку проехала барыня на вороных лошадях и с солдатом на козлах. — Серж, помнишь, — сказал я, — когда-то ты научил меня песенке о мадаме Фу-Фу. — Мы приятно настроились, вспомнили кое о чём. О той дружбе, которая прежде была между нами, мы не вспоминали.

Назавтра у Кармановых были блины, и мне лень было после них идти к Ольге Кусковой. На следующий после этого день я уехал. С извозчика я увидел Большую Медведицу. — Миленькая, — прошептал я ей: чем-то она мне показалась похожей на фиалку, которую я однажды заметил в волосах Натали.

28

— Моя мама, — сказала Луиза, — хотела бы, чтобы вы мне давали уроки, — и мы сговорились, что завтра из школы я заверну в «кабинет», а мадам Кугенау-Петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать.

По дороге попрыгивали и попивали из луж воробьи. На бульваре вокруг каждого дерева вытаяло и был виден коричневый с прошлогодними листьями дёрн. Золоченые буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоко́м ваты, и ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачивалась и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугенау-Петрошка, меня догнала́ возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду.

Кугенау-Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубоврачебное кресло. Лицо у нее было пудреное, с одутловатостями, а волоса́ — подпалённые. Щурясь, как когда-то Горшкова, она приняла́сь торговаться со мной. — Это принято уж, — говорила она, — что знакомым бывает уступочка. — Разочарованный,

выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует, перед маман.

Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербочку. С гвалтом, подгоняемые подметальщиками, побежали по краям тротуаров ручьи. — Щепка лезет на щепку, — хихикая, стали говорить кавалеры.

Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать «Гоголю как сыну церкви». Потом он служил панихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя «Тройку», сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. Учитель словесности продекламировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее.

Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство.

Во время экзаменов к нам прикатил «попечитель учебного округа», и я видел его в коридоре. Он был сухопарый и черный, с злодейской бородкой, как жулик на обложке одного «Пинкертона», называвшегося «Злой рок шахт Виктория». Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними. Могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них.

Снова я ходил каждый день на плоты. Я читал там «Мольера», которого мне посоветовал библиотекарь. А вечером я по привычке слонялся с ученицами Брун. Нам встречалась Луиза с своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня выжигою, влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у гимназисток, и все порицали ее.

Иногда, записав «наблюдение», я задерживался на училищной крыше. Я слушал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю, на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал, что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приязнью друзей.

Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А. Л. теперь после обеда, одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд, размышляя о том, как составить свое завещание.

Маман меня стала возить в Свенту-Гуру. В столовой у А. Л. я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней

была нарисована «Тайная вéчеря». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась «да-Винчи». Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее, и Сержа, восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза.

Оба мáльца, Сурир и фон-Бонин, вертелись по-прежнему возле А. Л. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они очень плохо воспитаны.

Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору и наскочил на А. Л. Она, скрючась, сидела на кочечке, в шляпе с шарфом, и, старенькая, подпершúсь кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден палац. Незамеченный, я ее пробовал издали гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне.

От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем есть что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории и Серж начал «жить» с ней, что «раз у него уж такой темперамент, то пусть лучше с ней, чем бог знает с кем», и что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки.

— Серж любит публичность, — сказал я себе и припóднял перед зеркалом брови.

Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова принялáсь за обедом и ужином искоса уставлять на меня «проницательный взгляд». Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из «Опасного возраста». Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко.

Я был с ней на Уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. Отделясь от земли, он, жужжа, поднялся и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны.

Домой я вернулся один, потому что маман то и дело замечала знакомых и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то «кандидата на судебные должности», у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в Шавских Дрожках. Тогда я сказал ей, что «это естественно, так как противно сидеть в одном помещении с трупом». Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня.

Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.

29

Я думал об Ольге Кусковой, и мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда я их обеих не видел, напоминала Софи. Так недавно еще в Шавских Дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам «девушку боком, в малороссийском костюме». В лесу возле «линии», пылкая, когда проезжали «каратели», она грозила им вслед кулаком.

Приближался «молебен». С своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день, рано стало темно, дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Го́лубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его. Тихо покапывало. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью. Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услыхал интересные вещи.

На Уточкине, где маман была в шляпе, украшенной виноградного кистью и перьями, был полковник в отставке Писцов, и маман на него произвела впечатление. Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, — ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла, — и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением. — Благодарите, — сказала маман, — господина Писцова, но я посвятила себя воспитанию сына и уже не живу для себя.

Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности. — Трудно представить себе, — зарыдала она, — до чего оскорбительна бывает их черствость.

С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают: — Черствый! Это он оскорбляет свою бедную мать.

Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно

смотрел и казался таинственным. Он поразил меня. Я попытался покороче сойтись с ним. В училищной церкви я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему: — Двое и птица. — Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан (Кати Голубевой) и хотел подарить ему, но он не принял его.

С переклички я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас.

Андрей проводил меня до́ дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник «закона». — «Пустыня», — прочел он из главы о «монашестве пустынножительном», — «бывшая дотоле безлюдною, вдруг оживилась. Великое множество старцев наполнило о́ную и читало в ней, пело, постилось, молилось». — Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев.

Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла маман «Библию». — Тут есть такое! — сказала она.

Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявши́сь, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на́ голову и, устроясь на рельсах, дала́ переехать себя пассажирскому поезду.

Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлеклась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами.

Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый, он был больше и толще меня и басил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его. — Вы, если что, — говорил он мне, — ставьте в известность меня. Я буду драть. — И рассказывал, что дерет при полиции: дома мерзавец орет и соседи сбегаются. Я вспомнил тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне.

Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон-Жуана». Они мне понравились летом, и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе.

В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздевым с Софронычевым, над магистром фармации Юттом.

По праздникам, когда я стоял в церкви, я знал, что шагах в десяти от меня, за проходом, стоит Натали. Мое зрение, по-видимому, стало хуже. Лица́ ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее головой.

Незаметно до́жили мы до экзаменов. Утром перед «письменным по математике» в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подала́ мне конверт. В нем, написанные той рукой, что писала мне несколько раз через «почту амура», заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении городовой.

30

Помещик Хайновский, с усищами и одетый в какую-то серую куртку с шнурами, какую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня на лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему.

Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны-соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе, — смотрели.

Один, как другой, одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий, шли дни. Перед праздниками иногда мимо нашего дома, раздувшаяся, в шляпе с перьями, пудреная, волоча по земле подол юбки, в митенках, Горшкова, чуть таща́сь, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и пока они там рассуждали, — стояли на улице.

Раз я, бродя, очутился у ла́герей, встретил Андрея, и мы с ним прошлись. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них напечатано было «Ден-

щик — лиходей». Затрубили «вечернюю зо́рю». Звезда появилась на не́бе. — Андрей, — сказал я: — я читаю «Сера́пеум». — Я рассказал ему то, что прочел там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают и правду нам удается узнать лишь случайно.

Настроясь критически, мы поболтали о боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был «Страшный мальчик».

— С Андреем, — говорил я себе, возвращаясь, — приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического. — И я вспомнил Ершова.

А. Л., как и в прошлом году, взойдя на́ гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтоб чаще бывать у нее, стала брать у нее «Дамский мир». Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвезти его.

Часто, раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь занимательное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть, мы должны погасить свет совсем. Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем.

Старухи, которые были в гостях у А. Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду. — Врачом, — говорила А. Л. за меня, так как я сам не знал, и я начал и сам отвечать так. Со стула я видел картинку да-Винчи, но с места не мог ничего рассмотреть, подойти же к ней ближе при всех я стеснялся.

Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с «ве́черей», изображенное на этой картинке.

В день «перенесения мощей Ефросиний Полоцкой» был «крестный ход», и маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Писцову, ходила в собор.

Возвратилась она из собора сияющая и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам. — Как прекрасно там было, — снимая с себя свое новое платье и моясь, красивым, как будто в гостях, с интонациями, голосом говорила она. — Было много цветов. Много дам специально приехало с дачи. — И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в «ходу» была рядом с госпожою Сиу и она была очень любезна и даже, прощаясь, пригласила маман побывать у нее в Шавских Дрожках.

Она наконец покатила туда. В этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался. Обратно шел медленно. Пáрило. Тучи висели. Темнело. Бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах егозили. На улицах люди впотьмах похохатывали. Бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Гениг. Она задержала меня и сказала мне, что в такую погоду ей чувствуется, что она одинока.

Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время.

Маман прибылá в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?». Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована.

— Видела дочь? — спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома.

Маман занялáсь с того дня дрессировкой Евгении, сшила наколку ей нá голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.

31

Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом, без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой.

Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курток рубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам. Он выписал «кафедру» и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее между прочим о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе.

Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу.

Невыспавшиеся, мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай. У вокзала мы остановились и подивились на фурманов в шляпах и в узких ливреях с пелеринами и га-

лунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробегали трамваи. Деревья и улицы были только что пóлиты. Город был очень красив и как будто знакóм мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький.

Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кирхе. — Зо загт дер апостель, — с балкончика проповедовал пастор и жестикулировал, — Паулюс!* — Здесь к нам подошел Фридрих Олов. Он был одет в «штатское». В левой руке он держал «котелок» и перчатки.

Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал туфельку Анны Иоанновны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался. — Неужели, — восхищался он нами, — действительно вы изучили уже почти весь курс наук? — Обнявши́сь, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча похожа была на какое-то приключение из книги. Я рад был.

На взморье, очутясь без штанов и без курток, в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них.

После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина.

Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось «поклониться мощáм», и затем нам сказали, что каждый из нас может делать, что хочет, до поезда.

С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус.

После этого мы походили и набрели на «тупик». Изнемогшие, мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.

В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил при-

* Так говорит апостол Павел (*нем.*).

смотреть за ученьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.

По понедельникам первым уроком у нас было «законоведенье», и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в «штатском», в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.

Наш директор любил все обставить торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали, и в числе их на подмостки был выпущен я.

Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пфердхен и сказал: — Поздравляю. — Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пе́йсах Ле́йзерах о́бнял меня. — Ты поэт, — объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.

Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки. — Мы знаем уже, — говорили они. Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к нам под шумок.

— Я хотела бы с вами, — сказала она мне, — немного поговорить фамильярно. — Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью. — Сразу заметно, — польстила она, — что у вас есть свой форс.

Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла́ меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стишками. Он сам сочинил их.

Я снес их в училище и показал кой-кому. Мы смеялись, Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за «всенощной».

32

Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, поворотил. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.

Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спи́ны соседей от взоров Иван-Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.

Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. — Это, — пожимая плечами, сказал я, — который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.

Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее. — Слушай, — сказал я Ершову, — прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.

— Ну, и гусь, — закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, приподнял ее и прижал к себе. Я тихо о́тнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, который окончил училище в прошлом году, и оно ему было немножко мало́. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом.

Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему даму, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.

В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». — «Лучший», — писал я ему, например, — «проводник христианского воспитания — взор. Посему надлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства» — или: «эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». — Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.

От виадука мы медленно доходили до «зала для свадеб». Безлюдно, темно и таинственно было на дамбе. С деревьев иногда на нас падали капли. Дорога устлана была мокрыми листьями. На повороте мы долго стояли. На тучах мы видели зарево от городских фонарей. Лай собак доносился из Гривы Земгальской.

Ершов рассказал мне, что отец его прошлой весной бросил службу в акцизе и купил себе землю за Полоцком. Вся семья жила́ там. Поэтически говорил мне Ершов о приезде к ним в усадьбу одной польской дамы, которую вечером он и отец, с фонарями в руках, провожали до пристани. Мне было грустно, что я в этом роде ничего не могу рассказать ему.

В городе он жил один у канцелярского служащего Олехновича, и Олехнович хвалил его в письмах, в которых подтверждал получение денег за комнату. Кроме Ершова жила у него еще классная дама Эде́мска. Она каждый вечер вздыхала за чаем, что снова ничего не успела и прямо не знает, когда доберется наконец до ксенджарни «Освята» и выпишет там на полгода «Газету — два гро́ша».

Ершов говорил мне, гордясь и оглядываясь, что отец его вегетарьянец и даже состоит в переписке с Толстым; что когда еще он был акцизным, ему при поездке на одну винокурню подсунули овощи, которые сварены были в мясном котелке, и он их по неведению съел, но душа его скоро почувствовала, что тут что-то не так, и тогда его вырвало; и что однажды он видел на улице, как офицер бьет по морде солдатика за неотдание чести, — и трясся, когда возвратился домой и рассказывал это.

Меня удивляло немного в Ершове его восхищение отцом, и мне было приятно, что, вот, и Ершов не без слабостей. Этим он еще больше пленял меня. Я вспоминал «письма к Сержу» и думал, что если бы я продолжал их еще сочинять, то теперь я, должно быть, писал бы: — «Ах, Серж, очень сча́стлив может быть иногда человек».

Но приманки, которые были у меня для Ершова, все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по вечерам и не стал отвечать на записки. — Ты хочешь отшить меня? — встав, как всегда, рядом с ним за обедней, спросил я. Презрительный, он ничего не сказал мне.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошел. Олехнович в плаще с капюшоном и в чиновничьей шапке, сутулясь, появился на улице. Он успел сбегать куда-то и возвратить-

ся при мне. Борода у него была жидкая, узенькая, и лицо его напоминало лицо Достоевского.

С булками в желтой бумаге, с мешочком, обшитым внизу бахромой, и в пенсне с черной лентой прошла от угла до воро́т — классная дама Эде́мска. Она здесь была уже дома. Отбросив свою молодецкую выправку, съежась, она семенила понуро.

У глаз я почувствовал слезы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть. Я подумал, что я никогда не узнаю уже, подписалась ли она наконец на газету.

Сначала я надеялся долго, что дело еще как-нибудь может уладиться. Ревностно я сидел над Толстым и над Чеховым, запоминая места из них и подбирая, что можно бы было сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему.

Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе, дня мы узнали, что умер Толстой. В этот день я решился попробовать: — Умер, — сказал я Ершову, подсев к нему. Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне, что жалко, что Пушкин убит.

В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки: «Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает на небо, а Христос обнимает его и целует».

Она сообщила, что был разговор обо мне. Сиу были любезны спросить у нее, любитель ли я танцевать, и она им сказала, что нет и что это прискорбно: кто пляшет, тот не набивает свою голову разными, как говорится, идеями.

Я покраснел.

33

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесть наконец за латинский язык. Наш учитель немецкого Матц обучал ему и помещал раз в неделю в «Двине» объявление об этом. Я с ним сговорился.

Кухарка отворяла мне дверь и вводила меня. — Подождите немножечко, — распоряжалась она. Я рассматривал, встав на носки, портрет Матца, висевший на стене над диваном, среди вееров

и табличек с пословицами. Синеглазый, с румянцем и с желтенькими эспаньолкой и ёжиком, он нарисован был нашим учителем чистописания и рисования Сеппом.

Являлся сам Матц, неся лампу. Поставив ее, он ее поворачивал так, чтобы переведенная на абажур перево́дная птичка была мне хорошенько видна.

— «Сильва, сильвэ»,* — смотря на нее, начинал я склонять. Потом Матц объяснял что-нибудь. Я старался показать, что не сплю, и для этого повторял за ним время от времени несколько слов: «эт синт ка́ндида фа́та туа́» или «пульхра эст».**

Раз мы читали с ним «дэ амитицие верэ». Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он сча́стлив был в дружбе.

Однажды, когда я от него возвращался, я встретился с Пе́йсахом. Мы походили. У «Зала для свадеб» мы остановились и, гля́дя на его освещенные окна, послушали вальс. Я старался не думать о том, что недавно я здесь бывал с другим спутником.

Пе́йсах разнежничался. Как девицу, он взял меня под руку и обещал дать мне список той оды, которую в прошлом году сочинил наш учитель словесности. Я помнил только конец ее:

Русичи, братья поэта-печальника,
Урну незримую слез умиления
В высь необъятную, к горних начальнику,
Дружно направим с словами прошения:
Вечная Гоголю слава.

— Зайдем, — предложил он, когда, повторяя эти несколько строк, мы вошли в переулок, в котором он жил. Я пошел с ним, и он дал мне оду. Мы долго смеялись над ней. Я бы мог получить ее раньше, и тогда бы со мной мог смеяться Ершов.

Рождество подходило. Съезжались студенты. Выскакивая на «большой перемене», мы видели их. Через год, предвкушали мы, мы будем тоже ходить в этой форме, являться к училищу и против окон директора, стоя толпой, с независимым видом курить папироски.

Приехал Гвоздёв. Он учился теперь во Владимирском юнкерском. Он неожиданно вырос, стал шире, чем был, его трудно узнать было. Бравый, печатая по тротуарам подошвами, он подносил к козырьку концы пальцев в перчатке и вздергивал нос, восхищая девиц.

---

* Лес, леса (*лат.*).

** Пусть твои пути будут чисты; красива (*лат.*).

К Грегуару он не заходил и при встрече с ним обошелся с ним пренебрежительно.

В день, когда нас распустили, я видел, как ехала к поезду классная дама Эде́мска. Торжественная, она прямо сидела. Корзина с вещами стояла на сиденье саней рядом с нею. Могло быть, что только что эту корзину ей помог донести до калитки Ершов.

В первый день рождества почтальон принес письма. Евгения в белой наколке, нелепая, точно корова в седле, подала́ их: Карманова, Вагель А. Л., фрау Анна и еще кое-кто — поздравляли маман. Мне никто не писал. Ниоткуда я и не мог ждать письма́. За окном валил снег. Так же, может быть, сыпался он в это утро и над «землёю» за Полоцком.

Блюма Кац-Каган была коренастая, низенькая, и лицо ее было похоже на лицо краснощекого кучера тройки, которая была выставлена на окне лавки «Рай для детей». Она кончила прошлой весною «гимназию Брун» и уехала в Киев на зубоврачебные курсы. В один теплый вечер, когда из труб капало, выйдя, я увидел ее возле дома. Она прибыла на каникулы.

— Вы не читали, — сказала она мне, — Чуковского: «Нат Пинкертон и современная литература»? — Заглавие это заинтересовало меня. Я читал Пинкертона, а про «современную литературу» я думал, что она — вроде «Красного смеха». Я живо представил себе, как, должно быть, смеются над ней в этой книжке. Мне очень захотелось прочесть ее.

С дамбы я посмотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка. Я сказал, что сегодня лед мягкий, и Блюма со мной согласилась.

— Но дело не в том, — заявила она. — Я читала недавно один интересный роман. — И она рассказала его.

Господин путешествовал с дамой. Италия им понравилась больше всего. Они не были муж и жена, но вели себя так, словно были женаты.

— Ну, как вы относитесь к ним? — захотела узнать она. Я удивился. — Никак, — сказал я.

Против «Зала для свадеб», когда мы стояли впотьмах и нам слышен был шум электрической станции, оркестр вдали и собачий лай, ближний и дальний, Кац-Каган раскисла. Она, обхватив мою руку, молчала и валилась мне на́ бок. Я вынужден был от нее отодвинуться. Я ее спрашивал, помнит ли она, как когда-то сюда приходили смотреть на комету. Она мне сказала, что нам еще следует встретиться, и сообщила мне, как ей писать до востребования: «К-К-Б, 200 000».

В течение этой зимы Тарашкевич приглашал меня несколько раз, и я ходил к нему. Кроме меня там бывал Грегуар и один из пя-

терочников. Он показывал нам, как решаются разного рода задачки. Потом нам давали поесть и поили наливкой. Приязнь возникала тогда между нами. Прощаясь, мы долго стояли в передней, смеялись, смотря друг на друга, опять и опять начинали жать руки и никак не могли разойтись.

Я с особенной нежностью в эти минуты относился к Софронычеву. — Ты встречаешься, — ласково глядя на него, думал я, — каждый день с Натали. Как и я, ты по опыту знаешь, что такое коварство друзей.

Тарашкевич сидел на одной скамье с Шустером. Он разболтал нам, что Шустер посещает Подольскую улицу. — Шустер, — говорил я себе, пораженный. Я вспомнил, как я не нашел в нем когда-то ничего интересного. — Как все же мало мы знаем о людях, — подумал я, — и как неправильно судим о них.

Рано выйдя, я утром стал ждать его. — Шустер, — сказал я и взял его за руку. Сразу же я спросил его, правда ли это. Польщенный, он все рассказал мне. Он ходит по пятницам, так как в этот день там бывает осмотр. Он требует книги и узнаёт, кто здоров. Номера разгорожены там не до самого верха. Однажды там рядом оказался его младший брат, перелез через стенку и стал драться стулом. Теперь его не принимают в домах: — Если хочет ходить туда, то пусть ведет себя как подобает.

34

Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, полюбопытствовал в этом году, «прелюбы сотворял» ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя, что последнее в моей жизни говенье прошло.

Мне еще раз пришлось выступать на подмостках — в тот день, когда праздновалось «освобождение крестьян». Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства разочаровалась, и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот.

Пе́йсах очень хвалил меня. — Ты показал им один раз, — говорил он, — что ты это можешь, и хватит с них. — Он одобрял теперь все, что я делал. Но я не его одобрения хотел.

Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В «Раю для детей» вместо санок на окнах уже красовались мячи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык.

— Все равно, всего курса я не успею пройти, — говорил я, и, кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врачом.

Я успел из уроков латыни узнать между прочим, что «Нóли ме тáнгере», подпись под картинкой с Христом в простыне и девицей у ног его, значит «Не тронь меня».

Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что «попечитель учебного округа» может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем.

Была панихида. Отец Николай сказал проповедь. Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушать «медицинскую тайну».

У Грилихеса бастовали. Маман кипятилась, и я удивлялся ей. — Если бы только уметь, — говорила она мне, — то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней.

Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полный таинственности Грегуар и любезный пятерочник. Вынув конверт, Грегуар положил перед нами бумагу с задачками. — Ну-ка, — сказал он. Пятерочник эти задачки решил нам. Они на другой день даны были нам на экзамене.

Мы издолбились. В день спали мы по три или по четыре часа, и маман изводилась. — Когда, — говорила она, — это кончится? — На ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов.

Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получали «свидетельства». С «кафедры», на которой стоял стакан с ландышами, говорились напутствия. То засыпая, то вздрагивая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там очутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их. — Истина, благо, — по обыкновению, красноречиво воскликнул он, — и красота!

Пришел вечер, и в книжечке для «наблюдений» я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь.

Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказал нам, что его сын помешался оттого, что не выдержал в технологический. — Он все науки, — сказал нам Канатчиков, — выдержал и только плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал.

Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал, есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гонясь за отметками по математике, и оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят.

В «участке», когда я ходил за «свидетельством о политической благонадежности», я видел Васю. Он быстро прошел. — Нет, мадам, — на ходу говорил он бежавшей за ним неотступно просительнице. По привычке, я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед, и когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть, кого водят за этим в полицию.

Шустер гостил у отцовской сестры за Двиной в «пасторате», и я не встречался с ним. Пе́йсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым маман отправлялась дежурить. Он раз показал мне ту оду, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику «освобождения крестьян». Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня.

Пейсах должен был вместе с своею семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к «котелку» и носил вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полша́га, я случайно попал взглядом в стекло.

— Погоди, — сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на́ нос стёкла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листики. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях и написано было «Давали в кредит».

За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу Гривы Земгальской. Свистя, пришел на берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс.

Быстро сбросив с себя всё, коричневый, он остался в одной круглой шляпочке и побежал в ней к воде. Пробегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему «Здравствуй», но я не осмелился.

Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их.

Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.

Дикие

ДИКИЕ

Еще недавно люди были очень дикие. Я расскажу немного про своих родных. Когда эта история, которую я здесь описываю, началась, мне было лет четырнадцать. Всё это было уже после революции, но тогда, когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией, которая тогда еще имела малое распространение.

Отец мой служил сторожем на станции. Он подметал ее и выполнял другие подобные работы. Кроме того, он пахал — у нас в поселке все́ тогда пахали, чем бы кто ни занимался кроме этого.

Он был мужчина дюжий, с черной бородой, пузатый — вроде кулаков, которые бывают на картинках. Лоб у него был морщинистый, взгляд грозный, голос рявкающий.

Мать была, наоборот, коротенькая, кругленькая, с тонким голосом. Лицо у нее было налито́е, желтоватое, точно моченая антоновка. Недавно мне показывали одну бывшую монахиню — мамаша на нее была похожа.

Нас при отце с матерью тогда было пятеро. Шестая наша сестра, Фроська, была замужем за Трошкой. Он был середняк, лет сорока, силач, ходил всегда нечесаный. Его изба была от нас через дорогу.

Сама Фроська была толстая, разиня. Юбка у нее всегда была подоткнута, а рукава засучены. Она любила песни. Когда ей рассказывали что-нибудь смешное, она долго молча слушала и вдруг валилась со скамьи и захохатывала басом.

С ними жила Сашка, Фроськина девчонка, девка лет под двадцать. Родила́сь она до Трошки, неизвестно от кого, и Трошка получил ее в прида́ное. Он с нею обращался хорошо и часто покупал ей пряники.

Она была не в нашу масть. Все́ наши были черные, а Сашка была белая. Она училась в сельской школе и окончила ее. Ей дали там в награду книгу про купца Калашникова, и она давала мне читать ее.

Мы жили на углу. Через одну дорогу против нас был Трошкин двор, через другую — Ваньки Чернякова, ламповщика.

С Ванькой жила мать, старушка из раскольниц. У нее были бородка и усы. Ходила она горбясь. Родом она была нездешняя, казачка из станицы Ольгинской, и называла всех наших людей иногородними.

Бок о́ бок с Ванькиным двором стоял двор Лизунихи, Марьи Дмитриевны.

Марья была баба лет под пятьдесят, вдова, широкоплечая. Она чуть-чуть прихрамывала на ходу. Когда она беседовала с кем-нибудь, она смотрела в глаза прямо и при этом улыбалась и облизывала губы языком. Она была шинкарка.

Раз, когда папаша мой пришел со станции и сел пить чай, является мать Ваньки Чернякова, Разумеевна, и с нею — Лизуниха. Закрывают за собой двери, крестятся на образа и кланяются.

Разумеевна выкрикивает по-казачьему:
— Здоровы ночевали?

Поправляет, чтобы закрыть бороду, концы платка, оглядывается, чтобы увидеть табуретку, и садится при дверях.
А Лизуниха улыбается, облизывается, прихрамывая направляется к столу и там усаживается под средней балкой потолка и говорит отцу:
— Никит Андреич, здравствуй. Чай да сахар. А мы к вам.
Это они явились нашу Варьку сватать.

Варька была дылда, губы поджимала, глаза щурила, подкрашивала щеки красными бумажками и за столом хулила пищу.

Ей не очень-то хотелось выходить за Ваньку, потому что он был низок ростом и черноволос, а ей по вкусу были люди рослые и посветлей. Но раз подвертывался случай, не хотелось упускать его. Поэтому она сказала:

— Можно будет.

Дали мы за ней корову, валенки и обещали справить кое-что из мелочей, а Ванька должен был соорудить ей шубу.

Вскоре отец с матерью принарядились и отправились за мéлочами в город. Наш Андрюшка ехал в этом поезде проводником и до Самары довез их бесплатно.

Всю дорогу они пили чай в служебном отделении и разговаривали с железнодорожниками. Время провели очень приятно и в Самаре вылезли из поезда очень довольные.

Мамаша в городе бывала редко, и ей было всё в диковинку. Она зазёвывалась на гробы, которые стояли в окнах некоторых лавок. Здоровенные карманные часы, которые висели кое-где над тротуаром, ее тоже очень интересовали, и она всё время останавливалась, а отец всё шел вперед, вдруг замечал, что ее нет с ним, возвращался и ругал ее. Она оправдывалась, и они стояли, перебранивались и мешали людям проходить.

В обратном поезде Андрюшки уже не было, и нужно было брать билеты. Отец взял один билетик, посадил мамашу у окошечка, а сам ушел с покупками в другой вагон.

Отъехали немного. Двери отворяются, и появляется контроль. Рассматривает номерá билетов, пробивает щипчиками. Добирается до той скамейки, где сидит мамаша.

— Ваш билетик, — говорит.

Мамаша отвечает:

— У Никиты он.

— А где же ваш Никита? — спрашивают.

— А не знаю, — говорит мамаша. — Он пошел куда-то.

— Так отправьтесь с нами, — приглашает ее вежливо контроль, — и поищите его.

— Ладно, — говорит она, встает и начинает с ними продвигаться от скамьи к скамье, всё время с остановками.

— Никита, — зубоскалят кругом люди, — где ты? Жив ли?

Наконец она находит его.

— Вот он, — говорит она. — Ну, слава тебе, господи. Я думала, уж ты совсем пропал. Никита, дай билет.

— Никита-то я — это да, Никита, — отвечает он. — А ты-то кто?

И он отказывается от матери и заявляет, будто видит ее первый раз.

— Как? — удивляется она. — Никита, да ведь я же тридцать восемь лет живу с тобой.

А он опять не хочет признавать ее.

— Не знаю, — говорит, — какая это сумасшедшая старуха привязалась ко мне.

Тут она упала на колени, стала плакать и упрашивать его, чтобы он не отказывался от нее, но он не смилостивился над ней и дал забрать ее и запереть в служебное.

На станции ее ссадили и свели в контору. Там сидел заведующий Дашкин и еще какие-то. Мамаша сразу же, как только ее ввели в двери, встала на колени. Она вся была растрепана. Платок ее сполз с головы, а кофта выбилась из юбки и чулки спустились. Она стала плакать и просить, чтобы ее освободили.

Все́ стали смеяться над ней. Дашкин ей велел вставать скорей и догонять Никиту.

Она опрометью бросилась и скоро догнала́ отца. Он шел, засунув в карман руку, и она его обеими руками ухватила за нее.

— Никитушка, — сказала она, — что же это? Чем я так не угодила тебе, что уж ты не хочешь больше признавать меня?

Он дал ей подзатыльник и растолковал ей, что вреда ей никакого не было, а денежки, которые бы были выброшены на билет, остались целы, и, поняв это, она порадовалась.

Свадьбу я не стану здесь описывать. Все это можно видеть в звуковом кино. Сплошное безобразие и дикость. Я дивлюсь теперь, как я мог принимать участие во всем этом.

Покамест Ванька жил в одной избе со старухой, но решил поставить для себя отдельную избу́.

Смотритель зданий Щукин отпустил ему казенных бревен. Рыжий плотник Осип начал делать сруб, и к осени изба была готова. Молодые перешли в нее, а Разумеевна осталась в старой, тут же во дворе.

К посту у Варьки родился́ мальчишка, и его назвали Колькой, но соседи называли его Оськой, потому что он был рыжий — вроде Осипа.

К Трофиму пришли свахи от Максима-татарина. Просили выдать Сашку. А Максим этот был нэпман — всюду скупал кожи и возил куда-то. Он был очень видный и ходил всегда в костюмчике и при часах. Он жил при Кашкинских заводах. К нам на станцию он ездил в шарабане. Он сулил за Сашку чалого.

— Ну, что же, — сказал Трошка. — Он, конечно, чуждый элемент, но мы на это можем и не посмотреть. Теперь всё дело в Сашке — как она намерена.

А Сашка говорит:

— А мне что? Ладно, пусть себе. Посмотрим, что ли, что это за нэпманская жизнь.

Сам Максим-татарин был магометанской веры, а она христианской, и поэтому они женились без попов. Гуляли очень шумно. Очень веселилась дочь Максима, Райка, девка восемнадцати лет от роду. Она была толстуха, ноги у нее были короткие, а туловище несуразное. Она толклась как ступа.

После этой свадьбы Трошку начали дразнить, что Сашку он сменял на чалого. Когда он на нем ездил, то соседи потешались и показывали пальцем и говорили:

— Вон, Трофим на Сашке едет.

Сашке нэпманская жизнь сначала очень нравилась, и она часто приезжала к нам в поселок разукрашенная, чтобы показаться дома и пройтись по станции. Максим давал ей денег столько, сколько она требовала, и она раскатывала в шарабане и трясла мошной — подписывалась на заем и покупала лотерейные билеты.

Ванька Черняков был должен что-то плотнику за новую избу, и на страстной неделе плотник пришел спрашивать. Но Ваньке не хотелось отдавать ему. Он зол был на него за Кольку.

— Денег нету, — сказал он. — Приди опять на пасхе.

А на пасхе он опять не захотел платить. Тут плотник не поцеремонился с ним и исколотил его, а Ванька крикнул людям:

— Видели? —
и побежал в чем был на станцию, чтобы пожаловаться в гепеу.

Оттуда с ним пришел товарищ в форме. Плотник в это время перед нашим домом с Варькой, Фроськой и другими катал яйца.

— Ванька, — крикнул он, — тебе меня, что ль, нужно? Вот он я.

Товарищ рассудил их, велел Ваньке уплатить, а плотнику не драться.

— Коли так, — сказал на это Ванька, — то пожалуйста. — И здесь же отдал денежки.

Но плотнику хотелось покуражиться над ним.

— Варвара, — сказал он, — я что-то утомился дравшись, да и деньги тяжело нести. Ты отвези меня вон в той тележке. Я тебе отсыплю пуд пшеницы.

А он жил в другой деревне, в двух верстах. Тележка была двухколесная. Она стояла во дворе у Трошки и была видна через плетень.

— Одной тебя не сдвинуть будет, борова, — сказала Варька. — Помоги, Трофимиха, — и Фроська согласилась. Она выкатила Трошкину тележку на дорогу и захохотала.

— Варька, — закричал Иван, — не смей! — А Варька сделала ему нахальное движение рукой и поясницей, ухватилась с Фроськой за оглобли и пустилась с нею.

— И-го-го, — орали они.

Плотник пробежал за ними несколько шагов, держась руками за тележку, потом брюхом вспрыгнул на нее и подтянулся.

— Но, кобылки, — стал вопить он и замахиваться.

Все́ они, конечно, были пьяные.

Через час с четвертью Варвара с Фроськой возвращаются, везут тележку, на тележке — пуд, гогочут и горланят, на ногах чуть держатся: в обеих деревнях им выносили из домов стаканчики и угощали их.

Они развесили свой пуд на два полпудика и унесли их в избы. Ванька начал упрекать Варвару, плакаться, что она делает его гороховым шутом. Старуха Разумеевна ему подтягивала. Варька обругала их обоих и легла храпеть.

Отца с Трофимом в это время не было. Они ходили позвонить на колокольне. Вышли они за́ руку, нарядные, с примасленными волосами, в розовых рубахах, выпущенных на штаны, в жилетах и без пиджаков. Они христосовались по дороге с встречными и заходили то в один двор, то в другой — поздравить с праздником и выпить.

Наконец они вернулись. Они знали уже, как Варвара с Ефросинией возили плотника, и были недовольны. Трошка отругал жену и высыпал ее пшеницу на дорогу.

— Это зря, — сказал отец и велел матери собрать зерно с дороги и кормить им кур.

Пока она возилась на дороге, ползая на корточках и собирая на лопату гусиным крылышком пыль с зернышками, прикатила в таратайке Сашка, соскочила и кричит:

— Христос воскресе. Вот она и я. Махмутка, помоги-ка сундуки втащить.

Махмутка тоже спрыгнул и помог ей втащить к Трошке сундуки — большой и маленький. Тогда она дала ему полтинник и отправила его:

— Катись теперь.

Увидя это, мы заинтересовались и скорей туда. А Сашке нужно поломаться, и она расспрашивает, кто был в церкви, в чем ходили, были ли уже попы на нашей улице.

Отец тогда не выдержал, ударил кулаком с размаху по столу и рявкнул на нее:

— В чем дело? Говори, мерзавка.

Сашка для приличия жеманится немного и потом выпаливает, что приехала совсем.

Дескать, не нравится быть чуждой элементкой и вообще всё очень надоело. Райка страшно много жрет и каждую неделю ходит в фотографию сниматься — прямо нет терпенья.

— Ах они татары, — говорит отец, — свиные уши чертовы. — И все́ мы ей сочувствуем и проклинаем Райку и Максимку.

Вдруг опять грохочет таратайка, останавливается, и входит сам Максим. Расшаркивается и поздравляет:

— С праздником вас.

Сашка кричит:

— Бейте его! —

и визжит, вскочив на лавку.

Трошка орет:

— Бей его!

Мы все́ набрасываемся и лупим. Варька прибегает с мужем. Разумеевна является — толкаются, не могут протолкаться, чтобы тоже хоть разок его ударить.

Изгвоздали его, вываляли, весь костюмчик изодрали. Наконец устали, бросили его на таратайку и хлестнули его лошадь, чтобы его духу у нас не было.

А Лизуниха у своей калитки улыбается, поглядывая издали, полизывает губы, головой покачивает.

Скоро он опять явился. Сашка очень нравилась ему, и он не мог отвыкнуть от нее. Опять мы поучили его.

— Ты забудь сюда дорогу, сукин сын, — сказал ему папаша, — а не то покаешься, да поздно будет. Сашка нашей крови девка. Мы ее в обиду не дадим.

А он всё ездил, и мы каждый раз одно и то же. Как он от нас ноги уносил, не наше было дело.

— Ну, теперь не сунется, скотина, — говорили мы.

А он опять являлся.

В вознесенье все́ мы были пьяные. Трах — он уж тут как тут. Сейчас же мы накидываемся на него — все три семейства.

Сашка кричит:

— В воду его!

Мы его суем в колодец. Он хватается руками за края. Пропихивается, расталкивая мужиков, Трофимиха, молотит его кулаком по пальцам, он срывается, бултыхается в воду. Разумеевна кричит:

— Багром его, а то не захлебнется, сволочь. Там воды по пояс только.

А у нас у всех багры были — ловить весной дрова на речке.

Тут мамаша приняла́сь за нас цепляться.

— Ироды, — кричит, — да что же это будет? Отвечать придется.

Если бы не Лизуниха, мы убили бы его. Спасибо, догадалась она, сбегала, пока не поздно было, в гепеу.

Максим-татарин видел, как мы дружно действуем против него, и захотел разъединить нас. Он стакнулся с Трошкой, угостил его, и Трошка перешел на его сторону.

Когда Максим опять приехал, Трошка заступился за него. Он выхватил из своего плетня кол, заревел, как зверь какой-нибудь, и разогнал нас.

Нас в тот вечер было мало. Ламповщик ушел на станцию, а наш Андрюшка был в поездке. Нам пришлось поджать хвосты.

Мы были в большой ярости. Мы подожгли бы Трошкину избу́, но в ней были две наших бабы — Ефросиния и Сашка. Мы сидели до рассвета, не смыкали глаз и всячески ругали Трошку.

Поутру папаша собрался́ на станцию. Он опасался Трошки, как бы тот доро́гой не напал на него, и достал с полатей костыли.

— Больного человека не посмеет тронуть, — сказал он, потрогал свою бороду и, навалясь подмышками на ручки костылей, толкнул перед собою дверь и выбросил через порог зараз обе ноги.

А Трошка уже ждал его.

— Не проведешь, подлюга, — закричал он и схватил свой кол.

Папаша бросил костыли и со всех ног пустился улепетывать, а он сломал один костыль, потом другой и расшвырял обломки.

После этого он запряг чалого, которого Максим-татарин дал ему за Сашку, и поехал в Красное Самсо́новище за своими братьями.

Пока он ездил, Фроська с Сашкой захватили с собой кое-какой скарб, корову и перебежали к нам.

Вернулся Трошка. Он был сам-четвертый. Братья его были здоровенные, бородачи, косматые. Произошло сраженье. Трошка с братьями разбили нас. Мы выдали им Фроську с Сашкой и корову, и они их продержали до утра в сарае.

Утром Трошка выпустил жену и Сашку из сарая и сказал им, что разводится. Двор и корову отдал Фроське, лошадь взял себе, весь скарб разделил поровну, а вещи, которых было по одной, перерубил на половинки. Погрузил доставшуюся ему долю на телегу, обвязал веревкой и уехал к братьям в Красное Самсо́новище.

Сашка, чтобы не остаться беззащитною, решила снова выйти замуж. Лизуниха помогла ей и посватала ее за милиционера Проничева. С ним она и записалась.

Фроська же устроилась курьершей в сельсовете. Там освободилось место, потому что прежняя курьерша Лебеденкова проворовалась на почтовых марках.

Варькин муж тем временем поехал на курорт, а Варька стала выходить на станцию, прогуливаться по платформе и любезничать с гуляющими кавалерами. С ней познакомился Сазонов, слесарь из депо, и начал к ней похаживать. Он был по ее вкусу, рыжий.

Разумеевна, как только он являлся, вылезала из своей избы, шла к Варькиной и принималась колотить в дверь палкой. Слесарь открывал окно, выскакивал и улепетывал задами, а она кричала ему вслед:
— Держите его.

Варькину калитку она вымазала дегтем. Утром Варька мыла ее, подоткнув подол, и говорила людям:
— Не могу понять. Казалось бы, не шлюха, а воро́та вымазали.

Ванька отгулял свой срок на во́дах и вернулся. Он узнал, как Варька поступала без него, и стал срамить ее.

— Ах, значит так? — сказала она, вышла, походила в огороде между грядами и объявила Ваньке, что разводится с ним.

Суд оставил детей Ваньке и ему же присудил посуду, чтобы было из чего кормить их. Но Варвара увела детей с собой и, когда ламповщик был на работе, не спускала глаз с его двора. Как только бабка отлучалась, она опрометью мчалась туда, открывала одно слабое окошко, лезла внутрь и тащила что-нибудь из утвари.

Иван не вынес этого и впал в отчаянье. Он взял у Лизунихи водки, выпил, не закусывая, и повесился в чулане.

Когда он толкнул ногами табуретку и она упала, он схватился за веревку, растянул чуть-чуть петлю́ и крикнул:
— Караул, спасите.

Разумеевна вбежала в чулан, вскрикнула, зажгла огонь, подставила под Ваньку табуретку, сбегала за Лизунихой, и одна из них косой обре́зала веревку, а другая подхватила повалившегося Ваньку на́ руки.

Они позвали к нему Варьку и сказали ей:
— Любуйся. Что ты натворила, стерва?

И тогда она разжалобилась и вернулась к нему и вернула ему все ухваты и горшки, которые успела утащить у него.

Ванька очень радовался. Он решил еще раз сыграть свадьбу и созвáл гостей. Красносамсóновищенским, которых он увидел на базаре, он велел звать Трошку с братьями.

Они приехали, и Трошка сговорился с Фроськой, что вернется к ней и тоже еще раз сыграет свадьбу.

Так они и сделали, а Сашка, чтобы всё было по-прежнему, ушла от Прóничева и опять, как раньше, стала жить у них.

Шуркина родня

ШУРКИНА РОДНЯ

1

Телега со скарбом подъехала к домику. Он был бревенчатый, обитый железом. К дороге он был обращен тремя окнами. Дверь и два окна были сзади. Двор не был ничем огорожен.

Хозяйка, которая шла за телегой, шагнула еще раз и, очутясь рядом с возом, ссадила с него шестилетнюю девочку и мальчугана лет трех. Шурка, средний, сам спрыгнул.

Явились мальчишки откуда-то, расположились и стали глазеть. На крылечках двух соседних домов появилось по женщине.

— Сбегайте, кто-нибудь, дети, — сказала приезжая, — и попросите сюда господина Акимочкина.

Дожидаясь его, она села с детьми на завалинку. Возчик отвязал от телеги ведерко. Достав из колодца воды, он дал лошади пить. Он свернул «козью ножку». Махоркой завоняло в свежеющем воздухе.

Пыльные, из придорожной канавы торчали репейники. Поле с коротенькой бурой щетиной тянулось до леса. Местами оно было серое от паутины. Казалось, что на нем лежит иней.

Лес был верстах в трех с половиной. Недавно за него село солнце, и небо над ним еще было слегка желтоватое.

Виден был верх колокольни за лесом, и крест одним краем блестел на ней. Черная, около колокольни видна была узенькая заводская труба.

Разрезая лес вдоль, показался вдруг и стал быстро бежать белый дым. Поезд вынесся и застучал, приближаясь.

Извозчик сказал, что дорога, по которой идет этот поезд, зовется здесь «веткой», а сам этот поезд «кукушкой». Он возит со станции к сахарному.

Мальчуганы, ходившие за господином Акимочкиным, прибежали, и скоро стал виден он сам.

Он шагал, держась прямо. Он был невысокий и черный, с железнодорожными пуговицами.

Дойдя, он приставил одну свою ногу к другой, как солдат. — Добрый вечер, — сказал он.

Посылавшая за ним женщина встала. Он был ее брат. У обоих у них были красные щеки, срастающиеся на переносице брови, рот, в углах загнутый кверху.

Акимочкин отворил принесенным с собой ключом двери, и в дом внесли вещи.

В нем были две комнаты: «кухня» и «зал». Стены зала побелены были мелом. Пол в нем был доща́тый, покрашенный. Дети, восхищенные, стали валяться.

Их мать, отвернувшись, достала платок из-за пазухи и, развязав его, вынула деньги и расплатилась с извозчиком.

Он постоял и спросил, нет ли «синенького», и ему нацедили в стакан через корку.

Потом нацедили себе, и Акимочкин, опрокинув, пошел.

— Ну, пока поживите, — сказал он, как будто бы́ этот дом был его.

На пороге столкнулась с ним гостья, толстуха, кума, машинистиха, родом литовка. Она была низенькая и пыхтела. Одета она была в пышное платье с прошивками.

Нацеловавшись, она пощипала детей, и хозяйка, цедя через хлеб, налила́ ей полчашки. Она проглотила. Лицо у нее стало масляным.

Обе довольные, они напоили детей кипятком и, постлав на полу, уложили их. Вбили три гвоздика в разных местах и повесили зеркальце в рамке, иконку и лампочку без абажура, к которой был сзади приделан рефлекторчик из гофрированной жести.

Потом ее сняли, зажгли, осмотрели при ее свете кровать и, обмыв ее и протерев керосином, расставили.

Гостья затем пожелала помочь еще разобрать сундучок. Он обит был брусничного цвета слюдой и полосками жести. Замок у него открывался с секретом.

Когда дошло дело до двух фотографий, она поднесла их к огню и одну за другой, отдаляя от глаз и опять приближая к глазам, с интересом рассматривала.

На одной была надпись «На память о браке моем сочетании», а на другой «В день отъезда на фронт».

Похвалив их за сходство, литовка, печальная, потрясла головой и вздохнула.

— А если бы, — предположила она, — он служил на железной, его бы не взяли.

Хозяйка опустилась тогда на кровать. Там она, утираясь платочком с деньгами, повсхлипывала.

Она стала потом проклинать генеральшу Канатчикову, у которой в имении ее муж состоял в писарях.

— Не наймись он туда, — говорила она, — он бы, может быть, был на железной.

Расстроенная, она процедила оставшийся синенький и допила его с гостьей. Их души раскрылись, и женщины пододвинулись ближе друг к другу.

Они улыбались приятно и слушали, как в другом конце комнаты дети сопят.

— Нет, — задумчивая, глядя в сторону лампочки, заговорила мечтательно гостья: — Что-что, а железнодорожное дело — святое. Какое подспорье, что служащим предоставляют хотя бы, например, даровые билеты.

Счастливая, стала она вспоминать, как в Аральске она была за усачом, а в Иркутске — за хлебом. В Крым съездила и посмотрела на Черное море. Из Тулы неделю назад привезла самовар, а теперь собирается в Сызрань за яблоками.

Уходя, она вдруг повернулась. Борясь с нерешительностью, потупляющаяся и доброжелательная, она остановилась в дверях.

— И не трудно вам так, — сострадающая, проницательно глядя, спросила она, — как вдове, без мужчины?

2

Поев привезенного вчера с собой хлеба, все вышли на улицу. Мать заперла́ на ключ дом и отправилась, приказав дожидаться ее и никуда не ходить, на базар.

Дети радовались, что остались одни на свободе. Они покричали «кукушке» «ку-ку» и, дразня ее, стали скакать и плясать. Повалясь на дорогу, они хохотали. Потом они стали вздымать пыль ногами. Набрав ее в горсти, они ее сыпали себе на голову.

Из соседнего дома к ним вышел мальчишка в поярковой шляпе. Они окружили его. Он сказал, что отец у него земледелец, Василий Иванович, и что с другой стороны, где на крыше стоит жестяной петушок, живет «главный». Когда ему нужно на станцию вечером, он зажигает фонарь и несет в руке. Дочери его, девке, пять лет, и ее зовут Манькой. Жена его один раз отхватила себе дверью пол-уха. Работу у него в доме делает теща. Индюшек он держит зимой в утеплённом сарайчике. В поле их водит пастись сучка Джек.

Он сыграл на сопелке, достав ее из-за рубахи, и спел интересную песенку. Дети такой не слыхали до этого:

Пора бабушке вставать.
Накормила,
На дубочек посадила.
Дуб, сломися,
Другой, народися.
Татарки,
Хохлушки,
Берите по палке.
Там мост мостять.
Там жеребцов крестять.

Он рассказал им еще, что его зовут Яшкою, и что из мест, где война, едут беженцы, и что когда они будут здесь жить, то парнишка их будет ходить к нему.

Многое из того, что он тут говорил, сразу же и подтвердилось. Индюшка прошла с индюшатами, сопровождаемая сучкой. К изгороди подбежала из сада девчонка. Старуха, поставив ведро, догнала ее и оттащила, схватив за подол.

— Говорил я, — сказал тогда Яшка, и слушатели, изумленные, захохотали.

Их мать в это время шагала, помахивая на себя для прохлады платочком. Она краем глаза поглядывала на свое отражение в окнах. На ней была черная кружевная косынка и бусы из коралловых шариков. Юбка и кофта на ней были синие, новенькие, еще ни разу не стиранные и блестящие.

Улицы не изменились с тех пор, как она, еще маленькая, приходила сюда из деревни.

По-прежнему чередовались с заборами одноэтажные домики, были видны впереди каланча и украшенная синей маковкой и золоченым крестом колокольня.

На тех же местах были «Чайная», «Зало для стрижки», «Плиссе и гофре», и такие же толстые люди смотрели с портретиков, вставленных за стеклом у фотографа.

Так же, как и в то время, пыля на ходу, в камилавке и в валенках, брел без дороги отец Михаил и раскачивался, как медведь в балагане на ярмарке.

— Дунька Акимочкина, — узнавали ее и подходили к ней люди. Другие, воспитанные, говорили ей так: — Евдокия Матвеевна.

Все ее знали девчонкой еще, и никто ее не называл по фамилии мужа — Гребенщиковой.

Ей рассказывали между прочим, присев к ней на лавку, что Ванька Акимочкин, брат ее, в Преображенье был пьян. Он хвалился у церкви и возле ларьков против станции, что он может Дуньку впустить, может выгнать, что дом не ее, а его, потому что он сам его ставил.

Взволнованная, она всем возражала на этом, что муж ее несколько лет понемногу давал Ваньке денежки, чтобы он закупал не спеша матерьял, и что Ванька сам строил, так это потому, что он плотник (железнодорожником сделался только во время войны), и за это ему шла часть платы, которую получали от Губочкиных, квартирантов.

— Вам надо управы искать на него, — говорили ей. — Надо бумагу составить: «До слуха до моего, мол, дошло» и — подать куда следует.

Несколько дрог на железном ходу, запряженных лошадками, к мордам которых подвешены были дерюжные торбы, стояло у почты. Под липой сидели на пыльной траве их хозяева и бормотали, читая в тени «донесения главнокомандующего».

Гончарных дел мастер дед Ма́ндриков тоже был здесь. Он жил в той же деревне, где жил и Авдотьин отец, и Авдотья обрадовалась.

— Дед, — сказала она, подходя: — вам богатому быть: не узнала я вас. Извините меня уж.

Она посмеялась немножечко и подала́ деду руку. Свой воз он оставил у Бо́ндарихи, на заезжем. Авдотья его проводила туда.

— Мне и детям моим, — говорила она, — угрожает опасность. Пускай бы папаня заехал сюда. Я сама бы слетала к нему, но нельзя: не с кем бросить детей.

Деду Мандрикову было очень приятно с ней. Он улыбался и был обходителен. Он подарил ей газету.

— Газета сегодня, — сказал он ей, — не лишена интереса: мы что-то около ста человек взяли в плен.

Ей пришло тогда в голову, что хорошо бы дать знать про все мужу. Она завернула на почту, купила конверт, лист бумаги. Почтмейстер пожаловался ей, что, вот, завели эти новые марки и руки с трудом подымаются, чтобы класть штемпель на царский портрет.

«Благоверный супруг мой, — писала она, когда дети ее улеглись: — Я одна без вас. Люди жалеют меня и говорят мне, что я — как вдова».

От письма она с лампочкой переходила к простенку, где было повешено зеркальце, и, посмотрясь, возвращалась.

Она написала про Ваньку и больше всего — про хорошую смерть квартирантки их, Губочкиной: как она обошла всех знакомых и всем говорила: «А знаете, я ведь сегодня умру», а вернувшись — переоделась, легла и послала за батюшкой. Губочкину без нее не хотелось здесь жить. После похорон он собрался́ и уехал в Самару.

3

Авдотьин отец подкатил к дому вечером двадцать девятого августа, в день «усекновения». Завтра у Шурки должны были быть именины, и деда просили остаться.

— Есть синенький-то? — спросил он, выпряг мерина и поместил его на ночь в конюшне у отца Яшки Василия.

Дед был костлявый, бородка у него была серенькая, стрижен он был под горшок. Он ходил в картузе и клеенчатой куртке.

Он снял сапоги и остался босой. Чтобы дети не трогали вожжи и кнут, он их спрятал на печку.

На улице было тепло, и Авдотья с отцом, выпив синенького и задув в доме лампочку, вышли во двор. Они сели на дроги и, скрючась, беседовали.

Подымался и утихал лай собак. То далёко, то близко гудели иногда паровозы. «Кукушка», проносясь то туда, то назад, тарахтела.

В конюшне Василия лошади переступали. Звезда иногда отрывалась и падала.

Дочь рассказала отцу, как, съезжая со двора генеральши Канатчиковой, продала свою Катьку, корову, и как трудно жить. Рассказала про Ваньку.

Отец был красильщик и возчик. Он красил холсты в деревнях и возил бревна к при́станям.

— Слушай, — сказала Авдотья и высчитала, что, живя возле станции, он бы мог целиком перейти на извоз.

Они долго прикидывали, и уже петухи прокричали, когда они договорились, что дед переедет сюда.

Возбужденные, они наконец вошли в дом и прикончили синенькое, припасенное к завтрашнему именинному дню.

Под воздвиженье дед переехал. На дрогах привез утром скарб, выпряг мерина и поскакал на нем за тарантасом и бабкой.

Она была низенькая, в ватной кофте, сужавшейся в талии, в черном с горошинками сарафане и в красных сапожках. Она перекрестилась, войдя, и, сняв пестрый платок, осталась в сатиновом черном чепце.

Дед и бабка устроились в кухне. Кровать у них была деревянная, и нарисованы были на ней два кувшина и лев между ними.

В сенях дед развесил парадную сбрую. Она была с бляхами. Шурке при этом он дал держать вожжи. Они были вязаные, шерстяные, зеленые.

Бабушка была из староверок. Иконы у нее были черные. В угол она поместила Иисуса Христа, а по бокам — богородицу и Иоанна Предтечу. Он был страшный, с крыльями, с чашей, а в чаше у него был ребеночек.

Перед иконами бабка прибила к стенам треугольную полочку и прикрепила к ней ситцевую пелену́, а на полку поставила круглую штучку с отверстиями и сказала, что это — кадильница.

Стали жить. Дед поставил плетень перед домом, построил сарай, навозил дров, картошки, набил сеновал.

Иногда он в свободное время решал почитать и, открыв сундучок, доставал из него очень толстую книгу, которая называлась так: «Правда дороже, чем золото».

Весь сундучок изнутри был оклеен картинками, и из него соблазнительно пахло. Для запаха дед в нем держал десять черных стручков. Говоря о них, он называл их «рожка́ми».

Дед клал эту книгу на стол, придвигал табуретку. Очки у него были связаны сзади веревочкой. Он надевал их и начинал читать вслух.

Когда он сел читать в первый раз, все явились, заинтересованные, и расположились вокруг.

— Вот, — сказал он и прочел, что «не до́лжно избегать встреч со священником».

— Некоторые, — читал он, — считают, что встречи сии предвещают несчастье. Но мысль сия внушена самим дияволом.

Знатный московский купец, выйдя из дому, встретил в дверях поспешавшего на урок к его детям законоучителя и обратился назад.

— Не страшитесь, — ободрил его иерей, — но идите, и я говорю вам, что вы получите прибыль.

И что же? Купец торговал в этот день с такой выгодой, как никогда.

На Кавказе один суеверный полковник, идя в поход, встретился с шедшим домой по совершении некоей требы пресвитером и приказал своим воинам плюнуть. И тут же настигла его мусульманская пуля, и он испустил вскоре дух.

— Это верно, — сказала Авдотья. Ей вспомнилась встреча с отцом Михаилом и после него — с дедом Мандриковым. — Иногда и священника встретить — не к худу.

В базарные дни заезжали иногда к деду с бабкой какие-нибудь старики из деревни. Дед Мандриков тоже заглядывал по временам и докладывал, сколько мы опять человек взяли в плен.

Иногда, когда в церкви давали «листки из Почаева», он заходил почитать их вдвоем.

Начинались морозики. Кадку с водой из сеней внесли в кухню, «зал» стали топить. Утром поле и соседние крыши совсем были белы. Плетень и примкнутый к нему рыжей цепью с замком тарантас по утрам были тоже как будто посыпаны солью.

Все меньше удавалось бывать на дворе. Было скучно. Томясь, дети часто принимались мечтать о парнишке из беженцев. Если бы он приходил к ним — как здорово было бы.

С Яшкой они теперь редко встречались. Встречаясь, справлялись, приходит ли этот парнишка к нему, но парнишка еще и к нему не ходил.

Раз вошел, постучась, сын Ивана Акимочкина Аверьян с сундучком и, поставив его, объявил, что пришел сюда жить.

— Не хочу, — сказал он, — покоряться.

Он начал ругать свою мачеху и рассказал, как она придирается, и как наушничает, и как отец его из-за нее в позапрошлом году до того избил Нюрку, которая была тоже от первой жены, что она и сейчас еще чахнет.

— Ну, что же, — сказала Авдотья, смотря на него. — Проживай себе.

Стлать она стала ему на полу, там, где детям, и дети, ложась, уговаривались, если кто-нибудь ночью проснется, будить остальных, чтобы слушать всем вместе, как он интересно храпит.

Через два дня на третий он ездил на соседнюю станцию, где он работал в депо, и дежурил. Когда его не было, дети вытаскивали из кармана его праздничной куртки конверт с фотографиями, на котором напечатано было: «Секретно. Мужчинам-любителям. Жанр де Пари»,* и смотрели их.

4

У земледельца Василия Ивановича были похороны. Его Яшка с парнишкой из беженцев пробовал лед на пруду. Оказалось, лед был еще слабый, и Яшка, идя впереди, провалился.

Авдотья решила пойти проводить его. Бабка ее поддержала.

— Кого мы провожаем, — сказала она, — тот нас выйдет встречать на том свете.

Дед тоже решил идти.

— Скоро нам, — пояснил он, — придется просить господина Василия, чтобы он на зиму принял к себе тарантас.

И тогда все оделись и вышли и заперли дом на замок.

Было очень приятно на улице, тихо и солнечно. Точно весной, на дороге попрыгивали и почирикивали воробьи.

Долговязый, задрав кверху голову, на квартал впереди шагал главный. Жена семенила с ним, низенькая, и, оглядываясь, торопила девчонку, которая не поспевала.

— Рассчитывают, — сказал дед, — что весной будут брать у Василия плуг для картошки.

У станции вспомнили Ваньку, как он здесь бахвалился в преображение, и посмеялись, а переходя через линию, глянули на устроенное между главными и запасными путями «отхожее место для пленных», и всем пришел в голову Мандриков.

---

* В парижском роде, т. е. нечто фривольное (*фр.*).

Церковь стояла среди большой площади беленькая, ее крестик блестел, и казалось, что небо, везде чуть голубенькое, над ней было совсем густо-синее.

Детям Авдотья дала по копейке для нищих, и нищие что-то пропели им и поклонились им в землю.

Ждать в церкви пришлось не особенно долго. Обедня уже отошла, началась панихида, и де́ла отцу Михаилу с дьячком Виноградовым было всего на каких-нибудь четверть часа.

Блестя лысиной, главный стоял впереди и крестился. Он был выше всех. А на мертвого дети старались не взглядывать. Желтый, с бумажной полоской на лбу, он пугал их. Никто не сказал бы, что он так недавно играл им на дудке и пел интересную песенку про жеребцов.

Хорошо показалось, когда опять вышли на улицу. Солнышко чуточку грело, и воздух подрагивал. В небе ни облачка не было. Кисточки ягод краснелись еще кое-где на верхушках рябин.

Подоспела литовка, кума, и, пристроясь к Авдотье, болтала.

Она сообщила, что беженцы соорудили в порожнем амбаре костельчик и там очень мило. Ей есть теперь где помолиться посвоему. Пленные тоже заходят туда. Они очень воспитанные, и заметно, что с образованием.

Вдруг она стала таинственной и, оглянувшись, спросила:

— Ну, как Аверьян?

— Он такой, — ковырнув рукой в воздухе и сделав губы кружочком, сказала она, а Авдотья, отведя глаза, стала к чему-то присматриваться и спросила, какая это видна там железнодорожная линия.

— Это, — ответил ей дед, — идет ветка на Серные воды.

Он начал рассказывать, как он возил туда лес для железнодорожного доктора Марьина, разбогатевшего тем, что он делал людей непригодными к воинской службе, и строившего в Серных во́дах два домика, чтобы сдавать их внаймы.

Этот день, необычно начавшийся, дед захотел и закончить попраздничному. Когда стало темно, он зажег в кухне лампочку и, открыв сундучок, достал книгу.

Опять все пришли и уселись вокруг, чтобы слушать ее.

Дед раскрыл где пришлось и прочел им о женской неверности. Случай с Пентефрием и похотливой женой его всех позабавил, и все посмеялись над ней, что она была старенькая, а полюбила мальчишку, Авдотья же стала ее выгораживать и говорить, что ей, может быть, не было даже и тридцати еще лет.

— Ну, да что там, — сказала она, поднялá́сь, погнала́ детей спать, напихала белья в два котла, залила́ и поставила в ночь — мокнуть к завтрашней стирке.

Когда, отстиравшись, она собрала́сь на ручей полоскать, к ней явилась литовка. Работы у нее было мало, и она могла сколько угодно расхаживать.

— В Рыме, — сказала она, входя, — быть и попа не видать. Я ходила сейчас к мадам главной и, вот, зашла к вам.

Очень шумная, расцеловав надевавшую наскоро на́ голову поверх чепчика черный платочек с горошками бабку, она обхватила Авдотью за талию и повлекла ее в «зал».

Там она рассказала о беженцах и о приехавшем с ними прекрасном ксендзе, хорошо исповедующем, а Авдотья еще раз с ней вспомнила, как хорошо умерла квартирантка.

— А где Аверьян? — оглядев потолок, словно думала, будто он может быть там, вдруг спросила литовка.

Она захотела узнать то и сё, почему он работает на другой станции, и что он делает дома.

Авдотья ответила ей, что там — «узел», проходят две разных дороги, и он — на другой, потому что на здешней — сам Ванька, и если бы тут же был и Аверьян, то это было бы слишком заметно и люди болтали бы, что, вот, оба они укрываются.

Дома же он очень мало бывает. Он любит играть на гармонии, а у него ее нет, и он ходит играть на чужой.

— Молодые всегда так, — сказала кума и, сжав губы, внушительная, посмотрела Авдотье в глаза.

Когда выпал уже первый снег и раскис, по грязище, ругаясь, пришла почтальонша Софроновна и принесла письмецо.

Это муж писал с фронта. Он хвастался, что не дает спуску немцам, предостерегал Дуньку от кавалеров и кланялся всем, а Ивану Акимочкину он просил передать, что, вернувшись, расправится с ним, как с германцем каким-нибудь.

Деду понравилось это письмо, и Авдотья ему подарила его. Он прочел его Мандрикову, когда тот завернул, и тот тоже одобрил.

У Мандрикова в этот день оказалась с собою ханжа. Все подвыпили. Дед стал плясать среди кухни, а бабка, которая не смогла встать со стула, сидела, ударяя в ладоши, раскачиваясь, и, веселая, пела:

— Танцуй, Матвей,
Не жалей лаптей.

Тут в трубе стало выть. Когда выглянули, на дворе оказалась метель, и пришлось деду Мандрикову ночевать.

Перед сном поглядели портреты царей, фотографии разных церквей, напечатанные в книге «Правда дороже, чем золото», потолковали о том, что Толстой, говорят, тоже пишет.

— Священные книги, — сказал дед Матвей, — сорок раз переписаны были, и в них получились ошибки. Там пишется о подставлении левой щеки, а Толстой отвечает на это: «Да так он тебя и совсем убьет».

Все посмеялись, а Мандриков рассказал, что есть книжка про храмы: они — свалка каменья, слитие золота и серебра.

5

— Аверьян ужасно интересный, — удивлялись дети, когда он, подкравшись, схватывал кого-нибудь из них внезапно за подмышки и подбрасывал так высокó, что в животе щекотно становилось.

Иногда он брился, и тогда он отгонял всех, — или чинил примус. Иногда был весел, щелкал пальцами и напевал, притопывая:

Кекуок известный
Танец повсеместный.

Часто ему снилось, что к нему подходит кто-то, наклоняется и трогает его, а он старается проснуться и не может.

Один раз после того, как он опять увидел это, дети посмеялись над ним и сказали ему, что это не сон, и что их мать на самом деле подходила к нему ночью и, присев возле него на корточки, дотрагивалась до него.

— Да, — согласилась она, — это, правда, было. Я хотела разбудить его, а то он очень уж храпел, да так и не решилась, как-то жаль стало его.

— Ну, в следующий раз решайся, не жалей, — сказал он, и она два раза после этого будила его.

Уже дело подходило к масленице, когда в дом явился вдруг однажды малый в серой куртке, перепачканный мукой, и подал письмецо в конвертике и сверток.

— Аверьян-Иванычу от Ольги Федоровны, — объявил он.

Сверток очень хорошо был упакован, а конверт был деловой, с печатной надписью: «Колониальные товары. Ф. Суконкин».

Аверьян работал в это время. Все ехидничали и с огромным интересом дожидались его.

Вечером он прибыл, наконец-то. Он прочел письмо. Он бросил его в печку и похохотал немного.

— Влюблена и хочет познакомиться, — сказал он.

Он поджег веревку спичкой и распаковал посылочку.

В ней оказалась булочка с изюмом, вроде кулича, обсахаренная, домашнего изготовления, и ликерчик в глиняной бутылочке.

— Ах, — крикнул Аверьян, схватил его и пóднял всем напоказ, а дед расчувствовался и сказал, что это — из запасу.

Бабка же нюхнула бутылочку и, дернув носом, повертела головой.

— Не с при́воротною ли травкой, — догадалась она.

Молча Аверьян тогда вскочил, схватил кухонный нож, резнул два раза и с куском, не надевая шапки, выбежал.

— Вот кьятр, — удивился дед.

Авдотья посмеялась и, пожав плечами, убрала́ бумагу и веревочку.

Бумага эта оказалась объявлением — из тех, что перед рождеством расклеили на всех углах поселка: холодно в окопах — жертвуйте солдатам теплое белье. Пожертвования принимают доктор медицины Марьин и потомственный почетный гражданин Суконкин.

Аверьян примчался торжествующий и, в высшей степени довольный, сообщил, что добежал до главного, покликал сучку Джека, и она не стала этой булки есть.

Тогда решили сжечь ее, чтобы ее не наглотались дети или куры, а к ликерчику присели и, отправив детей спать, распили его.

Он был запечатан, и в него подсыпать ничего нельзя было, но бабушка сообразила, что бутылочка могла быть наговорена́, и, чтобы обезвредить ее, обкурила ее, положив из печки уголек в кадильницу.

Аверьян форсил и задавался, говорил, что Ольга выдра и свои припасы понапрасну израсходовала.

Дед блаженствовал, потягивая, бабка хлопала глазами и закашливалась, а Авдотья, словно опьянела больше всех, без то́лку похохатывала и хватала Аверьяна за руки.

Когда же, перейдя из кухни в зал, они уселись по своим местам и начали укладываться, то она спросила, что бы он ответил, если бы не Ольга, а она любила его.

— Глупости какие, — сказал он. — Во-первых, ты мне родственная тетка, во-вторых — лет на десяток старше меня, и поэтому я не могу воспринимать подобных чувств.

«Ах, супруг мой, — вскоре после этого отправила Авдотья письмецо: — вы мне глаза кололи кавалерами. Но где они? Нет никого такого. Я одна. Нет никого, к кому бы можно было прислонить мне голову».

«Жить трудно. Стирки стало меньше из-за этих беженцев — всё бабы ихние перебивают».

«За детьми смотреть не успеваю. Они водятся бог знает с кем и пальцами изображают глупости».

«Хотя бы вы на время отпросились сюда. Некоторые ведь приезжают на побывку».

На письмо это она не дождала́сь ответа. С почты ничего ей больше не было. Софроновна два раза появлялась в их конце, но заходила во двор к главному.

Снег стаял. Куры сели выводить цыплят. Стреножив мерина, дед стал пускать его на дерн. Поле начали пахать.

У сучки Джека родились щенята, черные с коричневым, и дети бегали смотреть, как теща главного их топит.

Тарантас опять стоял у дома — на цепи, с замком, как лодка, а за то, что земледелец принял его на зиму к себе в сарай, дед земледельцу отрабатывал.

В конце поста говели. Бабушка, идя к причастью, нарядилась в поясок с молитовкой. После причастья ели студень и весь день старались не грешить.

Под пасху были у заутрени. Полюбовались огоньками плошек. Посмотрели на ракеты и послушали хлопушки перед церковью.

Какому-то мальчишке прострелило из хлопушки ногу. Он орал, пока его не утащили, и, столпясь вокруг, всé слушали.

Уже позеленели ивы над канавами, и мошки появились. С каждым днем все позже опускалось солнце и садилось все правей, все ближе к трубе сахарного.

Дети, подмигнув друг другу, стали удирать во двор и, прошмыгнув под окнами, шататься по поселку.

Иногда они отыскивали Аверьяна у чьего-нибудь забора. Он играл «На сопках» на чужой гармошке, а его друзья отплясывали посреди дороги с девками.

Тогда, взобравшись к Аверьяну на скамейку, дети оставались с ним и вместе возвращались в темноте.

Они цеплялись за него, старались не отстать и тоненькими голосками разговаривали с ним о его картинках для мужчин.

— Ой, — затыкая уши и оглядываясь, восклицал он и учил их говорить прилично, например — «пистон поставить».

6

«Дети наши шляются, — отправила Авдотья письмецо на фронт, — и у меня нет сил что-нибудь сделать с ними».

«Я возьмусь лупить их, а они меня комплиментируют подобными словами».

«Тарантас у нас украли — кол тот вытащили из земли, к которому он был прикован».

«Тарантас этот отец купил недавно, когда ехал к нам. Теперь и денежки пропали и доходы меньше сделались».

«Должно быть, мне придется, дорогой супруг мой, отослать двоих детей на время к вашему отцу и к вашей тетеньке — которая просвирня».

Снова она стала поджидать Софроновну и выбежала ей навстречу, когда она ощупью, читая на ходу, вошла во двор с открыточкой:

«Я девка, — сообщала о себе просвирня, — и не очень смыслю в детищах. Но ладно, все равно, везите, я управлюсь как-нибудь».

С недельку еще медлили и наконец решились. Дед впряг в дроги мерина, набил травой мешок и положил его на дроги.

Все присели в кухне, встали и, подавленные, вышли. Дед уселся с девочкой. Перекрестились и, когда телега завернула за угол и стука ее колес не слышно больше стало, молча возвратились в дом.

А к дому приближалась уже и опять несла письмо Софроновна.

— Вам пишуть, не гуляють, — снисходительно сказала она.

Это свекор извещал Авдотью, что он скоро соберется в отпуск и тогда приедет и возьмет ребенка.

Письмецо это все очень похвалили, дед Матвей сказал, что почерк замечательный, Авдотья оживилась и еще раз рассказала, что отец ее мужа письмоводитель, потому что у него простуженные ноги и другой работы из-за этого он никакой не может выполнять.

И, как и каждый раз, и дед и бабка с интересом это выслушали, покачали головой и, щелкнув по два раза языком, одобрили.

Он прибыл, и ему гостеприимно предоставили весь зал. Он спал там на кровати, а Авдотья ночевала в кухне на печи. Мальчишек же и Аверьяна выпроводили в сарайчик.

Дед Гребенщиков был жилистый, носил бородку клином и поверх рубахи надевал коричневый пиджак. Штаны на нем были сатиновые, черные, и, по причине ревматизма, он ходил не в сапогах, а в валеных калошах.

Он приехал вечером, а утром, обстоятельно поговорив со всеми, пожелал пройтись.

— Ну, Шурка, — подмигнув, сказал он, — ты меня веди, а завтра я тебя буду везти.

Тут он, довольный, посмотрел на всех, и все похохотали.

Тогда Шурка подошел к нему и подал ему руку. Он был низенький и важный, с красными щеками. Он надел картузик, и они отправились.

Неторопливо они шли, смотрели на ходу направо и налево и беседовали, а увидя лавку, заходили внутрь и прицենивались.

Около вокзала дед купил себе и Шурке по стакану кваса и по прянику, а Шурка рассказал ему, как Ванька здесь хвалился под преображенье, что продаст их дом и выгонит их.

— Ишь ты, — понегодовал на Ваньку дед, и скоро перед ними оказалась площадь и на ней бараки и вагоны без колес.

Дед очень был доволен, когда Шурка сообщил ему, что это — помещения для беженцев.

Он быстро огляделся, высмотрел скамейку, поспешил к ней и расположился.

Вынув из кармана пиджака пенсне, он живо насадил его на середину носа и признался, что еще не видел, что это за люди — беженцы.

Тут Шурка удивился, и они, притихнув, стали смотреть молча на мужчин и женщин, выходивших из бараков и опять входивших, а потом к ним села, чтобы лучше разглядеть их, молодая мать с ребенком и они потолковали с ней.

Застенчивая, оправляя кофту и вздыхая, она им рассказывала, как в тот город, где она жила, прислали первых раненых и понесли от станции до лазарета, забинтованных, а люди подбегали к ним и клали на носилки деньги и расстраивались, а потом привыкли, проходили мимо и не взглядывали даже.

А когда солдаты стали отступать и угонять с собой скотину, чтобы не досталась немцам, было слышно, как за го́родом кричат коровы, потому что их не кормят и не поят, и тогда опять очень расстраивались люди.

— Всякого, должно быть, движимого можно было по дешевке накупить там, — сказал дед. Он поднялся́ и снял пенсне: — Ну, что же? Мы не будем более задерживать вас.

И они простились с ней и завернули на базар и там договорились с мужиком, который собирался завтра ехать по своим делам в Богатое, узнали цены и отправились домой, довольные друг другом и держа друг друга за́ руку.

На следующий день подъехал их извозчик, все присели в кухне, вышли и столпились возле отъезжающих и стали пожимать им руки.

— Шурочка, — расчувствовалась бабка и, закрыв лицо передником, завсхлипывала, — может быть, я не дождусь тебя, — а дед Матвей тихонько рассказал Гребенщикову, как один раз поругался с ней и крикнул ей, чтобы она издохла, а она ему — чтоб он; они поспорили, кто будет первым, и решили тянуть жребий, и, вот, жребий выпал ей.

— Большой бы ты был, Шурка, я велела бы, чтобы писал мне, — всхлипнула и мать, и Шурка ей ответил:

— Я неграмотный.

Приятно было ехать то между полями, то между лесочками, греметь по мосткам, смотреть на стайки птичек, то взлетающие, то спускающиеся, то выпрямляющиеся, то загибающиеся углом, на пестрые стада, деревни с колокольнями и мельницами и купальщиков, бросающихся с бережков в ручьи.

В Богатом ночевали у Маланьи Яковлевны на заезжем, пили чай, и кипяток им приносили в большом чайнике с цветами. Шурке дед давал есть пряники и пояснял при этом, что теперь он не у матери, где видят только корки.

Утром они вместе умывались у крыльца и лили из ведра друг другу на руки, потом молились на Маланьины иконы, снова пили чай, ходили на базар, прицениваись, сговорились с мужиком до Земляного и по случаю купили «Утешение болящим», сочиненное епископом Петром и отпечатанное в городе Казани.

7

Дорога пошла дальше степью. Ехать скучно было. Дед достал из сумки «Утешение» и стал читать его.

Болезнь, напечатано в нем было, может привести нас к смерти или кончиться выздоровлением.

Смерть может быть тяжелая и легкая.

Тяжелою обычно умирают грешные, а легкой — праведные.

Но бывает иногда, что праведные умирают трудной смертью, грешные же — мирною и безболезненною, и сие пусть не смущает нас.

Нет праведника, у которого бы не было ни одного греха, и чрез мучительную смерть бог подает ему возможность искупить сей малый грех еще в сей жизни и избегнуть воздаяния за оный в жизни будущей.

Когда же грешник умирает легкой смертью, это значит, что ему не посылается возможность искупить предсмертными мучениями часть его грехов, и что за все он будет отвечать за гробом.

Но не следует при виде трудной смерти думать, что она дается умирающему в наказание за грех. Так помышляя, мы бы согрешили сами, ибо осудили бы его. Нам надлежит предполагать, что это бог его испытывает.

Часто при заболеваниях употребляются лекарства. Но без воли божьей ни одно лекарство не подает болящему какого-либо облегчения, и если иногда лекарство помогает, это значит лишь, что бог снабдил его на этот раз целительною силой, чтобы чрез его посредство ниспослать уврачевание болящему.

Однако, из сего не следует, что дóлжно отказаться от употребления лекарств, ибо может быть, что бог как раз желает исцелить болящего через сие лекарство.

Посему нам должно:

а) молиться, чтобы бог снабдил лекарство исцеляющею силой,

б) вкушать лекарство.

— Эта книга, — сказал дед вознице, — очень умная. Заметил, как в ней все показывается и так и этак, и еще по-третьему? И это очень правильно. О всяком деле можно рассуждать и так и этак.

Стало припекать. Полынью стало пахнуть. Философствующих начало морить.

Они покрепче сели, заклевали носом и, дремля, доехали до мельницы Земляного.

Тут извозчик вскрикнул, лихо покатились и через минуту, очутясь у церкви, соскочили нá землю.

Простясь с ним, дед посовещался с Шуркой, и они решили, что нет смысла им идти на постоялый, и остановились на ночь у Мусульманкула Исламкулова, который торговал вразнос иголками и пуговицами.

Он очень мило принял их, любезно улыбался, говорил им: — Ай! — и брал их зá руку и тряс ее обеими руками.

Он был в синей куртке, толстый, и на пальце у него было серебряное обручальное кольцо.

Он усадил их во дворе у грядки с ноготками, и они весь вечер пили втроем чай.

Слетелись из потемок на огонь их лампы бабочки и бились об нее.

Таинственные, наклоняя нáбок голову по временам, чтобы послушать лай собак вдали, поговорили о делах, и дед сказал: — Мусульманкулушка, — и выразил готовность сколько-нибудь времени не спрашивать должок.

Расчувствовавшись, он проникновенно начал говорить об умном — как мы обо всяком деле можем рассуждать двояко.

Переночевали, и Мусульманкул сказал им «с добрым утром, батюшка», и стал прислуживать им. Он принес воды и лил ее им нá руки из медного кувшина.

Не засиживаясь, они выпили по нескольку стаканов чаю и поели воблы.

— Кто это тут едет? — постучал в окно извозчик, и они отправились.

Хозяин, стоя на крылечке, что-то крикнул им. Они оборотились. Он расставил руки и прижал их к сердцу, важный и умильный.

Снова была степь. Смотреть надоедало. Солнце начинало жарить. Путешественники, спрятав языки, покачивались сидя и дремали.

Уже зной спадал, и между облачками, белая, уже стояла косо, словно наклоняясь над водой, луна. Вдруг дроги подскочили так, что зубы у всех лязгнули, и побежали по уклону к мостику. Прогрохотали, въехали и очутились в деревушке с глиняными избами и глиняными невысокими заборчиками.

Избы эти были вы́белены, и по белому на них наведены́ были цветною глиной разные узоры и рисуночки.

Здесь дед и Шурка слезли и пошли к избе с подсолнухами и с картинами «две девки» и «цветы в горшке».

— Дворы у нас, — сказал дед Шурке, открывая перед ним калитку, — крытые, а то бы их из степи заносило снегом.

Выбежала бабка в темном сарафане, синем фартуке с карманами и сереньком платочке и засуетилась.

— Ах ты, котик мой, — сказала она Шурке и, присев возле него на корточки, пустилась тормошить его.

Он высвободился и, ухватясь одной рукой за деда, а другой отряхиваясь, зашагал с ним в дом.

Как там, откуда он приехал, в доме была кухня и еще другая комната.

Она здесь называлась «чистая», и в ней висели между окнами два зеркальца, украшенные бантами, и две картинки в рамках: «Радко Дмитриев» и «Фиорая».

Пока грелся самовар, гудя, и дед расспрашивал старуху о хозяйстве, отворилась дверь, и в дом вошли солдаты.

— Здравия желаем, — крикнули они и стали у порога.

Тут все посмеялись, глядя на них. Оба они были одинаковые и похожие на деда, узкие и жилистые. Петр был контужен, а Иван уволен в отпуск на покос. Приехали они недавно и еще не выветрились, и от них несло казармой.

— Нате пять, — приветствовал их Шурка, не вставая с места и протягивая руку.

— Ладно, — сказал дед. — Садитесь и докладывайте, — и они уселись и, куря махорку, доложили ему, что начнут завтра косить на арендованных участках, послезавтра — на своих, что обошли всех должников и всем им сделали распоряжения.

8

Должники косили, а Иван и Петр наблюдали и командовали. Дед пришел позднее.

Ведя Шурку за руку, он обошел участки, говорил «бог помощь», надевал пенсне и слушал, что ему докладывали.

Бабушка с харчами и питьем приковыляла в полдень. Дед, поев, ушел с ней, а солдаты смастерили тень, и Шурка похвалил их и улегся с ними. Тут он подружился с ними и с тех пор всюду стал ходить за ними.

Скоро пришло время Ваньке уезжать, и Петр впряг в телегу лошадь, чтобы отвезти его.

Соседки собрали́сь перед избой взглянуть. Солдатки, оказавшиеся среди них, заголосили.

— Вам-то что? — тихонько говорил им грязный старикашка Тишка и подталкивал их.

Деду тут же донесли об этом, и, приблизясь к Тишке, строгий, он надел пенсне.

Недолго уже оставалось и ему быть дома. В понедельник утром, выпустив скотину, бабка запрягла. Дед с Шуркой кончили свой чай и оба покрестились. Дед набросил на одно плечо пыльни́к и взял корзиночку с харчами — без углов, овальную, с какою ездил «главный», — и брезентовый портфель.

Дом заперли. Ворота за собой закрыли. Шурка крикнул «но», и бабка тронула вожжами лошадь.

До конторы, куда деда надо было отвезти на службу, было десять верст. С дороги разглядели вдали Петьку, с должниковым малым Ленькой подымавшего пары́. Махнули ему шапками, но, занятый работой, он не смотрел по сторонам.

Контора была каменная, и над ней была пристроена светелка. В ней жил дед, когда служил.

Все подняли́сь туда. Сушеная трава висела над кроватью — предохраняющая от клопов. На столик положили «Утешение болящим».

Бабка прибрала́ немного и открыла окна.

— Липа во дворе цветет, — сказала она. — Вот, Евграфыч, ты пособирал бы, да и посушил нам на́ зиму.

В субботу они съездили за ним и взяли то, что он им насушил, а вечером, когда он слушал доклад Петьки, щелкая счетами, снимал и надевал пенсне, жевал губами, — неожиданный, пришел Мусульманкул.

Картинно он развел руками и раскланялся.

— Почтение, — сказал он и спустил с плеч тюк.

Он ночевал. Сидели долго в «чистой» вокруг лампочки и распивали липу. Говорили о делах. Откладывали числа косточками счет. Дед жаловался на завистников и рассказал про Тишку.

Петька тут вскочил и, стукнув себя в грудь, состроил страшное лицо.

— Я го́ловы бы им пооборвал, мерзавцам, — принялся́ кричать он. — Почему я до сих пор не знал про это?

Мусульманкул, приятно улыбаясь, показал обеими руками в его сторону, а туловищем шевельнул в другую.

— Молодость, — сказал он и полюбовался. — Порох. Ах, какая кровь.

А дед припо́днял руки и держал ладони рядом с головой. Когда же Петька перестал шуметь и сел, он начал философствовать и говорить, что обо всяком деле можно рассуждать двояко, и что даже если взять разбойника, которого мы ненавидим, то окажется, что и ему необходимо чем-нибудь прокармливать себя.

Так каждую субботу бабка с Шуркой за ним ездили и каждый понедельник снова отвозили его. Петьку теперь редко можно было видеть. Он, распоряжаясь должниками и поденщиками, убирал пшеницу.

В это время Шурка с разными приятелями бегал по деревне, уходил на речку и за крайним домом, сняв с себя рубаху, надевал ее на пузо, словно фартук. Зубы у него вываливались, и сквозь дырки он стрелял плевками. Петька один раз остриг его большими ножницами для овец, как стриг баранов, косяками и ступеньками, и он расхаживал, пока не оброс снова, с пестрой головой.

Был праздник. Выпили денатурата за обедом. Дед надел пенсне.

— Сын Петр, — произнес он важно и спросил у Петьки, не намерен ли он взять себе жену.

Тут Петька встал во фронт и крикнул «рад стараться». Шурка подмигнул ему, и бабка оживилась и сказала, что тогда ей сделается легче.

Осень наступила уже. Все работы наконец закончились, и на краю деревни, где одна против другой были две кузницы, в избе солдатки Яковлевой, посиделки начались.

У Яковлевой оказался бубен, и когда она плясала, низенькая, черная, растрепанная, как цыганка, и вертлявая, то подымала его вдруг над головой и, вскрикивая, ударяла в него.

Петька каждый день ходил туда, и Шурка отправлялся с ним. Он очень веселился там и падал на́ пол со́ смеху, когда жгутом из полотенца колошмятили кого-нибудь, кто проиграл в игре.

Все уже знали там, что Петьку дед решил женить, и девки к нему льнули, а мальчишки около него скакали и проделывали пальцами увеселявшие всех знаки.

Из Богатого дед выписал портного Александрыча, который ходил шить по деревням, и он сидел, благообразный, с серенькой бородкой, скрестив ноги, на столе и шил для Петьки свадебное, а для Шурки шубу, деду же и бабке штопал и перелицовывал.

Как выяснилось вскоре, он знавал деда Матвея и знаком был с Мандриковым. Он хвалил их. Шурка полюбил сидеть возле него и слушать, как его один раз взяли в плен разбойники и продержали его, пока он их не обшил всех.

Свадьба была пышная. В деревне церкви не было, и ездили венчаться в ближнее село. На дугах с колокольчиками красовались полотенца, гривы и хвосты у лошадей заплетены́ были и перевиты лентами. Для смеху, баб и девок из саней вываливали в снег.

Плясали под игру гармошечников, угощались, распивали пенное и брагу до рассвета. Яковлева била в бубен. Утром именитым женщинам показывали на рубахе, снятой с Петькиной жены, пятно.

Молодоженам уступили «чистую», а старики и Шурка поселились в кухне. Дед и бабка называли Петькину жену «молодка» и пристроили ее к уходу за скотом.

Черноволосая и толстомясая, она ходила вперевалку. Часто Петька схватывал ее в охапку и, держа ее, звал Шурку ее шлепать.

Все смеялись тогда.

Шурка, в новой шубе и в ушастой шапке, в черных валенках и в шарфе и перчатках из домашней шерсти, низенький и красный, по утрам ходил кататься с горки. Девки и мальчишки, мужики и бабы, гогоча, валились в розвальни и с гиканьем летели сломя голову в овраг. Щекотно было в животе, захватывало дух и весело было.

9

Зима подходила к концу, и дни сильно прибавились, но очень холодно было — стояли морозы, и северный ветер дул.

Бабка сказала, что если к субботе не станет теплей, то она не поедет за дедом — пусть Петька потрудится.

Петька ответил, что он это может и даже не знает, об чем разговор.

В это время явился вдруг дед. Он приехал с «оказией».

— Ну-ка, солдат, — сказал он, снял тулуп, размотал шарф и повел Петьку в «чистую».

Там они долго советовались. Потом, выйдя, они объявили, что, кажется, скоро уже будет мир.

Закусив, дед уехал, а Петька не вытерпел и рассказал, что царя больше нет.

Неожиданно им через несколько дней написала Авдотья. «Теперь-то ужо, — рассуждала она, — верно, скоро отпустят солдат. Он приедет, и я возьму Шурку».

Она сообщила еще, что на масленице ее мать умерла.

Прочитав это, дед рассказал про нее, как она с мужем бросила жребий и ей выпала первая смерть. Все дивились, а Шурка был горд, что история эта произошла с его родственницей.

— Это что, — похвалялся он, — там и не то еще было, — и он принимался описывать им смерть Губочкиной.

Между тем время шло, а война не кончалась, и дед привозил неприятные новости: черный народ разнахальничался, стал завидовать тем, кто себе что-нибудь заработал, и грабить.

— Сын Петр, — учил он, — сейчас надо жить незаметно, ни в долг не давать никому, ни в аренду не брать ничего, а возделывать, не суетясь, свой надел... Шурка будет тебе помогать.

— Это да, — кивал Шурка: — могу́.

Пришло время, и они вышли в поле вдвоем. Они жили в палатке, варили еду на кострах и ложились по очереди, чтобы жулики не увели лошадей.

Раз к палатке явился верблюд из села, куда ездили в церковь, хотел стащить хлеб и свалил ее. Было о чем рассказать потом.

Бабка, когда на короткое время они приезжали домой, умилялась.

— Голубчик ты мой, — говорила она, — помогаешь, — и Шурка был рад, и, довольный, примерно держал себя, не удирал, приносил в дом пользу, смотрел, не попала ли в воду та курица, которая водит гусят, или гнал с огорода теленка.

Однажды теленок напал на него и, сбив с ног, стал бодать, а молодка, ходившая гля́нуть, готова ли баня, спасла его. Бабка дала ему выпить крещенской воды, с него сняли рубаху, надели ее на него назад пуговицами и велели ему полежать. Потом бабка отправилась в баню и Шурку взяла́ с собой. Мыла тогда уже не было. Мылись раствором, в котором мочили овчины, и шерсть попадалась в нем.

Осень прошла. Наступила зима. Дед по-прежнему по понедельникам ездил в контору, потом приезжал по субботам и вечером, сидя за чаем, беседовал и наставлял.

— Мир навряд ли теперь будет скоро, — однажды сказал он: — Самара уже государство, другие города — то же самое. Этак у нас без конца будет свалка.

Тут Петька вскочил, покраснел и стал бить себя по раскрытой груди́ кулаком.

— Так и нам без конца, — закричал он, — уреза́ть себя, скаредничать и все делать самим?

Дед припо́днял ладони, а голову, кротко вздохнув, он склонил на плечо.

— Сын мой Петр, — согласился он, — да, это очень обидно. Но что можно сделать? Потерпим еще.

Он приехал один раз в большом беспокойстве.

— Петр, вот что приходит мне в голову, — сразу сказал он: — Ты слышишь одним только ухом. В России тебя отпустили домой. Но как будет в Самаре? Не вздумает ли она тебя снова забрать?

Озабоченные, они совещались весь день и решили, что дед съездит к доктору Марьину и потолкует с ним.

Выждали несколько, чтобы подсохло, и дед, отпросясь из конторы и взяв с собой Шурку и короб с харчами, отправился.

До Земляного они продремали в телеге с высокими стенками.

Сонные, они слышали по временам, как колеса то бойко стучат по хорошей дороге, то с скрипом ворочаются по пескам.

Ночевать они думали у Исламкулова, но он ходил с тюком по селам, и, разочарованные, они с своим коробом двинулись на посто-

ялый, и их уложили там в комнате с картой войны на стене и с наклеенными вокруг карты бумажками от карамели «Крючков».

А в Богатом хозяйка заезжей узнала их и, подавая им чайники, поудивлялась, что Шурка подрос. Он моргнул ей и выстрелил молодцевато слюной через дырку в зубах.

Из Богатого выехали на рассвете и днем были дома. В сенях, как и прежде, стояла кадушка с водой и висела парадная сбруя. Зеленые вожжи уже стали серыми.

В кухне сидел дед Матвей и читал, а девчонка, которую отвозили к просвирне, писала. Она была жилистая, с длинным носом — в Евграфыча и в Евграфычевых сыновей.

Мать была́ в это время на станции — сделала студень и с младшим мальчишкой пошла продавать.

Возвратясь, она ахнула. — Шурка, — бросаясь к нему, закричала она и, схватив, подняла́ его.

Высвободясь, он утерся рукой. Младший брат подошел к нему и, приставив каблук к каблуку, о́тдал честь.

— Ну, — сказал дед Евграфыч, — что нового?

Мать рассказала про бабку, и он покачал головой. Снова вспомнили Губочкину.

Аверьян, оказалось, уже больше не́ жил здесь. Осенью он перешел к машинисту Скворцову в зятья.

— Говорят, — подмигнула Авдотья, — что Ольгу Суконкину видели в церкви во время венчанья. Она грызла руки от злости.

Когда пообедали и дед Евграфыч всхрапнул, он сказал: — Ну-ка, Шурка, я вез тебя, ты же меня поведи. — И опять, как два года назад, все смеялись.

— Идем, — кивнул Шурка. Они собрали́сь и отправились к Марьину, но не застали его.

Возвращаясь, они загляделись на девку в бушлате и розовом фартуке, несшую в каждой руке по скамье.

— Интересно, — сказал дед, — куда это.

Девка вошла, отдуваясь, в какой-то амбар или бывшую лавку, широкие двери которого были открыты, и стала стучать, устанавливая там свои две скамьи.

— Заглянем? — оживляясь и надевая пенсне, спросил дед, и они завернули туда.

Там сидели мальчишки и взрослые, ерзали и перешептывались. На стена́х были белые вывески. Шурка, показав на них пальцем, спросил, что там пишется.

— Это мы мигом узнаем, — сказал ему дед, почитал и ответил:

— Божественное.

Впереди́ стоял столик с водой. Вдруг за ним очутился мужчина из немцев, напи́лся, утер рот платком и сказал, что сейчас здесь незримо присутствует сам дорогой наш господь.

Потом спели по книжечкам песню с припевом «открой»:

Как олень молодой
По тропинке лесной
К ручейку спешит,
Иисус святой
В сердце твое стучит:
Открой!

— и мужчина у столика стал разъяснять о «рабе́», что не больше он, чем господин, а, напротив того, должен слушаться своего господина со страхом и трепетом.

Снова попе́ли, прошла вперед немка в седых завитушках и встала у столика.

— Счастье, — сказала она, — в громкогласной молитве. Оно не доступно для тех, кого дьяволы держат за губы. Таких людей участь — плачевна.

Она проницательно всех оглядела и вызвалась, если здесь есть кто-нибудь из таких, помолиться с ним вместе о его исцелении.

— Есть, я, — объявила, встав, девка в бушлате.

— Идите сюда, — пригласила целительница и с небесной улыбкой ждала́.

Вдруг ее кто-то о́блил чернилами. Визг поднялся́. Все повскакивали. Одна лампа погасла.

— Ох, сил нет, — сказал деду Шурка и вышел на улицу похохотать.

Он узнал там, что скандал этот сделал Егорка, сын Ваньки Акимочкина.

— Молодчина, — хвалил его Шурка, гордясь: — прямо в харю попал. Он наш родственник.

Утром Евграфыч сходил один к Марьину. Марьин его обнадежил.

— Всё в наших руках, — похвалился он.

Дед удивился приятно. Они сговорились, прощаясь, что Петька приедет сюда.

10

Мать выходила к поездам с харчами. Шурка помогал ей.

Он смотрел за покупателями, чтобы как-нибудь они не изловчились и чего-нибудь не сперли.

Он пилил дрова, колол их, носил в дом, ходил на живодерню за ногами и рубил их на полу в корыте.

Мать варила из них студень для продажи, а мослы́ наваливала на кухонный стол, и вся семья садилась и обгладывала их.

— Все Шуркина работа, — приговаривала мать: — Он как отец у нас, на нем дом держится, — и всюду его расхваливала.

В среду на страстной неделе был большой базар, и Мандриков приехал на него с горшками. Теща главного была там и купила у него кувшин для молока. Он попросил ее сказать Авдотье, что есть новость для нее, известие, которое не лишенó значительного интереса.

Через час Авдотья прибежала туда и остановилась у его телеги, запыхавшаяся и парадная, с кораллами на шее. Ее синее сатиновое платье уже вылиняло, черный кружевной платок стал рыжим.

— Здравствуйте, — сказала она Мандрикову, и тогда он сообщил ей, что произошло с Евграфычем, когда он выехал отсюда: в Земляном он ночевал у Исламкулова, а к Исламкулову залезли воры и зарезали обоих. Александрыч в это время жил в той стороне — и, вот, вчера рассказывал.

В день пасхи встали поздно и, принарядясь, отправились на кладбище. Христосовались с встречными и разговаривали с ними о Мусульманкуле и Евграфыче. Добравшись, покрошили красное яйцо и ломтик кулича на бабкину могилу, чтобы воробьи слетались туда и клевали. Возвращаясь, потрезвонили на колокольне, а когда пришли домой, явился Аверьян — поздравить.

Дед с ним выпил синенького, и они поговорили про Евграфыча и вспомнили другие смерти — бабкину и Губочкиной, и потолковали об Иване — как он затевал присвоить этот дом, и как на материны похороны прибыл прямо в церковь, а на панихиды, певшиеся в доме, носа не казал.

Авдотья присоединилась к ним и тоже выругала Ваньку.

— Нюрку-то свою, — напомнила она им, — искалечил тогда: до сих пор ведь чахнет.

Вечером они еще раз всей семьей прошлись. Они задерживались то с одним знакомым, то с другим и говорили с ними о Евграфыче. У станции они увидели толпу и поспешили посмотреть, в чем дело. Окруженные любителями, взрослые и мальчуганы ползали на четвереньках и, светя друг другу спичками, кончали катать яйца.

— Эх, — сказал Матвей, — вот, мы с тобой не взяли по яичку.

Постояли там немного, пока все не разошлись, и вспомнили еще раз, как когда-то Ванька здесь бахвалился.

Прощаясь, Аверьян насупился. Он дернулся идти и задержался.

— Знаете, — сказал он и пожаловался, что Скворцовы, его тесть и теща, заставляют его день и ночь таскать дрова и воду и считают его, кажется, за батрака.

На радуницу были еще раз на кладбище, молились там и ели. Было очень весело. Кругом везде закусывали, пели панихиды и играли на гармониках. Перед ворóтами вертелась карусель, сидели бабы с семечками, и фигляры в узеньких штанишках с золотыми блестками ломались под шарманку.

Дед здесь подошел к Василию-соседу, земледельцу, и поговорил с ним. Оказалось, что недавно в лес за сахарным упал небесный камень и от этого сгорело несколько деревьев.

— Не к войне ли это? — спросил дед, подумав, и узнал, что — да, и скоро все́ заговорили о войсках, которые со всех сторон идут сюда, и стали рыть землянки и закапывать имущество.

Суконкин, раздобыв трех пленных, приказал им вырыть подземелье подо всей усадьбой. Дед Матвей возил туда дубовые столбы и тес.

Однажды прилетел аэроплан откуда-то, поколесил вверху и скрылся, пушки стали ухать где-то, и один раз ночью, когда все уже храпели, в дом к Авдотье постучались чехи и велели деду сесть к ним в грузовик и показать им, как проехать к станции.

Авдотья и все дети встали и, обеспокоенные, начали выскакивать и слушать, не идет ли он уже. Вернулся он ужасно важный и, снимая лапти, рассказал, что было очень страшно.

Утром, неся ведра, чистое и мериново, он повел коня к колодцу. Грузовик с мешками и с хвостом из пыли выскочил из ле́са, побежал вдоль ветки, а за ним — другие два.

Тут теща главного, согнувшись, вылезла через дыру в заборе. У нее в руках был серп и кузовок, а на руках перчатки, чтобы жать крапиву. Выпрямясь, она взглянула на грузовики.

— Должно быть, это чехи в сахарные склады понаведались, — сказала она, и дед щелкнул языком два раза.

— Вот дела какие, — сообщил он, возвратясь с колодца, и тогда Авдотья сшила из дырявой наволоки несколько мешочков и отправила детей на станцию выпрашивать у чехов сахар.

Там уже расхаживали, клянча и прикидываясь си́ротами, все Акимочкины, дети Ивана и его второй жены. Егорка, тот, который окатил тогда чернилами старуху, — был губастый малый лет четырнадцати, длинный, с маленькой физиономией и красненькими глазками.

— Пожертвуйте кусочек сахарку, — гнусавил он, протягивая руку, — родненькие дяденьки, бездомному мальчонке.

Шурка стал вертеться около него, почтительно поглядывать и скромно улыбаться, но Егорка не успел заметить его, потому что через несколько минут их всех прогнали.

Скоро стало опять слышно, как стреляют где-то, и однажды утром чехи выпустили нефть, которую накачивают в паровозы, и уехали на поезде. Она стекла в канавы. В полдень пришли красные и приказали всем явиться с банками и ведрами и подобрать ее.

Здесь Шурка улизнул от матери и, пошныряв между народом, отыскал Егорку и с своей жестянкой присоединился к нему.

— Ах, и лихо ты тогда плеснул ей в харю-то, — сказал он, и Егорка ухмыльнулся снисходительно.

Авдотья же разулась и с засученными рукавами, деловитая, пристроилась носить наполненные ведра.

— Здравствуйте, кума, — подкравшись неожиданно, сказала ей литовка и поджала губы. — Издеваются как — а? Ну, прямо нет спасенья. Но не долго это будет: ксендз нам говорил.

Когда все было сделано и люди привели себя в порядок и пошли домой, Авдотья выругала Шурку. Оказалось, она видела, как он заговорил с Егоркой.

— Ты забыл, — спросила она, — как они хотели нас из до́ма выжить? Нечего там. Словом, чтобы это было в первый и в последний раз.

Торговки, вышедшие к поезду с съестным, увидели однажды, как пришел мальчишка с кистью и наклеил на изопропункт афишу. Грамотные, поручив соседкам постеречь товар, направились к ней.

— Что там? — спросил Шурка, когда мать прочла все и вернулась, и она ответила, что будет диспут насчет бога и бессмертия души.

— Не знаю, что это за штука, — подивилась она.

Дед же, когда он явился вечером с работы, уж знал все.

— Это такой спор, — сказал он. — Мы будем свое доказывать, они свое, и если возьмет наша, то бог есть.

Всем было интересно, что в конце концов окажется, и множество народа пришло слушать спор. Служители церквей, которые были обещаны афишей, не смогли прибыть:

— Мы очень сейчас заняты, — сказали они, когда к ним пошли поторопить их.

Начали без них. Сначала был доклад, в котором ничего нельзя было понять, потом открылись прения.

Ораторы, обдергивая куртки и приглаживая волосы, всходили на подмостки, ударяли кулаком по столику, кричали:

— Бога нет!

или

— Бог есть!

спускались, шли на место и старались успокоиться, а их соседи дергали их за рукав и начинали спорить с ними.

Иногда все воодушевлялись, принимались топотать ногами и выкрикивать:

— Есть!

— Нет!

Мальчишки, сунув пальцы в рот, свистели, председатель вскакивал и начинал звонить, и время шло, а дело ни на шаг не подвигалось. Вдруг Иван Акимочкин взял слово:

— Господа, — сказал он, — граждане, — и показал обеими руками на Марьина: — Вот доктор. Все мы знаем, что он делает большие операции, режет тело и туда заглядывает. Спросим его, видел ли он там, в средине, душу, и он скажет нам, что нет. А между тем мы знаем, что она находится там. Так-то вот и бог, как говорится: нам его не видно, но он есть.

Тут верующие захлопали в ладоши, закричали:

— Правильно!

и стали ликовать, считая, что теперь все выяснено. Дед Матвей довольный посмотрел на всех, а земледелец Василий Иванович и главный, которые сидели позади него, пожали ему руку и поздравили его. Сияя, он толкнул Авдотью и сказал ей:

— Что ни говорите, а Ванька — голова.

11

Везде хвалили Ваньку и рассказывали, как он ловко осадил безбожников. Матвей со всеми разговаривал об этом, и когда ходил мимо ларьков у станции, уже не вспоминал, как Ванька здесь бахвалился когда-то.

А Авдотья встретилась однажды с Виноградовым, дьячком, и он сказал ей, что Иван Матвеич — новый Златоуст. Польщенная, она ответила на это, что — да, правда, шарики у Ваньки хорошо работают.

Был вечер. Солнце было низко. Колокол звонил. Иван Акимочкин лежал после обеда. Он почувствовал, что словно его кто-то дернул за руку и толкнул в спину, чтобы он пошел на кладбище и навестил могилу своей первой жены Марьи.

Он волновался и, придя туда, нечаянно заметил, что иконка на кресте над прахом Яшки, сына земледельца Василия Ивановича, обновилась.

— Шел я это, — стал рассказывать он всем, — и вдруг смотрю себе: что это? — думаю.

Все начали ходить тогда на Яшкину могилу и дивиться и соображать, что это предвещает. Даже ксендз пришел и, поджав губы, покачал пробритой на макушке головой.

— Да, это чудо, — подтвердил он одиннадцати беженкам, которые его сопровождали, и предостерег их, что оно не означает, будто схизматическая вера правильная, а показывает лишь, что бог, где он находит нужным, там себя и проявляет.

— Он свидетельствует о себе, — сказал ксендз и приподнял палец, — и предупреждает тех, которые ему противятся.

Авдотье, специально забежав для этого, про обновление иконы рассказала земледельцева жена, и, проводив ее, все посмеялись, потому что до сих пор она всегда форсила и при встречах отворачивалась.

Сговорясь с другими станционными торговками, Авдотья после поезда велела Шурке отнести домой корзину, а сама отправилась с ними на кладбище — взглянуть.

Иконка на кресте у Яшки была и в самом деле новенькая. Несколько мужчин и женщин, глядя на нее, стояли и молчали. Ванька

оказался здесь же. Он кивнул Авдотье и поднес два пальца к козырьку.

— Я навещаю здесь своих покойниц, — объявил он громко: — маменьку и первую жену.

Авдотья сделала ему навстречу полшагá и протянула ему руку.

— Как вы поживаете? — сказала она. — К нам бы заходили как-нибудь. Папаня будут заинтересованы вас видеть.

— Что же, я вполне сочувствую, — ответил ей Иван.

Он проводил ее и зашел в дом. Дед встал, захлопнул свою книгу, посмотрел из-под ладони, точно против света, и стянул с себя очки.

— Вот это радость, — заявил он и, когда уселись, пожалел, что нечем ознаменовать ее.

— Найдется что-нибудь, — любезно сказал Ванька, поднялся́, пригладил ежик, надел шапку, вышел, завернул к Василию Ивановичу, земледельцу, и принес бутылочку.

После успенья Шурка первый в доме встал, старательно умылся, привязал веревкой к пуговице куртки пузырек с чернилами, взял грифельную доску, кусок хлеба с солью и пошел учиться.

Старшая сестра его, Маришка, проучившаяся в школе уже год, с кровати закричала ему, важничая:

— Ты чего спешишь? Пойдешь со мной вдвоем. — Но он не захотел идти с ней.

Он уселся на четвертую скамейку, отвязал свою чернильницу, откинулся на спинку парты, руки положил на стол, одну поверх другой, и благодушно стал поглядывать, готовый посмеяться, если вдруг случится что-нибудь забавное.

Вошла учительница, Щербова, не очень молодая и одетая нарядно по последней довоенной моде, в длинной юбке и в митенках с кружевцом. Она остановилась и, умильно посмотрев, сказала:

— Здравствуйте, ребята, и, пожалуйста, не обращайте на меня внимания, потому что я наелась чесноку и луку.

Она села и, прочтя вслух список, оглядела каждого, потом пошла к доске и принялась показывать на ней, как надо выводить крючки и палочки.

На перемене Шурка стал есть хлеб и разговаривать с учениками.

— Вы верблюдов видели? — спросил он, и они должны были признаться, что не видели. Про крытые дворы и про портного Александрыча, который обшивал разбойников, они не слыхивали, в поле не работали, в палатке и на постоялом никогда не спали.

— Мелко плаваете, — посвистев, сказал им Шурка и нахально посмотрел на них. Они напали на него и стали его бить, а он стал отбиваться кулаками и ногами и кричать, что жалко, что нет финки или кистеня, и так они дрались, пока не вошла Щербова и не сказала:

— Это что такое?

Возвращаясь, он увидел на путях у станции вагон, похожий на почтовый, и толпу возле него, которая галдела и вдруг выстроилась в очередь.

Он подбежал к ней и, пристроясь, вошел с ней в вагон, уселся и, когда погасла лампочка, увидел улицу с пятнадцатиэтажными домами. Человек, спасаясь от большой собаки, выбежал из-за угла и вскочил в бочку, а собака покатила ее лапами и выкатила за город и сбросила с обрыва в озеро. К обрыву вдруг гуськом примчались полные разбойников автомобили и поочередно, друг за другом, все свалились в воду.

Скучными казались Шурке станция и маленькие домики поселка, когда, выйдя, он отправился домой. Он думал о красивом городе, который ему только что показывали, и о том, что хорошо бы было жить там.

В воскресенье мать нажарила пшеничных пирогов с капустой, чтобы продавать у поезда, и Шурка пошел с ней на станцию. Там подскочил к ним малый, лет семнадцати, заика, в деревенской шубе, отобрал пятнадцать пирогов и объявил, что тятенька заплатит: он в том доме.

Шурка, добежав с ним, сел и начал его ждать, а он не появлялся. Шурка заглянул в те двери, за которыми он скрылся, и увидел, что проход сквозной.

Горюя и ругая себя, он и его мать распродали то, что у них осталось, и, повеся головы, отправились домой. Все уже знали, что произошло, и около аптеки им сказали, что заика сейчас в чайной и с каким-то негодяем пьет с их пирогами чай.

Сейчас же они бросились туда и, вызвав его, стали требовать уплаты. Он же, подхватив руками полы своей шубы, начал удирать. Авдотья, Шурка и присоединившиеся к ним прохожие бежали за ним следом и кричали встречным:

— Дяденьки, держите его.

Железнодорожник с желтыми усищами, который шел навстречу, растопырил руки, заскакал, чтобы поймать заику, поперек дороги, укрепился на расставленных ножищах и, облапив, задержал его.

— Ну, Шурка, — сказал он, когда погоня добежала, — бей его, — и наклонил воришку, чтобы Шурка мог его достать.

Тут Шурка стал хлестать его то по одной щеке, то по другой, пока Авдотья наконец не смилостивилась и не остановила его.

— Дельно, — похвалил Егорка, оказавшийся в толпе, шагнул вперед, ударил вытиравшего платком лицо и отдувавшегося Шурку по плечу и посмеялся одобрительно.

— Мал золотник, да дорог, — сказал он и предложил пройтись с ним.

— Ах, — и деловитый, нахлобучив шапку, Шурка быстро сунул матери платочек, сделал грудь горой, нос вздернул и ответил басом:

— Дуем.

— Надо было шубу у него отнять, у гада, — сказал вдруг Егорка, когда они молча несколько прошли.

— Эх, мы не догадались, черт его возьми, — ударил себя Шурка кулаком по голове и начал сокрушаться и досадовать.

Егорка, подведя его к подъезду станции, остался посидеть у входа, а его послал в средину и велел насобирать окурков.

— Много? — на ходу осведомился Шурка, ринувшийся, чтобы поскорее исполнить это поручение и оправдать доверие, которое Егорка оказал ему.

Покуривая, они стали говорить, что здóрово бы было сделаться разбойниками.

Шурка стал расхваливать разбойничье житье и рассказал о нем все, что узнал когда-то от портного Александрыча.

— Им тоже нужно чем-нибудь прокармливать себя, — сказал он.

Рассуждая так, они дошли до дома Ваньки и вошли в калитку палисадника.

Дом был обшитый досками, голубенький, с зеленой крышей и лиловыми воротами. На двéри, как у доктора, сияла начищенная медная дощечка, а на косяке висел железный прут с деревянной грушей на конце.

Егорка дернул его, и за дверью звякнуло. Зашлепали калоши, загремели разные крюки и цепи, Ванькина жена открыла и посторонилась, чтобы дать пройти.

Она была большущая, живот держала выпятя, а плечи отведя назад, как будто несла воду в ведрах. У нее в ушах висели серьги кольцами. Ее лицо было большое и невыразительное, белая ночная кофта выпачкана блохами, а ноги без чулок были толстенные, голубоватые и лóснились, как костяные.

— Наше вам, — сказал ей Шурка вежливо и подал руку.

В доме был угар от утюга, грязь, на стенах коричневые пятна от клопов. Возле икон был помещен Петр Первый с усиками и мясистым подбородком, в кудерьках, как баба, отпечатанный на жести, и пучок бессмертников.

— Что ж, Нюрка еще чахнет? — спросил Шурка, подмигнув.

Егорка посмеялся и ответил:

— Чахнет, —

и они похохотали.

12

В начале ноября у Ваньки был прием. Все родственники и главнейшие знакомые приглашены были пожаловать к нему по случаю дня именин его жены.

Все было на большую ногу. Подогнали к этому торжественному дню убой свиньи. За самогоном ездили к Василию Ивановичу на телеге.

Стол накрыт был в «зале». Именинница надела свое свадебное платье. Оно было розовое, матовое, и на нем был выткан шелковый узор в виде глазочков из павлиньего хвоста. Лицо она натерла порошком, который приготовила из стружек от стеариновой свечи.

Сам Ванька был в рубашке с отложным воротником и в кителе с затянутыми черным коленкором пуговицами. На шею он пристроил вместо галстука шнурок с помпонами, усы намазал салом и свернул колечками.

Детей в тот вечер рано накормили, подпоили их, чтобы они покрепче спали, и упрятали их всех на печку.

Нюрке мачеха велела причесаться на прямой пробор и выдала ей белый фартук. В нем она должна была прислуживать.

Чтобы улучшить в доме запах, зажгли свечку и сожгли на ней кусок бумаги.

Собрались: церковный староста со старостихой, земледелец со своей супругой, дед Матвей с Авдотьей, Аверьян с женой, отцом жены и ее матерью, литовка с мужем.

Пили самогон и несколько наливок из него. Еда была вся изготовлена из мяса только что заколотой свиньи.

Приняв от всех приветствия и с каждым гостем выпив, именинница сейчас же ошалела и весь вечер просидела молча, хлопая глазами и то вздергивая голову и озираясь, то опять роняя ее.

Ванька лебезил перед гостями. Он пенял дорогим родственникам, что они так долго на него серди́лись, пожимал им ручки, пил за их здоровьице и выражал надежду, что вперед у него с ними будет мир.

Дед радостно ему поддакивал, похлопывал его по плечику, поглядывал на всех и похохатывал. Он выпивал стаканчик за стаканчиком, закусывал кусками сала и засаленные пальцы вытирал об волоса́.

Литовкин муж пил молча, что-то думал, иногда ребром ладони ударял жену по ло́ктю, и, внезапно оживившись на минуту, говорил, показывая головой на стол:

— Шамовка губернаторская.

Аверьян был грустен и смотрел в тарелку. У него горело одно ухо и одна щека. Беременная и одетая в широкий балахон, его жена дремала, а ее родители старались съесть как можно больше и от времени до времени, прикрыв руками рот, тихонько говорили что-нибудь друг другу на ухо и принимались хохотать. Литовка искоса на них поглядывала и, скандализованная, кашляла.

Авдотья была очень хорошо настроена. Она была в кораллах, в вязаной зеленой кофте тещи главного и в гребне со стеклянными брильянтами. Она сидела рядом с Аверьяном, громко говорила

и жестикулировала. Иногда она притрагивалась к Аверьяновой руке и, словно испугавшись, вскрикивала.

Гости, всё доев и выпив, стали собираться. Поблагодарили и надели шубы. Ванька схватил лампу и повел их к двери. Там он постоял и посветил им.

Выйдя, земледелец и его жена решили сделать крюк и часть пути пройти по рельсам, чтобы не свалиться в лужу около Дие́сперихи. Дед же молодцом взглянул на них, махнул рукой на «крюк» и, обхватив Авдотью, пошатнулся и пошел с ней прямо.

До Дие́сперихи они несколько раз падали, а около Дие́сперихи, облезая по забору лужу, сорвали́сь в нее и пролежали в ней до све́та.

Утром их доставили домой больными. Теща главного увидела в окно, как их везут, и прибежала посмотреть, в чем дело, и взять кофту.

Уложив их, она позже навестила их еще раз и дала им липового цвета. Они выпили его, но он им не помог, и ночью они сильно бредили, а дети просыпались и им страшно становилось.

В полдень сунула в дверь голову и молча посмотрела, а потом вошла литовка. Она сделала печальное лицо и шепотом спросила:

— Как они?

На цыпочках она подкралась к деду, от него — к Авдотье и потрогала их.

— Ах, — вздохнула она и, взяв веник, полила́ из ковшика полы и подмела их.

А когда стемнело, пришла Нюрка с железнодорожным фонарем в руке. Она была в солдатской ватной куртке и в солдатских башмаках.

Поставив фонарь на́ пол и не разгибаясь, она стала кашлять, а потом сказала, что ее прислали справиться. Под курткой у нее был кусок сала в тряпке, и она оставила его.

— Не говорите только никому, пожалуйста, — предупредила она.

Шурка перестал учиться. Утром он сидел возле больных, давал есть лошади, пилил дрова с соседями и таскал воду. Вечером, когда Маришка была дома, он бежал к Егорке и шатался с ним. Он собирал окурки для Егорки, задирал кого-нибудь, когда Егорка хотел драться: на него набрасывались, а Егорка за него вступался.

К поезду они являлись на платформу и прогуливались там. Они подмигивали девкам и толкались с пассажирами, носившимися к кипятильнику или толпившимися около торговок.

Один раз Егорка подскочил внезапно к старушонке в капоре, которая стояла около вагона и уписывала черную лепешку, и, нагнувшись, плюнул ей в глаза.

Она схватилась за них, выпустила сумку из руки, Егорка наклонился, по́днял ее и шмыгнул под буфера́, а Шурка очень испугался, побежал домой, залез скорей на печку и, не засыпая, пролежал всю ночь.

Попискивали мыши и скреблись об жесть, которою были забиты щели. Дед хрипел. Авдотья что-то бормотала и выкрикивала, говорила, что ей, может быть, и тридцати еще лет нету.

Наконец Маришка встала, затопила печь и подошла к кровати деда. Дотрону́вшись до него, она вдруг взвизгнула и выскочила в «зал».

Авдотья, не пошевелясь, велела кликнуть тещу главного и снова стала бредить. Скоро дом наполнился усердными старухами, которые галдели и хозяйничали. Деда они вытащили из его постели и, стянув с него рубаху, стали его мыть.

Потом явился Ванька, строго посмотрел на них и объявил им, что он будет здесь распоряжаться.

Дедов сундучок он отпер и распотрошил его. Взял книгу и очки и запасны́е стекла к ним, а остальное, разный хлам, сбросал обратно.

Хоронить повезли деда на тех дрогах, на которых он извозничал. Последние два дня стоял морозик, и идти за гробом было хорошо.

Процессия составилась порядочная. Встречные переходили на средину улицы и присоединялись. Некоторые же останавливали выступавших перед дрогами отца Михаилу и дьячка, сговаривались с ними и платили им, чтобы они попели.

Толстая Дие́сییериха, важно семенившая сейчас же вслед за родственниками, три раза выходила из толпы, брала́ свой подол в руки, обгоняла дроги и заказывала пение.

В числе других за гробом несколько кварталов прошла Ольга, дочь купца Суконкина.

Авдотья все еще лежала. Поминать поэтому позвали к Ваньке. К Ваньке же в сарай отправили и дроги вместе с мерином.

— Потом сочтемся, — сказал Ванька.

Как и следовало, на поминках подавали девять блюд. Четыре из них были изготовлены из мяса той свиньи, которую присутствующие уже однажды пробовали, когда праздновали именины Ванькиной жены.

Детей Авдотьи накормили в кухне вместе с Ванькиными. Шурка подтолкнул Егорку и напомнил ему случай со старухой, а Егорка подмигнул и снисходительно ответил, что бывало и не этакое.

В доме, когда дети вечером вернулись туда, теща главного и с ней еще одна старуха мыли пол. Когда они ушли, Маришка затопила печь, мальчишки вытащили из-под дедовой кровати сундучок, взломали его, взяли из него «рожки́» и съели.

Плохо стало жить. Авдотья все лежала. — «Дорогой супруг мой», — вырвав из Маришкиной тетради лист, писала она и не знала, куда слать письмо.

Она гадала, капая со свечки в воду воск. Из капли должен был бы получиться гроб, если бы муж ее был мертв. Но ни гроба, ни другого чего-либо у нее не получалось.

В доме было пусто. Налить лампу было нечем. Хлеба тоже не было. За лошадь Ванька прислал с Нюркой четверть керосина и двух коз. Муки, чтобы подбалтывать им в пойло, было негде взять.

— Хоть в воду, — сказал Шурка, рассказав Егорке все это, и стукнул от досады кулаком одной руки по кулаку другой.

Егорка поджал губы, поморгал, задрав вверх голову, и предложил ему работать.

Молча и посвистывая, он повел его, как и всегда по вечерам, на станцию. Снег падал, от невидимой за тучами луны светло было, шаги поскрипывали, и дышать приятно было.

В «третьем классе», еле освещенном тусклой лампочкой и мутном от махорочного дыма, они сели. Они высмотрели женщину, которая, оставив на скамье корзину, отошла. Егорка велел Шурке идти следом за ней и покараулить ее, а потом бежать к задворкам дома Марьина.

Когда он прибежал туда, Егорка уже ждал его. Взломав корзину, они вытащили вещи, запихали их под шубы и, снеся к Егорке, закопали в сено.

Утром они взяли все, что было белое, и вышли на базар. Цветному они дали полежать пока. Из выручки Егорка выдал Шурке треть.

13

Каждый вечер они стали проводить на станции. Они сидели в «третьем классе» и высматривали, что можно украсть. У спящих они шарили в карманах. К поездам они выскакивали и шныряли по вагонам.

Если ничего не попадалось, что бы можно было им стащить, они протягивали руку и просили милостыню.

Гордый, Шурка возвращался около полуночи и, разбудив Маришку, выдавал ей деньги на еду. Авдотье он сказал, что попрошайничает. Она всхлипнула и вытерла глаза.

Маришка и Алешка, младший, тоже захотели зарабатывать и стали выходить на станцию, стоять с протянутой рукой перед проезжими и ныть.

Все́ чаще пассажиры стали умирать в пути, и люди в белых фартуках, неся вдвоем носилки, уже каждый раз, когда на станции был поезд, приходили на перрон.

Всё расступались перед ними, и они, взяв из вагонов трупы и накрыв брезентом, уносили их в мертвецкую.

Когда они накапливались там, их вывозили в ямы, выкопанные за кладбищем, глубокие и длинные, как рвы, и присыпа́ли снегом, а землей забрасывали лишь тогда, когда вся яма набивалась ими.

Около мертвецкой с раннего утра́ похаживали жулики. Одни были небритые, в замызганных шинелях, подпоясанных веревками,

сутулые и сонные, другие же — нарядные, сейчас из парикмахерской, в штанах колоколами, в толстых пестрых шарфах и в цветистых кепках, сделанных из одеял.

За трупами, подскакивая на булыжниках, торчащих из укатанной дороги, с грохотом являлась наконец телега, и тогда гуляющие около мертвецкой устремлялись к ямам на песках за кладбищем.

Они присутствовали при разгрузке дрог и, дав им удалиться, обдирали мертвых.

Шурка и Егорка тоже бегали туда и, прячась за сосновыми кустами, издали́ подсматривали, пока все́ не расходились и собаки, отступившие немного, когда собрался́ народ, не возвращались к ямам.

— Черт возьми, — завидовали Шурка и Егорка, выбираясь по снегу из-за своих кустов и глядя вслед вора́м, маршировавшим впереди с добычей.

— Чем мы виноваты, что еще так молоды? — роптали они и, чтобы отвлечь себя от этих горьких мыслей, совещались, как убить кого-нибудь. Тогда бы они сняли с него всё.

Однажды они были в клубе и смотрели представление «Для нас весна прошла». Оно растрогало их, и не раз они украдкой отворачивались друг от друга и снимали пальцем набегавшие им на глаза слезинки.

А когда мужчина в черной бороде и в красном вязаном платке на шее объявил, что будет гастролировать сегодня без суфлера, наклонился, чиркнул спичкой, с двух сторон поджег костер, разложенный на жестяном листе, и, уклоняясь от поднявшегося дыма, стал произносить стихотворение «Разбойники», они взглянули друг на друга и пожали друг другу руки.

Наконец, сатирики Дум-Дум и Эва-Эва страшно насмешили их, и они долго хлопали, встав с места, и кричали «бис».

Хваля программу и жалея, что уже всё кончено, они пошли к дверям.

— Эх, здо́рово участвовали, курицыны дети, — восхищался Шурка, оборачивался и, подняв лицо, заглядывал в глаза толкавшимся вокруг него красноармейцам, железнодорожникам и девкам.

Вдруг Егорка тро́нул его за́ руку и подмигнул ему на пьяного, который был один.

Они пошли за ним в какой-то переулок между огородами. Снег под ногами взвизгивал. Луна светила. Тени от плетней и от торчавшей кое-где ботвы́ лежали на снегу.

Пройдя немного, пьяный вдруг остановился, растопырил руки, рухнул и остался лежать молча и не двигаясь.

Тогда они приблизились к нему, послушали и, оглянувшись, встали на колени и разули его.

Они сняли с него башмаки и новенькие серые обмотки. Шапка у него была дрянная, а шинель была надета в рукава и подпоясана.

В карманах ее ничего не оказалось, и Егорка напихал в них снегу. Шурка посмеялся.

— Убивать не будем? — глядя на Егорку снизу вверх, спросил он.

— Нет, — сказал Егорка, — не́ из-за чего, — и Шурка согласился с ним.

У дома они прежде, чем припрятать башмаки в сарае, подошли к окошку и при свете приняли́сь рассматривать их. К ним подкрался Ванька, страшно наорал на них и дал им по пощечине, а башмаки забрал себе.

К Авдотье один раз зашел дед Ма́ндриков. Она еще лежала. Он присел возле нее.

— Вот, видите, в каком я состоянии, — сказала она и поплакала немного.

Дед уже в утешение напомнил ей, что кого бог полюбит, того он, обыкновенно, принимается испытывать.

Тогда она ответила ему, что мало удовольствия от этакой любви, и он тихонько посмеялся в бороду.

— А данную Дие́спериху, — понегодовал он, — за ее халатность следовало бы поставить к стенке.

— Ах, — сказала ему тут и с благодарностью взглянула на него Авдотья: — Поднести вам нечего, — а он приятно улыбнулся и ответил, что и так доволен.

После этого он рассказал ей новости. Он рассказал ей, что разграблена канатчиковская усадьба, где она жила когда-то, когда муж ее служил там писарем.

— Неужели? — оживилась она и приподняла́сь. Она расспрашивала обо всех подробностях.

— Что я себе взяла бы там, — сказала она, — это шкаф с зеркальными дверями и рояль.

Пока они беседовали, Шурка соображал, что́ можно было бы снять с Мандрикова, если бы его убить.

Он делал это теперь с каждым, кто ему встречался. Иногда он шел за кем-нибудь, одетым в новенькую кожаную куртку или в неизношенные сапоги, пока тот не входил в какую-нибудь дверь и окончательно за ней не оставался.

— Не судьба, должно быть, — думал он тогда.

Однажды, когда он стоял у поезда и клянчил милостыньку, человек в ушастой шапке с сереньким барашком и в шинели подошел к нему, дал колчаковскую десятку и спросил его, не знает ли он места, где бы можно было временно пристроить заболевшую в дороге женщину с вещами.

— Да, — ответил Шурка, просияв. — Я знаю. Есть такое дело. Много ли вещичек? — и не стал отказываться от негодных денег.

Мило разговаривая, он повел солдата.

— Вот сюда, — сказал он, заходя в свой двор, и в кухне, засветив лучину, показал солдату стены и кровать с двумя кувшинами и львом, изображенными на спинке.

Он уговорил Авдотью впустить эту женщину, и к вечеру она была водворена.

Вещичек с нею оказалось две: большой сундук и ящичек. Почти всё время у нее был жар, она лежала тихо, и больших хлопот с ней не было.

Солдат являлся иногда, смотрел, жива ли она, отпирал сундук и, сунув что-нибудь себе за пазуху, скрывался.

Про него рассказывали, что он шляется по деревня́м и кутит там с бабенками. Он мог так растащить всё до́чиста, и чтобы вещи были це́лы, нужно было поскорей убить его. Все́ дни и ночи Шурка думал, каким образом устроить это, и не мог придумать.

Топкой печек, пока мать болела, ведала Маришка. Это дело очень увлекало ее, и она без у́стали подкладывала и нажаривала ее точно в бане. К тому времени, когда Авдотья наконец поправилась и встала, дров в сарае уже не было.

Литовка, завернувшая взглянуть, что делается в доме, покачала головой, подумала и обещала как-нибудь уладить это. Ее муж от времени до времени, когда он должен был отправиться на паровозе ночью, стал предупреждать, что между третьей и четвертой вёрстами он сбросит пять-шесть плах.

Взяв санки и Алешку, Шурка до рассвета выходил туда. Пустые санки грохотали в тишине, и приходилось взваливать их на́ спину или нести вдвоем в руках.

Однажды, подобрав три плахи, Шурка приказал Алешке караулить их, а сам пошел по шпалам посмотреть, не сбросил ли литовкин муж еще чего-нибудь.

Луна, которая светила до сих пор сквозь тучу, выплыла из-за нее, и сразу сделалось виднее. Прутья кустиков по сторонам дорожки, которая пересекала рельсы, стали красными. За ними на снегу лежало что-то серое, похожее на человека, и, оставив санки, Шурка побежал туда.

Приблизясь, он стал красться, пригибаться и идти не поднимая ног, чтобы под ними как-нибудь не скрипнуло. С тропинки, чтобы быть еще бесшумней, он сошел, и в валенки его набился снег.

Лежавший человек не двигался. Он был одет в шинель, и ноги у него были подкорчены, точно он спал в вагоне на короткой лавке. Шапки на нем не было. Она валялась на дороге. Голову он прикрывал руками.

Это был солдат, который поместил больную у них в доме и проматывал ее пожитки.

— Дяденька, — ударил его Шурка носком валенка по каблуку с подковой, вскрикнул и помчался прочь, схватившись за́ голову, как

Маришка, когда дед, которого она хотела разбудить, вдруг оказался мертвым.

Снова очутясь на рельсах, он остановился, чтобы его сердце стало биться медленней.

— Вещички, — просияв, сказал он, — теперь наши.

Вечером солдата привезли во двор к ним, и Авдотья вышла на крыльцо.

— Вот, можете похоронить, — сказал ей возчик. — Протокол уже составлен. Ваш жилец замерз. Был малость выпивши.

— Он здесь не проживал, — ответила Авдотья и не приняла́ его.

14

Умерла больная незаметно, ночью, так что беспокойства никакого не было. Авдотья, чтобы отвезти ее на кладбище, хотела попросить у Ваньки мерина и сани. Шурка же сказал ей, что не сто́ит связываться с Ванькой: сунет нос в вещички, и тогда с ним будет не разделаться.

— И правда, — согласилась мать.

— А гроб кого попросим сделать? — встрепенулась она: — Может, Аверьян сколотит?

— Да, — ответил Шурка и сам сбегал к Аверьяну.

— Ладно, — сказал он и вечером явился с инструме́нтами.

Он сделал гроб из досок, оторванных от сеновала, и из планок от щитов, которые были расставлены вдоль «ветки», чтобы защищать ее от снега. Шурка натаскал их, когда не было луны на небе.

Подметя, Авдотья бросила в печь стружки. Аверьян помог ей уложить жилицу в сделанный им гроб и вытер руки о штаны.

— Ну, очень вам обязана, — сказала ему, вежливо раскланиваясь с ним, Авдотья, когда он надел пальто и шапку.

— Не́ за что, — ответил он. — Я столько лет жил в вашем доме, и вы были мне как мать.

— Ах, что вы, — возразила она.

Утром, приведя с базара мужика с дровня́ми и поставив на них гроб, она пошла за ним с детьми, торжественная, и похоронила свою мертвую жилицу без попов.

— Не знаю, — говорила она встречным, — по какой религии она была прописана.

С холстом и с пестренькими ситчиками, оказавшимися в сундуке жилицы и в ее зеленом ящичке, Авдотья приняла́сь опять за дело.

Мужики ей навозили дров. Муки́ она купила у Суконкина. Он торговал теперь без вывески и отпускал товар у себя в кухне. Иногда дверь в комнату была полуоткрыта, и Авдотья видела в щель Ольгу, вытирающую тряпкой стулья или шьющую, надев очки, или читающую книгу.

Ольге было восемнадцать лет, она была бесцветная, беловолосая и тощая, и, глядя на нее, Авдотья усмехалась.

Она снова пекла хлеб и пироги и продавала их на станции, а Шурка помогал ей. Поезда ходили не по расписанию, и они сидели с утра до́ ночи и ждали. Вдруг являлся воинский, товар весь раскупали, и тогда Авдотья отправляла Шурку притащить еще.

С Егоркой он теперь встречался редко, и ему не так хотелось теперь сделаться разбойником, как стать хорошим спекулянтом или перевозчиком и продавцом беспошлинного заграничного товара: все́ хвалили это дело и считали, что оно уж очень прибыльное.

Его шуба, сшитая когда-то Александрычем, была ему уже́ мала, и из брезента, оказавшегося в сундуке жилицы, ему сделали пальто с запасом на подоле и на рукавах, чтобы под осень, если будет нужно, можно было удлинить его.

Авдотьины приятельницы уверяли Шурку, что пальто это ему очень к лицу, и говорили ему всякие любезности, а он молодцевато взглядывал на них.

Под благовещенье был день его рождения, ему кончалось девять лет, и в доме была выпивка. Явившиеся гостьи поздравляли его, пили за его здоровьице и тормошили его. Он им говорил:

— Пошли вы!

И, освободясь от них, подмигивал им.

Скоро все́ разговорились, стали похваляться и рассказывать, как здорово им иногда везло. Тут Шурка вызвал мать из «зала» и предупредил ее, чтобы она помалкивала насчет случая с вещичками.

Две гостьи, одна низенькая, а другая дылда с крошечной физиономией и постным видом, вдруг переглянулись. Они жили на другом конце поселка, пришли вместе и сидели рядом. Они вспомнили, как летом, года этак два назад, казаки изрубили на Мамонихином поле семьдесят мадьяр из пленников. Мадьяры эти здесь квартировали, а работали на Ка́шкинских. Все́ скопом они шли домой с работы — и такая вдруг история случилась.

Низенькая с скромными ужимками рассказывала, а верзила на всех взглядывала и кивала.

— Всякий, кто успел узнать об этом, поспешил туда, и очень поживились тогда те, кто посильней. Мы сами, хоть уже и старенькие, а вернулись с тремя па́рами сапог и с разными вещами из карманов — кошелечками и часиками.

— Счастье ваше, что вы тамошние, — стали говорить им слушательницы. — А наш конец глухой, и всё у нас проходит мимо, по усам течет, а в рот не попадает.

Тут забла́говестили, и все́ перекрестились, а Авдотья, приподняв бутылку, показала ее гостьям.

— Ладно, дорогие мои дамочки, — сказала она, — что там? Всех кусков не схватишь. Бросим горевать, хлебнем еще разочек и пойдем ко всенощной.

Ее дела в то время удавались ей. Она была довольна и всегда сияла. Она сшила себе новенькое платье с голубыми птичками и сделала хорошенькую кофту из шинели. Всех своих детей она одела и обула.

— Прав ты был, — растроганная, говорила она Шурке, — что привел тогда к нам эту женщину. Теперь нас бог вознаграждает за нее, за то, что мы ее призрели у себя.

Всё чаще между тем стало случаться, что, явясь к Суконкину, она не заставала у него товара. Приходилось отправляться к железнодорожникам, разнюхивать, кто ездил за съестным, бросаться к нему, становиться в хвост и возвращаться зачастую с тем, с чем и пришла, — другие успевали узнать раньше и примчаться первыми.

Авдотья вспоминала теперь, как когда-то Аверьяну принесли письмо от Ольги. Если б он не пофорсил тогда, то через Ольгу можно было бы всегда осведомляться, нет ли у Суконкина чего-нибудь в продаже.

Скоро ничего уже нельзя было найти такого, чем бы можно было торговать. Жизнь у Авдотьи в домике опять пошла неважная, харчей стало в обрез, и Шурка пораздумал и решил, что нужно снова идти в жулики.

Уже́ было тепло, но, чтобы быть солидней, он надел свое брезентовое новое пальто. Он в нем пошел к Егорке, чтобы переговорить с ним, но его не оказалось до́ма. У него был тиф, и он лежал в больнице. Через полторы недели он там умер.

Один раз Авдотья, выйдя на канаву к козам, встретилась с Василием Ивановичем, земледельцем, и, разговорясь с ним, стала плакаться, а он ей предложил взять Шурку поливать огурчики на хуторе и ездить с лошадьми в ночное.

— Он при нас харчиться будет, — увлекательно сказал он, — и у вас одним ртом меньше станет.

Тут же он зашел за Шуркой, и, припрыгивая, чтобы не отстать от него, Шурка по дороге рассказал ему, какие из сельскохозяйственных работ он делал у Евграфыча.

Калитку им открыла земледельцева жена и сразу же послала Шурку натаскать соломы из соседских крыш. Три курицы квохтали, и она хотела посадить их. Люди же советовали ей, чтобы подстилка была краденая.

Шурка сказал «есть такое», сделал ей под козырек и через несколько минут примчался с ворохом соломы. Чалый был уже впряжён. Василий вынес Шурке квасу и пирог со свеклой и, когда он выпил, отворил воро́та и повез его на хутор.

Там он его отдал под начало Гришке, своему племяннику, и Гришка показал ему, что делать.

Правая нога у Гришки была порченая, он хромал, и Шурка знал, что это доктор Марьин, когда началáсь война, устроил ему это.

Хутор доходил до речки Генераловки, и воду для поливки гряд накачивала лошадь. Она бегала по кругу и вертела колеса. Ковши черпали воду, лили в большой желоб, и оттуда она шла по маленьким. В них были дырки и затычки. Можно было вынимать их и, подставя лейку, наполнять ее и не ходить далёко. Шурке это интересное устройство так понравилось, что он захохотал, когда увидел его.

Гришка был большой любитель музыки и вечером после работы, сидя на крыльце барáка, жалостно играл впотьмах на балалайке, а потом рассказывал, как здóрово один американец отвечал своей невесте на ее упреки, или задавал загадки, а когда их кто-нибудь отгадывал, то Гришка опечаливался и на время замолкал, брал снова балалайку и побренькивал, насупясь.

Шурка скоро подружился с ним и стал с ним обращаться покровительственно, он же, когда сам Василий не присматривал за ними, давал Шурке пожевать чего-нибудь сверх нормы и не очень донимал его работой.

Перед праздниками Шурка ездил с ним домой. Телега погромыхивала. Ноги, свешенные вниз, покачивались. Около дороги стоял лес. Попахивало свежими березовыми вениками.

Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их.

Гришка то молчал, то оживлялся вдруг и спрашивал, что больше весит — пуд железа или пуд мукѝ, или какая лошадь, придя с луга, больше принесет травинок на спине — с хвостом или бесхвостая, и Шурка отвечал ему, что больше весит пуд железа, и что лошадь больше принесет травы бесхвостая: когда ее кусают мухи, ей приходится сгонять их мордой, и из той травы, которую она жует при этом, несколько травинок остается на ее спине.

Обратно они ехали с зарезанной на ужин курицей учительницы Щéрбовой, которая жилá бок ó бок с земледельцем, и когда они пускались в путь, им было слышно иногда, как Щербова разыскивает ее, бегает по переулку и выкрикивает:

— Пы́ри-пы́ри!

И тогда они смеялись и подмигивали в ее сторону и делали увеселительные жесты.

Уже лето почти всё прошло. Уже копали понемногу и возили на базар картошку. Шурку иногда пускали с возом одного, без Гришки, и тогда он останавливался перед своим домиком, Авдотья выходила с ведрами, и он ей насыпáл в них.

Один раз, когда под вечер он снимал мешки, развешенные для просушки перед окнами барака, подкатил Василий и, с кнутом в руке, слезая с дрожек, крикнул ему:

— Твой отец приехал.

15

Шурка бросил всé и побежал.

— На огурчики я, — говорил он дорóгой, — поставлю теперь крест с прибором.

Темнело. Дорога пошла через лес. Там был мрак, точно ночью, и, может быть, были разбойники. Шурка не думал о них. Он бежал, останавливался на минутку, чтобы отдышаться, и снова бежал.

Наконец впереди посветлело немного, лес кончился, и перед Шуркой открылось то поле, за которым стоял его дом.

Огонька в доме не было.

Шурке, когда он постучался, открыла Авдотья.

— Приехал? — спросил он и бросился в дом. Человек на кровати со львом и кувшинчиками совал ноги в штаны. Он вскочил, подтянул штаны кверху, Авдотья взялá Шурку зá руку и подвела к нему.

— Вот он, — сказала она, — старший сын. Поздоровайся с ним. Пока ты околачивался невесть где, он был в доме хозяином, и без него я пропала бы.

— Ну, здравствуй, что ли, — сказал тогда Шурке отец и шагнул к нему.

Шурка ответил:

— Ну, здравствуй, — пожал ему руку и сел на скамейку.

Отец был похож на Евграфыча и на солдат — Петьку с Ванькой, но был ниже ростом и шире; и нос у него был короче, а пóд носом у него были красно-коричневые тараканьи усы. Он одет был в солдатское.

— Что же, — сказал он, — по-моему, — ночь, — и они улеглись.

Утром Шурка узнал, что отец привез сала и три пуда мукú. Затопили печь. Мать стала жарить лепешки. Отец подтащил к ней колоду и сел возле печки. Авдотья его не гналá, хотя он ей мешал. Он сидел, зажав руки коленями, двигал своими усищами и не сводил с нее глаз.

Две недели была суматоха. Приехала бабка Гребенщикова с сыновьями. Она привезла мукú, сала и выпивки. Поговорили о том, почему отец Шурки так долго не ехал, о деде Евграфыче, деде Матвее и бабке.

— Диéспериху, — сказал Шурка, — за то, что разводит на улицах лужи, по-правильному, нужно было бы к стенке, — и всé согласились с ним.

Начали пить и закусывать. Скоро мужчины, сняв рéмни, надели их через плечо, сели вольно и стали покуривать.

Петр пустил дым кольцом, посмотрел на него и сказал:

— Один раз мы стояли в резерфе, а он тут как тут.

Всé придвинулись ближе. До позднего вечера братья рассказывали интересные случаи, происходившие с ними во врéмя войны.

Петька с Ванькой теперь не пахали, скот продали и поступили на службу. Они взяли отпуск по случаю того, что вернулся их брат, пропадавший шесть лет.

Скоро начали делать визиты родным. Побывали у Ваньки Акимочкина, у литовки. Потом у себя принимали их. Были на кладбище. Там поклонились могилам, взглянули на обновившийся в прошлом году образочек и поудивлялись.

Потом всé три брата отправились к тетке-просвирне, вернулись, и гости уехали. Скоро должна была быть однодневная перепись, и им хотелось в день переписи быть на месте.

— Как здóрово вышло, — сказал отец Шурки, — что я подоспел как раз к переписи. Теперь буду записан с семьей.

— И действительно, — стали дивиться всé. Шурка порадовался, что не будет записан на хуторе, при огурцах, а Акимочкин мрачно сказал:

— После переписи вы поймете, зачем она делается.

Переписывала эту улицу Щербова.

— Вот к вам и я, — объявила она, входя в кухню, и предупредила, что ела чеснок. Она села с листками за столик. У каждого она между прочим расспрашивала о профессии, национальности и о родном языке.

— Под родным языком, — разъясняла при этом она, — понимается тот, на котором опрашиваемый обычно говорит с своей матерью.

— Мы, — сказал Шуркин отец, — извините, но всé одной нации и говорим на одном языке.

— Не учите меня, — попросила она и прищурилась.

Шурка смотрел на нее и побаивался, что она его спросит, не он ли крал кур у нее этим летом, но Щербова, глядя в листки, записала еще кое-что о печах и надворных постройках, сложила бумажки, простилась и двинулась к главному.

Скоро опять Шурка начал учиться. Отец поступил в сельсовет на поселке при сахарном. Кроме того, он писал заявления для тех людей, у которых во врéмя гражданской войны было что-нибудь зáбрано и им хотелось теперь получить возмещение, и за труды брал натурой. Он был теперь в доме хозяин, Авдотья обо всём с ним советовалась и возилась с ним так, что смешно было видеть, а Шурке теперь от нее был такой же почет, как Маришке с Алешкой, которым она столько лет говорила, что Шурка для них — как отец.

— Ничего себе, — думал он, — здóрово.

Ученики его класса дрались с другим классом и всюду носили с собою резинки, к которым привязаны были железные гайки. Они дрались в школе, и вечером, встретясь на улице, снова дрались.

Шурка был постоянно избит и ходил в синяках и подтеках. Запаса из новенького пальтеца не пришлось выпускать, потому что за осень пальто изодрали в клоки.

Он не мог один выйти из до́ма и в школу ходил с двумя братьями Проничевыми, которые жили поблизости и заходили за ним. Они были приезжие из Генераловки, а Генераловка славилась драками. Там выходили «конец» на «конец» и дрались кулаками, а потом кистенями и ножиками. Братья Проничевы навострились там, и их боялись, но скоро они заболели «испанкой» и умерли.

В первый же день, когда Шурка пошел без них в школу, орава мальчишек с резинками подстерегла его за домом Щербовой. Он не отбился бы, если бы не Аверьян.

Аверьян шел на станцию. Он разогнал их и сдал Шурку Кольке, пятнадцатилетнему малому, родственнику жены Ваньки Акимочкина, Аверьяновой мачехи.

Колька был такой же большой, как она, черномазый, плечистый, лицо его было такое же невыразительное. Он им встретился около станции. Он шел согнувшись и нес на спине пуд муки́, а в руке бельевую корзину. В ней были мешочки, бутыль, вобла, мясо, махорка: Акимочкины посылали его в железнодорожную лавку за выдачей, так как у Нюрки, которая обыкновенно была на посылках, был тиф.

— Подойди-ка, — сказал Аверьян.

Тогда Колька поставил на землю корзину, спустил с плеча пуд и спросил:

— Ну, чего еще?

— Вот, — показал Аверьян, — доведи его до́ дому и заступись за него, если вдруг нападут злоумышленники.

— Я бы сам, — сказал Шурка, — разделался с ними, да их очень много.

Он взял Колькин пуд и, взвалив на себя, пошел с Колькой.

— Мука́ — это что, — сказал он. — Хуже было бы, если бы это была не мука́, а железо. А как ты считаешь, бесхвостая лошадь принесет с поля больше травинок у себя на спине или лошадь с хвостом?

Занеся к Ваньке выдачу и получив по щепотке махорки, они зашли к Кольке во двор.

— Показать тебе фокус? — отчистив пиджак от муки, спросил Колька, и Шурка ударил себя кулаком по ноге и сказал:

— Покажи.

Тогда Колька вошел к себе в дом, вынес корку, встал с ней у калитки, зазвал кобеля, пробегавшего мимо, и дал корку Шурке.

— Верти у него перед носом, — велел он, — а есть не давай. Занимай его, чтобы он не смотрел, что я делаю.

— Есть, — сказал Шурка и стал занимать кобеля. Тогда Колька продвинул колоду, подставил ее под хвост кобелю, взял топор, замахнулся и тяпнул. Кобель обернулся и взвизгнул два раза.

— Ой, смех, — крикнул Шурка и, изнемогая от хохота, лег.

Колька поднял отрубленный хвост и швырнул за забор. Он довел Шурку дó дому. Шурка старался понравиться Кольке, солидно держал себя и рассказал, как работал с Егоркой.

— Ты мал, да востёр, — сказал Колька. — Зайди как-нибудь.

Они стали вдвоем поворовывать. Колька не решался сбывать вещи здесь, и они продавали их или при сахарном, или на Серных водáх.

Они съездили раз даже в город, но он не похож был на тот большой город, который когда-то понравился Шурке в вагоне-кино. Ни высоких домов, ни разбойников в автомобилях там не было.

— Вот бы в Самару попасть, — сказал Шурка. — Там, верно, не то, что здесь. Там даже было свое государство.

— И там побываем когда-нибудь, — пообещал ему Колька.

Когда Шурка прйбыл из этой поездки домой, там всé спали. Отец отворил ему дверь.

— Где ты шлялся? — спросил он. — Потом, почему ты не ходишь учиться? С Маришкой прислали записку.

— По-моему, — ночь, — сказал Шурка, — и нечего нам здесь шуметь.

— Хорошо, — посчитаемся завтра, — ответил отец.

— Хорошо, — сказал Шурка.

Он встал раньше всех, взял полхлеба и вышел. Была еще ночь. Тарахтела «кукушка». Ее огоньки подвигались впотьмах в направлении к сахарному. Кобели прикурнули под утро в своих конурах и не лаяли. Улицы были пустынны.

Когда рассвело и к колодцам пошли бабы с ведрами, Шурка вошел во двор к Кольке и вызвал его.

Колька вышел, зевáя.

— Чего? — спросил он.

— Уезжаю, — сказал ему Шурка. — В Самару.

— Зачем?

— Как зачем? — спросил Шурка. — Известно, зачем: жить, разбойничать.

— Ладно, катись, — сказал Колька. — Разбойничай. Нас не забудь.

— Ну, прощай, — протянул Шурка руку. — Выходит, я еду один.

— А то с кем же?

— Конечно, — сказал тогда Шурка.

На станции он залез в незакрытый товарный вагон, на котором написано было «Самара», достал из кармана коробку со спичками и присмотрел себе угол почище. Он сел там и стал дожидаться, когда пойдет поезд.

Письма к писателям (1924 - 1936)

К. И. ЧУКОВСКОМУ

1924 ГОД

1

Многоуважаемый Корней Иванович.

Очень благодарю Вас за Ваше письмо. Если можно напечатать эти два рассказа в четвертой книжке, то — хорошо бы.

Вы разрешаете послать Вам что-нибудь еще. У меня есть одна вещь непереписанная. Недели через две, я думаю, я ее вышлю.

Ваш слуга Л. Добычин.

25 сентября 1924.

Брянск. Губпрофсовет. Леониду Ивановичу Добычину.

2

Многоуважаемый Корней Иванович, позвольте просить Вас прочесть эту рукопись. Она еще старая (прошлогодняя) и совсем не модная. Но, может быть, все-таки годится, чтобы напечатать в каком-нибудь месте поплоше. Не можете ли Вы дать мне в этом отношении совет: я никаких адресов, кроме «Современника», не знаю, в «Современник» же соваться с ней не решаюсь.

Ваш слуга
Л. Добычин.

10 октября 1924.

Брянск. Губпрофсовет.

3

24 ноября

Корней Иванович. Я получил Ваше письмо вечером, а утром послал в «Современник» маленькую — не знаю, как ее назвать, я не посылал бы ее, если бы получил Ваше письмо раньше: я просто хотел про себя напомнить.

Мне жаль, что нельзя напечатать Катерину Александровну. Из всего, что я писал, я ее больше всего люблю.

Вы спрашиваете про повесть на 4 листах. Я не умею мерить на листы, ибо никогда еще не имел с ними дела.

То же про деньги. Конечно, деньги нужны, но что значит «по первому требованию»?

Что я делаю в Брянске? Убиваю уже шесть с половиной лет и не надеюсь, что когда-нибудь это изменится.

Давно ли «занимаюсь литературой»? Это похоже на насмешку. Я не занимаюсь литературой. Будни я теряю в канцелярии, дома у меня нет своего стола, нас живет пять человек в одной комнате. Те две-три штучки, которые я написал, я писал летом на улице или когда у меня болело горло и я сидел дома. Книг я никаких не читаю (ибо их здесь нет), кроме официальных.

«Повесть» писать я начал, и очень модную (то есть действие в 1924 году), но именно потому что у меня три дня болело горло. К весне, может, и закончу.

Ваш Л. Добычин.

4

25 ноября 1924.

Многоуважаемый Корней Иванович. К вчерашнему письму мне надо добавить вот что: эту гадкую рукопись, которую не надо печатать, пожалуйста, пришлите. Ее «свежие» детали я буду рассовывать по другим изделиям, когда до них дойдет дело.

Потом, чтобы заинтриговать Вас тем рассказом, о котором я вчера возвестил, скажу: уже вижу, что он будет — хороший.

Позвольте рассказать, как я узнал о Вашем журнале. В канцелярию явился разъездной парень от Вашей конторы для соблазнения на подписку. Я увидел неказенные фамилии и запомнил адрес.

Да, Вы спрашивали, сколько мне лет: тридцать.

Л. Добычин.

5

Многоуважаемый Корней Иванович. Рассказ я вышлю 12 января — он будет готов скорей, чем я думал. Ваше письмо меня оживило, и т. д. Только, он будет не длинный, а опять в четырех главах, как и прежние. Должно быть, мне не уйти от «четырех глав».

А гадкую рукопись, пожалуйста, верните, как я просил. Кое-какие из ее украшений я уже ввернул в новый рассказ, и они ему к лицу и не имеют поношенного вида.

Может быть, Вы напишете мне еще раз: получив Ваше письмо, я чувствую себя не такой канцелярской крысой, как обыкновенно.

Будет ли напечатана «Козлова»?

3 декабря 1924. Ваш Л. Добычин.

Брянск. Губпрофсовет.

6

1924, декабрь.

Дорогой Корней Иванович.

Хорошо, что Вы выбросили «Брянск, Губпрофсовет», — не только ради Фишкиной, но и потому, что я таких «подписаний» очень не люблю («Коломна, 25 декабря старого стиля»), и написал это просто как адрес.

Как долго не выходит Ваш четвертый Номер. Я беру читать «Современник» у Союза «Нарпит»: они не знали, что это — «типичный образец нэпманской литературы», и подписались.

Корней Иванович, может быть, мне удастся съездить в Петербург: пальто-то у меня есть не в пример Сергееву-Ценскому. От этого я бы сделался умнее и стал бы писать лучше, а то я совсем эскимос, правда, в конце зимы, может быть, удастся.

Я посылал в «Современник» маленькую штучку — «Нинон». Печатать ее или не печатать — это все равно, она не имеет значения, но — Вы ее читали?

Вот почему я вышлю свой рассказ 12 января: перед этим будет много праздников, и я к тому времени успею с ним разделаться. У меня еще девять праздников впереди!

Ваш Л. Добычин.

7

27 декабря.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Мой рассказ готов. Осталось два раза переписать — себе и для отсылки. Не будете ли Вы добры дать мне несколько справок: заплатят ли мне в «Современнике» за мои изделия и какая на них цена.

Каковы виды на выход следующих книжек? Четвертая что-то застряла.

Когда Вы прочтете рассказ, очень прошу написать мне, нет ли там пережевывания того же, что было уже в прежних.

По поводу «воды» я выпишу Вам один рассказ Щедрина (знаю его наизусть): «У одного городничего спросили:

— Вы берете, Иван Капитонович, взятки?

— Никогда!!»

Ваш Л. Добычин.

Вы укорили меня «наисовременнейшими книгами», которые я, будто бы, читаю. Напраслина! И не нюхивал.

Не заступаюсь за «Нинон», но находите ли Вы, что и остальное пересушено?

— Пишете о Ветре? А я думал, он ослабел.

1925 ГОД

8

Многоуважаемый Корней Иванович.

Когда Вы получите это письмо, Вами, возможно, уже будет прочтен посланный мной рассказ. Хотя ему и далеко до «у одного городничего спросили», все же он довольно короток. Если Вы найдете, что о нем стоит писать, я просил бы Вас написать мне, как Вы его находите. Не сердитесь, что я к Вам пристаю: ведь Вы мой единственный читатель.

Должно быть, в своем последнем письме я задал вопросы, каких не полагается, потому что Вы на них не ответили. Сие было от незнания этикета — и вот, я от них уже воздерживаюсь.

Мне попали в руки две книжки «Красной нови» с Бабелем, «Концом мелкого человека» и «Виринеей». Я очень обрадовался «Мелкому человеку», ибо мне очень приятны «Записки Ковякина» (конечно, кроме конца), и — увы, какое падение. «Виринея» же, как я и ожидал, — сюсюканье.

Корней Иванович, хоть я от неполагающихся вопросов и воздерживаюсь, но все-таки: почему журнал не выходит? будет ли он выходить дальше? Какие затруднения и что такое «Магарам»?

Что такое Зощенко? Летом мне попался один его рассказ, и с тех пор мне было приятно о нем думать (о нем и о Леонове), а теперь он... в «Бузотёре».

Л. Добычин.

17 января

9

20 января.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Сегодня пришла четвертая книжка. В двух-трех местах «Встречи» переврали. Но все же я очень рад. Почему «Козлову» перекрестили в «Учительницу»? Она служит в канцелярии. К тому же, это невежливо перед «Красным педагогом».

Я еще ничего не прочел из четвертой книжки, кроме своих пяти страничек. Есть Ваша статья...

Между прочим, если позволите быть нескромным, я уже затеял новое изделие, и оно будет чуть ли не РОМАН!

По крайней мере, там много персон.

Знаете, чего мне больше всего жаль из пропущенного текста («Встречи с Лиз»), — про «никакого марксистского подхода». Половина Фишкиной с этим отскочила. Разрешите сделать Вам маленький подарок — рассуждение о «свободе печати», вырезанное из газеты «Труд».

Л. Добычин.

10

21 января.

Многоуважаемый Корней Иванович, явите милость, отмените «Учительницу», ибо она не «учительница» — что-то постное и, кроме того, с претензией на обобщение — «лучше не называть, в каком департаменте».

Если Начальники обратят внимание на «Встречи» и найдут их нахальными, очень прошу сообщить мне, по возможности — подробно.

В Вашем первом письме я прочел, что стою «на правильной дороге». Я всегда хотел спросить, в чем именно, и всегда забывал. Может быть, Вы когда-нибудь удосужитесь дать мне назидание.

Вчера я успел кое-что просмотреть в четвертой книжке — очень забавен «Привет безбожнику» Онуфрия Зуева. Хорошо тоже «всемирная величина Стеклов». Я еще не читал, но видел остальные рассказы — они такие солидные, с квадратными абзацами, а мои четыре с половиной странички такие растрепанные.

Как мой новый рассказ: 1) не хуже ли прежних? 2) не слишком нахален?

Можно ли куда-нибудь приткнуть этот сухарь «Нинон»?

Л. Добычин.

11

26 января.

Многоуважаемый Корней Иванович, Вы не правы. Первый абзац нужен: там следы от волос на песке, а в четвертой главе — следы сена на снегу. Отсюда — «что-то припомнилось». Благодарю Вас за предложение насчет комнаты, если наберу денег, чтобы поехать, то им воспользуюсь. Только какой Ваш домашний адрес?

Написал письма Богдановской и Слонимскому о передаче рассказов. Богдановской, кроме того, о высылке книжки и гонорара.

Вы уезжаете, и «Современник» на исходе. У меня — как будто кто-то умер: ведь это Вы подобрали меня с земли.

Л. Добычин.

12

3 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович, я очень рад, что Вы, во-первых, вернулись, а во-вторых, — вспомнили про меня. Навряд ли я смогу написать что-нибудь об индейцах*. Но к 12 мая думаю изготовить одно изделие для взрослых. Оно будет немножко нахальное, но не так, как «Ерыгин». И, к сожалению, тоже короткое (к сожалению потому, что за него заплатят — двадцать целковых).

Ерыгин, должно быть, так и пропадет — мне про него ничего не пишут.

Я встретил одну старуху, которая читала в «Современнике» про Кукина. Она сказала: «Я очарована. Когда читаешь в первый раз, кажется — так себе. Потом я как-то начала читать еще раз и тут поняла. «Моды де-Ноткиной»!» — и тут она принялась перебирать одно украшение этой истории за другим. — Вот и весь фимиам, который передо мной был воскурен.

Хулы же были вот какие: «я удивляюсь, как цензура это пропускает: лето, и вдруг — лед!» А другая: «Вот, например: Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. — Что тут красивого? И потом — кто это? где?.. И не написано, что они сидели».

Корней Иванович, моя чиновничья профессия — «статистик». Как Вы думаете, можно в Петербурге поступить куда-нибудь такому чиновнику?

Л. Добычин.

* Я читал Вашу книжечку про умывальник — это очень мило, поэтому и говорю, что не рискну на индейцев.

13

6 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович. Кажется, я напишу рассказ об индейцах. Это будет про козу. Только не длинный, а короткий. Если я когда-нибудь разбогатею, то тогда буду писать одно длинное. Про козу пришлю Вам, должно быть, через 2–2 $^1/_2$ недели. А сочинение для взрослых буду стряпать после козы.

Оно будет хорошее.

Вы писали о тесной связи, установленной мной с «Ковшом» и «Ленинградом»: не такая уж тесная. От них ни слуху ни духу. Что делается с переданными им «отличными рассказами», совершенно не знаю.

Ваш Л. Добычин.

Когда (в середине мая) будет готово взрослое сочинение, разрешите послать его Вам и просить Вашего указания о том, кому его* предлагать.

* сочинение

14

10 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович. Назвался к Вам с козой, но ничего из этого не выходит.

Слонимский на мои вопросы о переданных ему рукописях не отвечает. Если Вас не затруднит, могу ли я просить Вас позвонить ему по телефону и справиться? В особенности портит мне настроение неизвестность о Ерыгине: будет жаль, если эта работа пропадет.

Корней Иванович, миленький, не рассердитесь на меня за эту просьбу.

Л. Добычин.

15

13 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович. Слонимского можно отпустить на покаяние. Он написал (что Козлова будет напечатана тогда-то, крошащийся сухарь «Нинон» тогда-то, а Ерыгина «в крайнем случае проведет через «Ленинград». А как насчет не «Ленинграда», а ЦЕНЗУРЫ — ни полслова. Я ему — письмо: как насчет цензуры? — Может быть, ответит).

Он пишет исключительно заказными. Это страшно шикарно и производит в канцелярии сенсацию и фурор. Уверены, что письма от Столичных Львиц.

Ваш Л. Добычин.

16

4 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович. Примите произведение местной флоры, как-то:

1) вербовая ветвь с барашками и

2) вербовая ветвь же с сережками.

Мы уже пережили обманный день 1 апреля («по новому»). Товарищ Злобина, рассыльная, позволила себе несколько маленьких обманов. По этому случаю произошла следующая бумага:

местному Г<убернскому> С<овету>
П<рофессиональных> С<оюзов>

2 IV 25 г.

Прошу принять меры союзного воздействия к т. Злобиной, у которой отсутствует дисциплинированность за последнее время, в части 1/IV с.г. наблюдался случай обмана служебных лиц с целью вызовов к другим должностным лицам.

Управделами ГСПС Солоухин.

Это значит, что она говорила: «Вас зовет Солоухин», а на самом деле он не звал.

Вчера бухгалтерия «Ленинградской Правды» прислала мне тридцать рублей «за статью по Ленинграду № 9» и просила уведомить о получении. Я уведомил.

В последний раз о Слонимском: конечно, он не ответил, простите, что Вам об этом пишу. Больше не буду. Я только потому, что, по-моему, это характерно.

Я спрашивал Вашего позволения адресовать Вам свой новый рассказ. Он будет готов в срок, который я ему поставил, то есть двенадцатого мая. Героиню зовут «Савкина», одного ксендза — «Валюкенас», другого — «Варейкис», а ксендзовскую стряпуху — «Эдемска». Можно прислать?

Получив тридцать рублей, я купил четыре вещи, в том числе один оселок. В каком-то классе я разучивал о Фридрихе «дер Гроссе»[1], что он следующим образом выразился о картошке: «Это чудесное подспорье для бедного люда», так и сочинение русской прозы.

[1] Великий (*нем.*).

Корней Иванович, пусть этот день будет днем подарков: к дарам флоры я присовокуплю еще «Систему б.о.». Коза, о которой я Вам писал, мне является, после Савкиной я возьму ее за рога и напишу про нее историю. Пригодится ли она для детей, не знаю. Впрочем, теперь и нет детей, а Детские коммунистические отряды Имени Товарища Ленина.

В московских «Известиях» я видел в «критике и библиографии» заметку о какой-то «авантюрной» книжке, подписанную «К. Ч.» — не Вы ли?

Когда приносят почту, я перебираю ее и смотрю, нет ли письма от Вас: нет.

Ваш Л. Добычин.

17

4 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович. Сегодня я Вам послал письмо, в котором были тысячи инсинуаций на Слонимского. Послав его, получил письмо Слонимского и спешу дезавуировать Инсинуации. Про Ерыгина он пишет, что навряд ли. Вот тебе и клюква.

Л. Добычин.

Между прочим: то письмо я послал заказным не ради шикарности, а потому что напихал туда всякой всячины и не знал, сколько нужно марок.

Л. Д.

18

7 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Желая вновь подвергнуться похвалам старухи, про которую я Вам писал по поводу истории о Кукине, я дал ей прочитать Козлову. Сегодня утром я ее встретил на улице: — Как вы нашли? — она прищурилась. — Понравилось. Какая мерзкая погода. — Каково благовещенье, такова и пасха, — сказал я. — Есть и еще примета, — обрадовалась она: — Осенняя: Дмитриев день в снегу — и пасха в снегу. — Правда, правда. Причина ее холодности — святой Кукша и епископ с помоями. Недавно я думал о том, какой у Вас может быть вид, и решил, что, должно быть, вроде Максима Ковалевского.

Ваш Л. Добычин.

19

14 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Благодарю Вас за письмо. Происшествие с Злобиной — действительное.

Савкину пришлю. В ней уже одним ксендзом стало меньше.

О козе будет нечто обширное. Жалею бедняг Толстого и Федина, которых не пригласили и оттеснили. Сейфуллина хотя Вам и звонила, все же не пишет, а сюсюкает.

Вы упомянули о Слонимском за письменным столом. Если позволите мне эту интимность, то я — пишу за швейной машиной.

Вольного Вы от меня не услышите — ах, за кого Вы, в самом деле, меня приняли?

Приношу Вам поздравление с праздником святые Пасхи. Ваши комплименты, основанные на местоположении Брянска вблизи Орла и Тулы, преувеличены. К тому же я — небрянский.

Примите уверения и прочее.

Ваш Л. Добычин.

20

Многоуважаемый Корней Иванович.

Сегодня у меня юбилей. В этот день в прошлом году я послал в «Современник» два рассказа. Вашими руками они были устроены. Не могу отказать себе в побуждении выразить Вам еще раз свою признательность.

Ваш слуга Л. Добычин.

12 августа 1925.

21

Многоуважаемый Корней Иванович. Вот рукописи, которые Вы разрешили Вам прислать.

Одна из них мне нравится (Коза), а другая — так себе.

Между прочим, сегодня мне начал приходить в голову один рассказ, и так как у меня еще десять дней отпуска, то может быть, я успею написать это для «Современника» (если возьмут).

Когда к Вам придет Шварц, пожалуйста, скажите ему от меня что-нибудь хорошее. Он был со мной очень любезен.

Выздоравливаете ли Вы?

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

Да, о вашей наружности, если позволите: я представлял себе Вас дедом, а Вы...

22

9 ноября.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Мой приезд откладывается — из-за денег. Я думал получить что-нибудь от Ковшмейстеров и просил у них, но на мои свирели они не восплясали.

Вчера кончился мой ОТПУСК, и я опять — у алтаря. По дороге к нему увяз в улице III Интернационала, бывшей Московской, и разорвал левую калошу, за что меня дома будут ругать.

Мой рассказ скоро будет готов — про женщину, которая удачливей меня: она уедет.

Л. Добычин.

23

12 ноября.

Многоуважаемый Корней Иванович. В этом письме будет вопрос, поэтому, если Ваше здоровье позволяет, я попрошу мне ответить.

Вопрос — куда послать рассказ, чтобы он попал в «Современник».

Мне хотелось бы узнать еще, как Вы нашли Козу с Сорокиной, в частности — нет ли там впадения в Добычинский шаблон?

В новом рассказе, кажется, увы, этот шаблон есть. Но все-таки рассказ не без живости. Называться он будет, кажется, «Блауэ берге»[1], а если это — чересчур, то — скромнее: «Блинова и Воблина». В этом рассказе — плохая погода.

Прочитывая объявления про книги, я узнал про Шварца две вещи:

1. Шварц, Е. — Вороненок,

2. Шварц, Евг. — рассказ старой балалайки.

А третье — Шварц, Е. — гордец — знал раньше, потому что в прошлом году ему писал, а он не отвечал. Все это Вы ему, пожалуйста, если можно, скажите.

Ваш Л. Добычин.

Раскаиваюсь, что не ел у Вас яблок и меда: помните Вы предоставили мне эту возможность? Может быть, она уже не повторится.

---

[1] «Голубые горы» (*нем.*).

24

19 ноября.

Многоуважаемый Корней Иванович. Это ничего, что Вы мне не отвечаете: через несколько дней я опять приеду.

Это будет — как Вы в Лондон (без копейки).

Рассказ, который я с собой привезу, очень коротенький (рублей на семь), кроме того, я в нем сомневаюсь. Он называется «Казанский» (Казанский собор).

Надеюсь увидеть Вас здоровым. Л. Добычин.

1926 ГОД

25

21 января.

Многоуважаемый Корней Иванович. Соблазнился ли мсье Клячко моими инсинуациями о кошке? Если нет, то, может быть, Коля (Чуковский) не откажет идя куда-нибудь на Невский-28, захватить их и передать через Шварца Самуилу М<аршаку>, может быть, там клюнет.

Вчера я посетил для очистки совести немало канцелярий, но не почувствовал влечения в них наняться и остался праздным.

Не скрою, что усаживаюсь за новую попытку тронуть Клячкино сердце. Вскоре она будет представлена Вам на суд.

Сегодня день скорби, и базар утыкан флагами, как карта театра войны, какими обладали иные семейства.

Разрешите присовокупить к сему мой Пламенный Привет и выразить надежду, что Ваша температура не выходит из желательных границ.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2.

26

28 января.

Дорогой Корней Иванович. Вот еще одна (и последняя) халтура. С ней так же ничего не выйдет, как и с кошкой. После провала у Клячки я попрошу повторить те же приемы, что и с кошкой, то есть через

1) Колю,
2) Шварца довести ее до Маршака.

Коля, милый, пожалуйста, я очень прошу Вас, когда Вы пойдете в Госиздат, захватить с собой мою халтуру и отдать Шварцу для Маршака.

Завтра я наймусь в Губстатбюро за семьдесят пять целковых в месяц с обязательством служить до 1 октября «без ограничения временем», то есть попросту, больше шести часов в день — сколько велят.

Корней Иванович, пожалуйста, напишите мне о провале моих халтур и еще о том, напечатал ли Иона («Ёна»), наконец, мою драму. Может быть, Коля будет добр напомнить Вам ответить мне на это письмо.

Коля, простите, у меня к Вам еще одна просьба: напомните Корнею Ивановичу, чтобы он написал мне о том, о чем я его просил. Вы хорошо относились ко мне и один раз похвалили мое рисование. Поэтому я и надеюсь, что Вы мне не откажете.

Я никогда не забуду вас двоих, как вы читали Фета — Вы под одеялом; Коля — в валенках. Из слов я запомнил только: «Как воспоминанье», но зато помню, что было очень хорошо.

Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

27

4 февраля.

Дорогой Корней Иванович. Благодарю Вас за сенсацию о Тынянове и Тихонове. Тихоновского письма я не получал и потому всех, кто едет в Москву, просил ругать его и наносить ему побои.

Что касается неудачного детского рассказа, то, конечно, он — гадость, — я даже не оставил себе копии и не считаю, что он существует.

Коля, малютка, Вы очень добры, я очень тронут Вашей готовностью исполнить мои просьбы.

Я все собираюсь начать хороший рассказ, о котором столько времени трублю, но никак не могу — он очень трудный.

Мои земные дела сейчас в таком виде: нанимаюсь в «отдел местного хозяйства» и обещаю на словах не уезжать до осени, но не подписываю никаких кабальных грамот.

Оттуда, кажется, будет можно съездить в Москву. Этим случаем я воспользовался бы, чтобы напасть на Тихонова и принудить его хорошо вести себя в «Круге».

> Коля, хорошо ли Вы умеете ругаться? Если да, то, пожалуйста, при встрече выругайте Шварца (такой один тощий): я ему послал три письма, а он поступает, как народ в гениальной драме А. С. Пушкина (см. Саводника). Если он даже раскается и исправится, я все равно больше ему ничего не напишу, потому что на своей бумажке с адресами решил зачеркнуть его адрес, а без адреса писать — правда? — не стоит.

Мне очень стыдно, что Марья Борисовна присутствовала при чтении этого непристойного рассказа: ведь там (простите), насколько мне помнится, купаются!

Сплачиваю вокруг Вашего знамени свои стальные ряды и шлю Пламприв.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

28

13 февраля.

Дорогой Корней Иванович. Я предчувствовал, что мне не удастся залезть в карман к Клячке.

Вы пишете про «замечательно талантливы» — это с моей стороны, — конечно, очень мило, но жаль, что ни к чему не ведет.

Тот рассказ про ситный я снова написал — теперь гораздо лучше — и послал Лежневу. Я думаю, что если его не прикроют, он напечатает. Жаль только, что он такой Бедняк.

Я начал свой рассказ (протрубленный) и, кажется, выйдет очень ловко. Я его пришлю Вам в приношение на Ваш алтарь, а серапионам — для печатания.

Будет ли удобно, если я напишу Тихонову (А. Н. или Н. А.?) и спрошу про свои рукописи? Мне необходимо сорвать Шерсти Клок откуда бы то ни было.

Корней Иванович, хорошо бы, если бы Вы мне прислали мою сказку про кошку — у меня нет копии, а эту сказку я попробовал бы разделать так, чтобы она сошла для взрослых. Ее жаль выбрасывать, в ней есть приятные места.

Конечно, Вы гораздо лучше, чем Шварц, — кто может спорить? Я уже отряс его прах с своих ног, мне враждебны его кумиры и ненавистен его Пышный Чертог.

Дуся Слонимская мне написала пятого числа, что у этого Тирана (проклятье!) есть для меня какая-то новость, которую он не хотел сказать Слонимским и сулится прислать сам, — но не прислал и по сие время. Вот они, посулы буржуазии.

Коле шлю пламприв гораздо более почтительный, чем он мне: он автор многих книг, а я. — Кроме того, он отец семейства.

Если Ю. Н. Тынянов еще раз хорошо отзовется о Моем Таланте, то я берусь очень хорошо отзываться о его таланте (я слышал несколько строк из его «Кюхли», когда Вы их читали вслух) перед жителями г. Брянска (губернский город! Центр промышленности с 40 тысячами рабочих!).

Корней Иванович, поливайте от времени до времени капусту Моего Таланта своими письмами. Пламприв.

Вампред Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

Корней Иванович, ходите ли Вы или лежите?

29

24 февраля.

Дорогой Корней Иванович. По печатным указаниям Вашего письма вижу, что вы в Кубуче. Бедный Коля, пусть он бросит всю эту историю, мне очень стыдно, что я ее затеял: к Шварцу, от Шварца и т. д.

Сегодня мне вернули мое письмо к Тихонову: в домовой книге по Кривоколенному — 14 не значится. Ну, и бог с ним.

Я бегаю на Временную работу по три рубля в день и думаю о том, как бы подцепить Вечную. Сочинять Сочинений не собираюсь — совет мосьё Иванова из брянской газеты попусту не пропал.

Беднячок Лежнев, у которого лежат три моих рассказа, не пишет, будет ли он их печатать, да я больше этого и не добиваюсь. Однажды, пока я еще не остепенился, я ему даже послал марку для ответа, но она без пользы для меня присовокупилась к его скудному скарбу.

Кубуч — я это видел около Казанского собора: лавка с чучелами и заспиртованными лягухами.

Ваш Л. Добычин.

Выздоровели ли родственники Поэтессы Поляковой? Выгнали ли Пяста (кажется, так?) из «Красной газеты»? — Это я щеголяю знанием света.

30

25 февраля.

Дорогой Корней Иванович.

Я должен дезавуировать свое вчерашнее письмо в его ноющей части. Временная работа сегодня превратилась в бессрочную впредь до открытия На редкость Блестящей Должности (150 рублей !!!!!!!!)

в отделе местного хозяйства, о которой мне сегодня сообщили, что она окончательно за мной.

Кроме того, сегодня утром все обломки, из которых должна была составиться трубная история (так называемая «протрубленная»), соединились не без ловкости, и возможно, что к весне эта история будет написана.

Если это не беда, что я хвастаюсь перед Вами своими удачами, то позвольте похвастаться еще одной: сегодня я посетил Союз Советских и Торговых Служащих, и там меня Угостили Коньяком (который хранится в ящике стола).

Я не знаю, кому я имею право просить Вас передать мои почтительные приветы, но кому можно — не откажите.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

31

6 марта 1926.

Дорогой Корней Иванович.

Признаки весны такие: четыре дня оттепель, с холмиков на поле снег уже слез.

Спасибо за расправу с Тихоновым — авось она его вразумит.

Кроме Вас, мне никто не пишет, применяю к себе по этому случаю стихи Псалмопевца:

«Я забыт в сердцах, как мертвый,
я — как сосуд разбитый».

Вам кланяются Капитанникова, Конопатчикова, Берёзынькина и Вдовкин (я про них сочиняю сочинение). Капитанникова, Конопатчикова и Берёзынькина, кроме того, Вас целуют.

Я взял у Цукерманши (это — библиотекарша в Клубе Карла Маркса) Фета, чтобы потом быть похожим на Вас, только этот Фет очень «коротенький» — о 45 страницах, но зато с картинками (Конашевича). Цукерманша обижается, что ее заставляют выдавать игрокам под залог удостоверения личности восемь шашечных досок и приглядывать, чтобы не раскрали шашек.

Бедняга поэтесса (по поводу Свинки).

Кланяюсь, с Вашего разрешения, Дамам и Малюткам.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ (может быть, Вы уже знаете этот адрес наизусть), Привокзальная, 2.

Что Вы думаете о Пантелее Романове?

32

8 марта.

Дорогой Корней Иванович.

Я получил из «Круга» это глупое письмо. При чем тут какая-то «Красная новь»? Что касается «А. К. Воронского», то конечно, ему «моя рукопись» не понравиться обязана — на то он и полицейский.

Я сообщаю это Вам не для того, чтобы просить Вас что-нибудь предпринимать, а просто потому что Вы знаете, в чем дело. История с «Кругом» на этом закончена.

Лежнев печатает «Сиделку» во втором номере, а два других рассказа прислал обратно по причине неактуальности. Спасибо и на «Сиделке».

Не знаете, напечатал ли Иона в «Красной» мой рассказ? Мне кажется, что важно только печатать, а что — безразлично.

Я до сих пор не знаю, пойдут ли в конце концов мои рассказы в «Ковше». Поклонитесь от меня Тынянову. Я его полюбил еще во времена «Современника» за заметку о Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

33

22 марта.

Дорогой Корней Иванович. Цукерманша будет необыкновенно обрадована Вашим поклоном. Я передам ей, как только пойду относить ей «Арсена Люпена». Вижу, как она расцветет и просияет.

У нее в «Карле Марксе» течет крыша и под капли подставлена лохань. Несколько раз в минуту раздается: плюх, плюх, плюх, — она хватается за голову и восклицает: «Ах, как действует на нервы!»

Кроме того, ей недавно убавили жалованье. Я об этом узнал в следующей форме:

«Цукерманша проглотила пилюлю: ей сбавили жалованье».

Она украсила стены «Карла Маркса» Лозунгами: «Каждый день читай хотя бы по одному часу и обдумывай прочитанное».

И тому подобное.

У меня она спросила: «Какие в Ленинграде Лозунги?» — а я не знал.

Вы пишете в своей открытке о Потомках: Корней Иванович, не смейтесь надо мной.

Лежнев напечатал про «сиделку» с перевранными строчками, так что вышла совершенная бессмыслица. Я не хотел бы, чтобы ктонибудь ее прочел.

Зато он поместил мою фамилию на обложке в списке Светил, которые печатаются его иждивением. На обложке он очень расхваливает свой журнал и сообщает, что По Типу он Приближается к Англоамериканским.

По объявлениям о выпускаемых Начальниками журналах я вижу, что дела С.-Ценского поправляются: там и отрывок из романа «Пробуждение» и повесть «Жестокость».

Для заглавий он любит отвлеченные слова.

Цукерманша спрашивала, кто Теперь Считается Восходящей Звездой, и я хотел сказать, что — я, но она бы не поверила. Пришлось сказать, что я не знаю.

Изумлю Вас дешевизной парикмахерского прейскуранта в Брянске МББ: вчера я допустил проделать над собой такие операции:

1) стрижка,	и все это
2) бритье,	стоило
3) Освежить,	0 рублей 75
4) Хинной,	копеек.

Парикмахер был любезен, много разговаривал, спросил: «Са́ми броетесь наиболее?»

Старухи пошевеливаются, Вам кланяются, между ними есть и молоденькие. Как-нибудь соберутся в Питер (или Литер?).

Ваш Л. Добычин.

Адрес Брянска МББ:

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

34

10 апреля.

Дорогой Корней Иванович.

Ничего, что я Вам дарю эту славненькую открыточку?

Случилось вот что. Есть такая фоминская дочь.

Из третьих рук я узнал, что она видела какой-то альманах с моими тремя рассказами (или, может быть, объявление — я не знаю). Это должен быть «Ковш» (фоминской дочери я не знаю и от нее разузнать ничего не могу).

Если — да, то, значит, он вышел, а если вышел, то не МОЖЕТ ЛИ КОЛЯ ЧУКОВСКИЙ, КОГДА ТАМ БУДЕТ, ВЕЛЕТЬ ИМ ПРИСЛАТЬ МНЕ КНИЖКУ?

Коля, пожалуйста, умоляю!

У меня там знакомых нет, потому что Слонимские написали (еще в феврале), что они уехали в Париж.

Может быть, и Вы уехали?

Л. Добычин (уездный сочинитель).

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

1927 ГОД

35

Дорогой Корней Иванович.

Позвольте поднести Вам препровождаемое при сем.

Л. Добычин.

30 января.

Брянск, Губстатбюро.

36

Дорогой Корней Иванович.

Очень благодарю Вас за письмо. Как Вы здоровы?

С «Мыслью» навряд ли что-нибудь удастся: ей нужно листа три-четыре, а у меня — два с четвертью.

На всякий случай, если «Мысль» все-таки прельстится: Сметаныч спрашивает о Моих Условиях, а я вообще не знаю, что за условия бывают. Корней Иванович, быть может, Вы меня подучите.

Понравились ли Вам стишки и песни в тех рассказах, что я Вам прислал?

Между прочим, я прочел в газетах, что Миша Слонимский выпустил роман. Что Ваш роман печатался летом в «Красной», мне сообщали.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

22 февраля 1927.

Брянск, Губстатбюро.

37

23 августа 1927.

Дорогой Корней Иванович.

Позвольте попросить Вас принять эту книжку. Другую, если можно, может быть, Вы не откажетесь передать Ю. Н. Тынянову.

Ваш Л. Добычин.

1930 ГОД (?)

38

19 октября.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Мною опять составлено небольшое сочинение: позвольте мне просить Вас принять этот провинциальный сувенир.

Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

1931 ГОД

39

7 февраля 1931.

Дорогой Корней Иванович.

Я очень рад, что книжка Вам понравилась. Надписей я не делал, потому, что она очень хорошенькая, и мне не хотелось ее портить.

Я хочу прислать Вам два рассказика, написанные после книжки, и перепишу их для Вас, когда будет время, ибо сейчас каждый вечер занят в том промзаведении, в штате которого я состою.

Если можно, я поделюсь с Вами маленькой радостью: сегодня я получил талон на починку сапог. Как Вы здоровы?

Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.

40

12 февраля 1931.

Дорогой Корней Иванович, вот эти два рассказика, старательно переписанные для Вас на моей лучшей бумаге. Прочтите, пожалуйста, сначала «Матерьял», а потом «Чай» и, если можно, напишите мне, как они. Который Вам показался лучше?

Если можно, ответьте скорей, напишите что-нибудь про «вообще» — я ничего не знаю здесь.

Морозы нас морозят. У нас градусник «по Цельзию», так что в особенности холодно.

Кланяюсь Вам. Ваш Л. Д.

М. Л. и И. И. СЛОНИМСКИМ

1925 ГОД

41

27 января.

Михаил Леонидович. Я получил от К. И. Чуковского письмо о его отъезде. Два рассказа, которые я раньше послал в «Современник», он рекомендует мне передать Е. Л. Шварцу. Они называются «Козлова» и «Нинон». Я пишу секретарше «Современника» Вере Владимировне Богдановой, чтобы она эти рукописи Шварцу передала (между прочим, они вполне цензурны). Не устроите ли Вы, чтобы Шварц их получил?

К<орней> И<ванович> пишет, что рассказы следует поместить в журн<але> «Ленинград». Я предоставляю их на Ваше усмотрение.

Не можете ли Вы сообщить мне личный адрес Чуковского (петербургский) — он мне нужен потому, что Чуковский предлагает остановиться в его комнате на случай моего приезда в Петерб<ург>, а адреса я не знаю.

Ваш Л. Добычин.

Чуковский пишет, что он начал бы Ерыгина со второго абзаца. Первый абзац необходим. Там следы от волос на песке, в четвертой главе — следы от сена на снеге, оттого и написано: «что-то припомнилось». Не выкидывайте, пожалуйста, первого абзаца.

Л. Доб<ычин>.

42

Михаил Леонидович.

Пойдет ли где-нибудь рассказ о Ерыгине?

Я просил Вас взять из «Современника» мои два рассказа. Получили ли Вы их и пригодились ли они Вам?

Простите, что я опять обращаюсь к Вам с этим. Но мне так трудно было связаться с Петербургом, и теперь, с отъездом К<орнея> И<вановича>, я боюсь опять потерять эту связь.

Л. Добычин.

2 февр<аля>.

Брянск, Губпрофсовет.

43

10 февраля.

Михаил Леонидович. «Нинон» мне тоже не нравится. Пожалуйста, не печатайте. Очень галантно Ваше упоминание о Гонораре: в «Современнике», например, мне ничего не заплатили, хотя я дважды и не без назойливости требовал.

Если Начальники не пропустят Ерыгина, мне, увы, по-видимому, больше ничего не придется печатать: то, что я буду писать впредь, будет тоже недостойно одобрения.

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет,

Леониду Ивановичу Добычину.

Я прочел книжку, которая называется «Машина Эмери».

44

Михаил Леонидович.

Когда будет напечатано про Козлову, не откажите прислать мне номер журнала — здесь он не продается.

С Ерыгиным, по-видимому, ничего не выйдет?

Сегодня я получил от «Современника» деньги за рассказ. Итак, это стоит двадцать один рубль.

Ваш слуга Л. Добычин.

23 февраля 1925 г.

45

5 апреля.

Дорогой М. Л. Попробуем сделать в Ерыгине некоторые перемены.

1. В конце первой главы последнее слово вместо «РКП(б)» — просто «РКП».

Если и этого мало, то можно: «Начдив уехал, увозя воспоминание о честной беспартийной, спасшей его жизнь».

2. Во второй главе речи иностранцев изобразить так: «Обманутые буржуазной прессой, они никак не ожидали того, что им пришлось увидеть».

3. Конец четвертой главы переделать, начиная с «слушает трели и пьет чай» и пустить так: «...чай. — Товарищ Ленинградов, — оборачивается Гадова, — я больше не могу молчать. — И открывает о епископе. — Вы знали и не доносили, — говорит товарищ Генералов <так!> и его любви как не было. Снова он тверд, как скала, и впредь его уж не завлекут в буржуазные сети».

Если нужно, можно выпустить в третьей главе фразы «шагает рота...» и «расскандалился безработный...», но лучше оставить, без них будет куцо.

Пожалуйста, попробуйте это устроить: может быть, тогда пройдет. Мне кажется, главное дело — в этих местах. Можно еще пропустить, что мать, возвращаясь из клуба, плевалась: но лучше бы оставить (это в четвертой главе).

Ваш Л. Добычин.

46

7 апреля.

Дорогой М. Л. Я послал Вам список реформ, которые прошу сделать в Ерыгине для смягчения Начальников. Заодно, может быть, Вы не почтете за труд произвести две реформы на предмет улучшения «слога». А именно, вычеркнуть в первом абзаце этой истории последнюю фразу («из-за реки» и т. д.) и в конце первого абзаца второй главы два звукоподражания («Со́вьет репёблик» и «реакшьон» и т. д.).

Когда о Ерыгине выяснится уже окончательно, — пожалуйста, напишите.

Ваш Л. Добычин.

47

8 апреля.

Дорогой М. Л. Я не каждый день буду посылать Вам по письму, а только сегодня, и после этого будет передышка. Секрет вот в чем: если рассказ не пропустят, то, пожалуйста, известите об этом сейчас же, и тогда я попробую его поскорей переделать, чтобы он подоспел к выпуску «Ковша».

Ваш Л. Добычин.

Может быть, Вы укажете тогда и места, которые нужно перестряпать: ведь не все же сплошь обидно Начальникам.

48

10 апреля.

Дорогой М. Л. Вот Ерыгин переделанный. Пройдет ли? Поскорей бы.

Ваш Л. Добычин.

Кажется, так и «в смысле слога» не хуже.

Савкина Вам кланяется. Это особа из моего нового рассказа.

49

24 апреля.

Михаил Леонидович, простите, что я еще раз обращаюсь с этим, но нельзя ли окончательно выяснить вопрос о переданном Вам Чуковским рассказе. Если он не пойдет у Вас, то я буду считать себя свободным, чтобы обратиться с ним куда-нибудь в другое место. Если же он пойдет у Вас в последней* посланной мною Вам «редакции» (первую, переданную Чуковским, прошу считать взятой обратно), то есть одна поправка: в пятом абзаце седьмое слово не «довольный», а «сияющий». Вот и все. Этот вопрос деловой, а посему посылаю «марку для ответа».

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

* Получили ли Вы ее? Она послана 10 апреля на множестве осьмушек бумаги.

50

24 апр<еля>.

Вот ведь история (сконапель истоар)[1]. Я послал сегодня Вам письмо и просил, если будете печатать Ерыг<ина>, исправить «довольный» на «сияющий». Оказывается, «сияющая» есть дальше. Приходится вместо «сияющий» — «улыбающийся».

Это — если будете печатать. Если же не будете, то прошу еще раз меня уведомить: у меня готово про Савкину, и тогда я их пошлю куда-нибудь вместе, чтобы они поддерживали друг друга.

Л. Добычин.

51

2 мая.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Вы очень добры и во всем правы. Савкину я пошлю Вам двенадцатого. Заглавия у нее нет, а Захватывающей Фабулы еще меньше, чем в Ерыгине и в истории о Кукине, которая была напечатана в «Современнике».

Ваш Л. Добычин.

---

[1] Вот такая история (*фр.*).

52

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Вот Савкина. Она вышла какая-то пустопорожняя. Это потому, что — без политики. Пожалуйста, напишите, годится ли она, чтобы печатать.

Л. Добычин.

11 мая 1925.

53

11 мая.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я должен был послать Вам Савкину двенадцатого числа, а послал одиннадцатого — и уже наказан: оказалось, что в первой главе перепутал. Там есть про Гоголя («Чуденъ Днѣпръ»), дальше написано «Когда стемнело, Савкина», а нужно не «когда стемнело», а «Появилась маленькая белая звезда. Савкина» и т. д.

Если Вы Савкину примете, то очень прошу это исправить (и обещаю больше про Савкину не писать Вам ни слова. Поверьте).

Ваш Л. Добычин.

На другой стороне есть ещё.

Что касается первого или второго Ерыгина, то — какого удастся.

54

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Посылаю козу. Хвастался я, хвастался, а вышло короче воробьиного носа. Пожалуйста, напишите, годится ли.

Что случилось с Савкиной? О ней ни слуху, ни духу.

Л. Добычин.

13 июня.

Брянск, Губпрофсовет.

55

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Опять послал Вам изделие раньше срока и сегодня сделал в нем разные ужасные открытия. Выбросьте оное: завтра я вышлю другое, которое будет уже как следует.

Л. Добычин.

14 июня 1925.

56

20 июля.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

В верхнем правом углу Вашей последней открытки я нашел, что с дачи Вы напишете подробней. — Жду оного.

Чтобы покончить с Савкиной, не сообщите ли Вы мне номер, в котором она помещена, — тогда я начну приставать к конторе.

Я затеваю Сочинение об отъезжающей из города девице — ей приходят в голову разные штуки и прочее.

Когда поеду в Ленинград, выяснится в начале августа.

Как Вы нашли козу? Ее заглавие, между прочим, изобретено в честь мадам Сейфуллиной, которую так хвалят.

Ваш Л. Добычин.

57

8 августа.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Мое путешествие отложено на три-четыре недели: не выгорело с деньгами (в том числе и Савкинскими — я писал на Социалистическую, но сие было тщетно).

Если я скоро начну об отъезжающей девице (ее фамилия — Солоухина), то, может быть, к поездке оную подготовлю и прибуду с нею в Ленинград, как некоторый Флобер в Париж с «Мадамой». Это будет бестолковая вещь, но приятная, с конторщичком Ваней, пьяницей и Местной Интеллигенцией. В числе украшений — бутыли на окнах, с вишнями и сахарным песком, и, если вместится, — собрание верующих по церковным делам.

Ваня очень мил, а пьяница совершенно приличен и ни капельки не бесчинствует, так что все будет очень комильфо,[1] хотя, конечно, не так, как у Сейфуллиной: она недосягаема.

Это я потому позволяю себе все эти вольности, что Вы однажды предъявили мне анкету. Так это — на вопрос «что вы теперь пишете?»

Ваш Л. Добычин.

Существует ли издательство «Картонный Домик» и действует ли там мосье Кузьмин?

---

[1] Как должно (*фр.*).

58

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Если не поздно, то вот исправления к Козе (Вы когда-то не отказали сделать в «Савкиной» исправление о звезде):

1. Вместо «перед запертой калиткой стоял Петька» — «у запертой калитки дожидался Петька».

2. Вместо «Водили к козлику? — спросила Дудкина» — «Водили к козлику? — интересовалась Дудкина».

3. В конце, где вожатый выпроваживает козла, вместо «Ихний? — спросила Зайцева» — «Ихний? — уставилась Зайцева».

Кроме того, Вы обещали написать С ДАЧИ.

Л. Добычин.

9 авг<уста>.

59

10 августа.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Так как в середине августа Вы — в Ленинграде, то, если «Ленинград» еще существует, не велите ли Вы ему послать мне деньги. Очень прошу. Пожалуйста. И т. п.

Есть ли какие-нибудь виды на напечатание козы?

Как бы устроить, чтобы на это письмо получить от Вас ответ?

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

Между прочим, в конце сентября — начале октября или немножко позже адрес (постоянный) будет не «Брянск», а «Ленинград».

60

31 августа.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я буду в Ленинграде с 10 сентября — пять-шесть дней. Так как Вы мне не пишете, будете ли в это время в городе, я зайду на Николаевскую узнать. Если Вы не будете в отъезде, пожалуйста, оставьте для меня указания, когда Вас можно видеть, так как возможно, что я буду приходить всегда в Ваше отсутствие. У меня готово около половины отъезжающей девицы, и, может быть, к поездке удастся ее кончить.

Ваш Л. Добычин.

Если Вы ответите, то до 8 сентября я — в Брянске.

61

31 августа.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я получил Ваше письмо (Ваше почтенное письмо) после того, как отправил свое.

Как хорошо бы, если бы удалось — книжку. Простите, но это совсем не то, что «Ленинград».

Когда я увижу Вас, я расскажу, как одно высокопоставленное лицо учило меня приобретению перспектив. Под перспективами оно подразумевало «не одно же плохое, есть хорошее».

Много благодарю Вас за весть о Сейфуллиной. Вы угадали: я ее очень люблю. В особенности — за перспективы. Конечно, — и за остальное.

В Ленинград я еду пробовать там остаться. Может быть, ничего и не выйдет. Если ничего не выйдет, то это будет ОЧЕНЬ ПЛОХО.

Какого это «Современника» альманахи хотят выходить в Москве?

Уж не того ли, в желтой обложке?

Я у Вас буду спрашивать, что такое — журнал «Россия».

Ваш Л. Добычин.

62

9 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович.

Моя поездка опять отсрочена. Добрые Начальники задерживают меня до октября («пленум губкома и т. п.»). Так как деньги я получаю от Них, то и будет по-Ихнему.

Для Книжки я сделал вот что: приготовил все, что Вы от меня в разное время получали, и сочинил Сорокину (она уже не отъезжающая, ибо никуда не едет и не собирается).

Сорокину, когда перепишу, пошлю Вам и попрошу прочесть, потому что сам я в ней ничего не могу понять и не знаю, может ли быть такой рассказ. Политики в нем ни на грош, есть латинские слова русскими буквами. Там все — про амуры*.

В октябре я смогу быть в Ленинграде две недели, потому что Добр. Нач. дают мне за отсрочку лишнюю неделю, и пущусь во все тяжкие на предмет окончательного внедрения себя в оный.

Тяжких (см. выше), между прочим, не предвидится вовсе.

Ваш Л. Добычин.

* Это потому, что я люблю Сейфуллину.

63

16 сентября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Пожалуйста, прочтите отъезжающую и напишите мне про нее: я сам не могу разобрать. Кажется, все́ украшения ничего себе, но всё вместе — что-то кондитерское, «куаффер[1] Владислас и Геннадий». Если да, то я ее упраздню, если же нет, то — пусть пускается куда следует.

Ваш Л. Добычин.

64

18 сентября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

По моим расчетам, сегодня Вам принесут отъезжающую. По опыту Вы знаете, что за ней последует поправка. И впрямь: вот она, на маленькой бумажке.

Я придумал лесбический рассказ «Растратчица». Он будет:

а) Созвучен Нашей Эпохе,

б) понравится Кузьмину, этому гордецу (если Вы помните, что я Вам про него сообщал).

Этот рассказ будет полон политики, будет парить в ерыгинских сферах, но его пируэты будут цензурны.

Я читал прейскурант книжной лавки «Красной Нови»: там продаются ЧЕТЫРЕ (!!!!) Ваших книги — господи, сколько же Вам лет, что Вы столько успели?

Убелены ли Вы сединами? Вы требовали от меня разных откровенностей (сколько лет и тому подобное), а я про Вас ничего не знаю.

Ваш Л. Добычин.

65

18 сент<ября>.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Сорокину, пожалуйста, выбросьте. Я окончательно увидел, что она — гадость, хуже, чем пресловутая «Нинон», какие бы ПОПРАВКИ к ней ни слать заказными письмами.

Ваш Л. Добычин.

---

[1] Парикмахер (*фр.*).

66

26 сентября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Вы мне больше не отвечаете.

Все-таки я постараюсь Вас видеть (я поеду 3 октября).

Л. Добычин.

67

2 октября.

Михаил Леонидович, они меня опять задержали — только сегодня сказали. Бросить их и ехать не могу (потому что нет денег). Отложили до 25-го, и так и придется сделать.

Ваш Л. Добычин.

25 поеду во всяком случае, потому что деньги тогда будут в руках, и если будут дальнейшие истории, я уеду несмотря ни на что.

Сейчас получил Ваше письмо. Значит — пусть, по крайней мере, я приеду при Вас.

68

3 окт<ября>.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я думаю, что это письмо Вас еще застанет, и посылаю на всякий случай, если уже пора, Еры-гина с Сорокиной. Она подправлена, но все-таки какая-то мерзкая. Но если можно напечатать, то пусть идет, потому что печатаются штучки и похуже.

Вчера я очень рассердился на Добрых Начальников, но уже простил их, потому что это к лучшему — я Вас застану. Только жаль, что уходит время. Может быть, если удастся, я привезу с собой и покажу Вам начало длинного-предлинного и хорошего-прехорошего (как стыдно хвастаться — как Вы думаете?).

Ваш Л. Добычин.

69

27 октября.

Дорогой Михаил Леонидович. Вот какие домогательства:

1. Сегодня я справился у Чуковского, в нравах ли просить денег, когда вам говорят, что «три рассказа» приняты. Он сказал, что уди-

вятся, если не попросишь. Я очень прошу. Если это можно сделать, то, пожалуйста, пришлите мне в брянский адрес по возможности скорей (потому что сегодня я выспался и постараюсь вернуться в Ленинград с наибольшим проворством, дело в деньгах).

2. Я оставил некоторому корреспонденту Ваш адрес для написания по оному письма мне (потому что остальные существующие адреса внушали мне сомнение). Если он был так любезен, что написал это письмо, прошу Вас сохранить оное для меня.

Л. Добычин.

В состоявшемся между Чуковским и мной кратком собеседовании нами были <пропущено слово> Ваши качества. Вот-с.

1926 ГОД

70

23 января.

Михаил Леонидович.

В день своего отъезда я имел тайно от Вас (ибо Вас еще не было) беседу с Фединым, который намекнул, что сочинение о Блиновой (как она получила открытку с Казанским собором) у вас не пойдет. Нельзя ли выяснить наверное. Если не пойдет, то я бы сделал исправления, которые мне пришли в голову, и послал бы Блинову Альтшулеру — пусть печатает бесплатно — он бедный человек (слышал об этом от Чуковского).

Не заметили ли Вы, был ли напечатан в «Красной» мой XIV съезд, и если да, то произвел ли впечатление на Читателей (Йду Наппельбаум).

С участием думаю о предстоящей годовщине серапионов — осетрина, ветчина, паштет из печенки и прочее (каждый год одно и то же). Если бы я был фигурой более значительной, то представил бы к этому случаю свои поздравления.

Толстеете ли Вы? Нашелся ли жених для кошки?

Разрешите просить Вас передать поклон Мадам.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2 (два).

71

...давно прочел, и оказалось, что совсем не гениальная.

Напрасно Вы приписываете Мусе Терапани привет для меня — она меня никогда не видела.

Зощенко здесь нравится девицам. В особенности — как в лавку пришли с лошадью, лавочник гонит, а лошадиный хозяин удивляется: только что сидели с ней в пивной, и заведующий даже очень веселился. — Это из книжки «Тяжелые времена». Фамилия главной любительницы — Ольга Пояркова.

Впрочем, она сказала, что была бы очень польщена, если бы к ней зашел (даже!) я (на безрыбьи и рак рыба). «Даже» относится не к «зашел», а к «я» и должно обозначать мою скромность.

Один раз вечером я обогнал пять евангелисток и трех евангелистов. Они пели благочестивый интернационал:

«Никто не даст нам избавленья,
Ни меч, ни царь и ни герой.
Дарует нам освобожденье
Один Спаситель наш Святой».

Остального я не слышал.

А как Вы получите котика, раз кошка осталась в девицах?

Продолжение опять на другой стороне.

Я называю Вас по имени и отчеству, потому что Марья Ивановна так называет, а я считал, что она столичное обхожденье знает тонко.

Какого цвета было платье без рукавов? Его вид я представляю себе так:

<рисунок>

очень славненькое, с бантиком и кружевцами, для рук — дырки.

Я здесь уже два раза пил Хлебное Вино — это бывшее «очищенное» (а еще раньше — «русская горькая»).

В «Красной Ниве» я читал рассказ Федина про бочки: вот теперь я из современной литературы начитан уже не в одном Юркуне.

Если, когда выйдет четвертый «Ковш», мне его пришлют, то буду начитан еще больше (Полонская, Тихонов, Вс. Рождественский, М. Слонимский, К. Федин. В. Андреев и многие другие).

Ольга Пояркова выпросила мой портрет с усами и с бородой.* Если я буду иметь у нее дальнейшую славу, я напишу.

Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

* Такой я был в марте 1916 г.

72

Михаил Леонидович.

Не просите Йду Исаковну, чтобы она напомнила Вам об ответе на мое предыдущее письмо в части, которая касается рассказа про Блинову: я его переделал и послал Лежневу, так что из шкафа в «Ковше» его, пожалуйста, выбросьте.

Мне жаль, что Вы не пишете о том, толстеете ли Вы. Хотелось бы также знать, по-прежнему ли у Йды Исаковны по утрам болят кости лица. Если она будет добра напомнить Вам об этом написать, я буду очень благодарен.

Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.
2 февраля 1926.

73

3 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Теперь, может быть, уже можно спросить, когда выйдет четвертый «Ковш» и попал ли я в него окончательно (Гайк Адонц, Ионов и т. д.).

Пожалуйста, если все это устроилось, сделайте, чтобы мне прислали книжку (я бы просто-напросто купил, но здесь нет) — это имеет для меня очень большое значение (не для славы у Ольги Поярковой и т. д.).

Альтшулер мне не отвечает, будет ли он что-нибудь печатать, да мне у него и не особенно хочется — я видел первый номер, и его тон весьма подхалимский.

Я когда-нибудь напишу два рассказа, которые придумал, — из них один хороший, — и тогда обрушу на Вас всё зараз — пять экземпляров: эти два и три альтшулерских, а Альтшулеру, если он к тому времени не исправится, пошлю отказ.

Состоялся ли Ваш пелеринаж[1] в Москву? От гордеца Тихонова ни слуху, ни духу. Вообще мои акции стоят отменно низко, и улучшения оным не предвижу.

Несколько раз опять пил как хлебное, так и виноградное разных названий вино, но меньше, чем хотелось бы.

В «Красной Нови» видел рецензию на рассказ «А. Слонимского» «Черныш». Кланяюсь Да́мам.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2.

---

[1] Паломничество, путешествие (*фр.*).

74

8 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я получил от Альтшулеров это письмо и эти рукописи. Если возможно их куда-нибудь сунуть — пожалуйста, суньте. Мне кажется, секрет в том, чтобы только печатать, а чтó печатается, — совершенно все равно.

Вместе с этим я получил какое-то глупое письмо от секретаря «Круга», что «моя рукопись» передана в «Красную Новь», но «А. К. Воронскому не понравилась, а потому в журнале напечатана не будет». При чем тут «Красная Новь», не знаю, вижу только, что с «Кругом» ничего не вышло. Ни с какими же «А. К.» я дела иметь никогда не собирался.

Пожалуйста, напишите мне возможно скорей, можно ли где-нибудь напечатать эти два пустяка, а еще — про четвертый «Ковш», то есть — печатаются ли там все́ три рассказа, и когда он выходит. Если рассказы печатаются, очень прошу книжку мне послать.

Скоро я пришлю еще один пустяковый рассказ, но приятный (по-моему) , а через месяц или полтора рассказ побольше и действительно хороший (таким он мне кажется, хотя я его еще не начинал; но я уже многое придумал, и оно хорошо).

Если можно печатать, то — скорей бы, пока разные А. К. не сделали так, что меня печатать вовсе перестанут.

Дамам кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Пожалуйста, ответьте.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

75

9 марта.

Дорогие граждане. Я получил ваше письмо сегодня. А вчера я вам послал письмо с большой начинкой, но мне почему-то кажется, что на адресе я забыл написать номер дома.

То, что было про долговязую девицу, оказывается, будет совсем про другое. Не уезжайте в Париж, а то вам не удастся узнать — про что.

Вот почему парикмахер гадкий: там есть недопустимые грубости, например — будто бы он боялся нищих, потому что они пожалуются богу. Это совершенно невозможно.

Вы два раза спрашивали, почему я не люблю Михаила Леонидовича. Потому что я люблю Зайцева. Нельзя же любить двоих — это получится, если я не путаю, Давид Копперфильд.

Понимаю потрясение Марьи Ивановны: эта «vie»[1] действительно довольно пронзительная.

Весна в разгаре, как говорится в Сочинениях. Я уже загорел и сделался тощий. А Михаил Леонидович потолстел?

Ольга Пояркова — желтоволосая. Моя слава у нее померкла, потому что я с ней очень грубо обращаюсь. Теперь я славлюсь только у Цукерманши, библиотекарши из «Карла Маркса».

Мне очень скучно. Если требуется выразиться текстом из евангелия, то «душа моя скорбит смертельно». Сегодня я взял у Цукерманши «Арсена Люпена» и когда допишу это письмо, буду читать.

Как теперь говорит Михаил Леонидович: «л» или «ль»? Когда у вас опять будут новости, то напишите, пожалуйста. Я напишу когда-нибудь подлинней, а сейчас я — в унынии.

Ваш Л. Добычин.

76

14 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Сколько всего Частей в Вашем романе? Я еще ничего не написал, все придумываю. Я очень поглупел после поездки в Петербург, и мне трудно придумывать. Все-таки, после этих двух рассказов, о которых я трублю, буду и я Писать Роман — через несколько лет.

Я уже прочитал Арсения Люпена и, кроме того, «Петера Фосса, похитителя миллионов». Арсения я взял у Цукерманши (в «Карле Марксе» течет крыша, и под капли подставлена лохань. Цукерманша держится за голову и говорит: «Ах, как действует на нервы». Ей даны восемь шашечных досок, она должна их выдавать игрокам под залог удостоверений личности — и считает это профанацией), а Петера — девчонки у Ольги Поярковой. Скоро они возьмут у нее «Яшмовую трость», а у Цукерманши взять больше нечего, ее книги я все́ уже читал.

Вчера я видел Зайцева — он тоже очень поглупел, рассказывает только, как он совокупляется с разными красотками и какие у него долги, а еще — что очень много выигрывает в лотерею. Прежде он был гораздо приятней.

Я один раз написал Вам письмо с множеством картинок («Предметы одежды», «Съестное» и «Любовь золотоискателя») и заклеил, и для Мадам вложил вербочку с барашками, но не послал, чтобы Вы не сказали, что это уже СЛІШКОМ.

Я с 22 февраля хожу на Временную Службу — по 3 целковых в день. На следующей неделе она, кажется, кончится. Она называ-

[1] Жизнь (*фр.*).

ется «Райуполтоп». Сам райуполтоп вечно вздыхает. Служба сидит в его доме. Иногда через сени проходит его корова, топоча ногами. Печку топит его сноха. Иногда забегают и шепчутся с ним его жена, свояченица и мальчишки. Чиновников всего трое. Около меня сидит Поперечню́к — с рыжей бородой такого фасона, как у Гаршина на портрете (см. приложения к «Ниве»). Когда вскакивает баба и кричит с порога: «Молока не надо?» — он строго отвечает: «Здесь учреждение».

Он сочинил переложение чего-то, написанного для рояля, для оркестра балалаечников и давал мне взглянуть: ноты там написаны цифрами, очень мило.

Сегодня сломалась мясорубка, и девчонки заставили меня рубить мясо сечкой. Перед этим мне велели молоть кофе. Пришивать кружевца к нижним юбкам меня еще не усаживали. Михаил Леонидович сказал один раз, что я получил женское воспитание (потому что читал «Сонины проказы» и «Ле́ пуркуа»), но я его получаю только теперь.

Ида Исаковна писала, что с тех пор она не напивалась. Я тоже не напиваюсь. У меня припрятана бутылка, и я тяну из нее глоточками. Получили ли Вы письмо с двумя гадкими рассказами, не взятыми Альтшулером, на котором я забыл написать адрес?

Если бы Вы меня столько не ругали, я бы писал лучше, а то я теперь пишу не так, как мне полагается, а все думаю угодить ругателям (еще ругались Никитин и ЗОЩЕНКО). Зощенку я особенными буквами написал из почтения, чтобы Михаил Леонидович не сказал, что у меня нет вкуса (есть у Ольги Поярковой) <зачеркнуто три строки>. Никитина я даже собрался было что-нибудь прочесть, но у Цукерманши — нету.

Цукерманша спрашивала у меня, что нового в Духовном Мире, и я сказал ей, что ничего.

Ваш Л. Добычин.

Еще она спросила, кто считается Восходящей Звездой. А я всегда забывал у Вас спросить, как Вы

1. к «О. Генри»

2. к «Пант. Романову».

Я к 1) плохо, к 2) — ничего себе.

Ольга Пояркова говорит «Си́львестр Боннар» и «А́нри де Ренье». Вы все еще не читали «Желаний Жана Сервьяна»?

Вот выписка из предисловия к переводу «Арсена Люпена»:

«Несколько почтенных книг с полки: «Красная лилия» Анатолия Франса*, «Мистерии» Кнута Гамсуна, «Новые чары» Соллогуба, «Море» Келлермана, «Мертвый Брюгге» Роденбаха. Все

прославленные романы. Прибавим сочинения Банга, Стриндберга, Эверта, Анри де Ренье, Мережковского, Бунина, Андреева и пр. Что это — повести? Нет, ибо там нет повествования; рассказы? — нет, там никто не рассказывает; романы? — нет, какая уж там эпопея. Это нудная лирика, умиление перед «красотами», фотографические снимки во время каникул, письма к друзьям неврастеника, спермин для слабосильных, все что угодно, только не повествование. Нужна выдержка профессионала или рабский атавизм интеллигента, чтобы дочитать до конца эти книги. Как понятны живые люди, предпочитающие Шерлока Холмса (среди них В. Резанов)!»

Предисловие подписано: «М. К.» А что за фигура «В. Резанов»?

Если Вы получили альтшулерские рассказы, то, может быть, на днях придет от Вас Письмо.

Мне из Петербурга чаще всех пишет знаете кто? — Корнелий Иванович. И это человек, у которого много детей и даже внуки. Все же он находит время.

Ави зо лектёр[1].

Л. Д.

Надеюсь, Вы не найдете в этом письме ничего Дерзкого. Я замазал всё сомнительные места.

* Франции?

77

18 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Вы, должно быть, находите, что я пишу Вам слишком часто, но это — ничего.

Весна уже кончилась, несколько дней стоит метель — я сообщаю, чтобы Вы не позавидовали погоде Брянска МББ.

Вчера после трех часов Поперечнюк заявил райуполтопу о решении оставить место. — Я служу три года, — сказал он (я подслушивал за печкой), — и никакой прибавки. — Вы никогда не интересовались делами, — возразил райуполтоп: — За три года вы не задали ни одного вопроса. — Не считаю нужным, — с достоинством ответил ему Поперечнюк, — задавать какие-то вопросы. — Тут я перестал подслушивать и отправился.

На улице подкараулил Зайцева. Он был очень мил. — Подожди минутку, — сказал он: — я пойду — помою руки: трогал кожу. — Оказывается, что он просто-напросто был в лавке и приценивался к сапогам.

[1] К читателю (*фр.*).

В кинематографе идут «Нибелунги». Если бы я попросил Зайцева, он, может быть, со мной пошел бы, но я был страшно горд, и про кинематограф — ни слова.

Сегодня мы празднуем день парижЕской коммуны, и по этому поводу я купил за 15 копеек «Рассказы» Федина: оказалась «Тишина» из «Современника», «Сад», не знаю откуда, и «Бочки» из «Красной Нивы». Чтением «Сада» я расширил свое знакомство с современной русской прозой.

Какая образина на обложке. Глядя на нее, я порадовался, что меня никто не хочет издавать — что подумала бы Ида Наппельбаум, если бы увидела меня в таком же виде?

Чтобы покончить с Литературой: — «Илья Садофьев» — не от Семирамидиных ли это идет Садов?

Простите, я забыл поздравить Вас с широкой масленицей. Поздравляю с постом. Успела ли выйти замуж кошка, а то придется отложить до Красной Горки.

Благодаря метели мне удалось отвильнуть от путешествия к матраснику. Когда-нибудь идти придется, но хоть не сегодня.

И все-таки через полтора месяца откроется Купальный Сезон. Вы читали мои Прозаические Перлы и, возможно, приметили, что сочинитель должен быть усердным купальщиком. Так это и есть. Я даже пользуюсь большой известностью в этом деле. — Я вас знаю, — сказал мне один раз неизвестный молодой человек: — ваша фамилия Добычин. Вы регулярно купаетесь. — Если этого мало, то вот еще: 1) тов. Абрамов из Госстраха, не имеющий счастья меня Лично Знать, беседовал с моим братом обо Мне, как Купальщике, 2) конторщики и девицы с наступлением Сезона говорят мне приветливо: — Ну, что, купаетесь? — 3) один пятилетний малютка, когда я спросил, что он видел во сне, сказал: — Как вы́ купаетесь. — Вот. Вас трудно уверить.

Цукерманша спрашивала, какие в Ленинграде лозунги. Она увесила стены своей библиотеки лозунгами. «Каждый день читай, хотя бы по одному часу, и обдумывай прочитанное» и тому подобное.

В пику ей «Центральная библиотека» наклеивает лозунги на окна. В лозунгах «Центральной» заметно упоение победами: «Союз молота, серпа и книги победит мир», «Наука — победа религии». Может быть, это — успех работы по Военизации Населения.

Последнее о лозунгах: на базарном ларьке книжной лавки «Т^ва^ «Просвещение», основанного Губкомом, Губисполкомом, Губпрофсоветом, Губсоюзом и Губнаробразом», висит лозунг: «Бумага, Наука, Жизнь, Техника, Тетради».

Я не знаю многих выражений. Поперечнюк сказал мне: «Сегодня ночью начистили многих ребят». Я подумал, что это значит обокрали,

и спросил: «На вашей улице?» — «На разных, — сказал он, — к дяде на поруки». — «К какому дяде?» — пришлось мне унизиться до вопросов. — «Разве вы не знаете этого выражения? — поторжествовал он: — в исправдом, по делу Свешникова». Свешников — это проворовавшийся бухгалтер.

И подумать, что Поперечнюк уходит, и передо мной, можно сказать, гаснет один из очагов просвещения.

Михаил Леонидович, если Вы найдете, что я пишу Вам чересчур кокетливо, то вот в чем дело: письмо рассчитано также и на Иду Исаковну, а перед Дамами Холостяки в Лета́х всегда игривы. Обычно это им прощают. Не знаю, как Вы.

Вышли ли афоризмы «Пальцем в грудь» Нельдихена?

Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

Когда вы едете в Париж?

В письме Иды Исаковны я прочел, что она «одевала платье» (без рукавов). Я исправил на «надевала».

78

21 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Сегодня я купил на станции второй номер «Новой России» и прочел свой рассказ. Они перепутали строки, и получилась совершенная бессмыслица. Это моя судьба: «Современники» выпустили фразу, прибавили в восьми местах по словечку от себя и одно слово переменили: вместо «утонула» напечатали «утопла», полагая, по-видимому, что так — больше Комизма; «Ленинград» переврал две фразы и сделал 20–30 опечаток: вместо «столб» — «стол», вместо «Венеция э Наполи» — «Венеция Энаполи» и так далее — я не помню. Вот почему мне и хочется Книжку — чтобы все было напечатано как следует.

Райуполтоп призвал меня служить вместо Поперечнюка, и я покамест согласился, хотя оно преневыгодно: но покамест больше ничего не наклевывается.

На получаемые от Райуполтопа деньги мною приобретено множество предметов туалета, парфюмерии и косметики. Поощрена также и виноторговля.

После своего последнего письма я прочитал две книжки Мопассана, книжку Генри и:

«Черного пуделя»

Р. Хиченса. Обратите на него отменнейшее внимание («Всеобщая библиотека» № 52), это в самом деле превосходно. В «Тюрлюпене»

все время видно, как тяжеловесный сочинитель, сопя и кряхтя, мечется, чтобы подать свои неповоротливые тонкости, здесь же — ах!

Если Вам лень читать, может быть, прочтет Мадам.

Альтшулер все-таки галантен: в списке Светил, печатающихся его иждивением, он поместил и меня. Это — мило. Кроме того, его второй номер более независимого стиля, чем первый. Я к нему опять очень благосклонен, тем более что его письмо с отказом от моих снабженных несомненными достоинствами рукописей составлено весьма любезно и напоминает грушевый компот. Я даже послал его Вам — в том письме, на котором забыл написать адрес.

Выслушайте мои оправдания: я Вам пишу только по праздникам. В этом месяце было много праздников, поэтому столько и писем.

Кланяюсь Дамам.

Ваш Л. Добычин.

При входе в Сквер написано, чего там нельзя делать. Заканчивается так:

«За неисполнение — штраф или принудительных работ».

Я вспомнил Двинск, где на вывесках было: «Табак, сигар и папирос» и «Сыр, сметана и яиц».

Вы больше никогда не будете писать в Брянск (МББ): пришла Ольга Пояркова!

Я передал Зайцеву поклон Иды Исаковны. Он был необыкновенно доволен.

79

16 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович.

Если про Воблину действительно будете печатать, то вот ее новый конец — на маленькой бумажке. А про Лёшку я свои листочки выбросил, потому что это — пустяки. Но если можно печатать, пожалуйста, печатайте — чтобы привыкали к фамилии. Я теперь пишу настоящее. Если оно успеет в осенний «Ковш», то с Лешкой как-то странно печатать.

У меня был небольшой переполох: брат пришел домой и сказал: «Фомин видел где-то ваши три рассказа». Три рассказа — это «Ковш». Я заподозрил, что он уже вышел, и звонил Фомину. Оказалось, что видел не Фомин, а фоминская дочь. Я просил узнать, в чем дело, и на другой день опять звонил. Выяснилось, что фоминская дочь читала объявление о «Ковше» (я не знаком с фоминской дочерью, но среди нее славлюсь).

Лежнев прислал «Россию», денег не прислал, и я у него не спрашиваю.

Как называется Ваш роман и в скольких он частях?

Не заглядывайте на другую страницу — там письмо Иде Исаковне.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

Видела во сне библиотеку:

Антирелигиозный и военный уголок. Читатели танцуют. Товарищ Митрофанов берет книгу и короткими плевками, как кассир, считающий бумажки, поплевывает себе на пальцы.

— «Александра Федоровна Григорович и младенец Георгий Ру́дников», — читает он, сжимает губы и задумывается. — Это критика на женщин.

— Надо изъять, — цедит товарищ Компанеец.

Блинова — лицом к двери. В нетерпении она то зажигает, то гасит свой электрический фонарь.

Вбегает Воблина и останавливается. Костлявая, лицо в тени, а белобрысая прическа, задетая закатом, — розовая.

Все подступают к ней и, перешептываясь, смотрят, как она перенесет удар.

80

Дорогая ИДА ИСАКОВНА.

Я не удивлялся, что мне не писали — поделом, мои письма были уж очень разнузданные, и я думал, что со мной вообще больше не будут иметь дела.

Поперечнюка давно уже след простыл, и вообще произошло множество перемен, я уже не помню, какие последние события мною были Вам сообщены, и не знаю, какими новостями мог бы Вас изумить.

Кажется, я не писал Вам, что парикмахер у меня спросил: «Са́ми броетесь наиболее?»

Зайцев опять снимался, и 18 числа будет готов его портрет. Возможно, что мне будет поднесён.

Я видел «Доротти Вернон». Она местами была немножко похожа на Вас.

С двадцатью тремя годами Вас — поздравляю. Чем больше лет, тем лучше. С нами в одном доме (в Брянске, МББ) жили Неминущие. Их бабушка (теперь умерла) говорила, что лучшее украшение дому, это — старуха.

Поите Михаила Леонидовича дрожжами и всякими штуками. Ему незачем быть тощим и зеленым — он ведь пишет не стихи.

Я перестал увлекаться напитками. В каком ряду Вы сидели на «Азефе»?

Я уже давно ничего не читал, кроме нашей (жителей) общей отрады «Правды».

Ваш Л. Добычин.

Что Вы какая-то глупая, — не нахожу.

Недавно видел на заборе надпись: «Кто писал не знаю, а я, дурак, читаю» и очень обрадовался: повеяло от нее какою-то молодостью и невинностью. Вам нравится?

81

Жалею, что нет сведений об Анне Николавне. Ее обращения с маслом я никогда не забуду.

82

22 мая.

Дорогой Михаил Леонидович.

Очень благодарю Вас за письмо. Книжку, должно быть, еще получу.

Это ничего, что на последнем месте. Я очень рад и очень Вам обязан.

Я тронут тем, что Вы помните мои вкусы (Сейфуллина).

Вы собираетесь ехать купаться, а я уже прокупался насквозь.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

83

17 июня.

Дорогая Ида Исаковна.

Благодарю Вас за письмо. Да, в губстатбюро я буду очень долго, — может быть, там и ноги протяну. Платья меня очень интересуют, и Вы в этом отношении ошиблись.

Завтра мне стукнет тридцать два года.

Если Вы вывели, что Зайцев несимпатичный, из моих какихнибудь слов, то я о них очень жалею. Я его очень люблю.

Есть одна вещь, о которой Вы в своем письме не написали — это о Кошке.

После «Доротеи Вернон» я в кинематографе не был ни разу. И нигде не был. Подешевело «Великое — вечное»: было по четвертаку, съехало на пятак (то есть: билеты стали по пятаку, а не: дешевле на пятак).

Кланяюсь Михаилу Леонидовичу. Если мне полагается кланяться Семеновым, то — и им.

Ваш Л. Добычин.

84

20 июня.

Дорогой Михаил Леонидович.

Может быть, Вы посмотрите, как теперь выглядит Лёшка*.

Если годится, то не возьмет ли Семенов его в «Звезду» (она не закрыта?)?

Про похороны будет готово <слово зачеркнуто> к осени. Там, наоборот, будет «интересное».

Я читал «На посту»: надеялся на что-нибудь скандальное, а оказалось — скука.

Шлю Вам портрет Сейфуллиной. Сам я к ней теперь совсем равнодушен.

Иссушающие ядра сменились обложными дождями — должно быть, и Вы мокнете в своей деревне.

Кланяюсь Иде Исаковне.

Л. Добычин.

* Интересного в нем ничего нет, он похож — как будто ученик старших классов сочинял по Классическим Образцам, — но зато нет и «политики».

85

20 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. Я очень рад, что Вам понравилось, а то Вы всё ругались. Чтобы печатать, нужно ли переписать, или можно на тех бумажках?

Можно ли под заглавием написать «Зайцеву»? — потому что это и на самом деле — Зайцеву.

Посылаю Вам портрет Федора Гладкова из «На посту»: больше похоже на тов. Крупскую в детстве.

Чем Вам понравилось? Тем, что не похоже, что это я писал?

Лето кончается, а я ничего не сделал. К «Похоронам» с тех пор не прибавил ни строчки. А Вы, должно быть, написали восемь романов.

На сколько аршин Вы потолстели?

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

86

29 августа.

Дорогой Михаил Леонидович.

Есть ли в этом году какие-нибудь виды на журналы и т. п.?

Я ушиб ногу и т. д. С ногами — эпидемия: мать и сестра тоже поушибали ноги — до того, что их отправили залечивать на Кавказ. А я ушиб только позавчера, так что не знаю, отправят куда-нибудь или сойдет так.

Кланяюсь Иде Исаковне.

Л. Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

87

11 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. История с ногой продолжалась полторы недели. В это время я присматривался к хромым — их очень много, и мужчин, и дамского пола.

Вспомнилась дама в Петербурге, которая, когда у нее калоши новые, присматривается к калошам, когда выдра, — к выдрам.

Представьте: а у нас грибов не было совсем.

Может быть, Вы, если будете писать еще раз, скажете, что было про меня написано в «Печати» (здесь ее больше не выписывают), а что в «Новом Мире», — я посмотрю. Пожалуйста (умоляю).

Цукерманша спрашивает, что выписать в библиотеку, и я сказал: роман «Завоеватели».

Кланяюсь.

Л. Добычин.

Губстатбюро (этот адрес — навсегда).

88

12 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. Не пиши́те мне, что́ было в «Печати»: я ее тоже нашел. Хорошо, что я из «На посту» знаю, что А. Лежнев — дурак*, а то бы...

Напечатает ли Лёшку добрая «Звезда»?

Я всегда хотел Вам написать и всегда позабывал: правда, приятная писательница Эльза Триоле?

Л. Добычин.

У нас во дворе сбесилась собака и покусала троих мальчишек. Они ходят на прививки. Было очень большое оживление. Что нового у Вас?

* Там это доказано и даже снабжено картинкой.

1927 ГОД

89

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте попросить Вас написать мне, можно ли что-нибудь сделать с этими двумя рассказами.

Л. Добычин.

17 января.

Брянск, Губстатбюро.

90

10 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович.

Не рассерди́тесь на меня за просьбу написать, получили ли Вы мои Рукописи.

Сегодня я понаслаждался замечательною песней «Любо парижанке», исполнявшейся на речке тремя пьяницами:

Любо парижанке
Мужское сердце покорять.

«Лавровых» я на днях вручаю Цукерманше для библиотеки, чтобы Вы славились и здесь.

Я тоже (простите) придумал один Роман, только некогда писать. Если можно, то кланяюсь Вашей жене. Что она шьет к лету?

Л. Добычин.

91

20 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Простите, что я еще раз прошу написать, получили ли Вы мои рукописи.

Мне очень не хотелось бы, чтобы они потерялись, потому что переписывать еще раз навряд ли я когда-нибудь соберусь.

Взять же их у Вас — найдется случай, отсюда иногда ездят в Петербург, и я смогу кого-нибудь попросить зайти за ними.

Я потому пишу про «взять», что с печатаньем — не думаю, чтобы что-нибудь могло выйти. Мне суждены всего два читателя: 1) Вы, 2) Корней Иванович.

Я послал Вам эти две вещи 10 марта.

Не откажите написать мне об их получении. Пожалуйста.

Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

92

Дорогой Михаил Леонидович.

Можно ли просить у Вас следующей консультации. «Мысль» должна была заплатить мне до 1 августа; до сих пор она ни хрена не заплатила: пора ли уже считать, что она надула, следует ли (нет), если она надула, так ей это и оставить, если уж нет, то что тут делать?

Простите и т. д. Ваш Л. Добычин.

4 окт<ября>.

Брянск, Губстатбюро.

Я живу теперь (с прошлой среды) на новой квартире, где есть место для сочинения романа, и собираюсь оный сочинить.

Кланяюсь.

93

<Первая половина октября>

Дорогой Михаил Леонидович.

Мне очень не хочется Вам докучать, но больше мне спросить не у кого. Вот в чем дело: «Мысль» должна была заплатить мне до

первого августа. Она не платит и не отвечает на запросы. У меня на руках есть договор. Могу ли я что-нибудь (что именно) предпринять для ее вразумления?

Хотя я и не писатель, но раз дело идет о книжке, я мог бы поступить так, как в таких случаях поступают Писатели, — но что они проделывают, черт их знает.

Пожалуйста, простите, что я не оставляю Вас в покое. Если Вы захотите не ответить, то не отвечайте — я про это спрашивать больше не буду.

Один раз я вкусил нечто вроде славы: на улице ко мне подошел человек и сказал: — Вы, кажется, являетесь автором одной из книг.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Завальская, 49 (я в отпуску и не хожу в бюро).

94

Дорогой Михаил Леонидович, благодарю Вас за письмо. Писать я ничего не пишу.

Что касается книжки, то в ней 60 опечаток и за нее до сих пор не платят. О ней отзывались, что она нелогично составлена.

Позавчера мне пришлось закрыть свой Купальный Сезон: помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле.

Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.

16 окт<ября>.

Если Вы прочтете надписи на конверте, то узнаете, что Вы атрымальник[1].

95

16 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович, Вы пишете, что я чем-то горжусь, — а чем мне гордиться?

Благодарю Вас за Сметанича. Я никогда бы не позволил себе просить Вас собственноручно приводить его в порядок: я думал, Вы напишете, через какой Участок можно заставить его платить.

Готовность «Издательства писателей» меня печатать в высшей степени любезна. Через несколько лет я смогу ею воспользоваться.

Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.

Брянск, Завальская, 49.

[1] Получатель (*белорус.*, конверт отпечатан в Белоруссии).

96

30 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович, Вы очень добры. 24 ноября «Мысль» прислала телеграмму: «Завтра высылаем телеграфом». Но прислать денег так и не прислала. Я подожду неделю, и если ничего не будет, то сделаю, как Вы написали. Спасибо.

Л. Добычин.

Из газет я знаю о множестве написанных Вами романов и рассказов («Средний проспект», «Северный вокзал»).

97

Дорогой Михаил Леонидович.

К сожалению, недельная отсрочка этой кляузы оказалась ни к чему и недоброкачественный Сметанич не опомнился.

Я думаю, он рассуждает, что молодой человек и так облагодетельствован и должен чувствовать. Но тогда так и нужно было уговариваться с самого начала.

Я жалею, что не получил от него денег к отпуску, потому что смог бы съездить в Ленинград и еще раз воспользоваться Вашими советами и насладиться лицезрением Дам.

Ваш Л. Добычин.

Губстатбюро. 8 декабря.

Если Вас не затруднит, не откажите уведомить о получении этого письма.

98

18 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за письмо и за мероприятия. Приятно, что Сметанич им сочувствует — теперь его опять можно считать Человеком Добродетели.

Не говорил он Вам, расходится ли книжка?

Чем больше я читаю, тем больше узнаю о Вас. Последнее известие — что Вы кончаете Фому и составляете рассказы про Париж.

Я живу все там же, на Завальской, но все это уже переименовано: Завальская — в Октябрьскую, а 49 — в 47. Лучше всего — писать в Губстатбюро.

Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.

99

26 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Еще раз благодарю Вас за принятие мер. Они уже подействовали, и зарвавшиеся хозяйчики раскошелились.

Ваш Л. Добычин.

Кланяюсь.

1928 ГОД

100

26 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Если можно, позвольте попросить Вас вот о чем: написать, когда Вы в этом году уедете на лето и когда вернетесь с оного.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

101

9 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Я не знаю, когда я приеду. Вот — на Ваш первый вопрос.

А на второй: романа не написал, но теперь (недавно начал) пишу. Но если будет хорошая погода, — брошу. Ничего нет, что побуждало бы писать, а время (даже уже́ Средний Возраст) уходит. Деньги это дает совершенно ничтожные, а шуму — больше бывает, когда лягушка в воду прыгнет.

Скоро год, как вышла Сметаничева книжка, а о ней нигде ни разу не упомянули, даже к новобуржуазной литературе не причислили.

Я для того и про Альтшулера расспрашиваю, чтобы попросить его по знакомству похвалить — и потом при случае девушкам показывать.

Благодарю Иду Исаковну за поклон и сам ей кланяюсь. Чаще писать — решался бы, если бы и Вы писали.

Ваш Л. Добычин.

102

28 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Если я напишу к осени первую часть, то по Вашем возвращении с Вод буду просить Вас попробовать поместить ее в «Звезде» (если так бывает, чтобы печатать одну часть; хотя не обязательно сообщать, что это — просто Часть). Я ее пишу часто, но выходит очень мало.

Между прочим, в этом романе — щиплют корпию.

Благодарю Вас за письмо и кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

103

8 мая.

Дорогой Михаил Леонидович. Цукерманша требует немедленно «Средний Проспект». Когда Вы поедете на курорт? У меня дела очень гадки. От времени до времени все-таки приходит в голову роман. Он страшно хороший, и если мне удастся его написать, то, может быть, в нем выйдет столько Печатных Листов, что его согласятся напечатать.

На базаре у нас есть два картонных автомобиля, в которых можно сниматься (2 карточки — 60 копеек). Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Сегодня я буду смотреть «По Европе».

104

12 июня.

Дорогой Михаил Леонидович.

Роман, который Вы велели, пишется. Готово 700 слов.

В Ленинград ехать придется, когда здесь выгонят, к чему идет, ибо нашего брата норовят заменить молодыми людьми из совпартшкол и т. п.

Осенью, если позволите, пошлю Вам на рассмотрение то, что к тому времени будет готово.

Разрешите принести Вам поздравления по поводу переезда в Сестрорецк.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

105

12 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович.

Если Вы дома, я пришлю Вам свое «начало». Печатать его ни в каких «Звездах» не придется, потому что всего одна глава, но Вы, может быть, прочтете.

Роман этот будет аховский и, возможно, к моей смерти будет кончен (потому что я пишу по воскресеньям — и не каждое воскресенье) .

В 10 номере «Поста» было сообщено, что «ленинградский писатель Мих. Слонимский выехал заграницу». Я понял так, что это — Вы, почему и терзаюсь сомнениями (см. 4 строку сверху).[1]

Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

В этот адрес не полагается писать открыток.

106

1 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович. К сожалению, я Вам ничего не могу послать, так как, не получая от Вас ответа, подверг это сочинение другой экспертизе, которая его забраковала, и я его выкинул.

За Ваше пребывание в Крыму я видел множество Ваших портретов и разных сообщений о Ваших па зэ жест.[2] Вы в славе. Больше месяца я спрашиваю у библиотекарши «Средний Проспект», но он все в расходе.

Вчера вечером я насладился «Западниками». Действительно, в Ленинграде и темно и постно.

Если Федин в самом деле сказал немцам такую штуку, то он очень любезен.

Ваш Л. Добычин.

107

21 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович. Экспертиза была вполне права. «Было, было, — писала она, — а видно, что ничего не было». Поэтому с моей стороны было очень мило, что я поскорее отправил все это к свиньям.

---

[1] В письме четвертая строка сверху: «Если Вы дома...»

[2] Похождения, поступочки (*фр.*, с оттенком богемного, художнического арго).

«Среднего Проспекта» я так и не добился. Где-то я читал, что Вы платите в нем дань моде на жуликов. Что это за мода? Если бы я знал, то принял бы и себе к руководству.

Мне представляется, что в Петербурге должно быть скучно (Вам).

Приходит Зощенко и говорит, что «мы опять сдали позиции», как мне один раз довелось слышать. И прочее.

А мне очень наскучило ни с кем не разговаривать. «Не могу молчать», как выразился наш с Вами кумир Лев Николаевич. — Простите.

Ваш Л. Добычин.

1929 ГОД

108

8 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Вот что я еще узнал про Вас: что Вы были секретарем у Гржебина, что Вы писали «Литературные Салоны» и что Вы переводили с сокращениями «1793 год».

К осени я должен буду опять ехать в Ленинград: Брянск упраздняется, и я не знаю, дотянет ли до 1 октября. До своего приезда я пошлю «рукопись» — еще не знаю когда.

Кланяюсь Вам, Вашей жене и Всем.

Л. Добычин.

109

1 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. На это письмо я Вас попрошу ответить.

Брянск ликвидируется между 1 июля и 1 октября. Может быть, — 1 июля, может быть, — 1 октября. Сто́ит ли мне ехать в Ленинград, то есть могу ли я там быть допущенным к какому-нибудь Пирогу неканцелярскому — с моей известностью Молоденького Сочинителя, единственное упоминание о котором можно видеть в интервью тов. Федина дан ль етранже?[1]

Л. Добычин.

---

[1] За границей (*испорч. фр.*).

110

13 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Очень благодарю Вас за ответ. Я, конечно, не сумею сочинять остро́ты, но делать что-нибудь более простенькое смогу. В общем, насколько я не ошибаюсь, приехать возможно. Если да, то и хорошо. Более подробно говорить, я думаю, еще не сто́ит, потому что вся эта история еще впереди и не имеет точных сроков.

Рукопись я вышлю обязательно отсюда. Она, по-видимому, будет ничего себе.

Почему Вы всегда пишете о Презираемых писателях? Я это отношу на счет иронии, похвалы которой радовали меня при чтении рецензий о «Лавровых».

Кстати, Вы мне не ответили о жуликах. Я все же решил не отставать, и в составляемом мною сочинении будет о них.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

111

4 мая.

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте поздравить Вас с религиозным праздником пасхи.

В начале октября я буду иметь честь приветствовать Вас устно. Это выяснилось.

В пику религии, мы не празднуем сегодня и послезавтра и прибавляем эти дни к декретным отпускам. А вы что делаете?

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

112

16 мая.

Дорогой Михаил Леонидович.

Сочинение это я до октября вышлю. От Каверина я действительно получил письмо — чтобы послать «цикл рассказов вроде „Встреч с Лиз“» для сборника, в котором будут следующие новаторы: Тихонов, Заболоцкий и Олеша. А я — тоже новатор. Это очень мило, и я на всякий случай даже сохранил — показать кому-нибудь. Только — не́кому.

У нас внезапно наступило лето, и я уже пять раз купался и один раз Внимал Соловью — случайно, проходя мимо. Сады с оркестрами и эстрадами открылись (состоялось открытие), одного гуляющего зарезали впотьмах, а в Бежице (девять верст от нас) двоих повесили: интеллигентские течения среди молодежи.

Какая-то мадам прислала мне письмо, что Бабель — это кружевной гипюр (не то кремовый гипюр, я забыл), а я — лес в инее при луне и должен обязательно познакомиться с Бабелем, а кроме того — я вроде Петера Альтенберга (а я не знаю, что это еще за Петер).

Вам (простите, я с сохранением дистанций) присылают письма мадамы?

Кланяюсь. Простите, что так длинно.

Л. Добычин.

113

20 июня.

Дорогой Михаил Леонидович.

Сочинение свое я стараюсь сочинить наилучшим образом, так что вдруг до Вашего выбытия оно не поспеет: что прикажете делать тогда — отправлять его в Ваше отсутствие или отложить и привезти с собой в чемодане?

Мне немножко страшно с Вами встретиться: вдруг Вы завели за это время Усы и Бороду.

Я пишу это письмо под аккомпанемент рассказов в соседней комнате мадамою, прибывшею из Ленинграда, об Ужасах оного (нет бельевой мануфактуры и прочее).

Про Институт истории искусств Вы действительно писали, но так как из Института этого ничего не вытекает, то я и присовокуплял это свéдение к запасу других безразличных (бог — в трех лицах, земля вертится и прочее).

Кланяюсь Вашей жене. Существуют ли еще шахматы?

Ваш Л. Добычин.

Насколько, между прочим, велики Ужасы и есть ли оные?

114

17 ноября

Дорогой Михаил Леонидович. Я не знаю, как изобразить эту улицу. Может быть, Москвы написать прописью.

Идея этой улицы та, что она была просто Московская, но ее переименовали по случаю революции. Никакие объяснения в текст не умещаются, и я решил оставить так.

Я попрошу Вас приписать под заглавием «Посвящение»: «Г. Л. Рысюкову». Я не люблю фамилиенбадов[1] и долго колебался на этот счет, но по разным причинам должен это посвящение сделать.

Спасибо за то, что Вы меня похвалили. Теперь я больше не думаю об этом рассказе (потому что он самый выверенный из всего, что я делал, а мне его до Вас чрезвычайно неприятным образом ругали), и у меня голова свободна.

Я ничего не могу иметь против человека, которого никогда не видал (это я про Каверина), и никогда никому не сказал бы о нем ничего сомнительного. Я не считаю, что у меня (мяса) что-нибудь произошло с ним — мясом. Столкновение было только между бумажками. Я старая канцелярская крыса и привык к тому, что на «бумагу» должен быть сделан ответ.

Давайте отдадим это в альманах с новаторами: выгоды Вы мне уже изобразили, а в «Звезду» какого бы то ни было рода мне все равно навряд ли попасть.

Только, пожалуйста, отдайте Ваш экземпляр, потому что каверинский — неокончательный, и в нем есть плохие места.

Что значит «ИПП»?

Спасибо еще раз за Ваше письмо. Мне от него гораздо лучше сделалось, чем до сих пор было.

Л. Добычин.

115

22 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович.

С 1 декабря изменяется мой адрес, поэтому, если у Вас будут для меня какие-либо сообщения, то будьте добры повременить с ними до уведомления.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

---

[1] Семейная баня (*нем.*).

1930 ГОД

116

21 мая.

Дорогая Ида Исаковна, перед отъездом я отвел время, чтобы зайти к Вам, но меня сбило похищение неизвестными злоумышленниками в парикмахерской моей шапки, вследствие которого припасенное на заезд к Вам время ухлопалось на покупку новой шапки. От учтивостей позвольте перейти к просьбам. Вот в чем дело: попросите, если можно, Зою Александровну сказать Вам, когда это выяснится, берет ли Госиздат мою книжку в ТВЁРДЫЙ СЧЁТ, и, тоже если можно, напишите мне про это в Брянск (Октябрьская, 47). Я потому дерзаю насчет этого, что Вы меня приучили к Родительскому Отношению, благодаря чему я и обнаглел. Бумажечку эту и конвертик я купил в ларьке Моссельпрома и прошу Вас по их плохому качеству не судить о качествах и составителя сего письма.

Ваш Л. Добычин.

От Службы — я уже знаю, что Вы отказались.

Накануне отъезда я видел МАТЬ МУСИ АЛОНКИНОЙ.

117

31 мая.

Дорогая Ида Исаковна, благодарю Вас за письмо. Вы мне одна ответили. Я писал Шварцу, но он не ответил. Приключения мои здесь вот какие. Я пошел в «Брянский рабочий» и сшантажировал его на посылку меня в три колхоза. Там я очень позабавился и написал забавную вещицу, но она, конечно, не пошла, и я остался и не солоно хлебавши и в долгу на 30 целковых за аванс. Литературная карьера кончилась, и завтра я иду на биржу — искать шансов в других сферах.

В. Каверин был последним из знакомых, которых я видел перед отъездом: он попался мне на Театральной улице, когда я отвозил на станцию багаж. Он произвел очень здоровенькое впечатление (то есть впечатление очень здоровенького молодого человека). Вероятно, это и останется от него последним впечатлением, ибо новые встречи крайне мало вероятны.

Если Вам когда-нибудь попадутся «Желания Жана Сервьяна», — пожалуйста прочтите. Когда прочтете, то узнаете, почему я об этом просил.

В письме к Михаилу Леонидовичу пожалуйста кланяйтесь ему от меня.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

118

1 июня.

Дорогая Ида Исаковна, это совершенно ужасно, но вот еще письмо. Это — совещание о названии книжки (моей). Тынянов сочинил название «Пожалуйста», и Олянский к этому отнесся благосклонно. Но мне оно не нравится. Если уж название на «п», то я назвал бы ПУАНКÁРЕ (есть такое место в книжке: Пуанкáре, получи по харе). Одобряете ли Вы такое переименование? Если да, то можно ли выяснить через Зою А<лександровну>, пройдет ли этот номер и нужно ли мне об этом писать в издательство особое письмо? Я потому не качусь с этим прямо в издательство, а ДЕЙСТВУЮ, как говорится, ЧЕРЕЗ ЖЕНЩИН, что издательство скорей всего мне просто не ответит, и мое РАБОЧЕЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО останется втуне.

Эти чернила мне и самому страшно не нравятся, и к следующему письму я постараюсь припасти другие.

Сегодня продолжалась моя биография: я ходил в кое-какие канцелярии, главные начальники уехали в Смоленск, а начальники второй руки открыли радужные перспективы: ДОЛЖНОСТЯ́ ИМЕЮТСЯ. В течение недели я, возможно, буду уж при чине, и ко мне вернется уважение от человеков.

Я прочел уже 54 страницы «Мангеттена», но интереса еще не почувствовал. Удручает КРАСОТА эпитетов: ВИННАЯ заря, ЗВЕЗДНЫЕ НАРЦИССЫ и тому подобное.

Уезжая из Ленинграда, я оставил ШАМБР ГАРНИ[1] за собой, и хотя уже ясно, что незачем, но еще как-то жалко отказываться. Завтра, должно быть, сделаю сей шаг (то есть письмо Шаплыгиной).

Немудрено, что формалисты восторгаются той пьесой, про которую Вы говорили: я похвалил при них Тагерию, так они подняли такое тявканье, какого я никогда еще не слышал. Даже Лидия Тынянова протявкала что-то. Отсюда видно, что у них — мозги набекрень.

Дальше в лес — больше дров: последних строк, кажется, совершенно уж невозможно разобрать.

Ваш Л. Добычин.

---

[1] Меблированные комнаты (*фр.*).

119

4 июня.

Дорогая Ида Исаковна. Не будем подымать шума из-за заглавия. Попросим только мадам Зою, если можно, присмотреть немного за обложкой. Обложку мне хотелось бы такую, как у Тагерши:

а) белую,

б) с такими же буквами и посаженными на таком же месте,

в) если расщедрятся на виньетку, то — такого же размера, как у Тагерши, в таком же (кажется) овале и следующего содержания: жалкая гостиная (без людей).

Клянусь прахом тов. Ленина, что больше не буду докучать Вам своими притязаниями и домогательствами. Это все оттого, что я еще не при деле. Высокие начальники прикатят из Смоленска послезавтра, и тогда я угомонюсь.

Я дочитал про Мангаттан и ничего не могу сказать — ни хорошо, ни плохо, обыкновенно. Не знаю, о чем шум. Когда-то Варковицкая (Л. Николаевна) писала мне, что если я пущусь на сочинение романа, то «она уверена, что это будет в плане Мангаттана». А я даже и не разобрал, что там за план.

Не буду писать дальше, потому что у Вас сломаются глаза над этими заслоняющими друг друга строчками с той стороны листа и с этой.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

120

11 июня.

Дорогой Михаил Леонидович (ибо Вы, по предположениям, должны уже прибыть). В Ваше отсутствие у меня происходило крайнее оживление на фронте переписки с Идой Исаковной. В частности, я совещался с И.И. по вопросу о названии книжки. В конце концов я думаю, что не назвать ли ее скромно «Хиромантией». Если Вы одобрите, то я (если нужно) пошлю об этом письмо Алянскому.

Я прибыл сюда в разгар весеннего сезона и кипения страстей. У нас в саду (при доме) несколько дней жил соловей. Гремело происшествие с летчиком. Познавая вблизи города одну свою знакомую, он Вошел к Ней и не смог выйти. Утром их нашел пастух и побежал за скорой помощью. Человеки собрались смотреть. Участники события были женаты — не друг на друге, а на третьих лицах. Разыгрались Жизненные Драмы. Через четыре дня дама умерла. Потом почувствовала в себе сильную игру страстей одна служащая губ-

суда, по имени Федора. У нее туберкулез в одной ноге, и она ходит с костылями. Она стала проявлять чертовскую игривость, делать соблазнительные жесты пальцами. Некоторые из судейских вошли к ней. Поощренная, она не знала удержу. Местком повел переговоры с психиатрической лечебницей. Решили поместить туда Федору на излечение. Заманили ее приглашением на пикник. С веселостями ехали на извозчике. Федора пела эротические песни и делала прохожим эротические Жесты Пальцами. Расположились на лужайке за психиатрической и, напоив Федору водкой, сдали ее пьяную в больницу. Мать вытребовала ее, и, оскорбленная, она теперь расхаживает по РКИ и профсоветам и подает жалобы. Много и других историй произошло с участием Любви.

Я писал уже Иде Исаковне, что мне удалось побывать в колхозах. Против станции было гороховое поле. Посреди гороха были расставлены — на ножках — корытца с патокой для привлечения бабочек и отвлечения их от гороха. В горохе же стояли крест и шест с красной звездой — под крестом закопаны 500 деникинцев, а под шестом — 2000 красноармейцев. В райисполкоме я получал лошадей. Приходили раскулаченные и просили, чтобы им выдали корову. — Подавайте заявление, — говорила секретарша и подмигивала мне на них. — Какие у хозяйства должны быть признаки, чтобы получить обратно часть скота? — спрашивали они канцелярским слогом. — Этого вам не нужно знать, — говорила секретарша: — достаточно, что председатель сельсовета знает. — И опять подмигивала мне: — Захотели, чтобы им сказали признаки! — Явилась председательница сельсовета в армяке и туфлях: — Можно взять у Батюшки дом, который он отдает даром под ясли? — Нельзя, — не разрешила секретарша: — что это за подачки от попов? — А председательнице все-таки хотелось получить поповский дом. — Заведующая яслями говорила, это можно, — мялась она. — Заведующая яслями не знает Линии, — сказала секретарша: — что она прошла? — двухнедельные курсы, только и всего.

Председателя колхоза не оказалось дома. У него в избе ползали по земляному полу дети с выпачканными чем-то черным физиономиями. На нарах, черными подошвами вперед, валялись две босые бабы. — Опять нагадила, — вскочила председательша и, подскочив к девчонке, привела в порядок пол, насыпав на него земли. — Идите в сельсовет, — сказала она, — председатель там на пленуме.

На сельсоветском пленуме, когда я пришел, обсуждались четыре акта ревизионной комиссии при каком-то, я не разобрал, уполномоченном. Все акты — одной и той же ревизии. По одному недоставало 126 рублей, по другому — 104, по третьему — 93, по четвертому — 52 рубля. — Это колыбель для воспитания растратчиков, — воскликнул председатель сельсовета и ударил себя

в грудь. — Да он все говорил: постойте, я найду какие-нибудь документики, — оправдывалась председательница ревизионной комиссии, учительница.

О Населении я узнал, что с начала уборки до зимы оно не моется (не моет лица, рук и ног; остальные принадлежности вообще никогда не моются, ибо бань нет), потому что нет расчета — все равно опять запачкаешься. Вечером я видел поэтическую сцену на завалинке: молодые люди собрались над книжкой — Лермонтов с картинками. — Калашников, — рассказывал хозяин книги, — вызвал его на кулачную дуэль, и царь велел его повесить. Вот стоит палач с ножом, а он прощается с своими братьями: здоровые они какие, здоровей его. — Охота тебе, — проходя, остановилась учительница, неудачная председательница ревизионной комиссии, — читать! — Кому ж и читать, если не мне? — ответил он. В избе трещали два сверчка и хрюкали подсвинки.

Один колхоз мне подвернулся кулацкий. Дома были с деревянными полами, крыши — не соломенные, председатель с страшно тонким обхождением. — Вот наша культура, — вводя меня в дом. Все было очень чисто вымыто — под вознесенье. — И хотят нас поравнять с этими дикарями. Как, скажите, — с интересом спросил он, — дальнейшая политика будет к развитию колхозов или к прекращению? — К развитию, — степенно ответил я, и он взмахнул рукой: — Довольно! Больше ничего не надо! — Отвозил меня молоденький колхозник. — Мы одни по всему сельсовету не разбежались из колхоза, — сообщил он: — нам спокойнее в колхозе: восьмерых у нас хотели раскулачивать, едва отстали.

Много и другого поучительного было, так что, если бы все описать (как кончается евангелие Иоанна), то весь мир не мог бы вместить этих книг.

Вниманию Иды Исаковны позвольте предложить случай (это уже — в городе) с одной девицей, которая потеряла, где зад ее платья и где перед, и никак не может найти.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

121

25 июня.

Дорогая Ида Исаковна. На Ваш запрос сообщаю, что из известных Вам лиц хорошо отношусь к нижеследующим:

1. Коле, 3. Тагерии,

2. Шварцу, 4. Эрлиху.

Не затрудняйте, пожалуйста, Михаила Леонидовича ответом на мой вопрос о заглавии, так как я уже послал Внутрь гостиного двора свое окончательное заглавие.

С Веней Кавериным я галантен совершенно достаточно, так что будто я его обижаю — это Ваши придирки.

Пишу Вам сегодня короче обыкновенного, потому что Ката́л Белье, стало поздно, и тороплюсь, чтобы не пропустить купальный сеанс.

Кланяюсь.

Л. Добычин.

122

1 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. У Вас сделался совершенно новый почерк, и из Вашего письма я разобрал только три места:

1. Ужас «Брянского рабочего».

2. Попреки страстью к

а) Коле и } которые, действи-

б) Эрлиху, } тельно, очень милы.

Вчера я получил письмо от Шварца — он просил Вам кланяться.

Ваш Л. Добычин.

В конце у Вас я разобрал еще, что «если будете писать, то буду отвечать», и это место показалось мне исполненным

а) гордости и

б) кокетери́и[1].

Цукерманша получила из Смоленска вызов на Соревнование — три пункта приняла, три отклонила и в один внесла поправки. Кланяюсь Иде Исаковне.

123

6 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. Начинается в 1918 году, а кончается сегодня. Я тогда одно лето был УЧИТЕЛЕМ на «курсах для переэкзаменовочников», изобретенных «культкомиссией ст. Брянск р.-о. ж.д.». Один переэкзаменовочник назывался «Сенька Борщинский», и ему было 14 лет. После этого я его один раз встретил в поезде. Он тогда был милиционером. Никаких вольностей, все было как по маслу.

[1] Кокетство (*фр.*).

Трах-тарарах, вдруг сегодня я столкнулся с ним на лестнице.

С. Б. (*восклицает*): Ну, как?

Я: Ничего (*пробую пройти*).

С. Б.: Ты, говорят, взял новую профессию (*НА ТЫ, как выразилась персонажиха в «Сельской Идиллии»!*).

Я (*изумляясь*): Это что ж такое?

С. Б.: Сочиняешь, говорят.

Я: А! (*пробую пройти*)

С. Б.: Я твой один стишок читал в журнальчике.

Я: Скажите (*пробую и проч.*).

С. Б.: Хорошо ты пишешь. Только трудно. Еле хватило терпения дочитать.

Я: Ну, ладно (*делаю обходное движение и прохожу*). До свиданья.

С. Б.: Мое почтение.

Хек фабула доцет[1], что печатанье рассказиков развязывает бывших переэкзаменовочников и бывших милиционеров.

— «К кому вы хорошо относитесь?» — как говорит Ида Исаковна.

Поза-позавчера я наслаждался американскою комедией «Шумные соседи». Кроме того, я насладился на этой неделе чтением Колиной книжки для детей двух возрастов (среднего и старшего) «Навстречу Гибели». Он очень мило пишет, хотя Вы к нему и придираетесь. Кроме того, на этой же неделе мне посчастливилось насчет конфет (в том числе — с изображением коровы). И, наоборот, не везет с погодой.

Я научился ловить шапку, брошенную вверх. Если мы еще встретимся, то покажу Вам.

Цукерманша вечером ведет работу на воздухе: приносит в сад Карла Маркса несколько отборных книг, завернутых в красную мануфактуру, и, раскинув мануфактуру по столу, раскладывает на ней книги: желающие могут почитать под фонарем, пока другие смотрят «Дину Дзадзу» и пленяют дам. В залог берется профсоюзный билет.

Одна старуха сообщала, что Иностранные Державы требуют, чтобы их допустили на 16 съезд, а если не допустят, то они съезда ни за что не разрешат.

«Гостеатр» переименован в «Рабочий театр».

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

---

[1] Мораль сей басни такова (*лат.*).

124

8 июля.

Дорогой Михаил Леонидович, это совершенно безобразно, но я опять с названием. Как было бы, если назвать «Портрет»? Я это хотел с самого начала, но [:КОЛЯ:] не одобрил. Если Вы одобрите, то будете иметь случай не согласиться с Колей.

Мне название очень интересно, потому что, может быть, это собрание сочинений и последнее, а снявши голову — по волосам не плачут, как говорилось в деревнях до расслоения оных.

Если Вы одобрите «Портрет», то, может быть, велите сами ввести его в действие, я боюсь опять соваться внутрь Гостиного — там в высшей степени шикарно и едят пирожные. Кроме того — хотелось бы, чтобы обложка была не залихватская и не РАБОТЫ ЗАРЗАР.

О, простите, о, простите, о, простите. Я как молодые люди, которые хотят, чтобы Вы им написали предисловие. Но сознание — путь к исправлению.

Цукерманше нагорело за неизъятие резолюций 16-ой партконференции, которые теперь не в моде.

Ваш Л. Добычин.

Засекретилась ли Ида Исаковна?

125

19 июля.

Дорогой Михаил Леонидович, я очень рад, что «Портрет» апробован. «Портрет», конечно, хорошо, хотя и нелояльно по отношению к Коле Чукъ<Чуковскому>.

Я это письмо пишу и ужасаюсь: вдруг Вы уже на Каме, и письмо лежит на улице Марата, а Вы —

— Су́ ле́ Жемо́ у́ ль Амфо́р[1], —

как выразился стихотворец.

Рекомендованную Идой Исаковной книжку с картинками я приобрету, как только она здесь появится. Стихов же о купце читать не хочется, как они ни выдержаны.

Ваше письмо со штемпелем четырнадцатого пришло вместо шестнадцатого — восемнадцатого, и так как каждое явление имеет свой смысл, посмотрите, пожалуйста, на который день получите Вы сие.

---

[1] Под созвездием Близнецов или Амфоры (*фр.*).

Нравятся ли Вам фамилии следующих трех врачей Окрздрава:
а) доктор Мальчик,
б) доктор Водонос,
в) доктор Барышник.

Я узнал недавно, что от работников прилавка на чистке требуется знание мясной и зерновой проблем, без коего они не смогут дать отпора потребительским настроениям покупателей.

Относительно «Портрета», между прочим, я решился написать Зое Никитиной — туда, в приют этих пышных богачей,

— пур ки, —

— как выразился стихотворец, — лё монд визибль эгзист[2].

Надеюсь, что картинки к Вашей книжке делала не Зарзар.

Когда Алянский будет видеть, что уже можно выслать остальные деньги, — пусть вышлет. На них будут закуплены Картошка и Дрова.

Ваш Л. Добычин.

126

13 августа.

Дорогая Ида Исаковна. Элисо к нам больше не показывала носа, и покамест я отсмотрел «Коллежский регистратор», «Торговцы славой» и «Последний бек».

Мне страшно лестно получать письма, сделанные на машинке, — это имеет очень деловой и интересный вид.

Кому на время Вашего отъезда был поручен Кот? Я ужасно виноват — только вчера подумал о нем.

Вы писали, что у нас всегда что-то случается, — а только и случается, что дождь то перестанет идти, то опять пойдет.

Моя сестра вчера была на чистке. Было так:

Председатель: Расскажите вашу биографию.

Она: Мой отец был врач. Он умер, когда мне было полтора месяца.

Председатель: Как вы справляетесь с своей работой?

Она: Через несколько месяцев мне прибавили прибавку. Если бы не справлялась, то бы не прибавили.

Посторонняя женщина (врываясь запыхавшаяся): Пусть скажет, как она относится к хозяйственным затруднениям.

---

[2] Для кого существует видимый мир (*фр.*).

Все (в негодовании): Это политический вопрос, это не имеет отношения.

Председатель: Но раз вопрос задан, придется отвечать. Как вы относитесь к хозяйственным затруднениям?

Чистимая (при общем шуме бормочет): Это временные затруднения.

Председатель (перекрикивая шум): Она сказала, что это временные затруднения.

На этом кончилось.

Пятнадцатого (послезавтра) мы ликвидируемся (ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУГОВ), и я опять пущусь на поиски приюта на время «Хоз. Затр.».

Шварцу и Катерине Ивановне я не писал, так что ни о порядочных людях (порядочные люди не приглашают на определенный день, а сами скрываются неизвестно куда), ни о Вашем возвращении не имел случая им сообщить. Впрочем, если нужно, я их уведомлю об этом специальным письмом, о чем, пожалуйста, сделайте мне распоряжение.

Тощий ли (то есть тощée ли, чем зимой) Михаил Леонидович и что он курит?

Если можно узнать, на каком градусе (по Цельсию, то есть при ста градусах) дело с моей книжкой, то очень прошу. При мысли, что она не успеет выйти, у меня ЛЕДЕНЕЕТ КРОВЬ И ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ ДЫБОМ.

Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.

Эти чернила, хотя и ТАК СЕБЕ, но не свои.

127

27 августа.

Дорогие граждане. «Ленинграда» я не видел и ничего про это дело не слыхал. Ругательное примечание? Между прочим, Чумандринская записка на Путиловский завод хранится у меня в качестве кюрьозитэ агреабль.[1]

Если Вы собираетесь уехать на октябрь, то Фома, по-видимому, приближается к концу. Когда он будет напечатан книгой, я дорвусь наконец до прочтения оного (будучи ненавистником «Звезды»).

Сметаничу я хотел бы сообщить, что по наведенным мной справкам Мангаттан по-американски называется «Мэнхáттэн», а не «Манхэ́ттэн», но не знаю его адреса.

---

[1] Забавная безделушка (*фр.*).

Какая рукопись Вени Каверина подвернулась Кошке: не «Брат» ли «и его шпага»? Если оная, то как она Вам нравится? Не напишу ему, так как не помню его адреса (этот абзац кончается одинаково с предыдущим).

Последний вопрос (задаю чертовски заинтересованный): кто этот прекрасный юморист и вообще хороший человек, человек со вкусом, который признает мою квалификацию?

Мерзавка Элисо все еще не показывалась. Вместо этого был Марк Иванович Сагайдачный — научно-показательные сеансы гипнотизма — и комедия в 6 частях «Крупная неприятность», зрелище действительно лишенное всякой приятности и почему-то вызвавшее у меня большое подозрение, что сценарий сочинен Колей Никитиным.

Я нанялся с начала сентября на постройку электрической станции — третья остановка по железной дороге. Поезд отправляется из Брянска без двадцати в шесть утра, сиденье там с семи до четырех и возвращение в Брянск в половине шестого. Теперь же у меня свободный промежуток, поливаемый дождем.

Примерно уже месяц, как жизнь стала в высшей степени отрадной благодаря отменному обилию груш и яблок. Тень же на нее наводит исчезновение мелких денег, без которых ни к мороженщику, ни к кинематографу, ни к продавцу сапожной мази нет подступа.

«В наборе», «верстка» — так как я не Профессионал, то ничего в этом не понимаю. Через сколько приблизительно месяцев будет готово — это я, конечно, понял бы.

Чтобы закончить поэтически: началась осень, черт возьми, летает паутина и МЕЛЬКАЕТ ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ НА ЗЕЛЕНИ ДЕРЕВ.

Ваш Л. Добычин.

Только что узнал, что появилось ЗАТРУДНЕНИЕ С УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИЕЙ.

128

27 августа.

Дорогая Ида Исаковна, Вы спрашивали, какое впечатление произвело Примечание. Я купил эту книжку и прочел его. Оно глупо, потому что не видно, зачем же эти штуки в конце концов напечатаны. В «Стройке» было лучше.

«Высказывания на страницах» я уже предвижу каковы должны быть, ибо все доброжелатели, сообщающие частным образом, что «я хотел писать о вас статью», ни на каких «Страницах» не «высказываются».

Ваш Л. Добычин.

129

31 августа.

1) Дорогой Михаил Леонидович. Случилось вот что: я сочинил рассказец «Матерьял», и половина уже написана. Не позже двух недель будет готово. Страшно и ужасно хочется, чтобы он вошел в Книжку. Его место третье от конца (между «Пожалуйста» и «Сад»), длина 600–700 слов (около 1/8 листа). Можно ли его еще впечь туда? Если да, то очень прошу предупредить издательство и известить меня.

2) Ежедневно я съедаю больше 50 груш.

3) От этого я в высшей степени помолодел:

а) баба на реке спросила (У МЕНЯ): Мальчик, где тут брод?

б) три купальщицы кричали (МНЕ): Молодой человек, вы откуда?

4) Матерьял (см. п.1) не в смысле «мануфактура», а в смысле «материал для чистки аппарата».

5) Завтра я поеду в лес (куда я нанялся), чтобы узнать, с которого числа начнется там мое функционированье.

Кланяюсь. Приступлено ли к потреблению грибов, замаринованных Идой Исаковной?

Ваш Л. Добычин.

130

8 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. Я сочинил рассказик и посылаю его Вам в двух штуках, как требуется для издательства писателей.

Если возможно, то, пожалуйста, не откажите <зачеркнуто слово> устроить, чтобы его включили в книжку — между «Пожалуйста» и «Садом» или между «Садом» и «Портретом» — мне все равно, и будет как Вы скажете.

Не попадя в книжку, он никуда не попадет, и его надо туда обязательно ввернуть.

Так как я прошу Вас говорить с Алянским, то заодно, пожалуйста, скажите ему, что если может, то пусть вышлет полтораста рублей. В лес я не нанялся, потому что, при трате времени в двенадцать часов в день, там, оказалось, платят полтораста рублей, и из них еще нужно платить за поезд. Поэтому я подкарауливаю какую-нибудь ОТРЪШАНСЪ[1].

[1] Другая возможность (*фр.*).

Что касается Высокой точки зрения, то, пожалуйста, напишите, каков этот рассказ с высокой точки, потому что я сам по обыкновению сразу ничего не могу сообразить.

Третье, что прошу сказать Алянскому, — это, чтобы обязательно прислал корректуру.

Придумал четвертое: я видел замечательную обложку: «Пушкин» — черными, «Письма» — красными. Если бы мне такую сделали, то — ах, после этого можно хоть и помирать!

Только «Л. Добычин», а не «Леонид», как некоторые мерзавцы неизвестно на каком основании практикуют. Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

131

14 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. Я получил корректуру, и все строгости, о которых я просил Иду Исаковну, оказались не нужны.

На корректуре я увидел, что тираж — две тысячи (хотя по договору он «не менее 4000»), и денег, значит, больше мне не будет, а есть, должно быть, даже долг.

Одна гадальщица гадала мне на картах (по́имя дня два-три назад) , что денег, на которые я уповаю, я не получу, после чего мне будут отпущены разные «разочарования» и «досады». После этого с «мужчиной, на которого я рассчитываю», произойдет «болезнь или какая-нибудь неожиданность». Настанут «неприятности» и «хлопоты», и вдруг поступит неожиданное «выгодное предложение», после которого — «доро́га», хотя и не столь далекая, как я предполагаю.

Первый пункт этой отталкивающей программы («деньги») уже сбылся, остальные мерзости — еще грозят.

Я выдумал рассказ про «детский сад» и собирался написать его перед «романом», но в связи с «деньгами» вся эта история откладывается, так как наступает неожиданная эпоха спешного разыскиванья канцелярских мест, чтобы занять из оных какое попало.

Если Вы не написали мне, как Вам понравился рассказ про «матерьял», то напишите.

Ида Исаковна, пожалуйста, прочтите предыдущий абзац этого письма.

Позавчера я видел Нашумевший Боевик про Саламбо́. Всё было очень так себе, и под конец Саламбо прилегла. Все решили, что она просто СОМЛЕЛА, но надпись объявила иное:

«Так умерла Саламбо, дочь Гамилькара».

Я был болен, и у меня был бред в виде заглавия: не то «Эн шьен батизэ», не то «Эн прэтр энбатизэ», не то «Эн прэтр марьé»[1], — все три вертелись, и я не мог выбрать. Это после того, как я кончил «рассказ».

Ваш Л. Д.

1932 ГОД

132

2 декабря.

Михаил Леонидович.

Я пробую написать Вам, потому что, может быть, причины, заставившие Вас перестать мне отвечать два с половиной года назад, уже не действуют.

Не знаю, продолжаете ли Вы жить в том же доме, но узнавать Ваш адрес через третьих лиц мне не хотелось.

Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

133

6 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Позвольте Просить Вас позаботиться об этом маленьком рассказе. Он совсем готов, и я не буду докучать Вам исправлениями.

Я очень рад, что решился опять написать Вам.

Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

134

10 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я таких писем, на которые бы не ответил, от Вас не получал. Впрочем, это не так важно. Если бы это Вас могло интересовать, Вы в свое время запросили бы.

---

[1] Крещеная собака; некрещеный священник; женатый священник (*фр.*).

Хоть у меня *новых рукописей* нет, но за советом обратиться к Вам есть вот с чем. Старые рукописи я сильно поисправил. Они сделались приятней. Мне хотелось бы издать в Москве составленную из них книжку.

Так как изданная в Ленинграде, насколько я заметил, в продажу не пускалась, то в таком желании, думаю, нет ничего предосудительного.

Об этом и позвольте Вас спросить: может ли это пройти и куда следует адресоваться.

Кланяюсь. Добычин.

135

30 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Мне жаль, что я ошибся относительно непоступления книжки в продажу.

Нового я ничего не написал. Пишу роман. Когда будет готова (к лету) первая часть (конечно, один лист), я попрошу Вас посмотреть ее.

Мне бы хотелось написать Вам более частное письмо, но я отвык.

Я прочитал в прошлом году Фому. Вообще, по отношению к Вам держался в курсе.

«Элисо», которую мне поручила посмотреть Ида Исаковна, я так и не смотрел — прошу простить.

Добычин.

1933 ГОД

136

31 января.

Дорогой Михаил Леонидович. Не могу себе представить порядков в Вашем доме при наличии Грудного Сына.

Часть романа я пошлю, когда она будет готова. Её есть уже восемь глав и предстоят еще две. А писать их — месяца четыре. Я писатель только на полпро́цента, к тому же эту зиму мы сидели без электричества.

Роман, который Вы кончаете, должно быть, тот, который будет напечатан в бывшем «ЛОКАФ», — я читал об этом объявление.

Добычин.

137

15 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Вот два рассказа, сочиненные еще в тридцатом году. Но так как они нигде не были помещены, то, может быть, их можно будет куда-нибудь упрятать.

Кроме того, здесь книжка, называемая «Матерьял». Хотя она, как Вы мне написали, и неосуществима, но пусть, если Вы позволите, лежит у Вас.

Романа моего сочинено уже девять глав, а когда будет десять, я отправлю их Вам. Сочинение глав задерживается отсутствием

а) в течение всей зимы электричества,

б) в течение более чем месяца — керосина, в результате чего испытывается недостаток освещения, выходные же дни посвящаются стоянию в очередях.

Добычин.

В книжке «Матерьял» не откажите посмотреть рассказ «Сиделка» (стр. 27) — там всего больше изменений против прежнего.

138

31 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за согласие заботиться о тех предметах, которые Вы перечислили в Вашем письме.

Естественное освещение, как Вы предсказывали, в самом деле наступило.

Ваш Л. Д.

139

23 мая.

Дорогой Михаил Леонидович. Не откажите прочесть эту Первую Часть и написать мне, 1) как Вы находите ее, 2) можно ли ее где-нибудь напечатать — это мне было бы чрезвычайно желательно на предмет получения Платы.

Что происходит с теми двумя рассказами, которые я Вам отправил? По-видимому, с ними ничего не выйдет.

Извините почерк. Переписывать я ненавижу, и очень некрасиво получается.

Л. Д.

140

5 июня.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за письмо. Я страшно ждал его, и оно пришло в тот самый день, когда, по моим расчетам, должно было прийти.

Благодарю Иду Исаковну за ее приписку. Кланяюсь.

Ваш Д.

141

19 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. Вы были любезны написать, что Вы удивлены, что рукопись не принимают. Я не удивлен. Но все-таки хотелось бы ее пристроить. Если не удастся в «Современнике», то Вы, может быть, захватите ее когда-нибудь в Москву. Пока она не попадет куда-нибудь, я не решусь на продолжение — это было бы уж чересчур филантропично.

Ваш Л. Д.

«Превращение воды в китаянку и исчезновение китаянки в воздухе. Феерический аттракцион». Это у нас на афише.

Липы цветут.

142

Дорогой Михаил Леонидович. Я послал заявление в комиссию по распределению жилплощади о предоставлении мне помещения и письмо М. Э. Коханову о поддержке этого заявления. Коханову я написал, что попрошу Вас обосновать перед ним эту просьбу (потому что он сам обо мне ничего не знает). Очень прошу Вас сказать ему что-нибудь и, если нужно, — еще кому следует.

7/XII. Ваш Л. Добычин.

143

25 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Я Вам писал недели две назад. Ответа я не получил. То обстоятельство, что письма пропадают, позволяет мне нарушить этикет и спросить, ответили ли Вы.

Моя «нагрузка» — выписка газет. Поэтому я иногда держу в руках «Литературную газету» и заглядываю, нет ли там чего-нибудь, чем мог бы и я поинтересоваться. Таким образом я вычитал, что Вы провели 24 часа за рулем в районе Смольного, встречали Федина и пишете «Евгений Левинэ».

Добычин.

1934 ГОД

144

9 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Не сочтите нескромностью, что я собираюсь переезжать в Ленинград. Мне отвели комнату Косова на углу проспектов 25 октября и Володарского. Но будет еще одно заседание комиссии из Казакова, Маргулиса и Чумандрина, на которой все это может полететь прахом.

Если позволите, очень прошу Вас сделать внушение этой комиссии, чтобы в отношении меня она оставила все без перемен.

Ее члены, конечно, не знают, что я их большой литературный поклонник.

Ваш Л. Добычин.

1935 ГОД

145

Дорогой Михаил Леонидович. Может быть, Вы разрешите мне вместо «надоев уже нам» написать «перестав уже нас занимать».

Добычин.

9/VIII

По поводу того, что «надоев» встретило с Вашей стороны отпор, я вспомнил заголовок:

Леди А́стор дает отпор антисоветским выпадам герцогини Э́толл.

1936 ГОД

146

9 февраля.

Дорогой Михаил Леонидович. Вчера вечером Коля Степанов сообщил мне по телефону, что ему только что позвонил Лозинский и объявил, что вычеркивает из сделанной Колей Степановым рецензии (для «Литерат. Соврем.») на «Город Эн» все похвальные

места, так как имеется постановление бюро секции критиков эту книжку только ругать. Рецензия, по словам Коли Степанова, была составлена очень осторожно и похвалы были очень умеренные и косвенные, так как К.С. приблизительно предвидел, где будут зимовать раки.

Я бы относился ко всему этому с коленопреклонением и прочим, если бы знал, что это делается с какой-то точки зрения или какой-то высоты, но вся тут высота-то — высота какого-нибудь Левы Левина и точка зрения — его левая нога.

Очень прошу Вас поговорить с московскими людьми, которых Вы увидите, и выяснить, действительно ли следует в этом отношении осенить себя крестным знамением, как выразился в 1861 году митрополит Филарет, и призвать благословение божие на свой свободный труд, залог своего личного благосостояния и блага общественного, — или возможны какие-нибудь вариации.

Кланяюсь. Ваш Л. Добычин.

Л. Н. РАХМАНОВУ

1934 ГОД

147

30 июля.

Дорогой Леонид Николаевич.

Я прочел «Базиля». Очень хорошо. Я не ожидал даже, что так будет. После этого я попробовал «Племенного», но оставил. Это — действительно плохо (простите).

«Базиля» я после этого всем расхваливал, а мне говорили: «сухо». А я не понимаю, что значит «сухо» или «мокро». По-моему, может быть хорошо или плохо, и это («Базиль») как раз хорошо.

Я пишу потому, что не знаю, когда Вы приедете, и хочу, чтобы мои комплименты к Вам скорее попали.

Добычин.

Но мне страшно интересно, откуда Вы всё это узнали.

1935 ГОД

148

30 июля.

Леонид Николаевич, надо мне как-нибудь выбираться отсюда: холодно и прочее. Пожалуйста, узнайте, кто из дам сейчас в издательстве, чтобы мне написать туда про деньги. А может быть, если Вам случится быть там, переговорить с Зоей Александровной или Анной Николаевной (смотря по наличию).

Из Москвы «Советские писатели» мне написали («№ 2747 от 13 июля»), что авторскую корректуру вышлют числа двадцатого августа, а по договору окончательная расплата следует «по подписании авторской корректуры».

Мне там за вычетом налогов следует рублей шестьсот. Не могут ли устроить мне некоторое Забегание Вперед или в крайнем случае иметь деньги наготове, чтобы сразу же по подписании корректуры мне их двинуть? Вы внушили бы им это. И при этом дали бы понять, что если у них набежало что-нибудь из «рукописей», то не мешало бы им чуточку попридержать до моего приезда, ибо я человек разорённый.

Кланяюсь Вашим домашним.

Я прочел здесь бездну книг, Селина в том числе. Пробовал даже Бальзака, но — нет, дальше трех с половиной страниц не возмог, больно тошно.

Ваш Д.

Как Тимирязев? Поклон ему.

Брянск, Октябрьская, 47.

Укатил ли Гор с Дамочками?

149

17 августа.

Леонид Николаевич, сегодня я получил Ваше письмо. Благодарю Вас за проделанные в мою пользу подвиги. Денег я еще не получил, но если все оформлено, как Вы мне написали, то, должно быть, на днях они явятся. Если я в течение 3–4 дней их не получу, то напишу Вам с просьбой позвонить туда, а если получу, то ничего писать не буду.

Это хорошо, что Вы едете в начале сентября, а не в ноябре: подоспеете к дарáм Флоры.

Я, если деньзнаки получу, поеду в Ленинград числа 27–28, чтобы успеть проехать до курортников.

Вчера мне присылали из Москвы «эскиз обложки» — какая-то гора с коричневыми избами на склоне, и вчера я отказался от нее, но сегодня написал, чтобы валяли эту гóру — все равно ведь, лишь бы поскорей.

Я бездельничаю, здесь у меня к отъезду окажется состряпано только пол-листа — правда, работа доброкачественная, но это безразлично при оплате по количеству.

Я Вас еще застану. Позвоню, когда приеду.

Шурка написал мне, что он красил на Смоленском кладбище кресты.

Про Тимирязева Вы мне не написали и про Гора тоже.*

Кланяюсь Татьяне Леонтьевне и Девушке, которую, к несчастью, забыл как зовут.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

* Кроме Вас, я никому из Сослуживцев не писал и ничего не знаю, так что в этом отношении положение мое плачевное и заслуживающее сожаления.

150

21 августа.

Нет, Леонид Николаевич, не прислал мне денег этот бухгалтер, ленивый и лукавый, — чтоб ему был плач и скрежет зубов!

Если Вы на это письмо наткнетесь скоро, позвоните ему, пожалуйста, и спросите, что с ним.

Пока он не пришлет, я не могу ехать, а если никогда не пришлет, то никогда не смогу. А это мне уж совсем убой, тем более, что я сюда и пальто не взял, так как выезжал в жару и думал, что вернусь до холодов.

Поклоны.

Д.

Брянск, Октябрьская, 47.

М. М. ШКАПСКОЙ

151

<Февраль-март 1936>
Дорогая Марья Михайловна.

Если у Вас найдется время, напишите мне немножко.

Следовало бы извиниться, что я обращаюсь с этим к Вам, и прочее, но я думаю, Вы это примете без извинений.

Мне как-то очень неспокойно, хочется немножко жаловаться, а народу мало.

Кланяюсь Вам.

Л. Добычин.

Ленинград, I, Мойка, 62, кв. 8.

ПИСЬМА И ЗАПИСКИ ДЕЛОВОГО ХАРАКТЕРА. НАДПИСИ НА КНИГАХ

П. И. ИВАНОВУ

152

Милостивый государь, Петр Иванович.

Позвольте обратиться к Вам с некоторой просьбой. Я хочу поступить в Ташкентское военное училище, для чего мне нужно получить из Института мои бумаги. Имея службу в Туркестане, я не могу лично приехать в Петроград.

Беру смелость просить Вас написать мне, как нужно поступить, чтобы получить бумаги.

Студент экон<омического отделения ?>

Л. Добычин.

Скобелев,
Комендантский 15
Леониду Ивановичу Добычину.
На ответ прилагаю марки.

М. А. КУЗМИНУ

153

Милостивый Государь
Михаилъ Алексеевичъ!

Я позволилъ себѣ переслать на Ваше разсмотрѣніе нѣсколько беллетристическихъ издѣлій и очень прошу Вас, если Вы не найдете этого ненужнымъ, дать мнѣ о нихъ Вашъ отзывъ.

Л. Добычинъ.

Брянск, Губпрофсовѣтъ.
30 мая 1924.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ СОВРЕМЕННИК»

154

Мной получено письмо от 17 ноября К. И. Чуковского, который обещал от имени редакции выслать мне «деньги по первому требованию». Прошу выслать что причитается. Л. Добычин. 9 декабря <19>24. Брянск, Губпрофсовет. Л. И. Добычину.

В. В. БОГДАНОВСКОЙ

155

Многоуважаемая Вера Владимировна. 26 января я послал Вам заказное письмо с просьбой о передаче двух рукописей («Козлова» и «Нинон») Е. Л. Шварцу и о высылке мне четвертой книжки и гонорара за напечатанный там мой рассказ. Марка на ответ была приложена. Еще раз очень прошу Вас найти возможным ответить на мое письмо.

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет
9 февраля<1925>

К. И. Чуковский писал мне, что «Современник», вероятно, больше не будет выходить. Надеюсь, Вы признаете за мной право знать, что сталось с посланным мной материалом. Благоволите не оставить это письмо без ответа.

Л. Добычин.

156

10 февраля <1925>

Многоуважаемая Вера Владимировна. Я получил письмо Слонимского — рукописи у него: очень благодарю Вас. Теперь мне остается только получить деньги за напечатанный рассказ. Не откажите содействовать и в этом.

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

З. А. НИКИТИНОЙ

157

15июля<1930>

Зоя Александровна.

Ваша фамилия другая, но я ее не знаю. Можно ли устроить, чтобы моя книжка называлась «ПОРТРЕТ»?

Больше менять названий уж не буду. Клянусь. Кроме того, пожалуйста, велите, чтобы мне прислали корректуру.

Извините. Л. Добычин.

158

30 ноября <1930>

Уважаемая Зоя Александровна.

Благодарю Вас за ответ. Вы очень добры.

Л. Добычин.

159

25 декабря <1930>

Уважаемая Зоя Александровна. Я получил Вашу открытку, а вчера и «авторские экземпляры». Благодарю Вас. Экземпляры замечательно ми́лы. Обложка осуществляет все мои желания.

Если позволите, я обращусь к Вам с просьбой (уже последней) написать еще, будут ли мне высланы какие-либо деньги. Я не беспокоил бы Вас этим, но, к сожалению, мне это очень интересно.

Кланяюсь Вам.

Л. Добычин.

А. Л. ГРИГОРЬЕВУ

160

Тов. Григорьев, приходите ко мне пожалуйста тридцатого в восемь часов и послушайте чтение, в которое я перед Вами и еще двумя-тремя человеками (Гор) думаю пуститься.

Добычин.

Мойка, 62, кв. 8, вход с Демидова (д. 2) в ворота, дверь первая налево.

<Нарисована схема подхода к квартире>

161

М. Л. Слонимскому — на книге «Встречи с Лиз».

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте попросить Вас принять эту книжку (как всегда, она — с опечатками), — если Вы уже вернулись из Вашей поездки.

Ваш Л. Добычин.

162

Н. К. Чуковскому — на книге «Город Эн».

Николаю Корнеевичу, с субординацией. Д. 14/XII 1935 г.

163

М. Н. Чуковской — на книге «Город Эн».

Марине Николаевне, и чтоб не терять. Д. 19 янв<аря> 1936.

Приложения

СБОРНИК «ВЕЧЕРА И СТАРУХИ»

ТИМОФЕЕВ

Провалившись на экзамене, Тимофеев не пошел обедать, а отправился домой и, сняв тужурку, улегся спать. Приземистый, с серым лицом и всклокоченной желтой бороденкой, он лежал на спине и храпел. Над его лбом, изогнувшись, как удочки, нависли несколько жиденьких прядей, в которые слиплись его водянистые волосы. Полинялая синяя сатиновая рубаха выбилась из-под пояса, и между нею и штанами виднелась закрашенная раздавленным клопом нижняя рубашка. Мухи садились ему на лицо, и он, мыча, сгонял их рукой, но не просыпался. Он проснулся только вечером, когда уже не было солнца и электричество горело в лампе, брошенной после ночной зубрежки с незавернутым краном. Он вскочил, и, спустив ноги с кровати, взял правой рукой край левого рукава и стал тереть глаза. — Надо велеть самовар, — сказал он себе и пошел искать хозяйку. Ее не было в доме, и он вышел взглянуть на дворе.

Красная луна, тяжеловесная, без блеска, как мармеладный полумесяц, висела над задворками. На красноватом западе тускнелись пыльного цвета полосы, точно сор, сметенный к порогу и так оставленный. Было тихо-тихо, и хозяйка, сидя на ступеньке, закутавшись в большой платок, не шевелилась, не моргала, наслаждалась неподвижностью и тишиной. Тимофеев сел ступенькой выше и молчал. Так они сидели безмолвные и неподвижные, с глазами, устремленными на небо. Далеко-далеко просвистел паровоз. Хозяйка тихонько вздохнула и прошептала: — Фильянка. — Какая фильянка? — шепотом спросил Тимофеев. — Фильянская железная дорога. — И они

опять замолчали и долго сидели тихие и затаившиеся, пока не открылось окно и оттуда не крикнули: — Дарья Ивановна, где вы? Нельзя ли самовар? — И мне, пожалуйста, — сказал тогда Тимофеев, встал и пошел к себе.

Глотал он чай и жевал ситный задумчиво: что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее на завтра дождь, небо.

КУКУЕВА

Только что катались в лодке. Было очень весело. Разбитная барынька Кукуева была в кисейной кофте, прямо на рубашку — все было видно!.. Костин ужасно важничал. Плеснулась рыба. Костин крикнул: — Щука. — Этой бы щукой тебя по морде, — сказал Жорж. Все очень смеялись. Костин разозлился. — Покажи мускулы, — пристал Жорж. — Убирайся к черту. — У него мускулы как тряпки. Хотите посмотреть, какие у меня? — Покажите, покажите. — Девицы ахали. Кукуева потрогала. — Как ваше имя-отчество? — Для вас я — Жорж. — Он всегда так отвечал: для вас — я Жорж...

Поел, напудрился и был опять на берегу. Луна белелась неопределенным пятнышком. В воде была гора с садами и церквами, расплывчатая, словно вышитая шерстью по канве. Над входом в сад Маркса и Энгельса трепались флаги. Жорж взял билет.

Народу еще не набралось. Музыканты на эстраде охорашивались, покуривали и глазели. В лоске скамеек отражалась краснота заката. Шурочка сидела, глядя на входящих. Увидев Жоржа, уронила головку — представилась, что не заметила. Он подошел и сделал под козырек.

— Здравствуйте... А я сегодня отчистил Костина: катались в лодке, и, знаете...

Он сидел развалясь, торжествующий. Она, счастливая, склонила легкую головку с светлыми кудряшками и тоненькими пальчиками разрывала васильки. На эстраде затрубили и застучали в барабан. Все встали и принялись ходить взад и вперед.

— Смотрите-ка, у этой расстегнулась юбка! А эта, кажется, со мной не прочь — видали, как подмигивает? — Шурочка смеялась и сжимала его руку.

Разбитная барынька Кукуева встретилась на повороте и погрозила пальцем. Сразу стало скучно с Шурочкой. — Пойдемте, я вас провожу.

Из воды смотрело небо с облаками. Луна желтела и выравнивалась. От тумбочек упали маленькие тени. Дверь в церковь была открыта.

— Зайдем, — сказала Шурочка.

— Зачем?

— Зайдемте.

Сторожиха подметала пол. Господь висел на лакированном кресте. Иоанн и Мария стояли.

— Так бы и я стояла, — прошептала Шурочка.
— Около меня?

В саду Маркса и Энгельса гремели литавры... Золотились лунным светом облака. Березы в палисадниках качали ветками. Обогнала телега и без грохота катилась, блестя на луне железными шинами...

— Ну, до свиданья. — Он побежал, боясь, что не застанет Кукуеву в саду.

А Шурочка все улыбалась маленькими блаженными улыбочками и старалась спрятать в тень счастливое лицо. — Ворона, — закричала мать за ужином: — Испакостила чистую салфетку. Господи, в кого такая удалась?

НИНОН

Матушка Олимпиада истово читала басом. Зеркала были завешаны. Вокруг Нинон были расставлены притащенные из ее комнаты растения: мирт, лавр, эвкалипт, кипарис... Вчера она была нехороша, а сегодня распухла, морщины растянулись, и все находили, что она стала очень интересной.

Мари сидела неподвижно в уголке дивана, маленькая, седенькая, с трясущимися розовыми щечками, держа у носика надушенный платок.

Стуча палкой, вошла Барб Собакина, костлявая, с седыми усами и бородой, и перекрестилась на иконы.

— Здравствуйте, матушка Марья Петровна, — сказала она неестественным, ханжеским голосом: — Какое горе!.. Узнаёте меня?

Мари сконфузилась, заморгала и пролепетала: — Как же, как же...

— Хорошие люди, видно, и там нужны, — пропела Барб, покрестилась около Нинон, прошептала на всю комнату: — Какая интересная! — и притворным голосом затараторила, идя к дивану:

— Кружевцо у ней на чепчике!.. Научите, матушка. Простите, понимаю, что теперь не время, но мы так... — Она нагнулась и заглянула Мари в глаза: — не часто видимся... Как это вяжут?

Мари, смущенная, смотрела. Барб стояла перед ней, навалившись на палку, и выжидательно глядела.

— Тогда не здесь, — пробормотала Мари: — Может быть, пройдете в мою комнату?

— Семь петель делается на воздух, — суетливо объясняла она на ходу, отодвигая драпировки и толкая двери. — На воздух... Столбиком... да, вот, здесь, в сундуке, образчик...

Синяя лампадка горела у икон. На столике под ними две маленькие розы без ножек плавали в блюдечке. Почти не слышно было через несколько стен, как матушка Олимпиада бубнит по-славянски над ухом Нинон. Старухи сидели на скамеечках перед раскрытыми сундуками, перебирали куски кружев, вышивки, рассматривали

их на свет, прикидывали их на черное, на красное и бормотали: — С накидкой... шашечкой... французский шов... — Мари взглянула на гостью, порылась, достала темную полированную шкатулочку, сняла через голову маленький ключик на черном шнурке и открыла.

— Барб, — сказала она и подала ей маленькую коричневую фотографию.

— Мари...

— Барб... сорок лет...

— Мари, вы знаете...

— Барб, это она... Утром, не успеешь причесаться, уже шипит: — Берегись ее, Мари! У нее на уме какие-то пакости. Она тебе натянет нос... — Трубила, трубила... а я...

— Я так и знала, — сказала Барб и засмеялась. — Как услышала сегодня, сейчас же взяла палку и явилась.

Мари захихикала. — Лежит кверху носом! Раздулась, как утопленник, а все — такая интересная, такая интересная!.. — И ты, Барб, тоже.

— Мари... глупенькая...

Они тихонько смеялись беззубыми ртами, и своими страшными коричнево-лиловыми руками Барб нежно гладила страшные ручки Мари и мутными белесыми глазами глядела в ее мутные белесые глаза.

— Ты все такая же хорошенькая, Барб...

— И ты, Мари...

— У тебя и тогда были маленькие усики и на щеках — пушочек... А помнишь, нас вели прикладываться, ты поправляла сзади пуговку, и я взяла тебя за пальцы...

— Да... Ах, Мари...

— Барб, помнишь...

Темнело. Горела лампадка. Розы в блюдечке пахли сильнее. Перед раскрытым сундуком валялось на полу белье. Старухи, улыбающиеся, умиленные, сидели на кровати. Матушка Олимпиада отворила дверь и позвала на панихиду.

— Сейчас, — сказала ей Мари. — Идите... Варенька, пойдем, бог с ними...

— Да, пойдем, бог с ними, — ответила Барб с счастливой улыбкой и подняла свою палку.

Они, обнявшись, медленно пошли по коридору. — Варенька, — мечтательно произнесла Мари: — а сколько счастья было бы у нас с тобой за сорок лет... Зажми нос, Варенька, — прибавила она злорадно, открывая дверь в гостиную.

Нинон лежала между тремя церковными подсвечниками, окруженная собственноручно взращенными в кадках эвкалиптами и лаврами и еще больше распухшая.

Гости, делая постные лица, говорили о ее твердом характере и о том, что она стала еще интересней: еще пополнела, помолодела и стала еще интересней. Мари с достоинством кивала головой, и ей хотелось подмигнуть, хихикнуть, высунуть язык. Она тихонько тронула Барб за руку, и Барб, счастливая, удерживая смех, пожала ее пальцы.

ЕВДОКИЯ

1

Анна Ивановна, в красном капоте, сидела над обрывом в тени сосны. Собачонка Эльза, пощипывая травку, бродила около.

В беловатом небе плыли ряды круглых, как капуста, облачков. За Двиной, против Анны Ивановны, была улица с одним рядом построек. Дачники покачивались в гамаках перед крылечками, завешанными парусиной с красными краями. Под откосами купались мальчишки. Корова стояла в воде передними ногами. Вправо начинался второй ряд домов, против него — задняя стена графинина парка, дальше — сквер и речка Елдыжка. За речкой стоял на горé большой белый костел, подымались на гору улицы, крестик маленькой церкви блестел в зелени. Позади местечка была еще гора, голая, поросшая одною травой, и на ней — расписная часовня.

— Здравствуйте, Анна Ивановна... Извините, я без корсета.

Фрау Анна Рабе стояла, в соломенной шляпе с цветами и белой кофте с синими букетиками, и, прижимая подбородок к воротнику, украшенному костяной ромашкой, приятно улыбалась. Она протягивала Анне Ивановне одну руку, а в другой что-то держала за спиной.

— Посидите, дорогая фрау Анна. Какие там корсеты — я в капоте... Откуда?

— Ходила к леснику за яйками. У меня одна кура хочет сидеть: взяла у лесничихи яйки — у ней есть хорошенькие курочки, — сказала фрау Анна, усаживаясь и ставя рядом с собой маленькую корзиночку. — Достала двадцать штук: ну, что вы скажете?

— Да, это действительно... Ну, а еще что вы сегодня делали?

— Когда пошла за яйками, видела Катерину Александровну с двумя служанками.

Анна Ивановна кивнула головой: — К обедне.

— Мадам Пфердхен на балконе пила кофе.

Анна Ивановна засмеялась. Фрау Анна потупилась.

— Говорят, она его хлещет прутьями.

Фрау Анна молчала и рассматривала заткнутые у нее за поясом маргаритки. Анна Ивановна побарабанила коротенькими пальцами по черной ленте на капоте.

— А где же ваша Цодельхен?

— Вот она, гуляет с Эльзом, — смотрите, какие это есть веселы две собачки.

Тень передвинулась, и солнце забралось к Анне Ивановне на ногу. Развеваясь, шевелились под затылком не поместившиеся в прическу волосы.

— Кто это идет купаться? Кажется, — Гаврилова?

Поговорили о фокусах Гавриловой — о том, как она бросилась в колодец. — И у нас мужья умерли, — сказала Анна Ивановна, — но мы — ничего́.

— Только плакали.

— Ну, это — конечно.

Помолчали. Медленно плыли плоты и скрипели веслами. — Кажется, мадам акцизничиха с мужем на огороде, — сказала фрау Анна, поднося к глазам ладонь. Анна Ивановна повела бинокль. — Она и есть. Мечется, как кошка, а он — босиком и в рубахе по щиколотку... Не едят мяса и ни с кем не знаются, и воображают, что умнее всех. — Она хотела хорошенько посмеяться над акцизным и акцизничихой, но под откос начал спускаться мужчина в парусиновых штанах. — Идет учитель! Раздевается! Всегда удивляюсь, как его до сих пор не засадили: это ведь шпион. Когда была японская война, он здесь шпионил... Посмотрим, нет ли на нем следов от прутьев. Нет, что-то незаметно. Хотите посмотреть? — Она протягивала бинокль. Фрау Анна покраснела и качала головой.

2

Белобрысая двенадцатилетняя Иеретиида в синем платье и черном фартуке, прискакивая, несла на плече лопату. За ней, сложив на выпяченном животе костлявые руки, шла Катерина Александровна,

в черном платье с белыми полосками и шляпе с крeповым хвостом. Сзади, неся под мышкой коробку с веером и зонтик, шла Дашенька — сорокалетняя, черная, грудастая и чванная. Идя по середине улицы, они спускались к берегу. Пахло цветущей липой. Лавочницы, сидя на табуретках, дремали у дверей. Вывески с подписью «Художник Цыперович» были украшены изображением дамы с распущенными желтыми кудрями. Она гуляла в красной шубе среди снегов: — Прием заказов, — сидела за столом, и перед ней лежали хлебы и стояли чаши, как на тайной вечере: — Дешевые еврейские обеды, по пятницам бывают пироги.

Около Пфердхеншиной аптеки свернули вправо и по мостику с дощечкой «мост опасен» вышли в зеленую улицу с серыми тропинками.

— Какая яркая трава, — сказала Катерина Александровна: — как будто маленькие дети раскрасили травку в тетради для раскрашивания.

Иеретиида загляделась на девчонку, которая бежала против ветра, держа над головой распяленную наволоку. Катерина Александровна внимательно смотрела на занимавшую длинный квартал булыжниковую стену графинина парка. Дашенька читала имена домовладельцев и разглядывала прибитые к воротам досочки, работы Цыперовича, с изображением пожарных принадлежностей.

— Тюленьи кожи идут на ранцы! — У учителя были открыты окна, он диктовал, расхаживая по комнате, без пиджака, с сладким лицом и с сладким голосом. Катерина Александровна отвернулась и старалась не думать о Пфердхенше, хлестанье прутьями и шпионстве: она считала себя женщиной возвышенного направления, которая не может интересоваться сплетнями.

Кончились дома по левую руку, Двина, незаслоненная, заблестела. Дачники покачивались в гамаках. Катерина Александровна окликнула Иеретииду, взяла у Дашеньки веер, чтобы отгонять комаров, и, повернувшись спиной к реке, они свернули вправо и по лесной дорожке пошли на кладбище.

Около могил развели два маленьких костра от комаров. Катерина Александровна села на скамейку, посидела, посмотрела на памятник с портретом старичка в медалях и эполетах, встала, перекрестилась, костры засы́пали.

Возвращались по другой дороге. За полем, в загородке из шиповника, стояло облезлое распятие и начиналась графинина булыжниковая стена. Проходя мимо растворенных ворот, Катерина Александровна повернула голову и смотрела на двор с круглой клумбой и белый фасад с закрытыми окнами: никого не увидела.

У калитки сквера она отпустила Дашеньку и Иеретииду и пошла под цветущими липами. Все дорожки приводили на площадку с фонтанчиком и четырьмя скамейками. Сбоку, в полосатой будке — белой с красным, сидела желтоволосая, с пористым носом и щеками, Роза Кляцкина; вокруг нее были расставлены бутылки с квасом. Цыперович, скрестив руки на груди, стоял снаружи и, принимая позы, заглядывал в Розины глаза.

Фрау Анна Рабе, в кисейном платье на синем чехле, с белым зонтиком и маленьким букетиком, вышла на площадку из другой аллейки. Катерина Александровна, обмахиваясь веером и расправляя креп, уселась с ней на ту скамейку, с которой не видно было Розы и Цыперовича. Цодельхен свернулась у кисейного подола. От лип сладко пахло. Темная зелень, закрывавшая солнце, казалась прозрачной.

— Посмотри́те, дорогая Анна Францевна, — сказала Катерина Александровна: — Мы сидим как будто в зеленом флакончике, и сквозь него проникает свет.

Фрау Анна подумала, приятно улыбнулась и закивала головой. — Ах, это есть очень красиво.

Они помолчали, откинувшись на спинку скамейки. Катерина Александровна думала об одной даме, которая на ее фразу поднесла бы элегантный и изысканный ответ...

Ксендз Балю́ль, с прыщеватым лицом, пробежал, согнувшись и бросая исподлобья шмыгающие взгляды. — Наверное, из палаццо[1], — сказала фрау Анна. Катерина Александровна моргнула. — Да, ведь графиня Анна, кажется, приехала?

— Приехала. Это есть очень неудобно: я покупала у ейного садовника салат, а теперь он не продает.

— Скажите, дорогая Анна Францевна, вы с ней знакомы?

[1] Дворец, особняк (*ит.*).

— Когда мой Карльхен был жив, он в палаццо лечил — тогда я тоже была с ними знакома. Но когда они мне фанатисмус показали, тогда я с ними больше не знакома.

— Что, вы говорите, они вам показали?

— Фанатисмус. — Она стала рассказывать, как Карльхен умирал и граф Бонавентура пришел с ксендзом: пусть Карльхен возьмет католицисмус. — Нет, нет! — Он говорил, что хочет перед смертью католицисмус принимать. Теперь он болен есть и не имеет память. Мы должны евонных первых слов выполнять. — Ксендз открыл сумку, фрау Анна распахнула форточку и закричала. — Это был целый шкандал, и мы с графинем Анном не есть теперь очень приятные.

Катерина Александровна встала, попрощалась и с этого дня начала избегать фрау Анны.

3

Канарейка трещала в клетке, собачонка Эльза грелась на подушке у горячей печки, на полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Анна Ивановна, в красном капоте, жмурясь от солнца, поливала из чайника фикусы. Катерина Александровна прошла мимо окон и позвонила, топая на крыльце ногами, чтобы отряхнуть снег. Анна Ивановна поставила чайник и побежала открыть. У нее была новость, и она торопилась ее рассказать.

Но Катерина Александровна думала о чем-то постороннем и, когда Анна Ивановна, сообщив ей об акцизничихином побеге, рассмеялась и, дернув головой, спросила: — Каковы вегетарьянцы? — она вздохнула совершенно равнодушно и сказала только: — Да, вот к чему ведут эти легкие идеи... Горячо любимая Анна Ивановна, — заговорила она сейчас же о другом, наморщив брови и глядя на стенной ковер с испанкой и двумя играющими на гитарах испанцами: — Мне вот что пришло в голову: о нашей речке. Вы живете здесь дольше, чем я, — скажите, ведь ее название (бессмысленное) — оно испорченное, а происходит от имени святой мученицы Евдокии?

Анна Ивановна пожала плечами, повела бровью и покрутила волоски на бородавке.

— Я восстановлю правильное название, — сказала Катерина Александровна.

Она пошла по узкой улице, поглядывая на маленькие окна с расставленными между рам игрушками — картонными лошадками и глиняными львами, — и, улыбаясь, думала, как одна дама ей скажет: — Я слышала о вашей деятельности — ведь это вы исправили название речки? Удивляюсь, что мы так долго не были знакомы...

Она, не откладывая, зашла к Цыперовичу и заказала десять досок с надписью «река святой Евдокии». На следующий день, после обеда, два мальчишки разгребали на речке снег, Иеретиида тащила вывески, Катерина Александровна несла в мерзнущих руках жестянку от цикория, в которой были гвозди, и молоток, а Дашенька везла на санках небольшую лестницу. Приколотив последнюю доску, Катерина Александровна подула на руки, — улыбаясь, втянула морозного воздуха и, осмотревшись, сказала: — Видите, Дашенька и Иеретиида, эти тоненькие веточки на светлом небе — они как будто вытравлены на серебре тоненькой иголочкой. — Что и говорить, — ответила Дашенька.

Расставшись с ними у мостика, Катерина Александровна зашла к становому. — Поговорим в канцелярии, — сказала она. — Это о деле.

Он зажег лампу на столе с юбилейной клеенкой — в честь трехсотлетия Романовых, и Катерина Александровна, положив перчатки на изображение императрицы Анны, рассказала о своем мероприятии. Становой подумал и сказал, что следовало обратиться предварительно, а теперь, раз дело сделано, — пускай висят. — Покончив с этим, перешли в столовую, где у становихи был заварен чай. Поговорили об акцизничихе — о том, к чему ведут легкие идеи, — и замолчали, задумались, смотря на блюдечки с вареньем. Становой ударил себя по голове. — Да, вот еще новость! Будет лотерея: присылали из палаццо, чтобы разрешить афишу. С душеполезной целью будут разыграны разные предметы...

— Вот когда! — Катерина Александровна пошла торжественная и ликующая. Луна, наполовину светлая, наполовину черная, была похожа на пароходное окно, полузадернутое черной занавеской. — Анна, — радостно сказала Катерина Александровна: — та завеса, которою ты от меня закрыта, тоже наполовину уже раздвинулась...

Дома она нашла письмо. Акцизный очень напыщенно писал ей, что так как ее положение в обществе высокое, то она может знать

больше других — может быть, знает, где его жена. И дальше — что неправда, будто эта девушка корчмаршина работница: она не работница, а родственница. К письму была приложена открытка для акцизничихи. На ней был нарисован петух и написано: — Вернись, Асюта, к своему петушку. Выслушала бы хоть объяснения.

— Вот дурак, — сказала Катерина Александровна. — Это я ей непременно расскажу... после лотереи.

4

Дул теплый, мокрый ветер, небо было серое, дорога почернела, потемнели серые заборы и дома. Катерина Александровна шла от обедни. — Этот ветер, — говорила она, — дует с моря. Час назад он надувал какие-нибудь паруса... Помните, как сказано в Деяниях: — Ветер бурный, называемый эвроклидон...

Перед костелом стояли графские сани. — Дашенька, Иеретиида, идите — я вернусь. Не зашла к Анне Францевне. — Она вернулась, дошла до угла, повернула обратно, несколько раз прошла мимо саней (на лотерее ничего не вышло: графиня Анна появилась на минутку, с ксендзом и двумя старушонками, на каких-то подмостках в конце зала и посмотрела в лорнет — и больше не показывалась; не пришлось даже как следует ее разглядеть — свет был скаредный, и на подмостках было темно). Креп, пришитый к шляпе, взвивался и вытягивался, накручивался на шею, бил по лицу. Нос покраснел, текли слезы. Подползли нищие и, голося, протягивали руки...

Рослая старуха, в красной шубе, с четками на шее, курносая, вышла из костела. Ксендз Балюль прощался с ней и низко кланялся. Нищие бросились. Катерина Александровна побледнела, у нее застучало в висках. Ксендз вернулся в костел, и графиня, раздавая нищим копейки, пошла к воротам. Катерина Александровна лизнула губы и рванулась: — Графиня, вас ли я... вот случай!..

— Прошем дать дорога, — сказала графиня, отодвинула ее локтем и села в сани...

— У вас неважный вид, — поцеловавшись, закачала головой Анна Ивановна. — Здоровы?

— Ничего... Да, нездоровится. Уеду в Тульскую губернию: эти оттепели...

— Фу ты, господи! Выпить горячего, поясницу обернуть фланелью: Катерина Александровна, пройдет! Я провожу вас до́ дому... Вы слышали, что графиня Анна сделала на деньги, которые выручила от лотереи? — Она со смехом рассказала, как графиня накупила какой-то дребедени — черт знает чего: какие-то павлиньи перья — знаете, как у извозчиков на шапках, — бумажные розы — и пожертвовала в костел для украшения.

— Как, на наши деньги?

— Ну, да... Умора! Становиха с попадьей ходили посмотреть: везде бумажные букеты, перья, кружева какие-то бумажные — вкус, знаете!

— Это правда. Я сейчас ее видела, в красной шубе, точно цыперовичевская вывеска.

— А, встретила — она тут проехала: фу-ты, ну-ты, разъезжает, будто в покоренном городе.

На следующее утро Катерина Александровна вышла по большой дороге за местечко. Иеретииде приказала идти следом, вместе с Дашенькой, чтобы не толклась перед глазами и не мешала думать. Она обдумывала большой план, была во вдохновении, лицо горело, и в животе сжималось: груда камней, мусор и сорная трава — вот что скоро будет на месте палаццо!

Утренняя луна таяла. — Наклоненная, — вздохнула Катерина Александровна, — словно унылое лицо... Какая бледная и кособокая: как облетевший одуванчик... Так и вы облетаете, мечты.

С прогулки она зашла к Анне Ивановне, которая еще лежала на кровати, и имела с ней секретный разговор, а днем, парадная, ходила по местечку, делая визиты. У фрау Анны пила кофе с пфефферкухеном, у становихи пробовала пирог, у попадьи не смогла есть и выпила воды с вареньем и полрюмочки церковного. Говорила о графине Анне: — как нагло она выманила у нее деньги для костела. Что же будет дальше? Ведет себя как будто в покоренном городе. Все русские должны объединиться и дать отпор иезуитским хитростям... Мы скоро увидимся — у Анны Ивановны на именинах... Вы слышали: акцизничиха вернулась. У Анны Ивановны будет одна дама, которая расскажет об этом все подробности.

5

Гости, с красными лицами, хлопали глазами. Гаврилова, пьяная от еды и от наливки, рассказывала, как к ней пришла акцизничиха. — Уже укладывалась спать, вдруг — стук. Является. В руках узел. — Пустите пожить. У вас не сыщут. Сестра пришлет денег, тогда уеду в Вологду. — «Вы меня не прогóните, вы сами несчастливы». — Смеет сравнивать! Мое несчастье от бога, у меня человек умер... Пока стояла, вокруг ножищ натаяла лужа: я, знаете, люблю чистоту... Дальше — хуже. Тут начнет донимать «Крýгом Чтения»: — Вы когда родились? — Первого апреля. — Посмотрим, что в «Круге Чтения» говорится на первое апреля... — Я хотела написать акцизному анонимное письмо — указать, где скрывается супруга, да такой уж медленный характер: пока всё собиралась да собиралась, у нее денежки вышли, а от сестры, конечно, шиш, никакого ответа. Она и вернулась. До того извела — я похудела!

Катерина Александровна, торжественная, в черном шелку, отодвинула изюм, поднялась, отерла рот и прочувственным голосом сказала: — Бедная вы моя Прасковья Александровна! Сколько вытерпели вы от этой негодницы. Они и меня не оставили в покое: ее муж посылал мне письма... Горячо любимая моя, я полюбила вас... А ведь вы — сестра моя: я тоже Александровна. — Ее губы дрогнули: она подумала: — И я такая же одинокая, как вы... — Она разжалобилась, ей хотелось заплакать о фразах, сочиненных для графини и сказанных Дашеньке...

Анна Ивановна обняла Гаврилову и громко целовала. Фрау Анна Рабе, приятно улыбаясь и прижимая подбородок к синему воротнику, поднесла Гавриловой букетик резеды. Попадья и становиха чокнулись с Гавриловой и закричали «ура». Она, вспотевшая, клала руку на сердце и раскланивалась.

— Я с отрадой вижу, — сказала Катерина Александровна, — как единодушно мы сейчас настроены. Хотелось бы, чтобы в таком единодушии мы навсегда и остались. Теперь такое время, что все русские должны объединиться и дать отпор иезуитским хитростям... Дорогая Анна Францевна, и вы с нами — она и вам показала свои когти.

— Она показала мне фанатисмус.

Катерина Александровна с одушевлением говорила об этой изуверке — как на русские деньги она украшает костелы, как не да-

ет покоя умирающим и держит себя словно в покоренном городе... Гости слушали, повеся головы, и сквозь кофейный пар исподлобья глядели на нее мутными глазами. — Что ж, Анна Ивановна, зелененький столик расставим или расходиться будем? — спросила почтмейстерша. Катерина Александровна встала и, величественная, сняла со спинки стула свою шаль: — Да, пора, я вижу. Прасковья Александровна, пойдемте. Вы посидите у меня, поговорим...

Темнело. Пахло снегом. Было тихо. В конце улицы, где синяя туча обрывалась, на небе светлелась желтая полоска. Катерина Александровна шла молча. Гаврилова была оживлена, покачивалась, призналась, что влюблена в учителя. Она отбила бы его у Пфердхенши, да — вот, не знает, как привлечь его внимание. Если бы блеснуть туалетами, — но пенсия небольшая, хватает только на прожитье.

— Горячо любимая Прасковья Александровна, мне, кажется, удастся вам помочь. Мы, может быть, объединимся, может быть, откроем русское училище... прогимназию... Я думаю, вас можно устроить в инспектрисы, будет жалованье, блеснете туалетами, и тут Пфердхенша останется ни с чем.

— Подожмет хвост, колбасница. Узнает, как хлестать прутьями. Ах, шельма!

Катерина Александровна отвернулась и прищурилась.

6

В палисаднике у фрау Анны Рабе зацвели маргаритки. Анна Ивановна вытащила на веранду свои фикусы и клетку с канарейкой. Из Петербурга приехала Марья Карловна с семьей: три маленькие девочки с косичками и нянька. Катерина Александровна поместила их в доме и перешла с Дашенькой и Иеретиидой во флигель.

Когда Марья Карловна выспалась после дороги, Катерина Александровна повела ее пройтись. Она рассказывала о лотерее и объединении русских. — Тетечка, — сказала Марья Карловна, — мне кажется, объединение потому не удалось, что вы собирали их не у себя. Если бы они были у вас в доме, понимаете...

— Мари, я боялась: надоедят, а уйти некуда; а тут я — гостья: попрощалась и пошла.

— И потом — жаль, что говорили об акцизничихе: весело настроились, и серьезное не шло в голову.

— Ах, Мари, ты их не знаешь — они не могут без этого... я обдумала...

— Мы их еще объединим.

Катерина Александровна молчала. Светлели голубые и зеленые промежутки между облаками. Из палисадников пахло жасмином. Купальщики возвращались — с побледневшими лицами и мокрыми волосами. Над Пфердхеншиной крышей виднелась маленькая белая звезда.

На следующий день, под вечер, вымыв чайную посуду, Марья Карловна оглядела свою вертлявую фигурку, провела ладонями по кофте и белой полотняной юбке и накинула на голову шарф. — Иду...

Русские были объединены. Сидели на белых диванах с зеленой обивкой в гостиной у Катерины Александровны, степенно говорили об иезуитских хитростях, потом катались в лодках или усаживались на доставленные становым подводы и отправлялись в лес; когда проезжали мимо палаццо, Марья Карловна махала флагом и кричала со своими маленькими девочками: — Да здравствует Россия! — Каково ей это слышать, — ликовали дамы. В троицын день все приняли участие в крестном ходе и несли кресты, хоругви и иконы. Вечером часто заходили в сквер, где играли четыре тщедушных музыканта с длинными носами, подымали шум и кричали: — Гимн! — Все вставали, снимали шапки... Роза Кляцкина вставала в своей будке. На минуту под липами становилось тихо, потрескивали в тишине фонарики... Звучала торжественная музыка, кричали «ура» и требовали повторить.

Катерина Александровна мало участвовала в этих развлечениях: она обдумывала завещание. Каждый день она после обеда взбиралась на гору, поросшую твердой травой с желтыми цветами, и бродила перед расписной часовней: Ирод закусывал с гостями... перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса, нарисованная Цыперовичем над трактирной дверью. Катерина Александровна бродила между кострами и смотрела на дорогу: не появится ли из палаццо маленькое шествие, не идет ли графиня Анна с ксендзом Балюлем и двумя старухами в красных пелеринах (наконец-то удалось бы ее рассмотреть — должно быть, хороша: как она величественно стояла на крыльце костела, в красной шубе)... Оставив старух внизу, где Дашенька и Иеретиида напевают и ищут одна у другой в голове, графиня, опираясь на

ксендза, взобралась бы, дала бы ему знак остановиться, а сама бы подошла и опустила голову. Катерина Александровна сказала бы: — Здравствуйте, графиня...

7

Прикладывались. Духовное лицо держало крест и восклицало: — Слава тебе, боже, слава тебе, боже. — Дашенька и Иеретиида запирали в шкаф возле свечного ящика ковер и зеленую сафьяновую подушку для коленопреклонений. Катерина Александровна, с просфорой в узелке, ждала их в притворе. К ней подошел зеленоватый старичок в коричневом пальто и представился: Горохов, директор гимназии, председатель городского братства святого Александра Невского. Братство кланяется Катерине Александровне и желает ей победы в борьбе с иезуитскими происками.

После обеда сидели в сквере. Катерина Александровна, без шляпы, в широком белом платье с черными полосками, обмахивалась веером. Горохов рассказывал о братстве, как оно ходило с крестным ходом в день перенесения преподобной Ефросинии, и как дало концерт для усиления своих средств и вызолотило большое соборное паникадило... Он уговаривал открыть братство в местечке. — Вы могли бы заказать хоругвь, она хранилась бы в вашем доме, а в процессиях развевалась бы над головами — какая красота!

Цыперович стоял перед будкой... Ксендз Балюль пробежал, согнувшись. Катерина Александровна не видела, как Горохов выразительно указывал на него глазами. Не поворачивая головы, она сказала: — Посмотрите, как эту зелень пронизывает солнце: как будто мы на него смотрим из зеленого флакона...

Шли по дорожке между речкой и огородами. Горохов нес в руке свою шляпу, Катерина Александровна придерживала костлявыми пальцами шлейф. Низкое солнце освещало желтые лица и седеющие головы. — Вот и дощечка, — радостно сказал Горохов: — река святой Евдокии. — Катерина Александровна смотрела в сторону.

Изгороди кончились. Запахло клевером. — Взгляните на гвоздички, — показала Катерина Александровна: — Они напоминают мне причастие. Как будто капельки святых даров... Напрасно предложенных и оттолкнутых.

Когда возвращались, голубоватое небо стало сиренево-розовым. Они обернулись и посмотрели на двойной красный овал лежащего

на поверхности речки солнца: — Катерина Александровна, зрелище этих двух солнц не говорит ли вам о двух братствах: святого Александра и святой Евдокии?.. — Но Катерина Александровна думала не о двух братствах, а о двух дамах: величественные, в светлых платьях, розоватых от вечерних лучей, они смотрят с горы и, растроганные, обмениваются отборными фразами...

8

Александро-Невское братство прислало приглашение на открытие памятника, построенного по рисунку штабс-капитана Кацмана в воспоминание о посещении города великим князем. Дамы, разодетые, отправились с Марьей Карловной. На вокзале их встретил Горохов. — Катерины Александровны нет? Ах, боже мой: владыка хотел поговорить с ней о братстве... Подумайте, какая красота: имели бы свою хоругвь, и она бы развевалась над головами!

Он разместил их у решетки, за которой стояло что-то тощее, закрытое холстиной. — Я боюсь, — кокетничала одна дачница: — вдруг там скелет! — По краям четырехугольной площади были расставлены солдаты. Золотой шарик на зеленом куполе слепил глаза и разбрасывал игольчатые лучики... На колокольне затрезвонили. Из дверей, нагнувшись, вылезли хоругви и выпрямились. Сияли иконы, костюмы духовных лиц и эполеты. Епископ в голубом бархатном туалете с серебряными галунами остановился у решетки.

Сдернули холстину, и памятник открылся и заблестел; на цементном кубике стояла, дулом вверх, пушка, и на ней — золоченый орел в короне. — Как мило, — щебетали дамы, отклоняясь от брызг святой воды, и оттопыривали локти, чтобы ветер освежил вспотевшие бока. — Говорят, штабс-капитан Кацман припечатал на своих визитных карточках — «скульптор».

Пока происходил парад и офицеры, махая саблями, кричали и ходили задом наперед, епископ пожелал дать Марье Карловне аудиенцию. Он говорил о Катерине Александровне, жалел, что ее нет, и надеялся ее скоро увидеть, а покамест посылал ей благословение и складень с иконами святой Екатерины и святой Евдокии.

После парада было угощение в палатке. Говорили о войне, которая начнется завтра или послезавтра, в крайнем случае — на той неделе. Взволнованные возвращались дамы в местечко: соображали, куда бежать. — Хорошо вам, фрау Анна: вы можете им сказать, что родились в каком-нибудь ихнем Ганновере, и конец.

— Это надо врать? — сказала фрау Анна: — Никогда не врáла.

— Господи, а я куда деваюсь, — думала Гаврилова. — А как же прогимназия, раз всё уедут?.. — К концу дороги она придумала, если начнется война, пойти к учителю и попросить, чтобы принял вместе шпионить.

— Я и то собиралась с вами в Петербург, — сказала Катерина Александровна, выслушав от Марии Карловны доклад: — здесь опротивело: понимаешь, Мари, не с кем слова сказать. Надо будет съездить в город, чтобы перевели пенсию на петербургское казначейство.

Война не начиналась. Приехал муж Марьи Карловны. Ходил на речку загорать; возвращаясь, выпивал у Розы Кляцкиной бутылку квасу; после обеда спал, а вечером участвовал в увеселениях. Под Иванов день Анна Ивановна дала у себя в саду праздник. На яблонях висели бумажные фонарики. Были наняты музыканты из сквера и телеграфист по станции, который умел устраивать фейерверк. Перед садом прогуливалось все местечко. В полночь телеграфист зажег бенгальские огни, все осветилось, и мальчишки громко читали написанные на противоположном заборе слова.

9

Анна Ивановна и Марья Карловна сидели в цветнике у фрау Анны Рабе. — Целый вечер я на фисгармонии канты играла, — рассказывала фрау Анна: — тогда совсем темно стало, и я фисгармонию закрыла и пошла немного на крыльцо стоять. На небе было много звездочки, я голову подняла и смотрела. Это есть так интересно — там я видела один кашне и разную кухонную посуду: много разные кастрюльки, горшки... Тогда я замечала там один цветок — как раз как моя брошка, эта маленькая ромашечка, которую мне Карльхен привез из Риги... И я была счастливая и думала, что это есть душа от моей брошки, стояла и смеялась. Приходит Лижбетка: — Барыня, вы видели Цодельхен? — Нет... — И вот, сегодня ей нашли за огородом в крапиве.

— Да, — сказала Анна Ивановна, смотря на затянутый фасолью забор: — Сегодня Цодельхен, завтра — Эльза, а там... — Она замолчала и подняла глаза на серенькое небо. Марья Карловна вздохнула и закивала головой.

— Это была любимая собачка моего Карльхен. После обеда он идет немного посмотреть свои больные, наденет свою шляпочку —

он имел такую маленькую шляпочку с зеленым перышком, — и кричит на Цодельхен: — Цодель! — И тогда Цодельхен бежит с им вместе. Я полью грядки и присматриваю себе на кухне. Тогда вдруг гавкает этот собачка. Я скоренько передник долой и бегу встречать. Цодель прыгает на мене с лапам, Карльхен есть на углу, он машет своим шляпочком и крутит над головой кошелек: это есть, что он имеет много денег...

Она низко наклонила голову.

Гостьи, опустив глаза, молчали. Пахло цветами. Чай остывал в трех чашках... Застучали дрожки, остановились, все подняли головы, хлопнула калитка, и по обсаженной сиренью дорожке прибежал муж Марьи Карловны.

— Катерины Александровны здесь нет? Война объявлена. Становой присылал сказать: приехали со станции, и вот...

Дамы встали. — Катерина Александровна на горé, — сказала Марья Карловна: — Обдумывает завещание... Беги...

— Как тиха сегодня твоя земля, господи. Проехали со станции, прогремели, и опять тихо. Вон, какие-то верзилы купаются, — и не горланят... Дорога к палаццо лежит под деревьями как мертвая... — Катерина Александровна задумалась. Ей вспомнился такой же серенький вечер: читать стало темно, она открыла дверь на балкон и посмотрела на улицу. Из палисадника пахну́ло теплой сыростью, прелыми листьями... Два узких желтых листика висели на красно-коричневой ветке. Было тихо. Маленькие купола с белесоватой позолотой тянулись на тонких шеях к серенькому небу...

— Катерина Александровна, война объявлена!

Катерина Александровна перекрестилась. — Спуститесь, я подумаю. — Через несколько минут она сошла с горы. — Завтра будем укладываться. Идемте, надо устроить манифестацию. — Быстро пошли по мягкой от пыли дороге. Дашенька и Иеретиида шагали сзади.

Съели по кусочку хлеба с маслом. Катерина Александровна поправила прическу и надела цепь. Марья Карловна наскоро причесалась, надела белую кофту, пригладила ее ладонями и одела девочек в белые платья. Она дала им тон, и они спелись. Ее муж взял Катерину Александровну под руку. — Тетечка, вы — с ним, я с

детьми — перед вами, Дашенька — впереди, с флагом. Иеретиида пойдет сзади. Около Пфердхенши будем кричать «долой Германию». — Катерина Александровна сказала: — С богом, — сделали важные лица, Иеретиида открыла калитку, запели «боже, царя храни» и вышли на улицу.

Уже темнело, когда Гаврилова и ее дачница дочистили крыжовник. Гаврилова перекрестила блюдо и сказала: — Ну, в час добрый. — Вытерли шпильки и воткнули их на место, в волосы. Сполоснули руки, разулись, повязали головы, поставили самовар и спустились под откос — купаться.

— Мальчишки, убирайтесь! — Пока мальчишки одевались, посидели на камне. Обрыв на другом берегу был желто-красный, будто освещенный заходящим солнцем...

Наплавались и, с счастливыми лицами, скрестив руки, тихо стояли в воде. — Погодите-ка, что за история? — По улице шла толпа с флагами. Дачница вылезла, натянула рубаху и побежала узнать. — Война объявлена, — задыхаясь, крикнула она через минуту и схватила платье: — Акцизный на крыльце с флейтой: — боже, царя... Побегу, обуюсь...

— Трубу с самовара снимите, — закричала, поглядев ей вслед, Гаврилова. Она одна стояла над водой... Трясущимися руками завязывала тесемки и застегивала крючки.

ПИСЬМО

1

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет Бог и расточатся враги его. Козлова приложилась и, растирая по лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла интернационал.

— Мерзавцы, — шептала Козлова, — гонители... — Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски. Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье. Вот — чай. Мосье рассказывает о лурдской богородице. Авдотья отворяет дверь и подслушивает. Козлова показывает на нее глазами. — Приветливая женщина, — говорит мосье. Потом он берется за шляпу, Козлова встает, и они отражаются в зеркале: он аккуратненький, седенький, раскланивается, она — прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах — старомодная улыбка. — Приходите, мосье... — А вот — в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья. — Как грустно, мосье... — Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика» и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном. — Так и вы, мосье, забудете нас, как сон. — О, мадмуазель! — Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой. — Кого же и назвать сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб, — напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечерá Козлова просиживала на лежанке — штопала чулки или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский день — ходили

с Авдотьей в баню: орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. — Гражданка, гражданка, — высовываясь из будок, зазывали торговки: — барышня или дамочка!

Иногда приходила Суслова, и долго пили чай: хозяйка — чинная, с любезной улыбкой, гостья — растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях. — В Петербурге я кого-то видела, — рассказывала круглощекая Суслова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая — с Адмиралтейством): — Не знаю, может быть — саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и — порх в подъезд. — Может быть, экономка с покупками, — отвечала Козлова.

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров.

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные. — Мерзавцы, гонители. — Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет? — Потом взошла луна, и души смягчились. В соборе трезвонили, в саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Демещенку, Гаращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками. Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой. — Венеция, — прошептала Козлова. — Венеция э На́поли, — ответила Суслова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно: — Когда горел кооператив, загорелись духи и так хорошо запахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу — в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано. — Кого же и назвать сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб. — Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед службой забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду. Столб с преображением и зеленым куполом стоял под кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило си́нее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображением. — Недолго мучиться, — радостно подумала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно. Хотела сходить к Сусловой. Но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Солнце садилось, и закат был простенький — одна полоска красноватая и одна зеленоватая... Козлова была любительница поливать. — Когда поливаешь, — говорила она, — душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Лила двенадцатую лейку — и луна блестела в быстро исчезавших лужицах. Заиграл оркестр, Козлова бросилась к воротам. Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на виселице. Свет перебегал по лицам маршировщиков. — Ать, два! Левой! Да здравствует коммунистическая партия! Ура! — Разинув рот, маршировала Суслова. Из темноты прибежала Авдотья: — Англия воюет.

Перед киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью. С светлым лицом, Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. — Пасха, — наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Суслову.

3

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол: дребезжа, подпевали стекла. Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: — товарищ Ленин. — Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую. — Завтра Иоанна-воина, — сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. — Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и знаете — ее забрали и присудили на три года. — Хорошая женщина, — подумала Козлова: — религиозная... Сутыркина, кажется. — Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: — Вы где живете?

Вышли вместе — Козлова степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина — вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями. У калиток ломались перед девушками кавалеры. Мальчишки горланили «смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной. — Свое холщовое пальто, — говорила Сутыркина, — я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них караулила сад. Жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера! — Вы говорите, в девятнадцатом году, — сказала она любезным и приятным голосом: — Помните, все́ тогда ахали — того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиться хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды. — Вы не были на губернской олимпиаде? — спрашивала иногда Сутыркина: — почти совсем голые! Фу, какое неприличие. — И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида.

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись клены. Рябины с красными кистями напоминали Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась. Нагнала́ Сутыркина: — Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов. — Козлова поджала губы. — Знаете, — с достоинством сказала ей Сутыркина, — я всегда сообразуюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку — пополнять свои сельскохозяйственные знания.

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету. — Вот два интересных объявления. — Все́ на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина — к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое — от епископа: седьмого ноября во всех церквах будет торжественная служба и благодарственный молебен. — Понимаете, какие теперь веяния?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника.

Александра Николаевна вышла замуж за Петра Ивановича — стоя под венцом, они блистали красотой. А Николай Егорыч прихо-

дил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку — она сама нарисовала эти фиалки, когда была молоденькой. Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Суслова — красная, в большом платке, с петухом под мышкой. — Ну, как? — бормотала она. — Давно не встречались... Тяжело жить. Вот, купила петуха — на два раза. При такой-то семье... Мусью не пишет? — Козлова взяла ее за руки. — Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки. Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам. Из ворот был виден монастырь святого Кукши — тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились коричнево-красный дворец и желтое Адмиралтейство. Сегодня вечером чувствительная Суслова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из приложений, будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином. — Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, — скажет Козлова: — настоящей дружбы у нас с ней не было...

Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург. — Мосье, мосье! — На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. — Письмо тебе, — отворяя дверь, сказала Авдотья.

СБОРНИК «МАТЕРЬЯЛ»

ПРОЩАНИЕ

Зима кончалась. В шесть часов уже светло было. Открыв глаза, Кунст видел трещины на потолке, из трещин получалась юбка и кривые ноги в башмаках с двумя ушка́ми. За стеной сиделка уже шлепала своими туфлями без пяток и будила раненого. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. — Безобразие, — говорила она и показывала головой на стену. Замолчав, она прислушивалась и потом смеялась. Кунст краснел.

В студенческом пальто, с кусочком хлеба, завернутым в газету «Век», в кармане, он выходил из дома. Снег был темен. Почки рожками торчали на концах ветвей. Старухи возвращались из хвостов и прижимали к кофтам хлебы. Сумасшедшие солдаты, разбредясь из лазаретов, бормотали на ходу.

Встречалась прачка Кубариха и здоровалась. Порядочные люди разбежались, — горевала она, — нет уже тех жильцов. Вот и она — впустила к себе фею, уличную бабочку.

Звенел трамвай. — Вперед пройдите, — восклицал кондуктор. Лед на реках посерел уже. Перед домами было сухо. Саботажники с газетами кричали на углах. За Троицким мостом Кунст вылезал и шел по набережной. Темные дворцы смотрели мрачно. Каменные старики стояли в рыжих нишах, разводя руками и выделывая па.

Иван Ильич уже писал, тщедушный, за большой конторкой с перламутровыми птицами, и Мирра Осиповна, поправляя волосы, уже сидела. В меховом воротнике, она поеживалась и подрагивала. — Слушайте, я замерзаю, — говорила она томно и драпировалась.

Прибегал начальник Глан, коротенький, в коротеньком костюме, и, усевшись в кресло, разворачивал свою газету «Луч». — «Навстречу голоду» — прочитывал он громко. Девушка Маланья, колыхая мякотями, разносила чай. Мужчины на нее посматривали сбоку.

Заходил инструктор Баумштейн с докладом, и начальник Глан величественно слушал его.

— Честь имею, — козырял инструктор Баумштейн и подмигивал девицам.

— Но какой он интересный, — удивлялись они. — Я пишу магистерскую диссертацию, — взглянув на окна, говорил тогда Иван Ильич: — и каждый вечер я на несколько часов позабываю эту жизнь. — Ах, я понимаю вас, — роняла набок голову и нежно улыбалась Мирра Осиповна.

— Время, — наконец, сорвавшись с места, складывал начальник Глан свой «Луч». Все схватывались. Доставалась пудра и карандаши для губ. Иван Ильич смотрелся в лак конторки и со скромным видом освежал пробор. У выхода стояли саботажники с газетами. — Вичернии, — кричали они звонко и приплясывали. Хлопали себя руками по бокам и топали ногами низенькие генералы с «Новым Временем». Шпиль крепости блестел. Морские облака летели.

Сбросив обувь и взяв в руки «Век», Кунст осторожно, чтобы не измять штаны, укладывался на кровать. Сиделка за стеной похрапывала. Возвращалась из конторы Фрида и шумела. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. — Что в газетах? — говорила она и присаживалась. — Фрида все поет. Она такая поэтическая. Я была другая. — Иногда, таинственно хихикнув, она делала игривое лицо. — Письмо, — с ужимками вручала она и хитро смеялась: — Верно, от хорошенькой. — Кунст брал конверт и, посмотрев на свет, вскрывал. Писала тетка. «Приезжай», — звала она. — «Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Стаял снег. Подсохло. Лед прошел — с дорогами и со следами лыж. На улицах уселись бабы с вербами. — Нам будет выдача, — обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич. — Мед с пчелами, — вскочила Мирра Осиповна и, считая, отогнула палец. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась. — Красная икра и грушевый компот в жестянках! — К концу дня костлявая девица с желтой головой промчалась через комнату. — Не расходитесь, — объявила она. — Ждите. Я поеду на грузовике за выдачей. — Возьмите двух вооруженных, — закричали ей. — Возьму, — сказала она, обернувшись, и светло взглянула: — И сама вооружусь. — Девица Си́мон, — проводив ее глазами, посмотрел Иван Ильич вокруг. — Пожалуй, правильнее было бы Симо́н, — предположил он погодя, подумав. Ждали долго. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась: — Как коров поить, — сравнила она. Тени появились. За окном газетчики кричали на мотив романса «Провожала»:

— ви-чер-нии —

Кунст, опершись на подоконник, тихо подтянул им, и Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

слезы лились
из вокзала

— шепотом пропели они вместе и сконфузились.

Настала пасха. Делать было нечего. Кунст спал, смотрелся в зеркало, ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли. — Ах, что вы получили, — разглядела она и прижала к сердцу руки. — Фриде дали воблу: тоже хорошо. — В соседней комнате сиделка угощалась с сослуживицами. Ударяли в бубен, пили спирт и крякали. Они ругали раненых: — Чуть выйдешь, — говорили они, — а уж он порылся у тебя в корзине. — Дезинфекцией тянуло от них. Фрида, поэтическая, распустила волосы, открыла в коридоре форточку и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед палисадником. Кунст вышел, и они пошли за ним. Он встретил Ку́бариху в праздничном наряде. — Заверните, — зазвала она и подала кулич с цветком на верхней корке и яйца. Фея — уличная бабочка — была приглашена. Красиво завитая, она скромно кашляла, чтобы прочистить горло, и учтиво говорила «да, пожалуйста» и «нет, мерси». — Вот то-то, — одобряла ее Кубариха, и она краснела.

Раздвигая прошлогодний лист, полезли из земли травинки. Птичка завелась на Черной речке и по вечерам посвистывала. Фея принялась ходить под окнами. Конфузясь, Кунст задергивался занавеской. Беженцы из Риги стали приезжать из города по воскресеньям. Сняв чулки и башмаки, они сидели над водой. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них. — Мои компатриоты, — поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть и сняла свой воротник. Она носила с собой ветки с маленькими листиками и, потребовав у девушки Маланьи кружку, ставила их в воду. Забегал инструктор Баумштейн и, нагнувшись, нюхал их. — Ах, — заводя глаза, вздыхал он. — Утро года, — говорил Иван Ильич, обдергиваясь. Перламутр на его конторке блестел. За окнами синелось небо, Кунст засматривался, и письмо от тетки вспоминалось ему.

Приоткрыв однажды дверь, девица Си́мон крикнула, что выписали наградные. — Неужели, — поднялась и томно сомневалась Мирра Осиповна. Девушка Маланья появилась среди шума. — Получать, — осклабясь, позвала она. Все ринулись. — Расписывайтесь, — ликовала за столом бухгалтерша и стригла листы денег. — Дельная бабенка, — толковали про нее, толпясь. — Урок для скептиков, — сказал Иван Ильич и посмотрел на Мирру Осиповну.

Девушка Маланья шлепнула кого-то по рукам. Приятно было. Через день пришел мужчина и созвал собрание: союз не допускает наградных. Постановили, что их нужно вычесть, и вернулись на места уныло. — Я не ожидала, — говорила Мирра Осиповна мрачно. Вытащив из кружки свою ветку с листьями, она ломала ее. — Вы читали Макса Штирнера? — согнувшись и повеся нос, бродил Иван Ильич. Кунст думал, положив на руки голову. «Я еду», — написал он тетке и купил билет.

В последний раз хозяйка принесла вечерний чайник. — Я сама уехала бы, — села она и потерла рукавом глаза. — Курляндская губерния, — потряхивая головой, торжественно сказала она: — никогда не позабуду я тебя. — Кунст вышел на крыльцо. Луна без блеска, красная, тяжеловесная, как мармеладный полумесяц, пробиралась над задворками. Закутавшись в большой платок, сиделка, неподвижная, сидела на ступеньке. Кунст сел выше. Красный запад был исчерчен пыльными полосками. Далеко свистнул паровоз. — Фильянка, — прошептала, не пошевелясь, сиделка. — Может быть, приморская, — подумал молча Кунст.

С рассветом подкатил извозчик. Капал дождь. — Прощайте, — крикнула с крыльца хозяйка. — Прощайте, — обернулся Кунст. — Прощайте, — высунулась Фрида из окна. — Прощайте. — Поэтическая, в одеяле и чепце, она махала голыми руками. Фея — уличная бабочка, позевывая, шла домой. — Прощайте.

КОЗЛОВА

1

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет бог и расточатся враги его.

Козлова приложилась и, растирая по лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла Интернационал.

— Мерзавцы, — шептала Козлова, — гонители...

Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски.

Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье.

Вот — чай. Мосье рассказывает о лурдской богородице. Авдотья отворяет двери и подсматривает. Козлова показывает на нее глазами. — Приветливая женщина, — говорит мосье. Потом он берется за шляпу, Козлова встает, и они отражаются в зеркале: он, аккуратненький, седенький, раскланивается, она — прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах — старомодная улыбка. — Приходите, мосье...

А вот — в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья. — Как грустно, мосье... — Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы:

Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном.

— Так и вы, мосье, забудете нас, как сон.

— О, мадмуазель.

Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб», — напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечера Козлова просиживала на лежанке, — штопала белье или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский день — ходили с Авдотьей в баню: орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. — Гражданка, гражданка, — высовываясь из будок, зазывали торговки: — барышня или дамочка!

Иногда приходила Суслова, и долго пили чай: хозяйка — чинная, с любезной улыбкой, гостья — растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях. — В Петербурге я кого-то видела, — рассказывала круглощекая Суслова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая — с Адмиралтейством). — Не знаю, может быть — саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и — порх в подъезд. — Может быть, экономка с покупками, — отвечала Козлова...

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров...

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.

— Мерзавцы, гонители...

— Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?

Потом взошла луна, и души смягчились... В соборе трезвонили. В саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Демещенку, Гаращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками.

Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой:

— Венеция, — прошептала Козлова.

— «Венеция э Нáполи», — ответила Суслова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно:

— Когда горел кооператив, загорелись духи, и так хорошо запахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу — в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано:

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб».

Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед канцелярией забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду.

Столб с преображением и зеленым куполом стоял под кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображением.

— Недолго мучиться, — радостно думала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно — хотела сходить к Сусловой, но, встав изза стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Садилось солнце, и закат был простенький: одна полоска — красноватая и одна — зеленоватая.

Козлова была любительница поливать. — Когда поливаешь, — говорила она, — душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Ли́ла двенадцатую лейку, и луна блестела в быстро исчезавших лужицах. Загремел оркестр, Козлова бросилась к воротам.

Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на виселице. Свет перебегал по лицам. Раскрыв рот, маршировала Суслова.

— Ать, два, — покрикивали в темноте. — Ура.

Авдотья прибежала: — Англия воюет.

У икон зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью.

С светлым лицом, Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. — Пасха, — наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Суслову.

3

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол, дребезжа подпевали стекла.

Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: — Товарищ Ленин.

Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую.

— Завтра Иоанна-воина, — сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. — Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и, знаете, ее забрали и присудили на три года.

— Хорошая женщина, — подумала Козлова, — религиозная... Сутыркина, кажется.

Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: — Вы где живете?

Вышли вместе: Козлова — степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина — вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями.

У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной.

— Свое холщовое пальто, — говорила Сутыркина, — я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них караулила сад, жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера!

— Вы говорите, в девятнадцатом году, — сказала она любезным и приятным голосом: — Помните, все тогда ахали — того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиться хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды.

— Вы не были на губернской олимпиаде? — спрашивала иногда Сутыркина: — почти совсем голые! Фу, какое неприличие. — И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида...

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись клены. Рябины с красными кистями напомнили Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала Сутыркина: — Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов. — Козлова поджала губы.

— Знаете, — с достоинством сказала ей Сутыркина, — я всегда соображаюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку, — пополнять свои сельскохозяйственные знания...

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету.

— Вот два интересных объявления.

Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина — к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных

и кондитерских изделий. Другое — от епископа: седьмого ноября во всех церквах будет торжественная служба и благодарственный молебен.

— Понимаете, какое теперь веяние?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника. Александра Николаевна вышла за Петра Иваныча — стоя под венцом, они блистали красотой. А Алексей Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была молоденькой...

Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Суслова — красная, в большом платке, с петухом под мышкой.

— Ну, как? — бормотала она. — Давно не встречались... тяжело жить. Вот, купила петуха — на́ два раза. При такой-то семье...Мусью не пишет?

Козлова взяла ее за́ руки. — Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки.

Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам.

Из ворот был виден монастырь святого Кукши — тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились: красно-коричневый дворец, желтое Адмиралтейство...

Сегодня вечером чувствительная Суслова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из «Приложений», будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином. — Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, — скажет Козлова: — Настоящей дружбы у нас с ней не было.

На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье Пуэнкарэ.

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

1

Шевеля на ходу плечами, высóко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула из улицы Германской революции в улицу Третьего интернационала.

С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами.

Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо.

Дверь хлопнула. Торговки, сидя на котелках с горячими углями, предложили Кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он, радостный, спустился нá реку.

— Пожалуй, — мечтал он, — уже разделась! Ах, черт возьми.

Ледяная корка на снегу блестела на вечернем солнце. Погоняя лошадей, мужики ехали с базара. Вереницами шли бабы с связками непроданных лаптей и перед прорубью ложились на брюхо и, свесив голову, сосали воду:

— Животные, — злорадствовал Кукин.

Когда он шел обратно через сад, луна была высóко, и под перепутанными ветвями яблонь лежали на снегу тоненькие тени.

— Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков, — подумал Кукин, и ему представились захватывающие сцены между ним и Лиз, расположившимися на белых лепестках.

Он посмеялся шуткам молодых людей, которые подзывали извозчиков и говорили «проезжай мимо», и в приятном настроении повернул в свой переулок.

Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной еловыми ветвями двери висело объявление: труппа батальона ставит две пьесы — «Теща в дом — всё вверх дном» и антирелигиозную.

Чайник был уже на самоваре. Мать сидела за евангелием.

— Я исповедовалась.

Кукин сделал благочестивое лицо, и под тиканье часов «ле руа а Пари» стали пить чашку за чашкой — седенькая мать в ситцевом платье и ее сын в парусиновой рубахе с черным галстучком, долговязый, тощий, причесанный ежиком.

2

В канцелярию приковыляла хромоногая Рива Голубушкина и велела идти к Фишкиной — графить бумагу.

— Читали газету? — спросила она, подняв брови: — есть статья Фишкиной: «Не злоупотребляйте портретами вождей». — И, откинув голову, она выкатила груди.

Было холодно. В открытое окно дул мокрый ветер.

Рива усердно переписывала. Кукин, стоя, разлиновывал.

Фишкина, приблизив темное лицо к его руке, смотрела, и ее черная прическа прикоснулась к его бесцветным волосам. Тогда она встряхнулась и отошла к окну.

Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная. Потом негромко высморкалась и, повернувшись к комнате, сказала:

— Товарищ Кукин.

Приоткрылась дверь, и кто-то заглянул. Она надела желтую телячью куртку и ушла.

— Вы ей понравились, — выкатывая груди, поздравляла Рива и таинственно оглядывалась. — Старайтесь к ней подъехать: она вас будет продвигать. Жаль только, что нас с ней переводят. Но ничего, я вам буду устраивать встречи.

— Возможно, — радовался Кукин. — В конце концов, я не против низших классов. Я готов сочувствовать. — И, ликуя, он насвистывал «Вставай, проклятьем».

Красные и синие шары метались по ветру над бородатым разносчиком. На углах голосили калеки. От дома к дому ходила старуха в черной кофте:

> подайте милостыньку, христа ради,
> что милость ваша —
> кормилица наша,
> глухой, больной старушки.

У ворот с четырьмя повалившимися в разные стороны зелеными жестяными вазами Кукин положил руку на сердце: здесь живет и томится в компрессах Лиз. У нее нарывы на спине — в газете было напечатано ее письмо, озаглавленное «Наши бани».

В библиотеке висели плакаты: «Туберкулез! Болезнь трудящихся!» — «Долой домашние! Очаги!»

— Что-нибудь революционное, — попросил Кукин. Девица с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам.

— Сейчас нет. Возьмите из другого. «Мерседес де-Кастилья», сочинения Писемского...

Ах, черт возьми, а он уже видел себя с этими книжками — встречается Фишкина: — Что это у вас? Да? — значит, вы сочувствуете!

Мать сидела на диване с гостьей — Золотухиной, поджарой, в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой.

— Не слышно, скоро переменится режим? — томно спросила Золотухина, протягивая руку.

— Перемены не предвидится, — строго ответил Кукин. — И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

— Где хороша весна, — вздохнула Золотухина, — так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»...

Ну, а вы, молодой человек, вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое... Она зажмурилась и покрутила головой.

— Еще бы, — сказал Кукин. — Культурная жизнь...

И ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью... О, Петербург!

3

— Идемте, идемте, — звала Золотухина. — Долой Румынию.

Кукина отнекивалась, показывала свои дырявые подметки...

Ходили долго. Развевались флаги и, опадая, задевали по носу.

— эх, вы, буржуи,
эх, вы, нахалы.

Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками.

— Вот, всё развалится, — вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домишки: — где тогда жить?

Фишкина презрительно посматривала направо и налево: — Фу, сколько обывательщины!

Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива и, пожимая плечами, отворачивалась: он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, маршировала и вертела поясницей Лиз. Когда переставали трубы, Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой:

— В губсоюз принимают исключительно по протекции...

В канцелярию пришел мальчишка:

«Не теряйте времени», — прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса. — «Подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читали «Сад пыток?» — чу́дная вещь».

— Лиз, — сказал Кукин, — я вам буду верен...

— Плохи стали мои ноги, — жаловалась мать. — Сделала я студень и оладьи, хотела отнести к владыке, но, право, не могу. Попрошу бабку Александриху, а ты будь любезен, Жорж, присмотри за ней издали. — Сейчас, — сказал Кукин и, дочитав «Бланманже», закрыл переложенную тесемками и засушенными цветками книгу.

— Ах, — вздохнул он, — не вернется прежнее.

Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками по насыпанной вдоль батальона песочной полоске: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Лиз, лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела.

Кукин остановился и обдергивал рубашку. Лиз засмеялась, покачнулась, сорвала́сь с места и отправилась.

За ней бы, — но нельзя было оставить без присмотра Александриху.

Возвращались вместе — Александриха в холщовом жилете и полосатом фартуке и унылый Кукин в парусиновой рубашке с черным галстуком — и белесым отражением мелькали в черных окошках.

— Утром дух бывает очень вольный, — рассказывала Александриха... Бегали мальчишки и девчонки. Хозяйки выходили встречать коров. В лоске скамеек отсвечивалась краснота заката.

Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба — какое предзнаменование!

4

В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами.

Солнце жарило подставленные ему спины и животы.

— Трудящиеся всех стран, — мечтательно говорил Кукину кассир со станции, — ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?

Шурка Гусев, мокрый, запыхавшись, с блестящими глазами прибежал по берегу и схватил штаны:

— Девка утонула!

Толпились мужики, оставив на дороге свои возы с дровами, бабы в армяках и розовых юбках — с ворохами лаптей за спиной, купальщицы — застегивая пуговицы.

— Вот ее одёжа, — таинственно показывала мать Ривы Голубушкиной, кругленькая, в гладком черном парике с пробором:

— Знаете ее обыкновение: повертеть хвостом перед мужчинами. Заплылá за поворот, чтобы мужчины видели...

«Почему вы к ней не подъезжаете?» — писала Рива. — «Я опять пришлю билет. Будьте обязательно. Есть вокальный номер:

деньги у кого,
сад наш посещает,
а без денег кто —
— в щелки подглядает.

После него сейчас же подойдите: — Что за обывательщина! Я удивляюсь: никакого марксистского подхода».

Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. Тихо прилетел звук маленького колокола, звук большого — у святого Евпла зазвонили к похоронам.

Бросились к окнам, посрывали на пол цветочные горшки, убрали ставни.

— Курицыну, — объявила Золотухина, по пояс высунувшись наружу.

Кукина перекрестилась и схватилась за нос: — Фу!

— Чего же вы хотите в этакое пекло, — заступилась Золотухина. — А мне ее душевно жаль.

— Конечно, — сказал Кукин, — девушка с образованием...

После чаю вышли на крыльцо. Штрафные пели Интернационал.

Блеснула на гипюровом воротнике серебряная роза:

— В ротах, — встрепенулась Золотухина, — в этот час солдаты поют «Отче наш» и «Боже царя». А перед казармой — клумбочки, анютины глазки... Я люблю эту церковь, — показала она на желтого Евпла с белыми столбами, — она напоминает петербургское.

Всé повернули головы. По улице, презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесучовой юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина.

— Интересная особа, — сказала Кукина.

Жорж поправил свой галстучек.

ЛИДИЯ

1

На руке висела корзинка с покупками. Одеколон «Вуайаж» Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

лейся, песнь моя,
пионерска-я.

Молодой человек, коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря на ноги марширующих, солидно покрикивал:

— Левой!

— Это кто ж такой? — спросила Зайцева.

— Вожатый, — пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

— Здравствуйте, — сказал он. — Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела за забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с плоским куполом.

— Рай был прекрасный сад на востоке.

Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету. — Каковы китайцы, — восхищался он. Напился чаю и лег спать. Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

— Водили к козлику? — интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе. Выплыла луна.

— Я пробовала все́ ликеры, — сказала Дудкина задумчиво: — у Селезнева, на его обедах для учителей.

2

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина еле поспевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

— Принимаю икону, — похвалилась она.

— А мы — к утопленнику, — крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные:

— Дом Зуева, — вздохнула Дудкина. — Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались пó двое и пó трое солдаты.

Над водоворотом толклись зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку — нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Кавалеры в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

— Нырни, — веселились они, — и скажи: под лавкой.

Смеялись: — Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали.

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами: — Эх, молодость!

— «Левой», — замечталась Зайцева. Возвращаясь, поболтали о политике.

— Отовсюду бы их, — кипятился муж.

— Нет, я — за образованные нации, — не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

3

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда он повеселел.

— Утопленник, — сказал он, — выплыл. — Он лег спать, а Зайцева оделась и пошла в торгорганы.

Она купила кнопок. Бил фонтанчик и краснелись низенькие бегонии и герани перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

«Закусочная всех холодных закусок», — прочла Зайцева над дверью и вскочила.

— Я мыла голову, — уныло улыбаясь, сказала толстая хозяйка с распущенными волосами. Откупорила квас. — У меня печник: вчера поставила драчёну — получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от грудей прилипавшую кофту.

— Радуга! — девица выскочила. Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастенький, без пояса, босиком, размахивая хворостиной, выпроваживал на улицу козла.

— Ихний? — просияв, спросила Зайцева. Она рассеянно простилась и пошла домой, обдумывая что-то.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу, маршировали:

красная армия
всех сильней!

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза.

— Лидия, Лидия, — заулыбалась Зайцева и замахала ей руками.

— Лидия, Лидия, — вывесясь из окон, закричали дефективные. Закат светил на вывеску с четырьмя шапками. Играли вальс. В окне лавчонки висел ранец.

— Жоржик! — встретившись, сказала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. — Не женское имя, — объясняла она.

САВКИНА

1

Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки.

Дунуло воздухом. — Двери! Двери! — закричали конторщики. Вошел кавалер — щупленький, кудрявый, беленький...

Солнце грело затылок. Гремели телеги. Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина. Морковникова, затененная бутылками, смотрела из киоска.

Блестя трубами, играли похоронный марш. Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов. Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки. — Там все так прилично одеты, — уверяла Олимпия и таращила глаза. — У некоторых приколоты розы... Ах, родина, родина!

Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

Накрыли стол. — Не очень налегайте на пироги, — предупредила мать и пригорюнилась: — Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания...

Разделавшись с посудой, Савкина припудрилась, взяла тетрадь и, втирая в руки глицерин, вышла за сараи почитать стишки. Кукель в синем фартуке доил корову.

— Обиждаются, что без ксендза, — пожаловался он. — А когда я партейный.

На обложке тетради был Гоголь с черными усиками:

«Чуден Днепр при тихой погоде».

Появилась маленькая белая звезда. Савкина, мечтательная, встала и пошла к воротам.

У Кукеля шумели поминальщики. Где-то наигрывали на трубе. Павлушенька, с побледневшим лицом и мокрыми волосами, вернулся с купанья. Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки.

2

На полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Савкина заваривала чай. Павлушенька брился.

Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками, чесала волосы.

— Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел, — сказала она, — и поставила бы свечку.

В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Свечного ящика не оказалось. Низенький ксендз Валюкенас сделал перед алтарем последний реверанс и отправился за перегородку. Вздохнув, поднялась и прошла мимо Савкиной Мари́я Ивановна Бабкина, француженка, — в соломенной шляпе с желтым атласом, полосатой кофте и черной юбке на кокетке, обшитой лентами.

Леса горели. Дым стоял над горизонтом. Пахло гарью. Сор шуршал по мостовой. В конторе окна были заперты. Воняло табачищем и кислятиной. Висел, отрезанный от объявления о займе, портрет Михайловой, выигравшей сто тысяч. Стенгазета «Красный луч» продергивала тов. Самохвалову...

Играл оркестр. В ожидании бродили по фойе и мимоходом взглядывали в зеркало. Савкина, в лиловой кофте пузырем, смеялась и, ища кого-то, бегала глазами по толпе. Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски.

— Буржуазно одета, — показывал он. — Ах, чтоб ее!..

На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах... И вот, мисс Май все опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывавшему в ее мечтах. Вдруг из автомобиля выскочил Байбл — в охотничьем костюме и тирольской шляпе.

Савкина была взволнована. Ей будто показали ее судьбу...

Лаяли собаки, капала роса. Морковникова в киоске, освещенная свечой, дремала.

3

После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу.

Окна флигеля были раскрыты и забрызганы известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене. На деревьях зеленелись ябло-

ки. Небо было серенькое, золотые купола — белесые. Гуляльщики галдели. Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией.

На мосту сидели рыболовы. В темной воде отражались зеленоватые задворки. Купались два верзилы — и не горланили.

Савкина вошла в воротца. Пахло хвоей. На крестах висели медные иконки. Попадались надписи в стихах. За кустами мелькнул желтый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса.

Дома пили чай. Сидела гостья.

— Наука доказала, — хвастался Павлушенька, — что бога нет.

— Допустим, — возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо. — Но как вы объясните, например, такое выражение: мир божий?

Расправляя юбки, Савкина уселась. Налила́ на блюдечко.

— Опять я их встретила.

— Не собирается ли в католичество? — мечтательно предположила гостья.

— Проще, — сказал Павлушенька и махнул рукой.

Мать, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Посмеялись.

— Съешьте плюшечку, — усердствовала мать: — американская мука́ — вообразите, что вы — в Америке!..

Савкина грустила над стишками. Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: «Наробраз, обрати внимание».

4

Савкина, растрепанная, валялась на траве. Била комаров. Сорва́ла с куста маленькую розу и нюхала. Она устала — задержали переписывать о поднесении знамени.

Приятно улыбаясь, из калитки вышла с башмаками в руке новая жилица и пошла к сапожнику... Мимо палисадника прошел отец Иван.

— Роза, Роза, —

— вбежал в дом Павлушенька. — Где моя газета с статьей про Бабкину? — Запыхавшись, высунулся из окна. — Нюшка, где газета? Мы с ним подружились. Как я рад. Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка... — Этот, — говорит, — пень, давайте, выкопаем и расколем на дрова.

Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся.

— Идите за сараи, — сказала мать в комнате: — Он там с сыном новой жилицы: подружились.

Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их зá полы. Мать в доме зашаркала туфлями. Загремела самоварная труба.

— Иди, зови пить чай.

— всех коммунаров, —

пели за сараями, —

он сам привлекал
к жестокой, мучительной казни.

Певцы сидели, обнявши́сь, втроем и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот, щупленький.

ЕРЫГИН

1

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волоса чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова идти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лу́гу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч.

— Физкультура, — подумал Ерыгин, — залог здоровья трудящихся.

Базар был большой. Стояла вонища. Китайцы показывали фокусы. На будках висели метрические таблицы.

— Подайте, граждане, кто сколько может, ежели возможность ваша будет.

Ерыгин принял строгий вид и обошел ряды — не поторговывает ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой было общество: товарищ Генералов, в новеньком костюме с четырьмя значками, его супруга Фаня Яковлевна и маленькая дочка Пресня. Они пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой на руке.

— Клеопатра — русское имя? — говорили они.

— Да.

— А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папиросу и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев. — Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать. — Так как же на бухгалтерские? — Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом, — короче. — Бухгалтера́ прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведра. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другою с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крохотными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте.

— Я извиняюсь, — сказала она. — Не знаете, откуда это музыка?

— Возвращаются со смычки с Красной армией, — ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот, если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно!

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрогивала голову — не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы: розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной. Мать штопала. Ерыгин переписывал:

> Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за партизанами. Бандитов расстреляли. Начдив уехал, а Настя выкинула из избы иконы и записалась в РКП (б).

2

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила.

Они проезжали через разные страны, но нигде не встречали того, что увидели здесь. — Ура! — Играла музыка, торжествовали и, гордясь, смотрели друг на друга. Повторяли иностранные слова.

— Сóвьет рипёблик.

— Риэкшён!

Вернулись возбужденные и разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и приложением к «Известиям» — «Двенадцатью Произведениями Живописи», а Ерыгин за решетку.

Захаров и Вахрамеев подскочили расспрашивать. Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, черт побери, проспали.

Впустили безработных.

Небо побледнело. Загремела музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвилá окоп и приколола к кофте резеду.

Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу.

Девицы выходили из калиток и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер — в пользу наводнения.

— Под руководством общественных организаций поможем трудящимся Красного Ленинграда!

> Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музеи. Их обгоняют дюжие матросы — бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом...

— Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата! — Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгальские огни.

Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, набеленная, с свиными глазками, и с ней — кассир Едренкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбредались. Без грохота обогнала́ телега, блестя шинами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла́ луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской.

— Ты? — удивилась мать. — Скоро!

3

«Настя» будет напечатана. Пишите...

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку́ из баллады. — Кинематограф, — посмеялась мать и засучила рукава — мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блестел. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку.

— Мы поступили на бухгалтерские.

— Нет, — сказал Ерыгин, — у меня в голове другое.

Он пошел. Они взобра́лись на перила и бултыхнулись.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракитами. В шляпе набекрень, она была похожа на разбойника. Ерыгин сделал под козырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился: ничего из жизни партизан или ответственных работников не приходило в голову.

Шагает рота, красная, с узелками и вениками, хочет квасу...

Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генералову. А у него на кушетке Фаня Яковлевна с Пресней — принесли котлету. — Товарищ, прошу оставить этот кабинет!..

А постороннее, чего не нужно, вертелось:

Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: — «Немцы — звери». — На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенькие императорши, в медалях, с голыми плечами и с улыбками. Диктовка кончена. — Прощайте. — Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня — сует солдатам мармелад. Последние три штучки отдает Ерыгину...

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна — красная, тусклая, кривая.

Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны были тарелки с хлебом и горчичницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша. — Бельгийский город Льеж посмóтрите? — подкрадывался панорамщик. Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские.

Будет много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса: дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выглядывают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь». Возвращаясь, плевалась.

Висели тучи. С канцелярий убирали транспаранты и гирлянды из крашеных бумажек: — Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа!

За рекой было бéло — с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег... Что-то припомнилось. Барабанный треск, песок тонко исчерченный...

> По зеленой улице с серыми тропинками разгуливают архиерей и нэпманша — затевают контрреволюцию. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай. Зовет ее в РКП (б), она — ни да, ни нет. В чем дело? Вот, Гадова выходит кормить кур. Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговóр. Мужественно преодолевает он свою любовь. Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит.

КОНОПАТЧИКОВА

1

Бросая ласковые взгляды, инженер Адольф Адольфович читал доклад: «Ильич и специалисты».

Добронравова из культкомиссии, стриженая, с подбритой шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке. Следующее выступление ее: «Исторический материализм и раскрепощение женщины».

Конопатчикова, низенькая, скромно посмотрела направо и налево, незаметно поднялась и улизнула. — Боль в висках, — пробормотала она на всякий случай, поднося к своей седеющей прическе руку, будто отдавая честь.

Плелись старухи с вениками, подпоясанные полотенцами. Хрустел обледенелый снег. Темнело. Не блестя, горели фонари.

Звенел бубенчик: женотделка Малкина, поглядывая на прохожих, ехала в командировку.

Сидя на высоком табурете в своей будке, инвалидка Кац величественно отпустила булку. Стрелочник трубил в рожок. Взъезд на мост уходил в потемки, и оттуда, вспыхнув, приближалась искра. О́бдало махоркой, с песней прошагали кавалеры:

— ветер воет, дождь идет,
Пушкин бабу в лес ведет.

Гудели паровозы. Дым подымался наискось и, освещенный снизу, желтелся. Из ворот, переговариваясь, выходили Вдовкин и Березынькина: поклонились праху Капитанникова и были важны и торжественны.

Конопатчикова с ними кое-где встречалась. Она остановилась и приветливо сказала: — Здравствуйте.

Негромко разговаривали и печально улыбались: Конопатчикова в шерстяном берете с кисточкой, Вдовкин, плечистый и сморкающийся, и Березынькина, кроткая, с маленькой головкой. Разда́лся первый удар в колокол. Примолкли и, задумавшиеся, подняли глаза. Вверху светились звезды.

— Жизнь проходит, — вздохнул Вдовкин и прочел стишок:

так жизнь молодая
проходит бесследно.

Дамы были тронуты. Он чикнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы...

Сговорились вечером пойти на стружечный.

2

«Машинистка Колотовкина», — поглядывая на часы, сидела Конопатчикова за губернской газетой, — «пассивна и материально обеспечена.

Зачем писать ей на машине?
Может играть на пианине».

Зашаркали в сенях калоши. Постучались Вдовкин и Березынькина, похвалили комнату и осмотрели абажур «Швейцария» и карты с золотым обрезом. Тузы были с картинками: «Ль эглиз дэз Энвалид», «Статю дэ Анри Катр».

— Парижская вещица, — любовался Вдовкин. — Я и сам люблю пасьянсы, — говорил он: — «Дама», например, «в плену», «Всевидящее око»...

— «Деревенская дорога», — подсказала Конопатчикова.

Вытянув перед собою руки, вышли. Пахло ладаном. Учтивый Вдовкин осветил ступеньки зажигалкой.

Наверху захлопали дверьми: Капитанничиха выбежала в сени убиваться по покойнике.

и зачем ты себе все это шил,

причитала она, —

если ты носить не хотел?

и притопывала.

и зачем ты пол в погребе
цементом заливал,
если ты — жить не хотел?

Остановились и, послушав, медленно пошли по темным улицам, оглядываясь на собак.

«Жизнь без труда», — было написано над сценой в театре стружечного, — «воровство, а без искусства — варварство». Оркестр играл кадриль.

Рвал, рявкая, железные цепи и становился в античные позы чемпион Швеции Жан Орлеан. Скакали и плясали мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, тряся юбчонками, вскрикивали под балалайки:

— чтоб на службу
поступить,
так в союзе надо
быть.

— Эх, — сияя, передергивал плечами Вдовкин. Конопатчикова улыбалась и кивала головой...

Морозило. Полоска звезд серелась за трубою стружечного. Постукивало пианино. В форточке вертелся пар. За черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась.

— Счастливые, — скрестила на груди ладони и задумалась Березынькина.

— Они, — проникновенным голосом сказала Конопатчикова, — читают книгу, очень интересную. Заглавие выскочило у меня из головы.

Поговорили о литературе...

Улыбающаяся, полная приятных мыслей, Конопатчикова ощупью нашла край лампы: загорелись звезды над швейцарскими гора́ми и цветные огоньки в окошках хижин и лодочных фонариках.

В дверь поскреблись. В большом платке, жеманная, вскользнула Капитанничиха. С скромными ужимками, перебирая бахрому платка, она просила, чтобы завтра Конопатчикова помогла в приготовлениях к поминкам.

— Не откажите, — двигала она боками, егозливая, и прижимала голову к плечу. — Я загоню его костюмчики, и пусть все будет хорошо, прилично.

3

У Капитанничихи кашляли духовные особы. Пономарь в сенях возился над кадилом. Конопатчикова, проходя, взяла щепотку дыма и понюхала.

Блестел на колокольне крест. Флаг над гостиными рядами развевался. Тетка Полушальчиха кричала и потряхивала капитанниковскими костюмчиками. — Маруська убивается?— спросила она,

наклоняясь и прикрывая рот рукой, и, выпрямившись, в черном плюшевом пальто квадратиками, гордая, победоносно огляделась.

Конопатчикова в ожидании бродила. Солнце пригревало. Под ногами хлюпало.

Дремали лошади. Толкались с бабами солдаты в шлемах, долгополые и низенькие. Середняки, столпившись за возами, пили из зеленого стаканчика.

Вдоль домов, по солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпачке, прохаживался инженер Адольф Адольфович. Он жмурился на свет и улыбался людям на крылечке, согнувшись ждавшим очереди в зубоврачебный кабинет его жены.

Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбежались. Мужики смотрели, опустив кнуты. Вздыхали бабы в кружевных воротничках на зипунах и в елочных бусах.

Народу было много. Капитанничиха вскрикивала. Вдовкин, подпевая, шел с склонившей набок голову Березынькиной. Конопатчикова проводила их глазами.

— Продала́, — сказала, протолкавшись, Полушальчиха и показала деньги. Начали покупки для поминок.

Возвращались на дровня́х, спиною к лошади. Блестела на дорогах жижа. Воробьи кричали. Убегал базар. Беседовали, выйдя постоять на солнце, оба в фартуках, кондитер Франц и парикмахер Антуан...

Капли с крыши падали перед окном. Сизо-лиловый дым взлетал над паровозами. В плите шумел огонь. Внизу, перебирая струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров. В углах темнело.

— Никишка, — говорила Полушальчиха и плакала над хреном, — нарисовал картину «Ленин»: это — загляденье.

На кофейной мельнице был выпуклый овал с голландской королевой Вильгельминой. Конопатчикова медленно молола, стоя у окна. Задумавшись, она глядела вслед начальнику милиции, скакавшему, красуясь, в сторону моста и инвалидки Кац. Воспоминания набегали.

4

Поблескивали рюмки, и бутылки, толстобрюхие и тоненькие, мерцали. Капитанничиха, в черном платье, прилизанная, постная, стояла у стола и, горестная, любовалась.

Конопатчикова, скромно улыбаясь, завита́я и припудренная, сидела на диване и сворачивала в трубку листик от календаря: рисунок

«Нищета в Германии» и две статьи — «О пользе витаминов» и «Теория относительности».

— Благодари, Марусенька, — учила Полушальчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свах».

Входили гости. Конопатчикова выпрямлялась и в ожидании смотрела на отворявшуюся дверь...

Стучали ложки, и носы, распа́рившись над супом, блестели. Полушальчиха, одетая кухаркой, в фартуке, прислуживала. Кланялись Маруське, подымая рюмочки. Она откланивалась, скорбная, и выпивала.

Повеяло акацией. Любезно улыбаясь, прибыла внушительная Куроедова. — Как ваши, — с уважением справлялись у нее, — на стружечном? — Они, — засуетилась Конопатчикова, — еще читают эту книгу, интересную? — «Тарзан»? — спросила Куроедова, глотая...

Красные, блаженно похохатывая и роняя вилки, громко говорили. — Есть смысл, — доказывала Куроедова, — покупать билеты в лотерею. Наши, например, недавно выиграли игрушечную кошку, херес и копилку «окорок».

Маруська слушала, зажав в колени руки и состроив круглые гла́за, как тихенькая девочка, умильная, и приговаривала: — Выпейте.

Никишка встряхивал свисавшими на бархатную куртку волосами. — Искусство, — восклицал он. Полушальчиха пришла из кухни и, гордясь, стояла. — Тайна красок!

— Жизнь без искусства — варварство, — цитировал рабкор Петров. Зеленое кашне висело у него на шее.

— Я не могу, — заговорил задумавшийся Вдовкин, — забыть: в Калуге мы стояли у евреев; в самовар они чего-то подсыпа́ли, и тогда распространялось несказанное благоухание.

— В Витебске, — нагнувшись, заглянула Конопатчикова ему в лицо, — к вокзалу приколочен герб: рыцарь на коне. Нигде, нигде не видела я ничего подобного.

Березынькина, запрокинув голову, с закрытыми глазами, счастливая, макала в рюмку кончик языка и, шевеля губами и облизываясь, наслаждалась.

ДОРИАН

1

В канцелярию заходил правозаступник Иванов — с брюшко́м и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни.

Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала. Смотрела равнодушно и снисходительно, как ленивая учительница. Над стулом висел календарь и Энгельс в кумачной раме.

Ломились в лавки. Несло постным. Взлетали грачи с прутьями в клювах. Гора на другом берегу была бурая, а зимой — грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя.

перед ротой командир, —

пели солдаты, —

хорошо маршировал.

С полотенцем на руке, Сорокина смотрелась в зеркало: под глазами начинало морщиться.

Пришел отец, веселый:

— Я узнал рецепт, как варить гуталин.

Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну.

— Пахомова! Вся изогнулась. Откинулась назад. Остановилась и оглядывается.

И, поправив черную наколку, осанисто, словно дама на портрете в губернском музее, посмотрела на отца.

Он, бравый, с висячим носом, как у тапира в «Географии», стоял перед зеркалом и протирал стетоскоп.

Тучи разбегались. Старуха Гры́злова, в черной мантилье с кружевами и стеклярусом, несла церковную свечу в голубом фарфоровом подсвечнике. — Сегодняшний ветер, — подняла она палец, — до вознесенья.

То там, то здесь ударяли в колокол.

Сорокина поколебалась. Нищая открыла дверь.

Тоненькие свечи освещали подбородки. Духовные особы в черном бархате толпились на средине, перед лакированным крестом.

— Глагола ему Пилат!..

Пахомова, в толстом желтом пальто, не мигая, смотрела на свою свечку.

Моргали звезды. Сторож, задрав бороду, стоял под колокольней:

— Нюрка, шесть раз бей.

— Я полагала, вы неверующая, — подошла курносенькая регистраторша Мильонщикова.

Вертелась карусель, блестя фонариками, и, болтая пестрыми подвесками, медленно играла краковяк.

русский, немец и поляк, —

напевала Мильонщикова.

Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

— Ваня, не падай...

— Кто это?

— Не знаю. Вылитая копия Дориана Грея — как вы полагаете?

Ваня. Плескались в вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками.

Ваня.

2

На скамейках губернского стадиона сидели няньки. Голый малый в коротеньких штанишках, задыхаясь, бегал вдоль забора.

Сорокина встала и, оглядываясь, медленно пошла.

— Вы не Василий Логгинович? — прислонясь к воротам, тихо спросил пьяный.

Грудастая девица сунула записку и отпрянула:

«Придите, послушайте слово «За что умер Христос».

Цвела картошка. На оконцах красовались занавесочки, были расставлены бутылки с вишнями и сахарным песком. Побулькивали граммофоны.

Поздоровалась дебелая старуха в красной кофте — уборщица Осипиха.

— Товарищ Сорокина, — сказала она, — я извиняюсь: какая чудная погода.

Голубые и зеленые пространства между облаками бледнели.

На гвозде была чужая шапка и правозаступникова палка с монограммами.

Самовар шумел. На скатерти краснелся óтсвет от вазочки с вареньем.

— Религия — единственное, что нам осталось, — задушевно говорила мать: — Пахомова — кривляка, но она — религиозная, и ей прощаешь.

И, держа на полдороге к губам чашку, значительно глядела на отца.

Он дунул носом.

Правозаступник принялся рассказывать таинственные случаи. В тени на письменном столе показывал зубы череп.

Фонари горели под деревьями. Музыканты на эстраде подбочениваись, покуривали и глазели.

Заиграли вальс. Притопывая, кавалеры чинно танцевали с кавалерами. Расходясь, раскланивались и жали руки.

Сорокина ждала́ в потемках за скамейками.

Вот он. Шапка на затылке, тоненький...

Если бы она его остановила:

— Ваня, —

может быть, все объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а в шесть.

— Не забираться же с пяти, раз — в шесть.

Она взяла бы его за́ руку, и он ее повел бы:

— Мы поедем в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен».

3

Мать вышла запереть. В сандалиях, она стояла низенькая, и ее наколка была видна сверху как на блюдечке.

Старуха Гры́злова прогуливалась — в пелерине. Нагибалась и рассматривала листья на земле.

— Шершавым кверху, — примечала она: — к урожаю.

В открытое окно Сорокина увидела затылок ее внучки. Она сидела за роялем и играла вальс «Диана». Правозаступник Иванов, опершись на окно, стоял снаружи. Покачивая головой, он пел с чувством:

дэ ин юс вокандо,
дэ акционэ данда.

И его чванное лицо было мечтательно: приходила в голову Италия, вспоминался университет.

Развевались паутины. Под бурыми деревьями белелась церковь с синими углами.

— Мама, — кляузничала девчонка за забором: — Манька поросенка то розгами, то — пугает.

Библиотекарша смотрела на входящих и угадывала:

— «Джимми Хиггинс»?

По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных шляпах:

— В Америке рекламы пишутся на облаках... — Мечтали.

В сквере подкатилась Осипиха с георгиной на груди и старалась разжалобить:

— Говорит, я гуляка, — горевала она, — а я и дорог не знаю.

— В первую декаду — иссушающие ядра, — предложил газету зеленоватый старичок, — во вторую — обложные дожди.

Подсела Мильонщикова:

— Пройдемтесь в поле.

Голубенькое небо блекло. Тоненькие птички пролетали над землей.

— Помните, — оглянулась и понизила голос Мильонщикова: — однажды весной мы обратили внимание...

Молчали. В городе светлелись под непогасшим небом фонари.

Расстались не скоро.

— Эти звезды, — показала Сорокина, — называются Сэптэнтрио́нэс...

Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки.

Тикали часы. Били. Тикали.

За окном собака лаяла по-зимнему.

«Дориан, Дориан», — там и сям было напечатано в книге:

— «Дориан, Дориан».

СИДЕЛКА

Мороз ударил. Листья облетели и лежали под деревьями. Луна, сквозящая и невещественная, таяла.

К Дворцу Труда спускались маленькие толпы с флагами. — Здоро́во, — сбегал вниз и трогал шапку Мухин. Он смеялся и кивал, блестя глазами. У него выше колен болело от футбола.

У дворца толклись. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие, — говорила Катя Башмакова и смотрела Мухину в глаза.

Наконец отправились. Играла музыка. На красных флагах блестело золото. Над белыми домами канцелярий небо было си́нее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, стояло что-то тощее.

— Вдруг там скелет, — кокетничала товарищ Окунь.

Заиграл оркестр. Сдернули холстину, и открылся памятник: на обелиске — гусевская голова. Ораторы всходили на трибуну и произносили речи. Слушатели егозили. Под знаменами Союза Медсантруд сиделка, высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил.

На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком — с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к памятнику. А сиделка уходила.

— Мне необходимо, — устремился Мухин. Черт возьми: дорогу пере́резали. Старуху Железнову хоронили по-церковному. Покачивались на ходу хоругви, и негромко пели отдуваемые ветром голоса.

— Религиозный предрассудок, — подошел и тронул Мухина за ло́коть Мишка Доброхим. — Я никогда не верил в эти глупости.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на́ две — ближнюю и дальнюю.

Запихнув руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой, — простился Мишка. — Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник, — читал он, — образец монументального искусства...

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет, — покачал Мухин головой печально: — кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно, — согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептался кто-то. Шелестели листья под ногами.

Шли под руку. Задумчивые, напевали:

чистим, чистим,
чистим, чистим,
чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды.

Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билеты...

Возвращались насладившиеся. Поздняя луна всходила. Завернули в «Моссельпром». Таинственно горела маленькая лампа. — Где вода дорога́? — говорили за столиком. — Рога у коровы, вода в реке.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: — Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Сегодня я чуть не познакомился с сиделкой, — сказал Мухин.

ЛЕКПОМ

Человек сошел с поезда, вытащил зеркальце и огляделся. К нему подбежала дожидавшаяся возле звонка телеграфистка.

— Фельдшер? — спросила она и стояла, как маленькая, смотря на него. Он поднял брови, соединявшиеся на переносице, и взглянул снисходительно.

— Лекпом, — поклонился он.

Идти было скользко. Он взял ее по́д руку.

— Ах, — удивилась она.

Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик.

— Сюда. — С трех сторон темнелись сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. Взбежали по лестнице, в кухне сняли пальто и повесили их на дверь.

В комнатке было тепло. Мать дышала за ширмой.

— Разбудить? — заглянув туда, вышла на цыпочках телеграфистка.

— Нет, — помахал он галантно руками. — До поезда долго, пусть спит. — Оборачиваясь, она выкралась в кухню и стала греметь самоваром.

Цикламен цвел в горшке. Лекпом нюхал. Под окном шла дорога, валялась солома. За плетнем лежал снег, и из снега торчала ботва. Пили чай и тихонько говорили про город.

— Интересная жизнь, — восхищался лекпом, — Мери Пикфорд играет прекрасно.

Он смотрел на огонь и, чуть-чуть улыбаясь, задумывался. Брови были приподняты. Волосок, не захваченный бритвой, блестел под губой.

Перешли на диван и сидели в тени. Печка грела. Самовар умолкал и опять начинал пищать.

— Женни Юго брюнетка, — заливался лекпом и сам же заслушивался. — Она — ваш портрет.

Поджав ноги и съежившись, телеграфистка молчала. Глаза ее были полузакрыты и темны от расширившихся, как под атропином, зрачков.

— Вас знобит, — присмотрелся лекпом. — Вы простудились. Весна подкузьмила вас. — Нет, я здорова, — сказала она и застучала зубами, — может быть, форточка.

Он оглянулся и повертел головой: — Закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, перед выходом и́з дому — есть. — Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся́, прошелся на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал романс. Мать проснулась.

ОТЕЦ

На могиле летчика был крест — пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там где хмель, была зарыта мать. — Мы к ней потом, — сказал отец, — а то мы опоздаем к вóлнам.

Заревел гудок. — Скорее, — закричали мальчики. — Скорее, — заспешил отец. Все́ побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли постоять и, подняв головы, полюбоваться на него.

Сбега́ли по тропинке, и гудок опять разда́лся. — Опоздаем, — подгонял отец. Сердца стучали, в головах отстукивалось.

Сбрасывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на́ землю: успели. Справа тарахтело, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков. Вскочили, заплясали, замахали шапками. Величественный капитан командовал. Шумело колесо, шипела пена, след в воде кипел. Присели, потому что с палубы смотрели женщины, и, глядя на них боком, сжали себе руки коленями.

— Шлеп, — набежала первая волна. — Скорей! — все бросились. Река была как море. — Ух, — кричали люди и подскакивали. — Ух, — кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая. — Ух, ух, — кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он мылся, и они по очереди терли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и двигал мускулами: вечером он должен был отправиться к Любовь Ивановне. Он думал: — Но зато я не плохой отец.

Назад шли медленно. — А то купанье, — говорил отец, — сойдет на нет. — Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Оборачивались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались. Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой потемнел.

— Вы подождите здесь, — сказал отец у липы. — Я приду. — Они уселись, сняв картузики, и взя́лись за руки. Пищал комар.

Кусты сливались, черные. Верхи крестов высовывались из них. Хмель светлелся. Здесь отец остановился и стоял без шапки. Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать?

А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. В разбитое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться. Стало хорошо, когда пришел отец.

Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь.

МАТРОС

Лешка соскочил с кровати. Мать дежурила.

Склонившись, словно над колодцем, чуть белелась полукруглая луна. Не шевелилась жидкая береза с темными ветвями. На траве блестели капельки. Поклевывая, курицы с цыплятами бродили по двору.

Покачивая животом, в черном капоте с голубыми розами, по лестнице спустилась Трифониха. У нее в руке был ключ, а на руке висела вышитая сумка — с тигром.

— Фу, — покосилась Трифониха, — поросенок! — и, важная, отправилась за булками.

— Я мылся, — крикнул ей вдогонку Лешка.

Усатый водовоз, кусая от фунта ситного, гремел колесами. Пыль сонно поднималась и опять укладывалась.

— Дяденька, — умильно попросился Лешка, — прокати, — и водовоз позволил ему сесть на бочку.

Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, кондукторша в очках, которая гнала́ корову и замахивалась на нее веревкой, и четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.

— Обокрали чердак, — показал водовоз и ссадил Лешку на землю.

Солнце подняло́сь и припекало. Освещало ситный в чайной у Силебиной. Мальчишка из кинематографа расклеивал афиши. Там было напечатано: «Бесплатное», но Лешка не умел читать.

В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке.

— Трансваль, Трансваль...

Было хорошо у палисадника. Забор уже нагрелся и был теплый, сзади пригревало плечи, пахло клевером.

Матрос!..

А мать уже вернулась и перед осколком зеркала чесала волосы.

Пили кипяток с песком и с хлебом. Отдувались. Мать велела не ходить на речку и, задернув занавеску, легла спать.

Вдруг загремела музыка. Все бросились.

Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны.

Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.

Вслед! с мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая:

— В лес!

Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.

Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У Лешки колотилось сердце. Он бежал на речку — за матросом.

Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке — вскочили.

Матрос!

Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и по́плыл. На его руке был синий якорь, мускулы вздувались — как крученый ситный у Силебиной на полке.

— Это я его привел, — хвалился Лешка.

Было жарко. Воздух над рекой струился. Всплескивались рыбы. Проплывали лодки, женщины в цветных повязках нагибались над бортом и опускали в воду пальцы.

Купальщики боролись, кувыркались и ходили на руках.

А солнце подвигалось. Было сзади, стало спе́реди — пора обедать.

Мать ждала́. Картошка была сварена, хлеб и бутылка с маслом — на столе.

Наелись. Мать похваливала масло. Облизали ложки. Вышли на крыльцо.

Во дворе, разостлав одеяла, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове.

— И мы устроимся, — обрадовалась мать и сбегала за одеялом.

Лежали. Лешка положил к ней на колени голову. Она перебирала пальцами в его кудлатых волосах. По не́бу пролетали маленькие облачка в матросских куртках, облачка, похожие на ситный и на вороха белья.

Хотелось спать и не хотелось...

— Бабочки, — вскочила мать, — купаться, так купаться: опоздаем на бесплатное.

— Бесплатное!

Повскакивали, зашмыгали, повязали головы и выбежали за ворота. Бегали наперегонки и смеялись, а потом притихли и печально пели:

— платье бедняги за корни цепляется,
ветви вплелись в волоса.

Срывали жесткую высокую траву — класть по́д ноги, когда выходишь из воды. Тек горький белый сок и засыхал на пальцах.

Молотя ногами, плавали и, взвизгивая, приседали. Садилось солнце. Начали кусаться комары. Заквакали лягушки. Небо выцвело.

Трава похолодела. Пыль в колеях лежала теплая и грела ноги. Улица кипела. Все́ спешили на бесплатное.

Шел водовоз, поглядывая сверху вниз, как с бочки, и крутя усы.

Помахивая рукой, как будто в ней была веревка, торопилась старая кондукторша, и весело бежали обокравшие чердак четыре жулика.

Был гвалт. Стояли очереди к мороженщикам. Шуршала подсолнечная шелуха. В саду горели фонари, играла музыка и бил фонтан. Мать потерялась. Маленьких в кинематограф не пускали. Лешка заревел.

Темнело. Музыка кружилась невысо́ко, прибитая росой. Силебина сидела на крылечке — тихо, тихо, задумчивая, не замахивалась полотенцем, не орала.

В палисаднике, впотьмах, матрос тихонечко наигрывал на балалайке:

— Трансваль, Трансваль.

Он, как и Лешка, не был на бесплатном — миленький...

Вздыхая, по двору́ прохаживалась Трифониха и, любуясь звездочкой, жевала. Из сумки с тигром вынула пирог и протянула Лешке.

Сидя на ступеньке, он стал есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки — соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на бе́рег.

ХИРОМАНТИЯ

Петров с наслаждением вдохнул продушенный воздух и, сосчитав ожидающих, сел. Ладислас извинился, отлучился от бреемого и задвинул задвижку. — Я успел, — посмеялся Петров и подумал, что это к хорошему.

Парикмахеры брили в молчании — устали, спешили и не отпускали учтивостей. Звякнули ножницы. Рождество наступало. Колокола были сняты и не гудели за окнами. — Пи, — басом пищал иногда и, тряся улицу, пробегал грузовик.

Петров не читал. Он — просматривал. Он уже изучил эту книгу с изображенными на каждой странице ладонями. Он кончил ее вчера вечером и, закрыв, присел к зеркальцу и вспомнил стишки, которые когда-то разучивал в школе:

исполнен долг, завещанный от бога
мне, грешному.

Подбритый и подстриженный, он вышел. Он благоухал. Усы, бородка и завитушки меха на углах воротника покрылись инеем. Высокая луна плыла в зеленом круге. Жесткий снег переливался блестками. Как днем, отчетливы были афиши на стенах. Петров уже читал их: показательный музей «Наука» с отделениями гинекологии, минералогии и Сакко и Ванцетти снизил цены.

Маргарита Титовна жила недалекó. Петров смеялся. Как всегда, она шмыгнет в другую комнату, мать будет ее звать, она придет, зевая и раскачиваясь, и состроит кислую гримасу. Не смущаясь, он задержит ее руку, повернет ладонью вверх, прочтет, что было и что будет, кого надо избегать. Она заслушается... — Маргарита Титовна, — пел мысленно Петров, ликуя и покачивая станом.

Громко разговаривая, пробежали пóд руку два друга в финских шапках. — Я ей сделал оскорбительное предложение, — услыхал Петров, — она не согласилась. — Он задумался: она не согласилась — предзнаменование, пожалуй, неблагоприятное.

И правда: Маргариты Титовны не оказалось дома. — У музей ушодчи, — посочувствовала мать. — Ко всенощной теперь не мода, — посмеялась она. — Да, — вздохнул Петров. — Мышь одолела, — занимала его мать беседой: — Я на крюк в ловушке насадила сало: уж теперь поймается. — Поймается, — похохотал Петров.

Шаги визжали. Проводá и ветви были белы. Церкви с тусклыми окошками смотрели на луну. Музей сиял. Прелестные картины, красные от красных фонарей, висели возле входа. Умерла болгарка, лежа на снегу, и полк солдат усыновляет ее дочь. Горилла, раздвигая лозы, подбирается к купающейся деве: «Похищение женщины». Петров шагнул за занавеску и протер очки. — Билет, — потребовал он, посучил усы и тронул бороду и хиромантию, выглядывавшую из кармана.

ЧАЙ

Произносили речи и родитель Пе́хтерев, член горсовета (— я скажу вам кра́тенько, — предупредил он), и заведующая, — поглядывая кверху, как колоратурное сопрано, исполняющее номер после кинодрамы, — и руководительницы, называемые тетями, и красноармеец Миша от содружественной части, — покраснев, — и Коля-пионер, — бася́, — и Гаврик с детплощадки. Уговаривали выступить Агафьюшку, колхозницу. Она не соглашалась.

— Детки, — встала тогда докторша и кашлянула. — Мы передаем вас в школу. Но не надо беспокоиться. Там тоже будет врач, и он вам будет подавать медпомощь.

Подняла́сь кухарка Дарьюшка, поправила на голове платок и помолчала. — Детки, — жалостно сказала она, — вы довольны мной? — Довольны, — отвечали они. — Я вас обижала? — продолжала она спрашивать. — Ругала вас? Бесчестила вас? — Нет, — разжалобясь, пищали они хором, — нет! — Все были тронуты.

Торжественная часть закончилась. Президиум сошел с подмостков. — Миша, — закричали дети, обступив красноармейца, и повисли на нем. Коля-пионер нахмурился и, отойдя в сторонку, ревновал. Родители толпились возле стен, рассматривая развешенные на них детские работы и «строительные матерьялы» в ящике в углу. — Тетя, — подзывали они иногда и спрашивали разъяснений.

— Детки, — появляясь в растворившихся дверях столовой, позвала́ заведующая. За нею самовар и кру́жки на столе видны́ были. — А для родителей, — блаженно улыбнулась она, — будет позже, когда отведут детей.

Все посмотрели друг на друга. Для родителей! Вот это был сюрприз. — А я, пожалуй, не смогу прийти второй раз, — заявила мама Гаврика. — Так как же быть? — спросила у нее заведующая в раздумье, просияла и, обняв ее за талью, посадила ее пить с детьми.

Счастливые, напившись, они спели. — Мы вернемся, — говорили, уходя, родители. — Прощайте, дети, — восклицали тети. Пионеру Коле и красноармейцу Мише дали по конфетке и, пока идет уборка, попросили подождать в саду.

Закат был красный, и антенны над домами напоминали колья для насаживания черепов из книжки с путешествиями. Белый исправдом казался синим. Арестанты, привалясь к решеткам, длинно пели: — А!

Красноармеец Миша по́днял яблоко и по́дал Коле. — Ка́к, брат? — взяв его за плечи, спросил он, и Коля полюбил его. Они разговорились. Незаметно летело время. Из открытых окон радиодоклады раздавались. Расходясь со стадиона, распаленные футбольщики, невидимые за забором, переругивались.

Чай был параден. Чинно пили. — Пироги, — сияя, поясняли тети, — испекли мы сами, а жáмочки нам отпустили в цéэркá. — Приятно было. Шайкина и Порохонникова перечислили предметы, выдаваемые из закрытого распределителя. Все́ оживились. Стало шумно. Дарьюшка, облокотясь, расспрашивала Мишу, что бывает у красноармейцев на обед. Агафьюшка развеселилась и рассказывала, как выходит на работу, а сама боится, чтобы не спалили двор.

Родитель Давидюк принес с собой гармонию. Поблескивая бляхами, она лежала. Перешли в большую комнату, и Давидюк уселся и закинул ногу нá ногу. Вальс начался́. Поправив галстук, Коля побежал к красноармейцу Мише, чтобы пригласить его. А Миша, обхватив техничку Настеньку, уже вертелся и нашептывал ей что-то. Дарьюшка смеялась и кивала на них. Тети, уронив головки нáбок, скромно танцевали, взяв друг друга зá руки.

— Поищем яблочка, — шепнула Порохонниковой Шайкина. Танцуя, они выскользнули. На крыльце был Коля. Не оглядываясь, он стоял лицом в потемки. Докторша сидела, съежась. Подтолкнув друг друга, Порохонникова с Шайкиной остановились. Сорвалась звезда и покатилась, словно сбросилась на парашюте. Было тихо впереди, оттопывали сзади.

Пехтерев, член горсовета, появился на крыльце. Он почесал затылок. — Целое собрание, — сказал он. — А для воздуха, — хихикнув, пояснила Шайкина. Поговорили о водоразборных будках: горсовет постановил сломать их и поставить автоматы с дыркой для грошéй. Пенсне блеснуло. Докторша заволновалась на скамье. — В Америке, — засуетилась она, — всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад. — Скажите, — отвечали ей.

Никто не расходился. Все́ хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника. Там тротуары двигаются, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей.

ПОЖАЛУЙСТА

Ветеринар взял два рубля. Лекарство стоило семь гривен. Пользы не было. — Сходите к бабке, — научили женщины, — она поможет. — Селезнева заперла калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась.

Предчувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники.

Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли — с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками и в шапках со значками, гордые, прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них: ей платили сорок рублей в месяц, им — рассказывали, что шестьсот.

Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали. — Тетка, эй, — кричали мальчуганы и катились на салазках под ноги.

Дворы́ внизу, с тропинками и яблонями, и луга и лес вдали видны́ были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка, с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку, и в шинели, отворила ей.

— Смотрите на ту сосенку, — сказала бабка, — и не думайте. — Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке. — Вот соль, — толкнула Селезневу бабка: — Вы подсыпьте, когда будете поить ее.

Коза не поднялась навстречу. Молча она взглянула на лоханку и не стала пить. Понурясь, Селезнева вышла. — Вот вы, — закричала, стоя на ступеньке, гостья в самодельной шляпе, низенькая. Селезнева поздоровалась с ней. — Он придет смотреть вас, — объявила гостья, — оглянулась, сделалась таинственной. — Я вам советовала бы. Покойница была франтиха, у него все цело — полон дом вещей. — Подняв с земли фонарь, они пошли, обня́вшись, медленно.

Гость при́был — в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником. — Я извиняюсь, — говорил он и, блестя глазами, ухмылялся в сивые усы. — Напротив, — отвечала Селезнева. Гостья наслаждалась, глядя.

— Время мчится, — удивлялся гость. — Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн.

— сестры, —

— посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв.

— наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз.

— братья, —

— раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Селезневой, чтобы и она не отставала:

— раскройте друг другу объятья:
пройдены годы страданья и слез.

— Прекрасно, — ликовала гостья. — Чу́дные, правдивые слова. И вы поете превосходно. — Да, — кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой. — До свиданья, — распростились наконец.

Набросив кацавейку, Селезнева выбежала. Мокрым пахло. Музыка неслась издалека́. Коза не заблеяла, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе.

Рассвело. С крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила с ним. — Да она жива, — войдя в сарай, сказал он. Селезнева покачала головой. Мальчишки побежали за санями. Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку.

— Здравствуйте, — внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся, в котиковой шапке из покойницыной муфты, и блестел глазами. Его щеки ло́снились. — Воро́та у вас настежь, — говорил он, — в школу рановато, дай-ка, думаю. — Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво. — Плачу и рыдаю, — начал напевать он, — егда вижу смерть. — Потупясь, Селезнева прикасалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали на рукава. Ворона каркнула. — Ну, что же, — оттопырил гость усы: — Не буду вас задерживать. Я, вот, хочу прислать к вам женщину: поговорить. — Пожалуйста, — сказала Селезнева.

МАТЕРЬЯЛ

Годулевич получила вызов на соревнованье и обдумала его. Два пункта приняла́, два отклонила и в один внесла поправку.

По соревнованию она должна была вести работу среди масс на воздухе. Закрыв библиотеку, она каждый вечер с несколькими книжками переходила в сад и привлекательно раскладывала их на столике в конце аллеи. Под залог какого-нибудь документа можно было брать их и читать под фонарем.

Она сидела. Киноаппарат трещал. Оркестр играл от времени до времени. Мальчишки подбегали иногда и делали ей эротические знаки пальцами или смотрели на нее в картонные очки, похожие на маски, с красным и зеленым стеклышками, выдававшиеся к «Чудесам теней». Один раз мимо столика прошли два кавалера, разговаривая о кре́м-соде.

Когда било десять, Годулевич уходила. Краковя́ки и мазурки раздавались вслед. Светила иногда луна, а иногда висели тучи и мигали молнии вдали. Из окон венстационара, освещенные из комнаты, высовывались люди в незастегнутых рубахах. — Дайте покурить, — просили они. Годулевич убегала в страхе. Башмаки стучали. — Всё работаете, — говорила ей хозяйка, отпирая, и она ложилась.

В выходные дни она ходила на картину, если была драма. Когда шла комедия, она сидела во дворе на ле́днике. Она читала, а внизу расхаживали люди, петухи кричали. Приходили гости к инженеру Сидорову — инженер Смирнов из коммунального отдела и старушка Паскудня́к из цеэрка. Малинников со скрипкой появлялся у окна, насупясь, и играл «Кол-Ни́дрэй».

Вечер наступал. Гремели иногда телеги. Музыка летела из садов. Дверь открывалась. Сидоровы, стоя на пороге, оба длинные, махали вслед своим гостям. Белеясь в темноте, они отмахивались.

Раз Смирнов вернулся. — Да, — сказал он, — вы слыхали новые куплеты «Ленин любит деток»? — оглянулся и запел вполголоса. Приблизясь, Годулевич кашлянула. Стало тихо, дверь захлопнулась, и гости разошлись.

Дни были до́лги, а недели ко́ротки. Прошли кампании о кооперации и антивоенная. — «Работая на воздухе», — писала Годулевич в заявлении о предоставлении ей места в доме отдыха, — «я не ослабила работу и в зимнем помещении. В результате мои нервы несколько расстроились». — И правда, она стала раздражительной и чуть не поругалась с абоненткой Рекс, которая спросила песенник.

В газете появилось объявление о чистке в коммунальном. Годулевич села и взяла перо. Она решила выступить там с матерьялом о Смирнове. Чтобы не забыть чего-нибудь, она составила записку.

В синем платье с желтыми полосками она отправилась. Венерики смотрели на нее из окон. На углах были расклеены портреты корифейки Степанянц и прима-балерины Праведниковой. Встречались абоненты и притрагивались к козырькам.

На чистке было людно. Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые. Смирнов держал перед собой газету. Он дул нá руки, подсовывал их под себя, вставал и выходил, позеленевший. Годулевич пожалела его. — Ну его, — подумала она.

Она раскаивалась в этом малодушии, когда приехала из дома отдыха, потяжелевшая на восемь фунтов, черная и шумная. Но ничего уже нельзя было исправить. Инженер Смирнов в ее отсутствие выбыл вместе с Сидоровыми в Таджикистан, откуда инженер Хозяинов по телеграфу известил их о местечках с дефицитными предметами и ставкой тысяча семьсот.

Уже прислали циркуляр о зимней культработе, и заведующий клубом обещал дать Годулевич почитать его. Старушка Паскудня́к, несмело улыбаясь, приходила на закате и сидела во дворе. — Когда они грузились, — просияв, смеялась она, — помните? — сбежались люди и смотрели. — Я была в отъезде, — говорила Годулевич и рассказывала ей о доме отдыха. Старушка Паскудня́к заслушивалась, тихая. Малинников в подтяжках подходил.

Она рассказывала, сколько там давали масла и какой приятный собеседник был товарищ Шацкий из Клинцов. Она рассказывала, как придумала заметку для живой газеты, и как с Эльгой Нохимовной Рог пошла смотреть деревню: хлеб уже был убран, и кругом просторно было; ящерица побежала из-под ног; покрытые соломой, показались избы — сани и хо́ды валялись возле них.

САД

Делегаты окружного съезда союза медсантруд сидели на скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали ноги и блаженствовали.

Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя на́бок головы. — А в будущем году еще прекрасней будет, — говорил садовник Чау-Дин-Ши. Растроганные делегатки окружили его. — Можете пустить фонтан? — просили они.

Чернякова посмеялась, глядя на них. — Ишь, — сказала она. В красном галстуке, в кудряшках над морщинами, она сидела под акацией. — Господин китаец, что я вам скажу, — подозвала́ она: — сегодня будем хоронить Таисию, уборщицыю: вы пожалуйте уже. — С огромным удовольствием, — ответил Чау-Дин-Ши, и она встала и пожала ему руку. — Мы надеемся, — простилась она и, сорвав травинку, повернулась и пошла, мурлыча.

Поэтесса Липец встретилась ей, и она остановилась и любезно поздоровалась: — Мое почтение, товарищ Липецковая, куда спешите?

Обмахнув скамейку, поэтесса Липец села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:

гудками встречен день. Трудящиеся...

— и она, под плеск фонтана, декламировала их.

Чернякову ждали неприятности. Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей. Она заголосила. — Это кучер доказал, — сказала она.

Гроб с Таисией при́был из больницы. Кучер привязал вожжами лошадь и пришел сказать. Управделами отпустил конторщиц проводить Таисию. Построились за гробом. Чернякова, поправляя галстук, встала с профуполномоченным, за ними встали регистраторша с курьершей, а за ними — машинистки: Закушняк и Полуектова. — Но, — крикнул кучер и, держа концы вожжей, пошел рядом с телегой. Загремели по булыжникам колеса. Профуполномоченный взмахнул рукой, шесть голосов запели. Чау-Дин-Ши прошел по саду с колокольчиком и выпроводил посетителей. Он запер на замок калитку и догнал процессию. Чернякова оглянулась на него. Пенсионерка Закс, постукивая палкой, подскочила к нему и спросила, кто покойница. — Уборщица окрэспеэс, — ответил Чау-Дин-Ши любезно. — Знаю я ее, — сказала радостно пенсионерка Закс: — я с ней

служила вместе, когда я была секретарем союза работпрос. — Она посеменила, чтобы попасть в ногу, и запела, подымая голову, как курица, глотающая воду. Солнце жарило. Пыль набивалась в рты.

Таисию засы́пали. Вскочив на дроги, кучер укатил. Девицы побежали: секретарь союза медсантруд дал им по делегатскому талону на обед в столовой — надо было захватить места, пока не набрались сезонники. Пенсионерка Закс, попрыгивая, шла с китайцем. Чернякова возвращалась с профуполномоченным.

— Товарищ профуполномоченный, — учтиво говорила она, — на меня доказывают, но подумайте, какая моя ставка: двадцать семь рублей.

В окрэспеэс уже никого не было. Один отсекр окрэмбеит, товарищ Липец, инженер-электротехник — еще сидел. Он по́дал заявление о прибавке и на́чал каждый день задерживаться. Он читал газету: был его портрет, его статейка и стихотворение его дочери:

гудками встречен день. Трудящиеся

Чернякова заперла́ все двери и смотрела на него. — Товарищ Липецков, — почтительно сказала она, проведя ладонью по губам: — я уж пойду, а то сезонники наскочат. Ключ повесьте в телефонной, если милость ваша будет: у меня там ключевая соберительница, кассыя ключевая.

Было жарко. Тротуар размяк. Телеги, подвозившие кирпич к постройкам, громыхали. Регистраторша, курьерша, машинистки Закушняк и Полуектова уже поели и плелись распаренные, ковыряя языком в зубах. Они перемигнулись с Черняковой. — Хорошо? — спросила она и заторопилась.

Образованные люди чинно ели, отставляя пальцы и гоняя мух. На кадках пальм было выведено «Новозыбков». На стенах висели зеркала. Напротив Черняковой интересный кавалер любезничал с девицей. — Вы и сами лимонады, — наливая ей стаканчик, говорил он, — только красненькие. — Неужели, я такая красненькая? — удивлялась она. — Ишь ты, — посмеялась Чернякова и, доев, утерла губы галстуком и вышла, повторяя этот разговор.

Стараясь обогнать друг друга, ей навстречу, бородатые, неслись сезонники. В окрэспеэс она открыла окна. Воздух ворвался́. За крышами видны́ были луга, стада пестрелись, голые мальчишки бегали вдоль речки. Чернякова подоткнула юбку, засучила рукава и начала́ уборку. — Вы такие красненькие, — говорила она, делала приятную улыбку и смеялась.

Перестали грохотать телеги. Конартдив, резерв милиции и ассенобоз по очереди проскакали к речке: подымалась пыль и затемняла

солнце. Тусклое, оно спускалось к кепке памятника. Сад был полон. Женщины стояли у фонтана и бродили вокруг клумб. Мужчины, развалясь, в рубашках из «туаль-дю-нор», сидели. Волейбольщики скакали, отбивая головами мяч. Пенсионерка Закс ходила за китайцем.

— Я воображаю, как вам скучно с нами, — говорила она. Чернякова подошла и слушала с участием. — Умерла́ Таисия, — сказала она, кашлянув.

Побагрове́ли облака и побледнели. Съезд союза медсантруд закрылся и запел «Вставай». Цветы запахли. Громкоговоритель закричал «Алло». Темно стало, присматривать за посетителями стало трудно. Чау-Дин-Ши прошелся с колокольчиком. Он запер на замок калитку и пошел к Прокопчику. Пенсионерка Закс и Чернякова провожали его. Фонари покачивались тихо. Запах сена прилетал с лугов. В окне у оптика стояли гипсовые головы в очках, и в их глазах то загоралось электричество, то гасло. — Господин китаец, это красота, — сказала Чернякова. — Замечательные вещи, — согласился Чау-Дин-Ши. Пенсионерка Закс, насупившаяся, простилась. — Не подумайте, что я устала, — предостерегла она.

Костры плотовщико́в горели у реки. Луна всходила. Золотые буквы водной станции окрэспеэс блестели. Поздние купальщики плескались в темноте. Прокопчик сосал трубку. Он был рад гостям. — Мое почтение, — приветливо здоровались они, — как поживаете? — и жали ему руку. — Прилетела культотдельша, — рассказал он, — требовала, чтобы все были в труса́х. — Качали головами и смеялись. В городе горели огоньки. Вода журчала. — Кучер на меня доказывает, сукин сын, — пожаловалась Чернякова. — Эх, — сказала она, заиграла на губах и завертелась, грохоча. Мужчины ей подтопывали. Галстук разлетался.

— вы такии
красненькии,

— выводила она и трясла боками, топоча, и вскрикивала.

Поэтесса Липец, обратив лицо к луне, прогуливалась, и ее отец, отсекр окрэмбеит, прогуливался вместе с ней. Они прогуливались, отсмотрев спектакль, делегатские билеты на который получили от секретаря союза медсантруд. Шарф поэтессы Липец развевался. Глядя вверх, она покачивала головой и декламировала тихо:

— Гудками встречен день. Трудящиеся.

ПОРТРЕТ

1

Как всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина.

Он тряс над тазом самовар и, как всегда, любезно пошутил, кивнув на мои ведра: — Фызькультура.

Как всегда, раскланявшись с маман, мы вышли, и в воро́тах, распахнув калитку, отец, галантный, пропустил меня. По те́ни я увидела, что горблюсь, и выпрямилась.

Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. Старики сидели на завалинках. Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, разбрызгивались. Как всегда, на повороте, тронув козырек, отец откланялся.

Четыре четырехэтажных дома показались, площадь с фонарями и громкоговорителями. Подоткнув шинели, бегали солдаты с ружьями, бросались на́ землю и вскакивали. Стоя на крыльце и переглядываясь, канцелярские девицы их рассматривали. Шляпы отражались в полированных столбах.

Хваля погоду, мы уселись. Счеты стали щелкать. В кофте «сольферин» прошла товарищ Шацкина и осмотрела нас. Передвигалось солнце. Тень аэроплана пробежала по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики.

После обеда, кончив мыть, маман переоделась и, в перчатках, чинная, отправилась.

— Мы выбираем дьякона, — остановилась она и взглянула на меня и на отца внушительно.

— Прекрасно, — похвалили мы.

Отец, прищуриваясь, шелестел газетой. Ветви перекрещивались за окном. В конюшне за забором переступала лошадь.

Постучались гостьи и, расстегивая выхухоль на шее, радостно смотрели на нас кверху, низенькие. Брошь-цветок и брошь-кинжал блестели. — Я иду сказать маман, — сбежала я.

Она, торжественная, как в фотографии, сидела в школе. Старушенции шептались. Кандидат на дьяконскую должность, в галифе, ораторствовал.

— Я из пролетарского происхождения, — восклицал он.

Разноцветные, с готическими буквами, висели диаграммы: мостовых две тысячи квадратных метров, фонарей двенадцать, каланча одна.

— А вы учились в семинарии? — поднялась маман.

Я позвала́ ее.

Затягивались лужицы в следах. Выскакивали люди без пальто и шапок, закрывали ставни. Мальчуганы разговаривали, сидя на крыльце, и их коньки болтались и позвякивали.

Улица Москвы, по-старому — Московская, шумела. Рявкали автобусы. Извозчики откидывали фартуки. Взойдя на паперть, я взяла билет. Стояли пальмы. Рыбки разевали рты. Топтались кавалеры, задирая подбородки и выпячивая бантики. Я терлась между ними.

Ри́чард То́лмедж был показан в безрукавке и коротеньких штанишках. Он лечился от любви, и врач его осматривал.

— Милашка Ри́чард, — улыбались мы и взглядывали друг на друга, сияя.

Сверх программы — музыкальные сатирики Фис-Дис трубили в веники. — Осел, осел, — кричали они, — где ты? — и отвечали: — Я в президиуме Второго интернационала.

Наскакивая на прохожих, я гнала́сь за ним. — Послушайте, — хотела крикнуть я. Он шел, раскачиваясь, невысокий, с поднятым воротником и в кепке с клапаном.

Отец остановил меня. Он тоже убежал от го́стий. — Ричард мил? — спросил он, и по голосу я видела, как он приподнял брови: — И идеология приемлемая?

Узкая луна блестела за ветвями. На теня́х светлелись дырки. Дикие собаки спали на снегу.

— Да, да, — кивала я, не слушая... Тот, в кепке, — в толкотне у двери он ощупывал меня.

Маман, с полузакрытыми глазами, с полотенцем на плече, перемывая чашки, улыбалась. Гостьи только что ушли — сапожной мазью еще пахло.

— Вот, — снисходительно сказала нам маман, — вы ничего не знаете. Поляки взяли Полоцк. Из Укра́ины пришло письмо — она решила не давать нам мяса.

Как всегда, мы сели. Кошка, тряся стул, лизала у себя под хвостиком. Отец шуршал страницами. Маман, посмеиваясь, пришивала кружево к штанам. Я перелистывала книгу. — Анна Чилляг, волосастая, шагала и несла перед собой цветок. Поль Крюгер улыбался. Это — гостьи принесли.

2

На крыльце, таинственный, хозяин задержал нас. — Подрали́сь, — сказал он: — Луначарский двинул Рыкову.

Мы вышли. Лужицы темнелись у ворот. Вытягивая шеи, куры пили. Пробегали кавалеры и посвистывали. Их прически выбивались. Капельки блестели на плечах. Мальчишка мазал стены, прилеплял афиши и разглаживал: Митрополит Введенский едет.

«есть ли бог?»

Отец откланялся. Аэроплан жужжал. Флаг развевался, прикрепленный за углы, и небо между ним и древком синелось.

К надписи над театром проводили электричество. Монтер, приставив к глазам руку, шел по крыше и раскачивался, невысокий. — Это он, — подумала я. — Что там? — спрашивали у меня, остановясь. Меня толкнули. Лаком для ногтей запахло. Выгнув бок, кокетливая Иванова в красной шляпе поздоровалась со мной. Я вспомнила, что Жоржик с электрической — ее знакомый, сделала приятное лицо, и мы отправились.

— Весна, — поговорили мы.

В двенадцать, когда, взглядывая в зеркальце, положенное в стол, она закусывала, я подъехала к ней. Колбаса лежала на газете. — «И избил, — прочла я, — проходившую гражданку по улице Москвы». — Я кашлянула скромно.

— Вы будете на вечере? — спросила я.

Все были приодеты. Благовония носились. К лампочкам были привязаны бумажки. Хвоя сыпалась. Подшефный середняк сидел с товарищ Шацкиной и кашлял.

Выступали физкультурники в лиловых безрукавках, подымали руки, волоса под мышками показывались. Хор пел.

Балалаечники, поводя глазами, забренчали. Мы покачивались на местах, приплясывая туловищами.

Товарищ Шацкина, довольная, оглядывала нас: — Хорошо, — зажмуривались мы и хлопали ладошками. Содружественная часть подтопывала.

— тихо,

— как когда я была маленькая, завертелся вальс, —

— кругом,
и ветер на сопках рыдает.

— Я пойду на диспут, — перестав смотреть на дверь, сказала Иванова: — нет ли там чего, — и вытащила пудру: озеро с кувшинками и лебедь.

Подмерзло. Две больших звезды, как пуговицы на спине пальто, блестели. Над театром, красные, окрашивая снег на площади и воздух, горели буквы. Люди в кепках проходили.

Я — приглядывалась к ним.

Сад цвел на сцене. Нимфа за кустом белелась, прикрывая грудь. Митрополит Введенский возражал безбожнику губернского значения Петрову.

Мы рассматривали зрителей. Отец сидел, зевая. Он кивнул мне. — Гостьи, — объяснил он.

— Вот он, — засияла Иванова и толкнула меня: Жоржик с электрической увидел нас.

— Электрик, — рекомендовался он мне.

— Выйдемте, — сказала Иванова и в фойе, отсвечиваясь в мраморных стенах, под пальмой, упрекала его. Он оправдывался, задирая брови. — Я хотел прийти, — в чем дело? — говорил он, — но, представьте, прачка подвела. — А ну вас, — отворачивалась Иванова томно.

Препираясь, мы спустились к улице Москвы. Бензином завоняло. Невский вспомнился — с автомобильными лучами и кружащимися в них снежинками.

От бакалейной, наступая на чужие пятки, мы шагали до аптеки и повертывались. Милиционериха стояла скромно, в высоко надетом поясе. Встряхнулась лошадь, и бубенчик вздрогнул.

— Пушкин, где ты? — говорили впереди. Конфузясь, Иванова прыскала. — Товарищи, — солидно сказал Жоржик: — Неудобно. — Нá плешь, — оглянулись на него.

Снимая шапку, он раскланивался. — Доброго здоровья, — восклицал он. Я — присматривалась.

У больших домов отец догнал меня. Он что-то говорил, смеясь, и пожимал плечами. Я поддакивала и хихикала, не вслушиваясь. Было пусто в переулках. Вырезанные в ставнях звезды и сердца светились.

— в магазине Кнопа,

— пели за углом.

Маман была оживлена. Сапожной мазью и помадой пахло. Библия лежала на столе.

— Все, все предсказано здесь, — радостно сказала нам маман и посмотрела значительно.

3

Маман прислушалась. — Идут, — вскочила она и концами пальцев обмахнула грудь — как стряхивают крошки.

Как всегда, я и отец сбежали и пережидали во дворе под грушами. Кулич был виден. Цинерария стояла на окне.

Христос,

— задребезжали в доме. Запах церкви прилетел. Кругом звонили. Кошка, глядя вверх, следила за аэропланами. Затопотали по ступенькам. Духовенство, надевая шляпы и качая талиями, спускалось, и маман, величественная, с крыльца кивала ему.

Прибыли хозяева и поздравляли. — Милости прошу, — усаживала их маман. Все улыбались. — Я к больным, — сказал отец. Я тоже улизнула. Вилки и ножи стучали вслед.

Гуляли семьи. Маленькие дети спали на руках. Колокола звонили. — «Праздники», — расклеены были афиши, — «дни есенинщины».

Гостьи семенили, горбясь, — торопились к нам, в роскошных кофтах и в чалмах из шалей. Я свернула в садик, нелюбезная. Шуршали листья — прошлогодние. Травинки пробивались.

— В Пензе, — разговаривали на скамье, — все женщины безнравственны.

Подкралась Иванова, ткнула меня пальцем и сказала: — Кх. — Она благоухала. Коленкоровые фиалки украшали ее.

— Я тянула счастье, — засмеялась она.

Хлопала калитка. Совработники в резиновых пальто входили. Щелкнув сумкой, мы смотрелись в зеркальце. Часы пробили. — Знаю, — встала Иванова, — где он.

Громкоговорители на площади хрипели. Кавалеры в новеньких костюмах, положив друг другу руки на́ плечи, толпились над лотками. Яйца стукались. В окне светился транспарант с цитатой, и веревка, унизанная красными бумажками, висела. Мы вошли. Засаленными книжками воняло. Подпершúсь, библиотекарша сидела за прилавком. Дама в профиль красовалась на ее воротнике.

— У вас щека запачкана, — сказала Иванова. — Это от пороха, — ответила она и посмотрела гордо.

Общество друзей библиотеки заседало — Жоржик и стеклографистка Прохорова. В голубом, она жевала что-то масляное, и ее лицо блестело.

Жоржик был рассеян. Вдохновенный, он ерошил волосы. — «Проклятие тебе», — раскрашивал он надпись, — «мистер Троцкий». — Вежеталем «Виолетт де Парм» пахло.

— Лозгуны? — приблизившись, спросила Иванова мрачно. Я посторонилась. «Виринея» и «Наталья Тарпова» лежали на рекомендательном столе. В газете я нашла товарищ Шацкину: она идет в рядах, — «Прочь пессимизм и неверие», — несет она плакатик, — «Пуанка́ре, получи по харе», — реет над ней флаг.

Дождь хлынул. Отворилась дверь. Все посмотрели. — Гришка с огородов, — объявила Прохорова.

Невысокий, он стоял, отряхивая кепку с клапаном...

Из главной комнаты, присев на стул, на нас смотрела подавальщица. Мы чокались, стесняясь. На столах были расставлены бумажные цветы.

— За ваше, — подымал галантно Жоржик и опрокидывал. — Жаль, — горевал он, заедая, — что здесь не разрешают петь: как дивно было бы. — Да, — соглашались мы, а подавальщица вздыхала в другой комнате и говорила: — Запрещёно.

— Вы чуждая, — сказала Прохорова, — элементка, но вы мне нравитесь. — Я рада, — благодарила я.

Тускнели понемногу лампы. Голоса сливались. Откровенности и дружбы захотелось. Иванова встала и пожала Прохоровой руку. — Я иду, — бежала я тогда.

Прильнув к окну, хозяева подслушивали. Цинерария бросала на них тень. За занавеской ложки звякали, маман солидно рассуждала, гостьи, умиленные, поддакивали ей.

Я повернулась, незамеченная, и опять пошла на улицу. Я спотыкалась. — Набрала́сь, — оглядывались на меня. Хихикнув, совторгслужащие говорили шепотом: — Кабу́ки. — Громкоговорители наигрывали.

В театре, как всегда, стреляли. Чистильщик сапог укладывал свой шкаф. Мороженщики, разъезжаясь, грохотали.

Шум стоял на улице Москвы. На паперти толпились кавалеры, покупая семечки.

В фойе чернелись пальмы. Рыбки разевали рты. Гремел оркестр. Зрители приваливались к дамам. Али́-Вали́ отре́зал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.

— Не чудо, а наука, — пояснил он: — Чудес нет.

Мы переглядывались в изумлении. У дверей толкались — как тогда. Взвилась ракета. Звезды над аптекой вздрагивали.

Я одна осталась. В темноте отзванивали. Щелкали по башмакам шнурки.

Укра́инская труппа топотала, вскрикивая: — Гоп. —

Губернский резерв милиции раздевался, сидя на кроватях.

Сонные собаки подымали головы. В разливе отражались какие-то огни.

На огородах было тихо. Ничего не видно было. Сыростью прохватывало.

4

Груши падали, стуча. Хозяева выскакивали и, бросаясь, схватывали их. По приставленной к забору лестнице они перелезали на соседний двор и возвращались с яблоками: юс толленди.

Почтальонша отворила дверь и крикнула. Я приняла газету. Циля Лазаревна Ром меняла имя. Буржуазная картина «Генерал» обругивалась: почему не северянина изображает Бёстер Ки́тон?

— С праздником, — пришла маман. Демонстративно посмотрела и, вздыхая, сунула свой поминальник за горчичницу.

Деревья были желты. Листья приставали к каблукам.

— Рахиля.

— напевал меланхолично чистильщик. Его фуфайку распирали мускулы. В разрезе ворота чернелись волоса. Шнурки для башмаков, повешенные за один конец, качались.

вы мне даны.

В саду Культуры клумбы отцвели. — «Желающие граждане купить цветы», — не сняты были доски, — «можно у садовника». Фонтанчик «гусь» поплескивал.

Борцы сидели, подбоченясь. В модных шляпах, они напоминали иностранцев из захватывающих драм. Гражданки, распалясь, вставали и подрагивали мякотями.

В цирке щелкал хлыст. Мелькали за открытой дверью лошади. Наездница подскакивала.

Прохорова вышла из буфета с чемпионом мира Слуцкером. Они дожевывали что-то, и ее лицо блестело.

Ивановой не было. Общественница, она работала в комиссии по проводам товарищ Шацкиной.

Кружок военных знаний занимался за акациями. — Самый, — хмурил брови лектор, — смертоносный газ — забыл его название — начинается на хве. — Карандаши скрипели.

Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике «юнг-штурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый.

— Теплый день, — поговорили мы и помолчали. Прохорова, вероломная, была виднá ему. — А подмораживало уж, — сказала я. — Действительно, — ответил он: — температура превышала.

— Осень, — попрощались мы.

На улице Москвы толпились — ожидались похороны летчика. Зеленый шар мерцал в аптеке. На окне стоял флакон с Невой и Крепостью.

Автобус загудел. Сквозь стекла пассажиры посторонними глазами посмотрели на нас. Они — ехали.

Обоз с картошкой прибыл. — «Наш ответ китайским генералам», — пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее.

Хозяин, отставляя руку, нес в жестянке керосин. — За Иордан? — осклабясь, как всегда, полебезил он. Звери в балагане вскрикивали. Музыкант с букетом на груди отзванивал на водочных бутылках.

— «Мост опасен», — предостерегала надпись. Рыболовы, молчаливые, вертели ручки удочек с накручиваньем. Прачки с красными ногами наклонялись над водой. Ракиты осыпáлись.

Паутина облепила кочки на лугу. Бродили гуси. Черепа и кости были нарисованы на электрических столбах.

Я села у большого камня, про который знала из газеты, что его желательно использовать при установке памятника. Узенькие листья плыли.

Новые дома, белеясь на горé, блестели стеклами. На огородах кочаны круглелись, как зелененькие розы.

Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркáлись в трусиках. Потом посбрасывали их и бегали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через голову.

Я поднялась, бледнея. Это он был — не монтер, не Гришка, а тот самый, с клапаном.

— Послушайте, — хотела крикнуть я.

— Сфотографировать? — спросил он расторопно, повернулся, наклонился и дотронулся до сгиба. — Вот портрет, — сказал он, показав ладонь.

Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой.

Другие редакции

СТАРУХИ В МЕСТЕЧКЕ

1

Белобрысая двенадцатилетняя Иеретиида, в синем платье и черном фартуке, прискакивая, несла на плече лопату. За ней, сложив на выпяченном животе костлявые руки, величественно шла Катерина Александровна — в широком черном платье с белыми полосками и маленькой черной шляпе с креповым хвостом. Сзади, неся пеструю метелку из перьев, коробку с веером и зонтик, выступала Дашенька — сорокалетняя, черная, грудастая и чванная.

На балконе, распаренная, толстомясая, в голубом капоте с кружевами, сидела Пфердхенша и пила кофе с пфеферкухеном. Ее ноги загораживала вывеска:

АПТЕКА ФОН ПФЕРДХЕН
худ. Цыперович

Катерина Александровна двинула губами и стала смотреть вдаль; Дашенька, задрав голову, глазела: Пфердхенша — развратница.

Свернули вправо и по мостику с вывесочкой «мост опасен» вышли в зеленую улицу с серыми тропинками.

Иеретиида загляделась на девчонку, которая бежала против ветра, держа над головой распяленную наволочку. Катерина Александровна пристально смотрела на графинин парк с булыжниковым забором.

Тщедушный акцизный, в длинной желтой ситцевой рубахе, копался в палисаднике. Тощая акцизничиха, в синем балахоне, босая, наливала лейку. Катерина Александровна прищурилась: они — с легкими идеями.

Под откосом купались мальчишки. Медленно плыли плоты. Черная корова, стоя в воде передними ногами, обмахивалась хвостом.

Гаврилова сидела на крыльце. Увидя, что идут, поднялась и ушла в дом: она недавно бросилась в колодец и теперь — стыдилась.

Катерина Александровна скрипучим голосом окликнула Иеретииду, свернули вправо и по тропинке между огородами пошли на кладбище.

Около могилы развели два маленьких костра — от комаров. Дашенька почистила скамью метелкой. Катерина Александровна уселась, посидела, посмотрела на памятник с портретом старичка в медалях и эполетах. Костры засыпали.

Возвращались по другой дороге. За полем началась графинина булыжниковая стена. Проходя мимо ворот, Катерина Александровна повернула голову и смотрела на двор с круглой клумбой и белый фасад с закрытыми окнами: никого не увидела.

У калитки сквера она отпустила Дашеньку и Иеретииду и, с полузакрытыми глазами втягивая сладкий воздух, вошла под цветущие липы. Дорожки приводили на площадку с четырьмя скамейками. Сбоку, в полосатой будке — белой с красным, грызя орехи, сидела Роза Кляцкина. Вокруг нее были расставлены бутылки с квасом. Цыперович, в коричневой бархатной куртке, скрестив руки на груди, стоял снаружи и, принимая позы, заглядывал в Розины глаза.

Фрау Анна Рабе, в кисейном платье с синими букетиками, приятно улыбаясь, вышла на площадку из другой аллейки. Перед ней бежала моська Цодельхен. Катерина Александровна, обмахиваясь веером и придерживая креп, расположилась с фрау Анной так, чтобы не видеть Розы и Цыперовича. Цодельхен, пощипывая травку, бродила около.

Солнце садилось за липами. Темная зелень казалась прозрачной. Ветер, замирая, шевелил не поместившиеся в прическу волоски. Балюль, с прыщеватым лицом, прошмыгнул, согнувшись. — Должно быть, из палаццо, — сказала фрау Анна. Катерина Александровна моргнула. — Да, ведь графиня, кажется, приехала... Скажите, дорогая Анна Францевна, вы с ней знакомы?

— Когда мой Карльхен был жив, он в палаццо лечил, тогда я тоже была с ними знакома. Но когда они мне фанатисмус показали, тогда я с ними больше не знакома.

Она стала рассказывать, как Карльхен умирал, а граф Бонавентура уговаривал его принять католицисмус. — Это был целый шкандал, и мы с графинем Анном не есть теперь очень приятные. — Катерина Александровна поспешно встала и простилась.

2

Дул теплый, мокрый ветер, дорога почернела. Катерина Александровна шла от обедни. — Этот ветер, — говорила она, — дует

с моря. Чувствуете — пахнет солью и парусиной. Мне нравится, как сказано в Деяниях: «ветер бурный, называемый Эвроклидон».

Перед костелом были сани из палаццо. — Дашенька, Иеретиида, идите — я вернусь... забыла...

Креп, пришитый к шляпе, взвивался и вытягивался, бил по лицу. Нос покраснел, текли слезы. Подползли нищие и, голося, протягивали руки. Рослая старуха, в красной шубе, с четками на шее, курносая, вышла из костела. Катерина Александровна лизнула губы и рванулась. — Графиня! Вас ли я... вот случай! — Прошем дать дорога, — прогнусавила графиня.

Снег хрустел под подошвами. Солнце грело нос и левую щеку. Белые дымки подымались над крышами. Таяла утренняя луна. — Смотрите, Дашенька и Иеретиида, — показала Катерина Александровна. — Склонилась, будто над разбитыми мечтами. — Что и говорить, — ответила Дашенька.

Трещала канарейка, собачонка Эльза грелась на подушке у горячей печки, на полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. — Горячо любимая Анна Ивановна, — сказала Катерина Александровна, — поздравляю вас с днем ангела.

Уселись на диване под стенным ковром с испанкой и испанцами. Именинница, сияя, гладила коротенькими пальцами атласную ленту на своем капоте. — Акцизничиха — слышали? — вернулась. Пряталась у Гавриловой. Как вы находите? Я позвала Гаврилову к обеду: будет рассказывать. — Ах, эти легкие идеи...

— Графиня разъездилась: вчера два раза проехала, сегодня проехала.

— Точно в покоренном городе, — сказала Катерина Александровна.

Гости, с красными лицами, хлопали глазами. — Уже укладывалась спать, — рассказывала Гаврилова, — вдруг стук. Является. — Пустите пожить. Сестра пришлет денег, уеду в Калугу. — Пока говорили, вокруг ножищ натаяла лужица. Дальше — хуже. Тут начнет донимать «Кругом Чтения»: — Вы когда родились? — А мое рождение первого апреля. Так и отвечаю. — Так давайте, — говорит, — почитаем «Круг Чтения» на первое апреля. — Ах, чтоб тебя! К счастью, денежек у ней было не много, а от сестры, конечно, шиш, никакого ответа, она и вернулась.

Катерина Александровна, торжественная, в черном шелке, отодвинула изюм, поднялась, отерла рот и прочувствованным голосом сказала: — Бедная вы моя Прасковья Александровна. Сколько вытерпели вы от этой негодницы... Горячо любимая моя, я полюбила вас. Примите мою дружбу. А ведь вы — сестра моя: я тоже Алексан-

дровна. — Ее губы дрогнули. Она подумала: «И я такая же одинокая, как вы».

Анна Ивановна обняла Гаврилову и громко целовала. Фрау Анна Рабе встала и, приятно улыбаясь, поднесла Гавриловой букетик резеды. Попадья и становиха чокнулись с Гавриловой и крикнули «ура». Она, вспотевшая, клала руку на сердце и раскланивалась.

— Я с отрадой вижу, — заскрипела Катерина Александровна, — как единодушно мы сейчас настроены. Хотелось бы, чтобы в таком единодушии мы навсегда и остались... Перед нами разъезжают, точно в покоренном городе. Объединимся и дадим отпор. — Гости слушали, повеся головы, и сквозь кофейный пар глядели на нее мутными глазами. — Что ж, Анна Ивановна, — спросила почтмейстерша, — зелененький столик расставим или расходиться будем? — Да, пора, я вижу, — сказала Катерина Александровна и, величественная, заколола под подбородком свою шаль. — Прасковья Александровна, пойдемте. Вы посидите у меня, поговорим...

Темнело. Пахло снегом. В конце улицы, где синяя туча обрывалась, на небе светлелась желтая полоска. Катерина Александровна молчала. Гаврилова была оживлена, покачивалась.

3

В палисаднике у фрау Рабе зацвели маргаритки. Из Петербурга приехала Марья Карловна с семьей: три маленькие девочки с косичками и нянька. Катерина Александровна встретила их у калитки. — Ах, Мари, — сказала она, — как я рада. Иди, ложись, а потом поговорим подробно. — Она присела к столику и записала на бумажке, что спрашивать и что рассказывать. После чаю пригласила Марью Карловну пройтись и, выйдя за калитку, посмотрела на свою записку. — Ну, Мари...

— Тетечка, — сказала Марья Карловна, — мы их еще объединим.

Светлели голубые и зеленые промежутки между облаками. Из палисадников пахло жасмином. Купальщики возвращались с побледневшими лицами и мокрыми волосами. Над Пфердхеншиной крышей виднелась маленькая белая звезда.

На следующий вечер, вымыв чайную посуду, Марья Карловна оглядела свою вертлявую фигурку и, проведя ладонями по кофте и белой полотняной юбке, накинула на голову шарф. — Иду.

Стали ездить в лодках — с едой и гитарами, толпой ходить в лес. Возвращаясь, заходили в сквер, где на эстраде играли четыре музыканта с длинными носами. Требовали гимн. Все вставали и снимали шапки. На минуту становилось тихо. Потрескивали в тишине

фонарики. Роза Кляцкина, грызя орехи, вставала в будке. Звучала торжественная музыка, кричали «ура» и «повторить».

Катерина Александровна мало участвовала в этих развлечениях. Она обдумывала завещание. Каждый день после обеда она взбиралась на гору, поросшую твердой травой с желтыми цветами, и бродила перед расписной часовней: Ирод закусывал с гостями... Перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса на цыперовичевской вывеске. Катерина Александровна бродила между кострами и смотрела на дорогу: не появится ли маленькое шествие, не идет ли графиня Анна с ксендзом Балюлем и двумя старухами в красных пелеринах. Оставив старух внизу, где Дашенька и Иеретиида тихонько напевают и ищут одна у другой в голове, графиня взобралась бы, опираясь на ксендза, и дала бы ему знак остановиться, а сама бы подошла и наклонила голову. Катерина Александровна сказала бы: — Здравствуйте, графиня.

Прикладывались. Духовное лицо держало крест и восклицало: — Слава тебе, боже, слава тебе, боже. — Дашенька и Иеретиида запирали в шкаф возле свечного ящика подушку для коленопреклонений и ковер. Катерина Александровна, поджидая их в притворе, ела просфору. К ней подошел зеленоватый старичок в коричневом пальто: Горохов, председатель городского братства святого Александра Невского, наслышан о деятельности...

Сидели в сквере. Катерина Александровна, без шляпы, в широком белом платье с черными полосками, обмахивалась веером и улыбалась. Горохов, пришепетывая, рассказывал о братстве, как оно ходило с крестным ходом, послало телеграмму в Царское Село, устроило концерт и вызолотило большое соборное паникадило. Катерина Александровна, поигрывая веером, смотрела на деревья. — Непременно, непременно, — уговаривал Горохов. — Заказали бы хоругвь, и она хранилась бы у вас в гостиной, а в процессиях развевалась бы над головами — подумайте, какая красота? — Пройдемтесь, — пригласила Катерина Александровна.

Шли вдоль речки. Пахло клевером. — Часовня, — обрадовался Горохов, — Иоанн Креститель! Вот вам и название: братство святого Иоанна. — Катерина Александровна сказала: — Оттуда недурной вид.

Возвращались. Голубоватое небо стало лиловым и розовым. Обернулись и посмотрели на два красных овала — над речкой и в речке. Осветились красным светом желтые лица и седые головы. — Катерина Александровна, — напыщенно вскричал Горохов. — Это зрелище двух солнц не говорит ли о двух братствах? Святой Александр и святой Иоанн! Это прекрасно. — Но Катерина Александровна думала не о двух братствах, а о двух дамах: величе-

ственные, в светлых платьях, розоватых от вечерних лучей, они смотрят с горы и, растроганные, произносят отборные фразы...

В городе открывали памятник. Дамы, разодетые, поехали. Горохов встретил на вокзале. — Катерины Александровны нет? Вот жалость! Владыка хотел поговорить с ней насчет братства. Имели бы свою хоругвь — ах, какая красота...

Он разместил их у решетки, за которой стояло под холстиной что-то тощее. — Я боюсь, — кокетничала становиха, — вдруг там скелет.

Кругом были расставлены солдаты. Золотой шарик на зеленом куполе ослепительно блестел и, когда зажмуришься, разбрасывал игольчатые лучики. Затрезвонили. Нагнувшись, вылезли хоругви и выпрямились. Сияли иконы, костюмы духовных лиц и эполеты. Епископ в голубом бархатном туалете с серебряными галунами приблизился к решетке. Сдернули холстину. На цементном кубике стояла, кверху дулом, пушка, а на ней орел в короне. — Прелесть, прелесть, — щебетали дамы, отклоняясь от брызг святой воды, и растопыривали локти, чтобы ветер освежил вспотевшие бока.

За угощением в палатке было очень оживленно. Ручались, что война начнется завтра или послезавтра. Соображали, куда бежать. — Хорошо вам, фрау Анна: скажете им, будто родились в каком-нибудь Берлине, и конец. — Это надо врать? — спросила фрау Анна. — Никогда не врала. «Господи, а я куда деваюсь», — думала Гаврилова.

— Поеду с вами в Петербург, — сказала Катерина Александровна, выслушав от Марьи Карловны доклад. — Я и так собиралась. Здесь опротивело — не с кем слова сказать.

Накрывали ужин и стучали вилками. Катерина Александровна стояла на веранде. — В Петербург!.. Бредешь по ротам и видишь синий купол с звездами. Тащатся к Варшавскому вокзалу сенные извозчики с корзинами в ногах. Из харчевен воняет горелым. Старухи плетутся ко всенощной — в ротондах, в расшитых стеклярусом мантильях...

Луна стояла над забором, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской. — Анна, Анна, ты не захотела, чтобы я отдернула завесу, которою ты от меня закрыта...

Война не начиналась. Приехал муж Марьи Карловны. Ходил на речку загорать. Возвращаясь, выпивал у Розы Кляцкиной бутылку квасу. Под Иванов день Анна Ивановна дала праздник. На яблонях висели бумажные фонарики. Играли музыканты из сквера. Перед садом прогуливалось все местечко. Телеграфист со станции жег бенгальские огни, все освещалось, и мальчишки на улице громко читали заборные надписи.

4

Анна Ивановна и Марья Карловна сидели в цветнике у фрау Анны Рабе.

— Целый вечер я на фисгармониуме канты играла, — рассказывала фрау Анна: — Тогда совсем темно стало, и я фисгармониум закрыла и пошла немного на крыльцо стоять. На небе было много звездочки, я голову подняла и смотрела. Это есть так интересно — я видела кашне и разную посуду, много разные горшки, кастрюльки. Я была счастливая, стояла и смеялася. Приходит Лижбетка: — Вы видели Цодельхен? — Нет. — И вот, сегодня ей нашли за огородом в крапиве.

— Да, — сказала Анна Ивановна, смотря на затянутый фасолью забор. — Сегодня Цодельхен, завтра Эльза, а там... — Она замолчала и подняла глаза на серенькое небо.

Марья Карловна вздохнула и закивала головой.

— Карльхен ее так любил... После обеда он идет немного посмотреть свои больные, наденет свою шляпочку — он имел такую маленькую шляпочку с зеленым перышком. Цодельхен — с им вместе. Я поливаю грядки, присматриваю на кухне. Тогда вдруг гавкает этот собачка — Карльхен есть на углу и машет своим шляпочком...

Фрау Анна наклонила голову. Гостьи, опустив глаза, молчали. С клумбы пахло левкоями. Чай остывал в трех чашках... Застучали дроги, стали, все подняли головы. Хлопнула калитка, и по обсаженной сиренью дорожке прибежал муж Марьи Карловны.

— Катерины Александровны здесь нет? Война объявлена. Приехали со станции, и вот...

Дамы встали. — Катерина Александровна на горе, — сказала Марья Карловна, — обдумывает завещание. Беги.

— Так тиха сегодня твоя земля, господи. Проехали со станции, прогремели, и опять тихо. Вон, какие-то верзилы купаются и не горланят... Дорога к палаццо лежит под деревьями как мертвая... Вспоминается осенний вечер: темнело, было тихо, два узких листика висели на тонкой ветке, маленькие купола с белесоватой позолотой тянулись к сереньому небу...

— Катерина Александровна, война объявлена!

Катерина Александровна перекрестилась. — Спускайтесь, я подумаю. — Через минуту она сошла. — Идемте. — Дашенька и Иеретиида шагали сзади. Из садов пахло яблоками.

Съели по куску хлеба с маслом. Катерина Александровна поправила прическу и надела цепь. Марья Карловна пригладила ладонями кофту и надела на девочек белые платья. Ее муж взял Катерину Александровну под руку. — Тетечка, вы с ним, я с детьми — перед вами. Дашенька — впереди, с флагом. Иеретиида пойдет сзади...

Около Пфердхенши будем кричать «долой Германию». — Катерина Александровна сказала «с богом», вытянули лица, Иеретиида отворила калитку, Марья Карловна взмахнула руками, как регент на клиросе, запели «боже, царя храни» и вышли на заросшую ромашкой улицу.

Гаврилова и ее дачница дочистили крыжовник. Гаврилова перекрестилась: — Ну, в час добрый. — Вытерли бумагой шпильки и воткнули их на место, в волосы. Сполоснули руки и сбежали под откос — купаться. — Мальчишки, убирайтесь!

Темнело. Обрыв на другом берегу был желто-красный, как будто на него светил закат.

Наплавались и, скрестив руки, тихо стояли в темной воде. — Погодите-ка, что за история? — Дачница выскочила, натянула рубаху и побежала. — Война объявлена, — задыхаясь крикнула она и стала одеваться. — Народищу... акцизный с флейтой!.. — Гаврилова одна стояла над водой, спешила и трясущимися пальцами путалась в тесемках.

Брянск,
Губпрофсовет

ЕРЫГИН

1

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волоса чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова идти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лугу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч. — Физкультура, — подумал Ерыгин, — залог здоровья трудящихся.

Базар был большой. Стояла вонища. На будках висели метрические таблицы. — Подайте, граждане, кто сколько может, ежели возможность ваша будет. — Ерыгин прошелся по рядам: не торгует ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов — довольный, в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Красная Пресня. Наслаждались погодой и пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой на руке. — Клеопатра русское имя? — ворковала Кукуиха. — Да. — А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папироску и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев. — Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать. — Так как же на бухгалтерские? — Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом, — короче. — Бухгалтера прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведра. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другою с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крохотными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте. — Я извиняюсь, —

сказала она: — Не знаете, откуда эта музыка? — Возвращаются со смычки с Красной армией, — ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот, если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно.

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрагивала голову — не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы: розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной. Мать штопала. Ерыгин переписывал. — Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за Красной армией. Бандитов расстреляли. Начдив уехал.

2

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила. — Ура! — Гремела музыка. Торжествовали и смотрели друг на друга.

Возбужденные, вернулись. Разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и двенадцатью произведениями мировой живописи, Ерыгин — за решетку. Захаров и Вахрамеев подскочили расспрашивать. Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, черт побери, проспали.

Впустили безработных.

Небо побледнело. Заиграла музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвила окоп и приколола к кофте резеду. Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу. Девицы выходили и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер — в пользу наводнения.

— Под руководством коммунистической партии поможем трудящимся красного Ленинграда!

Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музеи. Их обгоняют дюжие матросы — бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом.

— Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата! — Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгаль-

ские огни. Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, набеленная, с свиными глазками, и с ней — кассир Едренкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбегались. Без грохота обогнала телега, блестя шинами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской. — Ты? — удивилась мать: — Скоро!

3

«Настя» будет напечатана. Пиши́те...

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку из баллады. — Кинематограф, — посмеивалась мать и засучила рукава — мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блестел. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными и красными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку. — Мы поступили на бухгалтерские. — Нет, — сказал Ерыгин, — у меня в голове другое.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракитами. В шляпе набекрень, она была похожа на разбойника. Ерыгин сделал под козырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной армии или ответственных работников не приходило в голову. А постороннее, чего не нужно, вертелось. — Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: — Немцы — звери. — На столе клеенка с трехсотлетием — толстенькие дамы с голыми плечами и в медалях... — До свиданья. — Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня — сует солдатам мармелад. Последние три штуки отдает Ерыгину.

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна — красная, тусклая, кривая. Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна, в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны были тарелки с хлебом и горчичницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша. — Бельгийский город Льеж посмóтрите? — подкрадывался панорамщик. Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские. Будет много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса: дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выглядывают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь»...

Висели тучи. С канцелярий убирали транспаранты с надписями и гирлянды из крашеных бумажек. — Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа.

За рекой было бело — с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег. В голове пошевельнулось. Барабанный треск, песок, тонко исчерченный... По зеленой улице с серыми тропинками расхаживают заговорщики — архиерей и нэпманша. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай. — Товарищ Ленинградов, — оборачивается Гадова: — Я больше не могу молчать. — Вы знали и не доносили, — говорит товарищ Ленинградов, и его любви — как не было. А заговорщики предстали перед трибуналом.

ОТЕЦ

На могиле летчика был крест-пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там, где хмель, была зарыта мать. — Мы к ней пото́м, — сказал отец, — а то мы опоздаем к волнам.

— У, — заревел гудок. — Скорее, — закричали мальчики. — Скорей, — заторопил отец. Все́ побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли оглядеть его.

Сбега́ли по тропинке, и гудок раздался два раза: — У! У! — Мы опоздаем, — подгонял отец. Сердца стучали, в головах отстукивалось.

— У! У! У!

Срывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на землю. Ура, успели. — Тух-тух-тух — настукивало справа, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков.

— Ура!

Присели, потому что с палубы смотрели женщины, и, глядя на них боком, зажимали себе руки коленями. Колеса тарахтели, пена, падая, шипела, след в воде кипел. — Шлеп, — набежала первая волна, — шлеп.

— О!

Река была как море. — Ух, — кричали люди и подскакивали. — Ух, — кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая.
— Ух, ух, — кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он долго мылся, и они по очереди терли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и дергал мускулами: вечером он должен был пойти к Любовь Ивановне. Он думал: — Но зато я не плохой отец.

Назад шли медленно. — А то купанье, — говорил отец, — сойдет на нет. — Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Останавливались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались.

ТЕТКА

Дождь перестал. Фонтан был полон. Листья плавали в нем. Ветер, задевая воду, выдувал ее. Летели брызги и под фонарем сверкали. Проходя, трудящиеся останавливались сполоснуть калоши. Кунст присел на лавочку и снисходительно смотрел. Он не всегда жил здесь.

* * *

В соседней комнате возились. Стукались о стену. Шлепали друг друга.

— Будя, — говорил сиделкин голос томно, — полно лапать.

Кунст открыл глаза.

Из трещин потолка слагался подол юбки и башмак с двумя ушками. За окном кричали нараспев, как в церкви:

— Халат!

Вошла хозяйка в синей кофте, подпоясанная ремнем, и дала письмо. Она с ужимкой покачала головой на стену.

— Когда-нибудь скажу ей, чтобы это более не повторялось, — доброжелательно вздохнула она и умильно посмотрела: — Хорошо бы бросить все это и жить втроем: вы, я и Фрида. Вот моя мечта.

Письмо было от тетки. «Приезжай, — звала она опять. — Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Кунст побрился и стер мыло.

— Пудры положить? — спросил он и ответил: — Пожалуйста.

Он взял учебник и пошел в столовую. Деревянные дома, построенные для сдачи комнат политехникам, стояли вперемежку с пустырями. Прошлогодняя трава сквозила через лед.

Хозяйки, прислоняя к себе хлебы, возвращались из хвоста. Сиделки шли с дежурства и вели с собою раненых. Бродили сумасшедшие солдаты в туфлях, разбежавшиеся из больницы.

— Ну и время, — постояла с Кунстом его прежняя хозяйка Ку́бариха. — Что здесь стало. И куда девались политехники. Да вот и я — впустила к себе фею, уличную бабочку. «Но только, — я ее предупредила, — знай свою панель», — а в доме строго запретила.

— Да, — ответил Кунст, — все вверх ногами. В Политехнический вселили Кронштадтское морское инженерное училище, в столовую пускают всех. Где революция, там — вечно что-нибудь.

Политехнический стоял запачканный, снег был загажен, моряки Кронштадтского училища расхаживали по дорожкам, точно у себя в Кронштадте.

Арутян в наплечниках с отломанной короной ел. Кунст сел с ним. Над душой стояли голодающие и лизали опорожненные миски.

— Это скучно, — говорили за столом.

На следующем этаже, в буфете, было шумно. Электричество горело. Из стаканов поднимался пар. Звенели ложки. Сытые кронштадтцы хлопали друг друга по плечу, кричали и смеялись. Скромные девицы со Второго Муринского, прибывшие посмотреть на них, тянули кофе. Переполнившись, они приподымались, чтобы лишнее могло пролиться в ноги, и опять усаживались.

Арутян, степенно улыбаясь, посмотрел кругом.

— Как вы живете? — наклонился он. Его подпло́енные волоса блестели.

— Продаю, — ответил Кунст.

С полузакрытыми глазами, Арутян кивал.

— Мне надо есть, — пожаловался он. — Купил свинину, а моя хозяйка утащила ее на Удельную: там у нее сестра. Вы знаете, что это за сестра? — спросил он и махнул рукой. — Мне предложили место в городе. Хотите? Я не в силах. Мне одно необходимо: е́сть.

— Я еду, — сказал Кунст.

Тянулись огороды. Из-под снега вылезала черная ботва. Заборы были темны. Надписи пестрелись.

— В прицепной залез священник, — посмотрел кондуктор. — Не люблю их. Я всех этих глупостей не признаю. Раз в год говею, и достаточно — я больше в церковь не хожу.

Лед на реке уже набух. Чернелись лужи. Кунст шел за Троицким. Дворцы стояли мрачно. Каменные старики серелись в рыжих нишах, разводя руками и выделывая па.

Кунст долго пробродил, ища по комнатам. За окнами была Нева, другие выходили на Адмиралтейство.

— Вот он, — показала Кунсту толстая девица и не уходила.

Бледный человек стоял за лакированной конторкой с перламутровыми птицами и пил из кружки.

— Я от Арутяна, — поклонился Кунст.

— Пойдемте, — сказал бледный.

Толстая девица повернулась и отправилась на место.

Кунста приняли. Он ездил. «Кузя, ты дурак», — прибавилось однажды к подписям на стеклах. Иногда садилась интересная девчонка и поглядывала.

Бледный человечек за конторкой был Иван Ильич. Напротив помещалась Мирра Осиповна. В меховом воротнике, она драпировалась и раздрапировывалась.

— Я из Австрии, — сказала она Кунсту. — У меня там был зубоврачебный кабинет. Я нелегально перешла границу — думала найти здесь что-нибудь особенное.

«Ты стара́», — подумал Кунст.

В двенадцать девушка Маланья разносила чай. Инструктор Баумштейн забегал с докладом, и начальник Глан, сворачивая в трубочку свою газету «Луч», выслушивал его.

Инструктор Баумштейн подмигивал девицам, и они хихикали.

— Какой он интересный, — удивлялись они после, подходя друг к другу, и шептались.

— Вчера ко мне зашел Владимирский-Буданов, — говорил тогда Иван Ильич, — и мы читали с ним мою магистерскую диссертацию: на несколько часов я позабыл всю эту жизнь.

— Я вас понимаю, — улыбалась Мирра Осиповна.

У подъезда ждали саботажники с вечерними газетами. Морские облака неслись. Коричневые стены, освещенные с заката, казались теплыми.

Хозяйка, принеся вечерний самовар, не уходила и стояла у дверей, многозначительная.

— Вы устроились, — приятно говорила она. — Я всегда мечтаю, как прекрасно было бы нам с вами жить втроем.

По праздникам, как прежде, Кунст ходил в буфет. Шумели моряки, откормленные. Их глаза блестели. Папиросный дым плыл кверху. Чайный пар дрожал. Девицы, отставляя пальцы, приподымались и усаживались.

— Проституция, — отворачивался Арутян. — Надо есть, — ронял он мрачно голову, — а нечего. Хозяйка все хватает и тащит на Удельную: к сестре, вы знаете. Я подарил ей восемь платьев, — говорил он и показывал на пальцах, — два с Кавказа, а она мне что? Вот, щеточку! — Он вынимал ее, приглаживал ею усы и прятал.

Стаял снег. Подсохло. Бабы с вербами уселись вдоль домов.

— Нам будет вы́дача, — обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич.

— Я уже слышала, — вскочила Мирра Осиповна. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась. — Мед с пчелами, икра и грушевый компот в жестянках!

— Не уходите, — пробежала по всем комнатам высокая девица с желтой головой и тонким голосом: — Останьтесь, ждите меня; я поеду на грузовике за выдачей.

— Возьмите двух вооруженных, — озабоченно кричали ей вдогонку.

— Я возьму, — оглядывалась она, — и сама вооружусь.

— Девица Си́мон, — пояснил Иван Ильич, смотря ей вслед. — Возможно, правильнее было бы Симо́н, — предположил он погодя, подумав.

— Она тощая, — махнул рукою Кунст.

Темнело. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась:

— Як у ле́се.

Время шло. Девицы Си́мон не было.

— Ее ограбили, — решил начальник Глан.

— Зачем я вздумала, — раскаивалась Мирра Осиповна, — перейти границу.

— Византийские влияния, — бормотал Иван Ильич, остановившись у окна, тщедушный.

Кунст взглянул — адмиралтейский флигель был виден. Огоньки невидимых автомобилей пробегали. Саботажники кричали нараспев:

— Ви-чер-нии.

Кунст подпел им:

Жалко стало.

И Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

Слезы лились
из вокзала.

Пасха наступила. Хлеба не было. Столовая была закрыта. Кунст ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли.

— Ах, что вы получили, — восклицала она, пролезая в комнату и складывая руки.

За стеной сиделка с сослуживицами тоже что-то ела, пила спирт и крякала. Она ругала раненых.

— Пойдешь туды́, вернешься, — говорила она, — а уж он порылся у тебя в корзине.

Фрида, поэтическая, распустила волоса, открыла в коридоре форточку, уселась около нее и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед домом и подтягивали ей.

На улице Кунст встретил Ку́бариху.

— Разговейтесь, — позвала она, приветливая.

Гиацинт стоял у самовара. Фея — уличная бабочка была приглашена. Красиво завитая, она скромно говорила «да, пожалуйста» и «нет, мерси».

— Вот то-то, — одобряла Ку́бариха, и она краснела.

Раскрылись почки. Соловей защелкал. В Фридиной прическе завелся подснежник. Уличная бабочка ходила мимо окон. Беженцы из Риги приезжали на трамвае погулять за го́родом. Разувшись над канавой и неся в руках чулки и башмаки, они дышали свежим воз-

духом. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них.

— Мои компатриоты, — поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть, сбросила свой воротник и, требуя у девушки Маланьи кружку, ставила перед собою ветку с маленькими листиками. Забегáл инструктор Баумштейн и, нагнувшись к ветке, нюхал ее.

— Ах, — прикладывал он руку к сердцу.

Подходило солнце, перламутровые птицы, заблестев, светлели.

— У меня есть тетка, — говорил, смотря на окна, Кунст.

Выдавались наградные. Всé толпились.

— Получайте, — ликовала за столом бухгалтерша и стригла кéренки.

— Расписывайтесь!

— Дельная бабенка, — толковали про нее. Приятно было.

— Я недаром видел интересный сон, — сказал инструктор Баумштейн. — Я жалею, что не удалось увидеть до конца — мне не дала спать канарейка.

— Что вы видели? — кричала Мирра Осиповна, расшалившись. — Расскажите на ухо, — и хохотала.

Человек в бушлате, марширую, появился в комнате, два человека с ружьями стучали сапогами вслед за ним.

— Баумштейн, — звучно вызвал он. — Идем. Вы арестованы за взятки.

Арутян сидел в буфете неподвижный, положив на стол подплоенную голову. Он был похож на мертвого, и Кунст не окликал его: узнав о наградных, он мог бы пожалеть, что уступил такое место, и мучиться.

Потом союз пищевиков прислал бумагу. Она была написана по новому правописанию, и всé очень смеялись. Он считал, что наградные унижают пролетарское достоинство, и он протестовал.

— Какое ему дело? — возмущались всé.

— Но их у нас отнимут, — поднял голову Иван Ильич.

— Удержат, — подтвердил начальник Глан.

— Я этого не ожидала, — рассердилась Мирра Осиповна. — Я воображала, что найду здесь что-нибудь особенное.

— Да, — вздохнул Иван Ильич. — Иметь и потерять... Я получил письмо от тетки, — поглядев на окна, вспомнил он: — Старушка нездорова. Может быть, придется неожиданно уехать.

— Я вас понимаю, — повела глазами Мирра Осиповна.

— Значит, и у вас есть тетка, — удивился Кунст.

1930

Документы

ДОКЛАД. ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА И АНКЕТ

Благодаря любезности брянских краеведов Э. С. Голубевой и З. П. Коваленко, мы располагаем некоторыми официальными документами, относящимися к Л. И. Добычину. Эти документы открывают перед нами начальные страницы биографии и профессиональной деятельности писателя.

Доклад о работе секции промышленной статистики и статистики труда — ГАБО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 260. Л. 118–122. Впервые: Голубева Э. Писатель Леонид Добычин и Брянск. Брянск, 2005. С. 121–125.

Выписка из протокола совещания — ГАБО. Ф. 725. Оп. 1. Д. 14. Л. 46 об.

Личный листок — ГАБО. Ф. 85. Оп. спр. Д. 92. Л. 230–230 об.

Регистрационная карточка — ГАБО. Ф. 115. Оп. 5. Д. 344а. Л. 1–1 об.

5 сентября 1997 года газета «Брянский рабочий» напечатала статью Зинаиды Коваленко «Скучал статистик в Брянске. Погиб в Питере», которая приводит факты, ранее остававшиеся вне поля зрения исследователей. Мы располагаем расширенным вариантом этой статьи. Ниже следуют извлечения из нее.

«В 1915–1916 гг. работал инструктором статистико-экономических исследований Донской области и бассейна реки Сыр-Дарьи. <...>

Впервые в документах имя его встречается в 1918 году в списках служащих Брянского районного отдела распределения рабочей силы, затем Брянской биржи труда. Должность — статистик, беспартийный, живет в одном из казенных железнодорожных домов (д. № 2) при станции Брянской Риго-Орловской железной дороги (теперь Володарский район), на иждивении — сестра. В этих учреждениях (в отделе труда уже в должности заведующего статистическим подотделом) он работает до июня 1920 года.

В 1920 году по постановлению 7 съезда Советов декретом СНК было назначено проведение в августе демографически-профессиональной и сельскохозяйственной переписей. Уездный Брянск, только что ставший губернским городом, не имел специального органа, занимавшегося статистикой, и встал вопрос о его организации. <...>

Сотрудники, имеющие специальное статистическое образование, мобилизовались из разных учреждений города. Мобилизован на работу в Губстатбюро был и Л. И. Добычин <...>.

Перед этим Л. И. Добычин был призван в ряды Красной Армии, по состоянию здоровья врачебная комиссия дала заключение: „годен к нестроевой службе в тылу“. Но так как вопросу качественного и быстрого проведения переписи придавалось большое значение, статистики освобождались от призыва в армию, и Л. И. Добычин <...> был освобожден от призыва сначала на четыре месяца, затем срок был продлен.

Надо отметить, что обстановка при проведении переписи была достаточно жесткая, и Губстатбюро привлекало к работе даже статистиков, содержащихся на отсидке в Брянском концентрационном лагере <...>. На работу в связи с недостатком сотрудников привлекались работники многих организаций <...>. Сдельную работу по сельскохозяйственной статистике выполняла и сестра Добычина Ольга.

Руководство Губстатбюро своими распоряжениями пыталось наладить дисциплину в учреждении и обращало внимание заведующих секциями на необходимость „повысить производительность и продуктивность работы поднятием дисциплины и на устранение всех ненужных явлений, как-то: бесцельных хождений от стола к столу, хождение по коридорам, разговоры и т. п.“. Сам этот документ не заслуживал бы внимания, если бы не сохранился другой любопытный документ: объяснительная записка Л. Добычина на распоряжение, которым, очевидно, наказывались прогульщики.

Складывается впечатление, что в этой объяснительной Л. Добычин, по мягкости и доброте характера, виновных выгораживает:

„1. Исаев в 3 $^{1}/_{2}$ часа дня 5 декабря <не> был в бюро, так как был послан на водопроводную станцию для истребования бланков экспед. обследования.

2. Каштанов не ходит на службу более 2-х недель по болезни.

3. Маркина не посещает службу из-за болезни матери, о чем ею представлена в комитет служащих справка.

Зав. секц. пром. стат.

Л. Добычин.

6 декабря 1921 г.“

Однако его заступничество не помогло, и Исаев и Каштанов, счетчики, в списке служащих на декабрь 1921 года значатся уволенными с 22 декабря 1921 г. <...>.

Сохранилась анкета-отзыв на ответработника Губстатотдела, заведующего секцией статистики труда Леонида Ивановича Добычина за октябрь 1928 года, составленная во время чистки советского аппарата, где в отзыве заведующего отделом Добычин охарактеризован как не вполне соответствующий этой работе. Отношение его к „рабочим, крестьянам и вообще к посетителям — хорошее“. На вопрос „авторитетен ли в аппарате“ ответ: „удовлетворительно“».

ДОКЛАД

Этот материал — один из немногих сохранившихся автографов Л. И. Добычина, который находится в Государственном архиве Брянской области (Ф. 102. Оп. 1. Д. 260. Л. 118–122). Он представлен в виде развернутого доклада, подготовленного автором — заведующим секцией промышленной статистики и статистики труда — для отчета Брянского губстатбюро в апреле-мае 1921 года. Текст доклада наглядно демонстрирует уровень организации статистических обследований на территории Брянской области во второй половине 1920 — начале 1921 годов, а также те реальные трудности, с которыми столкнулись сотрудники учреждения, в числе которых Л. Добычин. Становится понятным, почему первые литературные опыты писателя стали возможны лишь в 1923 году.

Доклад
о работе секции промышленной статистики
и статистики труда за время
с 15 июня 1920 по 15 апреля 1921 года

Секция начала работать 15 июня 1920 г. при трех счетчиках и заведующем. С октября по февраль было пять счетчиков, с февраля по апрель — четыре, к 15 апреля — три. По штатам полагается на секцию промышленной статистики 27 служащих и на секцию статистики труда — 18. Таким образом, число работников в одиннадцать раз меньше, чем было бы необходимо для нормального течения работы.

По открытии секции ею были установлены через уездные бюро объекты для текущей промышленной статистики и статистики труда, на основании положения о государственной промышленной статистике, определяющей эти объекты, как «все промышленные заведения, имеющие обычно в своем составе не менее 16 рабочих

при наличности механического двигателя или не менее 30 рабочих при отсутствии механического двигателя». Инструкцией к бланкам эти объекты определяются как «заведения, охваченные промышленной переписью 1918 года». Не имея никаких следов от переписи 1918 года, секция запросила списки охваченных ею предприятий у Орловского и Калужского Губстатбюро и временно, до получения ответа, обратилась к уездным статбюро, которые и сообщили, какие предприятия в тот момент подходили под определение «Положения». Чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу, следует отметить, что от Калужского бюро список и до сего дня не получен, несмотря на многочисленные подтверждения просьбы о его присылке, а от Орловского получен список, состоящий из одних фамилий лиц, владевших переписанными в [19]18 году предприятиями. Так как более никаких сведений из Орла не удалось получить, то секция обратилась с этим списком в Совнархоз за разъяснениями, но в Совнархозе никаких разъяснений не смогли дать. Поэтому до 1 января секция считала подлежащими текущей статистике те предприятия, о которых ей было сообщено уездными бюро, а с 1 января 1921 г. — предприятия, отвечающие требованию «Положения» по данным переписи 1920 года. В самое последнее время получен список предприятий Калужской губернии по переписи [19]18 года, высланный после многих просьб Центральным С[татистическим] Управлением, и имеется в виду получение такого же списка по Орловской губернии, что дает возможность через год после открытия секции надлежащим образом определить круг предприятий, с которыми она имеет дело!

По установлении объектов наблюдения секцией было произведено, по запросу Ц.С.У. срочное обследование числа рабочих в этих предприятиях на 1 июня 1920 [г.], после чего работа по секции прекратилась до октября, так как все силы Губстатбюро были направлены на подготовку и производство переписей 1920 года.

По окончании переписей было приступлено к собиранию сведений по текущей статистике, причем, по постановлению июльской конференции губернских статистиков, сведения собирались с 1 июля 1920 г. и поступали в Губернское бюро через посредство его уездных отделений.

Сведения собираются по четырем бланкам:

Бланк А, включающий сведения о движении персонала, топлива и электричества за отчетный месяц и изменениях в оборудовании силовой станции (всего 378 граф).

Бланк Б, включающий сведения о движении сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов, выработке, отпуске и остатке изделий, работе главных производственных машин и аппаратов и изменениях в оборудовании ими предприятий за отчетный месяц (633 графы).

Бланк учета труда № 1 — сведения о составе рабочих и служащих по полу и возрасту, забастовках, несчастных случаях, движении состава, явках на работу; простое и прогулах рабочих за отчетный месяц (589 граф).

Бланк учета труда № 2 — сведения о проработанном времени, заработке рабочих, выдачах натурой за отчетный месяц (150 граф).

Рассылка бланков, напоминания предприятиям об их представлении, проверка полученных бланков, переписка по поводу обнаруженных в них неправильностей и пересылка исправленных бланков в Ц.С.У. составляла текущую работу секции. В нее должно бы быть включено и ежемесячное составление сводок по каждой форме бланков, но за крайне неаккуратным поступлением бланков и за недостатком работников эта работа не могла производиться в полном размере. Составлены сводки бланка А по месяцам второго полугодия по 11 предприятиям, сводки о несчастных случаях за то же время по 3 предприятиям и о составе рабочих и служащих по полу и возрасту по 10 предприятиям.

Кроме того, постоянной работой с октября 1920 по январь 1921 являлось составление списка промышленных заведений, который составлен по следующей форме: наименование заведения, его местонахождение, владелец, главнейшие изделия, число рабочих (мужчин — до 18 лет, от 18 лет; женщин — до 18 лет, от 18 лет; обоего пола — до 18 лет, от 18 лет; всего), отметка о недействующих предприятиях и сведения о двигателях.

В сентябре было получено из Ц.С.У. требование о производстве срочной сводки сведений бланков А и Б за 1919 и первую половину 1920 года, по четырем формам, образцов которых прислано не было, с указанием срока представления сводки — 1 декабря 1920 года. Многочисленные письменные и телеграфные запросы о присылке формы сводок не привели ни к чему. Лишь в январе 1921 г. эти формы были привезены ездившим в Москву заместителем Заведующего Бюро [И. И.] Белинским, причем инструкция имелась только в одной форме. Тем временем, путем длинной переписки, с сентября по январь, секция собрала от предприятий хранившиеся у них экземпляры бланков А и Б за 1919 и первую половину 1920 г. Из этого материала полным (за все 18 месяцев) и годным для разработки оказался лишь материал по восьми предприятиям. По этим восьми предприятиям и была произведена сводка — одна форма по инструкции, три без инструкции — и 2 февраля отослана в Москву. Все бланки (214 вертикальных граф) делались от руки служащими секции. В апреле 1921 года прислана из Ц.С.У. инструкция к еще одной из форм этой срочной сводки.

С января по апрель сделано несколько сводок по промышленной переписи по запросам Ц.С.У.

Крайне тормозит работу неполучение из Ц.С.У. достаточного количества бланков. Последние бланки были разосланы на январь и февраль 1921 г. Затем присылка их из Москвы остановилась, и с марта предприятия не имеют бланков.

Очень неудачной мерой оказалось также собирание сведений не непосредственно Губернским Бюро, а через уездные отделения. Следующие цифры дают % представлявших все сведения предприятий по уездам:

Пром[ышленная] стат[истика]	Стат[истика] труда
Брянск[ий] — 34	Брянск[ий] — 29
Карачевск[ий] — 3	Карач[евский] — 7
Севский — 0	Севск[ий] — 6
Трубчевск[ий] — 0	Трубч[евский] — 0
Жиздринск[ий] — 8	Жиздр[инский] — 10

Наибольший процент дает Брянский уезд, где сведения непосредственно поступают в Губернское Бюро. Но и здесь вполне исправными оказываются только около $^1/_3$ предприятий.

Как могло выясниться из предыдущего, правильной работе секции мешают:

1. Недостаток в служащих ($^1/_{11}$ полагающегося штата).

2. Неряшливое отношение к делу самого Ц.С.У. (невысылка бланков, форм; инструкция к сводке, срок которой — 1 декабря, выслана в апреле следующего года).

3. Передача собирания сведений текущей статистики уездным отделениям (наиболее энергичное Жиздринское бюро собрало не больше $^1/_{10}$ следующего числа бланков).

4. Неисправность обязанных представлять сведения предприятий, но не несущих за непредставление их никакой ответственности.

Поэтому необходимым для правильной работы секция считает:

1. Увеличение числа служащих по крайней мере втрое и снабжение ея более или менее самостоятельными работниками, могущими делать что-нибудь больше переписывания и линования.

2. Изъять собирание бланков из ведения Устатбюро.

3. Издать обязательное постановление о неукоснительном представлении сведений обязанными к тому предприятиями, под угрозой ответственности виновных в неисполнении этого лиц за саботаж.

Зав[едующий] секц[ией] Л. Добычин [Подпись.]

30 апреля 1921 г.

Публикация Э. С. Голубевой

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГУБОТДЕЛОВ ПРОФСОЮЗОВ И ЗАВ. СТАТИСТИКОЙ от 22 февраля 1923 г.

<…>

3. О положении статистики в Губотделах и ближайших задачах. (Докл. тов. Добычин) Докладчик указывает, что несмотря на напоминания Статчасти ГСПС[1] до сих пор не достигнуто аккуратное получение от Губотделов Стат. отчетности, так «Краткие отчеты» из 22 Губотделов получены только от 9-ти и конфликтная сводка от 1-го Губотдела. Необходимо принять меры к своевременному представлению сведений и с другой стороны к правильному заполнению отчетов. В частности для заполнения Краткого отчета необходимо ввести обязательную ежедневную запись Союзами проделанной за день работы.

3. Обязать все Губотделы Профсоюзов как общее правило ввести ежедневную запись проделанной работы. Орготделу поручить разработать форму записи.

4. Информационный доклад о положении профстатистики в уездах в связи с вовлечением в профстатработу Устатбюро.[2] (тов. Добычин).

Докладчик отмечает, что в связи с вовлечением в работу по профстатистике Устатбюро, согласно постановления <так!> Президиума ГСПС от 16-го января с. г. прекращается получение Губпрофсоветом статистических отчетов Отделений через Губотделы и заменяется собиранием их через посредство Устатбюро. <...>

4. Доклад принять к сведению. Поручить Орготделу ГСПС по данному вопросу сообщить циркулярно Губотделам Профсоюзов.

ПРЕДГУБПРОФСОВЕТА /ПАНКОВ/

СЕКРЕТАРЬ /ТАНАКОВ/

[1] ГСПС — Губернский Совет профессиональных союзов.

[2] Устатбюро — Уездное статистическое бюро.

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК
(конец 20-х гг.)

Название учреждения ГУБСТАТБЮРО

1. Фамилия, имя и отчество	Добычин Леонид Иванович
2. Возраст (год рождения)	1894 г.
3. Занимаемая должность и с какого времени	Зав. Секцией Статистики труда, с 27 мая 1926 г.
4. Социальное положение до революции	служащий
5. Последняя должность перед революцией и в каком учреждении	Заведующий Статистическим бюро комитета по делам бумажной промышленности и торговли
6. Перечислить занимаемые должности после революции до занятия должности, на которой состоите в настоящее время	См. на обороте
7. Служба в старой армии, с какого по какое время и в каких должностях	не служил
8. Служба в Красной Армии, с какого по какое время и в каких должностях	не служил
9. Партийность и с какого года состоите в партии	беспартийный

Подпись лица, заполнившего анкеты /Л. Добычин/

на обороте:

1. Главный земельный комитет	— статистик
2. Совет народного хозяйства Северного Района	— статистик
3. Ленинградская продовольственная управа	— статистик
4. Брянская биржа труда	— статистик

5. Брянск. Отдел труда	— зав. стат. подотделом
6. Брянск. Губстатбюро	— зав. секц. статистики труда и промышленной статистики
7. Брянск. Губпрофсовет	— зав. статчастью
8. Брянск. Райуполтоп	— экономист

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА № 13 (начало 30-х гг.)

1. Фамилия, имя, отчество	Добычин Леонид Иванович
2. Дата рождения и национальность	1894 г., 5/VI, великоросс
3. Место рождения (губ., уезда, вол. и т. д.)	г. Люцин, б. Витебск. губ.
4. Род занятий (основн. проф. стаж)	статистик-экономист с 1915 г.
5. Образовательный ценз	Эконом. отделен. СПБ Политехникума
6. Где работал до поступления в Завод, сколько времени и в какой должности (перечислить все предприятия)	указано в трудовом списке
7. Время вступления в профсоюз № билета	1917, Союз печатников бил. №
8. Партийность	беспартийный
9. Адрес	Брянск, Октябрьская, 47

ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

10. Род оружия в старой армии, чин или звание	не служил
11. В какой части войск Красн. Арм. служил и род оружия	не служил
12. Почему выбыл из Красн. Арм.	

13. Где состоит на воинском учете № в/уч. сп. или	

СЕМЕЙНОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

14. Холост или женат (имя, отчество и год рожд. жены)	холост
15. Имена детей и время рождения их	
16. Местожительство семьи (точный адрес)	
17. Кого содержит на свой заработок	
18. Неработоспособн. члены семьи (причина неработоспособн.)	
19. Кто из членов семьи работает в Механич. заводе № 13	
20. Кто из членов семьи работает в других учрежд. и в каких именно	
21. Есть ли недвижимое имущ., какое и где	нет

ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАВОД

22. № и число исполнения Биржи труда	заявление
23. №№ и сроки документ., предъявленных при поступлении в завод	Трудов. список, личн. кн. справка о несуд<имости> от 28/IX.31 г. 494.
24. Время поступления в завод	1 октября 1930 г.
25. Зачислен на должность	Статист.-эконом. 6 т<арифная> с<тавка>

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ

Год	месяц	Чис.	В цех	на должн.
1931	X	1	О<тдел> Общ. вопр.	Экон. 7 т. е.

Комментарии

При подготовке этой книги в нашем распоряжении были беловые автографы основных произведений Л. Добычина. Из его писем видно, что, отправив готовую рукопись, он вдогонку ей постоянно слал поправки — с целью улучшения слога. Получив отказ, а чаще даже намек на возможный отказ по цензурным соображениям, он тут же принимался за смягчение острых, по его мнению, мест.

Таким образом, последовательное выправление печатного текста даже по беловой, завершенной рукописи не гарантирует сохранения или восстановления авторского замысла. К тому же Добычин вносил изменения до самого последнего момента, уже в корректуру. Редактор «Города Эн» К. Зелинский писал Слонимскому 7 октября 1935 г. (роман выходил в Москве): «Правку Добычина и твое письмо получил. Нельзя ждать, чтобы Добычин обнаружил действительное желание работать над текстом. Но кое-что он изменил. Так как в конце концов дело тянется из-за мелочей, я сдал книгу в печать с поправками Добычина» (Добычин-96. С. 174). Осложняют дело и несомненные редакторские вторжения. Наконец, существует машинопись третьего, не вышедшего сборника рассказов «Матерьял» (1933). Старые произведения подверглись здесь некоторой стилистической правке, совершенствованию с точки зрения накопившего опыт писателя. А вместе с тем, постоянно нуждаясь, он старался сделать книгу более проходимой и, значит, не по своему желанию подвергал ее дополнительной политической редактуре. Да и времена относительной свободы 20-х сменились жестко-репрессивным режимом 30-х годов. Все эти обстоятельства составитель стремился учитывать при работе над данным изданием — первым и по своей полноте, и по степени внимания к текстологическим проблемам.

Добычин, остро чувствовавший слово, постоянно жаловался на типографские огрехи и редакторские нелепые вторжения. В 1926 г. он писал Слонимскому: «Сегодня я купил на станции второй номер

„Новой России“ и прочитал свой рассказ <„Сиделка“>. Они перепутали строки, и получилась совершенная бессмыслица.

Это моя судьба: „Современники“ выпустили фразу, прибавили в восьми местах по словечку от себя и одно слово переменили: вместо „утонула“ напечатали „утопла“, полагая, по-видимому, что так — больше Комизма; „Ленинград“ переврал две фразы и сделал 20–30 опечаток: вместо „столб“ — „стол“, вместо „Венеция э Наполи“ — „Венеция Энаполи“ и так далее — я не помню. Вот почему так и хочется Книжку — чтоб все было напечатано как следует».

Из этих строк можно сделать вывод, что журнальные публикации в значительной мере недостоверны. Готовя произведение для книги, Добычин восстанавливал его первоначальный облик. Однако и книги не утешили: в сборнике «Встречи с Лиз» Добычин насчитал 60 опечаток (см. письмо 94). Некоторые из этих опечаток, хотя они и переходят из книги в книгу, все-таки могут быть обнаружены. В рассказе «Козлова» (сборник «Встречи с Лиз») и в рукописи «Вечера и старухи» (где этот рассказ назывался «Письмо»), например, читаем: «Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели». Однако в «Портрете» написано «Промасленные полозьями места». Так же и в машинописи сборника «Матерьял». Но здесь Добычин обнаружил ошибку и восстановил «примасленные». Поскольку свой архив — рабочие рукописи, письма — Добычин сохранить не захотел, проследить историю работы писателя над своими произведениями не представляется возможным.

Добычин — писатель своеобразный и трудный для издания. Одной из основных особенностей его прозы, например, постепенно становится расстановка ударений. Особенно густо ударениями испещрена рукопись «Города Эн». Однако в журнальной публикации первых 13 глав романа ударений нет. Отдельное издание, вышедшее в 1935 г., сохранило примерно треть авторских ударений.

Есть мнение, что нужно восстановить все ударения, проставленные писателем в рукописи «Города Эн». Этого делать не следует. В экземплярах романа, которые дарил Добычин, он не добавил ни одного ударения. Их и так оказалось достаточно, чтобы критики заметили необычную акцентуацию текста и обвинили писателя в «словесном скоморошестве». Они не понимали, да и не хотели понять истинной цели добычинских ударений, для достижения которой вполне хватало оставшихся знаков. Л. Добычин хотел, чтобы читатели поняли, что текст рассчитан на произнесение и должен быть озвучен. Озвучен, по-видимому, для того, чтобы обнаружилось скрытое в нем стиховое начало, к чему писатель и пытался подвести своих читателей.

Еще одна важная особенность добычинских произведений — их членение не на абзацы, а на отдельные, законченные смысловые фрагменты, синтагмы, в которые может входить и прямая речь, и авторская. Насколько это возможно (при торопливой переписке возникает немало мест сомнительных), членение текста по Добычину, если имеется рукопись, восстанавливается.

Выразительно пользуется Добычин прописными буквами, особенно в письмах («буду и я Писать Роман»). Вместе с тем все относящееся к религии (Бог, Богородица, Пасха) он пишет с маленьких букв. Вряд ли это простая уступка цензуре. Мелкие, подчас случайные отличия печатного текста от рукописи, не имеющие смыслового и стилистического значения, не оговорены; опечатки и описки исправлены без указания на это («отец ее отца» — читаем в рукописи «Шуркиной родни», когда явно нужно «отец ее мужа»). Мы печатаем текст по современной орфографии (и иногда пунктуации), поскольку у Добычина старая форма написания не несет на себе никакой смысловой нагрузки.

Своеобразное добычинское оформление прямой и внутренней речи, а также его способ цитирования чужих письменных и устных фрагментов сохранены полностью.

Даты, относящиеся к дооктябрьским событиям и к церковному календарю, даются в комментариях по старому стилю.

Произведения Л. Добычина печатаются по тексту последних прижизненных публикаций. Оставшиеся неопубликованными — по автографам или авторизованной машинописи.

В примечаниях использованы некоторые сведения из первого комментированного издания Л. Добычина в сборнике «Расколдованный круг», а также многочисленные разыскания А. Ф. Белоусова. Он же полностью подготовил комментарии к «Городу Эн».

Условные сокращения

Добычин-96 — Писатель Леонид Добычин. Воспоминания. Статьи Письма / Сост., предисл., коммент. В. С. Бахтина. СПб.: АОЗТ «Журнал „Звезда“», 1996.

ЛГ — Литературная газета (М.).

Расколдованный круг — Расколдованный круг: Василий Андреев. Николай Баршев. Леонид Добычин / Сост. Ф. Г. Кацас, вступ. ст. А. Ю. Арьева, коммент. А. Ю. Арьева, Е. Д. Прицкера. Л.: Сов. писатель, 1990.

Сб. М — рукописный сборник рассказов «Матерьял» (1933).

Чуковский — Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М.: Соврем. писатель, 1991.

РАССКАЗЫ

В данный раздел включены все произведения из вышедших при жизни Л. Добычина сборников рассказов «Встречи с Лиз» и «Портрет», а также три рассказа («Матерьял», «Чай», «Дикие»), опубликованные в 1988–1989 гг., после смерти автора.

Сборник «Встречи с Лиз» напечатан ленинградским издательством «Мысль» в 1927 г. (без указания даты) тиражом 6200 экз. Обложка работы художника Л. С. Хижинского. 94 С. Редактор не указан. Книжка содержит рассказы: «Козлова», «Встречи с Лиз», «Ерыгин», «Савкина», «Лидия», «Сорокина», «Сиделка», «Матрос», «Конопатчикова».

Рец.: Степанов Н. // Звезда. 1927. №11.

Сборник «Портрет» вышел в Издательстве писателей в Ленинграде в 1931 г. тиражом 2000 экз. Обложка работы М. А. Кирнарского. 110 С. Редактор не указан. Здесь помещены 16 рассказов, в том числе все девять рассказов первого сборника (два из них — с измененным названием).

Рассказы печатаются в том порядке, в каком они расположены в «Портрете».

Рец.: Резник О. Позорная книга // ЛГ. 1931. 19 февраля, № 10.

На «Портрет» вскоре появился еще один печатный отклик, анонимный: аннотация в разделе «Нерекомендуемая литература» бюллетеня Библиографического института «Книга — строителям социализма» (1931. Март, № 9). А. Ф. Белоусов установил, что ее автор — тот же О. Резник.

Аннотацию отличает злобный тон, она явно подтасовывает факты и вместе с тем не лишена наблюдательности. Сегодня бюллетень практически недоступен, поэтому полагаем полезным привести заметку полностью:

«16 рассказов этой книги представляют, собственно говоря, разговоры ни о чем. Купола, попы, дьяконы, ладан, церковная благодать, изуверство, увечные герои и утопленники наводняют книгу. Рядом с ними, под их влиятельным шефством, пребывают «идеи» и люди. Конечно же, речь идет об обывателях, мещанах, остатках и объедках мелкобуржуазного мира, но по Добычину мир заполнен исключительно зловонием, копотью и смрадом, составляющими печать эпохи, где международный женский день знаменуется хождением в баню, 1 мая — стиркой, а 7 ноября — двумя объявлениями в газете — о выборе кондитерских изделий (от частника) и о торжественном благодарственном молебне (от епископа). „Понимаете, какое теперь веяние?“ (это говорится о веянии времени). Автор, очевидно желая подчеркнуть ненависть обывателя к внешним отображениям советской нови, упорно называет красноармейцев — солдатами, дочку

коммуниста — Красной Пресней, лодку — Сун-Ят-Сеном, а растратчика — Мишка-Доброхим; при этом в красноармейском батальоне одновременно ставят пьесу „Теща в дом — все вверх дном“ и антирелигиозную, а часовые на постах зевают. Вот примеры, которыми Добычин характеризует советскую действительность. „В канцелярии (советского учреждения) висел портрет Михайловой, которая выиграла 100 000“. „— Трудящиеся всех стран, — мечтательно говорит Кукину кассир со станции, — ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?“ Дальше встречаем: „Вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров“. „Жизнь без искусства — варварство“, — цитировал рабкор Петров„“. (Вот и все о рабкорах.) Так „философствуют“ герои Добычина. На площади жертв (где „похоронены капустинская бабушка и, отдельно, тов. Гусев“) произносят речь, долженствующую, очевидно, показать героическую революционную роль тов. Гусева. Вот текст: „Тов. Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач“. Здесь „с почестями хоронят“ исключенную (очевидно, из партии) за неустойчивость самоубийцу Семкину: „вы жертвою пали“. В рассказе „Сад“ упоминается об окружном съезде Медсантруд. Картина деятельности делегатов такова: сперва они сидели на скамейке и говорили о политике. „Затем, улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя набок головы“. И, наконец, „съезд Медсантруд закрылся и запел «Вставай»“. Вся книга является опошлением лозунгов революции, издевательством над современным бытом, сплошным нанизыванием обывательских сплетен, злопыхательских анекдотов и опереточных эпизодов. В целом она отражает впечатления человека, беспомощно зажмурившегося в страхе перед действительностью, мещанина, насыщенного беззубой злобой.

Эта книга достойна занять „почетное место“ на полке новобуржуазной литературы».

Еще более жесткий и злобный отклик на сборник «Портрет» несколько позже появился в ленинградской прессе:

Рец.: Левин Л. Автопортрет врага // Красная газета: Вечерний выпуск. 1931. 20 марта, № 67.

ПРОЩАНИЕ. Впервые: «Портрет». С. 5–11. Печ. по сб. «Портрет». Сохранились две практически идентичные беловые рукописи — одна в рукописном отделе ИРЛИ, вторая получена нами от семьи Слонимских. На этом экземпляре первоначальное заглавие затерто, новое написано другими чернилами. Более полный вариант рассказа под названием «Тетка» см. в разделе «Другие редакции». Рассказ связан со студенческими впечатлениями самого Добычина: он, как и его герой Кунст, учился в Политехническом институ-

те и, видимо, так же спасаясь от голода и призываемый письмами матери, уехал из Петрограда. Бросается в глаза большая разница в идейной нагрузке ненапечатанного варианта по сравнению с опубликованным. Пропали сарказм, осуждение новой революционной действительности и политическая мотивировка бегства.

С. 45. *«Век»* — кадетская газета «Речь», основана в 1906 г.; была закрыта 26. X (8. XI) 1917 г., после чего возрождалась под разными названиями: «Наша речь», «Свободная речь», «Наш век». Под названием «Век» вышло всего два номера — 23 и 24 ноября (6 и 7 декабря н. с.) 1917 г.

Троицкий мост — мост через Неву от Марсова поля на Петроградскую сторону.

С. 46. *«Луч»* — одно из названий неоднократно запрещавшейся в 1917 г. меньшевистской газеты «Искра». «Луч» выходил два (а по некоторым источникам, три) раза: 19, 20 и, возможно, 21 ноября, т. е. 2, 3 и, может быть, 4 декабря 1917 г.

«Новое время» — петербургская газета (1865–1917), известная своими консервативными взглядами. Была закрыта на следующий день после Октябрьского переворота, 26. X. (8. XI.) 1917 г.

С. 47. *Черная речка* — небольшая река в районе Новой деревни, впадающая в Большую Невку.

Компатриоты — соотечественники.

С. 48. *Макс Штирнер* (Иоганн Каспар Шмидт, 1806–1856) — немецкий философ, автор книги «Единственный и его собственность» (1845), в которой эгоизм провозглашается основой существования.

Курляндская губерния — одна из прибалтийских (остзейских) губерний.

Фильянка — Финляндская железная дорога.

КОЗЛОВА. Впервые: Ленинград. 1925. № 9 (48). С. 2–4. Печ. по сб. «Портрет». Под названием «Письмо» рассказ входил в первую рукопись Добычина «Вечера и старухи», которую он послал М. Кузмину (см. письмо 153). Единственный рассказ из этой рукописи, напечатанный при жизни автора.

С. 49. *Паникадило* — большой церковный подсвечник.

Клирос — возвышение перед алтарем, на котором располагается церковный хор.

...воскреснет бог и расточатся враги его — начальные слова 67 псалма Давида, ставшие молитвой: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его...»

Козлова приложилась... — т. е. поцеловала икону.

Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург... — Карл Либкнехт (1871–1919) и Роза Люксембург (1871–1919) — леворади-

кальные социал-демократы, создатели нелегальной революционной организации «Спартак», позднее — немецкой компартии; одновременно убиты после подавления восстания рабочих Берлина. В их честь были названы многие учреждения, заводы, улицы... В Брянске 20-х гг. также были улицы Р. Люксембург и К. Либкнехта. См. примеч. к с. 54.

...о лурдской богородице — явление Богородицы в 1858 г. возле французского городка Лурд, указавшей на священный источник в гроте Масавель; источник стал местом паломничества католиков.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб»... — легенды о прорицательницах Сивиллах, возникшие в Греции, были усвоены римлянами; по сивиллиным книгам, стихотворным сивиллиным «Оракулам» жрецы предсказывали будущее. Мадам де-Тэб, настоящая фамилия Савиньи (1865–1917) — известная парижская хиромантка и прорицательница, ежегодно издавала альманахи предсказаний. Многие ее предвидения, выраженные, как обычно в таких случаях, достаточно неопределенно, по мнению современников, подтверждались. Так, в августе 1912 г. она назвала дату начала «великих событий» — 20 марта 1914 г. (Первая мировая война началась 20 июля 1914 г.). В 1914 г. в России был переиздан альманах де-Тэб на 1912 год: «Война и предсказания госпожи де-Тэб» (Пг., перевод и предисловие Скарабэ); вышел также буклет «Что говорит г-жа де Тэб о событиях текущего года?» (Пг., 1914).

С. 50. *...приложения к «Ниве»* — «Нива», популярный еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни для семейного чтения, выходил в Петербурге в 1870–1918 гг. С 1891 г. в качестве бесплатного приложения издавались собрания сочинений русских и зарубежных писателей. Кроме того, в 1894–1916 гг. печатались рассчитанные на невысокий вкус «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“».

Вторник был женский день... — в провинции небольшие бани обычно обслуживали мужчин и женщин в разные дни недели.

Святой Кукша — монах Киево-Печерской лавры, проповедовавший на Брянской земле в XII в. В 1903 г. состоялось перенесение его мощей из Киева в Брянск. Память его отмечалась 27 августа.

Епитрахиль — облачение православного священника: длинный передник с крестами.

Хартия — здесь: старинная рукопись.

С. 51. *Столб с преображением...* — столб с иконой Преображения Господня (момент, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Христа в божественном облике).

Керзон Джордж Натаниел (1859–1925) — лорд, английский государственный деятель, министр иностранных дел в 1919–1924 гг.

Во время советско-польской войны 1919–1920 гг. требовал прекращения наступления красных войск в Польше («линия Керзона»), в мае 1923 г. сделал два ультимативных заявления, в которых угрожал разрывом дипломатических отношений с Советской Россией — за пропаганду Коминтерна и за помощь национально-освободительному движению в странах Востока, а также требовал отзыва наших дипломатов Б. З. Шумяцкого и Ф. Ф. Раскольникова соответственно из Ирана и Афганистана. В ответ по стране прокатилась волна хорошо организованных демонстраций, на которых несли чучела Керзона на виселице, лозунги: «Лорду — в морду!» и т. п.

Англия воюет — слух, несомненно вызванный ультиматумами Керзона. В небезызвестном «Кратком курсе истории ВКП(б)» они оценивались как «угроза новой интервенции».

Киот — деревянная полка, поставец, на котором размещают иконы.

Иоанн-воин (Иоанн-воинственник) — христианский мученик IV в., память его отмечается 30 июля.

С. 52. *«Смело мы в бой пойдем»* — припев песни времен гражданской войны «Слушай, рабочий, Война началася!..», являющейся в свою очередь переделкой солдатской песни Первой мировой войны «Слышали деды, война началася...» (мелодия романса «Белой акации гроздья душистые...», 1902). Известен вариант этой песни, сложенный в белой армии. Приводимые Добычиным слова есть в обоих текстах («Смело мы в бой пойдем За власть Советов...» и «Смело мы в бой пойдем За Русь святую...»). Здесь имеется в виду красноармейская песня.

«День леса» — праздник, установленный в 1923 г. В этот день проводились массовые посадки зеленых насаждений. «Козлова» написана в 1923 г., так что в рассказе показан плачевный итог самого первого «Дня леса». О казенном характере подобных мероприятий можно судить по странице журнала «Ленинград», целиком ему посвященной и напечатанной через пять номеров после «Козловой»: «Облесение площадей имеет огромное значение <...>. Деревья являются лучшим средством для оздоровления города...» и т. д.

Союз финкотруд — Союз работников финансового и контрольного дела РСФСР; просуществовал всего несколько месяцев, с июня 1919 до 1920 г., когда был включен в состав укрупненного Союза работников советских и общественных учреждений и предприятий. С июня 1922 по октябрь 1925 г. Добычин служил в Губпрофсовете — Губернском совете профессиональных союзов, хорошо знал структуру профессиональных организаций и часто упоминает их в своих рассказах.

Обновление икон — чудесное изменение (обновление) внешнего вида иконы, объясняемое вмешательством Божественного Промысла. В «Шуркиной родне» (гл. 11) рассказано об одном таком случае.

Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку... — в августе 1923 г. в Москве, в Нескучном саду, прошла первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка, на которой между прочим демонстрировалось поясное изображение Ленина из цветов; об этом портрете много писали газеты. Выставке 1923 г. посвящен очерк М. Булгакова «Золотистый город», где также описан «знаменитый на всю Москву» портрет. Вслед за московской стали организовываться губернские выставки.

С. 53. *...красно-коричневый дворец* — Зимний дворец в Петербурге. Перед революцией имел именно такую окраску.

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ. Впервые: Русский современник. 1924. № 4. С. 117–121. Печ. по сб. «Портрет» с исправлением опечатки: пропущенного обозначения гл. 2, имеющегося в тексте сб. «Встречи с Лиз».

С. 54. *Улица Германской революции, улица Третьего интернационала.* — Добычин постоянно отмечает страсть коммунистической власти к переименованиям (ср.: Московская ул. стала улицей имени Москвы — письмо 114; «„Гостеатр“ переименован в „Рабочий театр“» — письмо 123). Германская революция — события 1918–1919 гг. (восстания рабочих Берлина, Рейнско-Вестфальского угольного района, создание Баварской советской республики и др.), закончившиеся поражением леворадикальных сил и провозглашением Веймарской республики. См. примеч. к с. 49. Третий Интернационал — то же, что Коммунистический Интернационал (Коминтерн), создан в марте 1919 г. Улица с таким названием в Брянске действительно была.

«Теща в дом — все вверх дном» — комедия в 1 действии А. А. Соколова (1840–1913), опубликована в 1890 г.

С. 55. *«Не злоупотребляйте портретами вождей»* — так называлась заметка И. Сенина, опубликованная 24 мая 1924 г. в газете «Брянский рабочий» (№ 117). Тема эта постоянно поднималась в советской печати.

«Вставай, проклятьем»... — начальные слова «Интернационала» (муз. П. Дегейтера, слова Э. Потье, русский перевод А. Коца), в те годы гимна СССР.

С. 56. *...в гипюровом воротнике...* — в кружевах с рельефным рисунком на прозрачном фоне.

Долой Румынию — в 1918 г. Румыния оккупировала Бессарабию. С тех пор отношения между РСФСР и Румынией периодически обострялись. В 1924 г. на конференции в Вене в обмен на отказ Советской России от Бессарабии Румыния предлагала официально признать советский режим. Это вызвало новый всплеск антирумынских заявлений.

Губсоюз — губернский союз потребительских обществ.

С. 57. *«Сад пыток»* — роман (1899) французского писателя Октава Мирбо (1850–1917).

Бланманже (*фр.*) — желе из сливок или миндального молока. По-видимому, Кукин читает поваренную книгу.

Святой Евпл — архидиакон Евпл (Еупл), христианский мученик IV в.; память его отмечается 11 августа.

С. 58. *«Отче наш»* — начало одной из главных христианских молитв.

«Боже, царя» — начало официального государственного гимна Российской империи, созданного композитором А. Ф. Львовым на слова В. А. Жуковского в 1833 г.

ЛИДИЯ. Впервые под общим названием «Три рассказа» (вместе с «Ерыгиным» и «Сорокиной»): Ковш. 1926. Кн. 4. С. 238–240. Печ. по сб. «Портрет». По свидетельству автора, рассказ назван по имени писательницы Лидии Сейфуллиной, о которой он неоднократно отзывался весьма иронически (см. письма 56, 57). Легко представить чувства только начинающего печататься автора, когда в «Брянском рабочем» (1926. 31 марта) он прочел о 4-й книге альманаха «Ковш», в который в числе прочих вошли три рассказа «Г. Добычина».

С. 59. *...лейся, песнь моя, пионерска-я...* — строки популярной в 20-е гг. песни «Баклажечка» (авторы текста и музыки неизвестны).

Успенье с плоским куполом — церковь в память об Успении (кончине) Божьей Матери.

Каковы китайцы... — 30 мая 1925 г. английские полицейские расстреляли в Шанхае демонстрацию рабочих и студентов, что привело к взрыву негодования по всей стране и положило начало китайской революции 1925–1927 гг. Отметим оперативность Добычина: о событиях, происходивших после 30 мая, он упоминает в рассказе, оконченном 13 июня того же года.

С. 60. *Принимаю икону...* — В дни православных праздников в некоторых домах по заказу устраивались особые богослужения, после которых следовала трапеза.

Молодые люди в золотых ермолках... — ермолка — маленькая круглая шапочка без околыша, из мягкой материи, плотно прилегающая к голове.

...голосуйте за партию с.-р. — т. е. за партию эсеров, социалистов-революционеров. Плакат, по-видимому, остался от кампании по выборам в Учредительное собрание (1917 г.).

...статуей товарища Фигатнера. — Юрий Петрович Фигатнер (1889–1938) — старый большевик, репрессирован. В 1924–1930 гг. был членом президиума ВЦСПС (Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов). Напомним, что Добычин служил в Губернском совете профсоюзов.

С. 61. *Драчёна* (дрочена) — картофельные лепешки, запеканка.

...красная армия всех сильней! — строка одноименной песни периода войны с Врангелем (музыка С. Я. Покрасса (1894–1939), слова П. Г. Горинштейна (1895–1961).

САВКИНА. Впервые: Ленинград, 1925. 27 июня. № 23(62). С. 1–2. Печ. по сб. «Портрет». См. письма 50–52.

С. 62. *«Чуден Днепр при тихой погоде»* — начало лирического отступления в X главе повести Н. В. Гоголя «Страшная месть».

С. 64. *Американская мука* — по-видимому, речь идет о муке, поставлявшейся в РСФСР частной благотворительной организацией АРА (Американская Администрация Помощи).

Наробраз — отдел народного образования.

...о поднесении знамени — вручение красного знамени вышестоящими административными, партийными и профсоюзными органами. Официальную лексику Добычин постоянно переводит на бытовой язык, зачастую при этом иронизируя.

С. 65. *...всех коммунаров <...> он сам привлекал к жестокой, мучительной казни* — вариант строки из анонимной песни времен гражданской войны «Расстрел коммунаров», в основе которой — «Предсмертная песня» В. Г. Тана-Богораза, посвященная казни минеров форта «Константин» в годы первой русской революции.

ЕРЫГИН. Впервые под общим названием «Три рассказа» (вместе с «Лидией» и «Сорокиной»): Ковш. 1926. Кн. 4. С. 235–238. Печ. по сб. «Портрет». См. письма 41–51, 53. Разбивка на абзацы сделана по рукописи «смягченного» варианта 1924 г.

Первой печатной оценкой творчества Л. Добычина можно считать фразу из рецензии на 4-ю книгу «Ковша»: «Небольшие рассказы Раковского, Гладилова, Валова и Добычина свидетельствуют об отсутствии четко обозначенной идеологической линии у этих, по-видимому, молодых прозаиков» (Звезда. 1924. № 4. С. 236. Подпись: М. — очевидно, М. Майзель). Еще один ранний отзыв содержится в обзоре А. Лежнева 3-й и 4-й книжек альманаха «Ковш»: «Остальная проза (рассказы Л. Раковского, Гладилова, Валова, Добычина) не представляют ничего интересного. Лучше других вещи Добычина, которые были бы и вообще не плохи, если б автор не столько манерничал и не щеголял отрывочностью и лаконизмом, делающими иногда его рассказы довольно малопонятными» (Печать и революция. 1926, кн. 5. С. 212).

С. 66. *На будках висели метрические таблицы* — метрическая система мер, установленная декретом французского революционного правительства в 1795 г., принята для РСФСР в 1918 г., а для СССР — 21 июля 1925 г. В связи с этим была развернута кампания

по ознакомлению населения с новыми мерами и их соотношением со старыми.

...дочь Красная Пресня (в сб. М — просто Пресня) — достаточно правдоподобная пародия на тогдашние «революционные имена» (Автодор, Револа, Марлен, Бухарина и проч.).

Видный германский промышленник г. Вурст... — скорее всего, авторская шутка: Wurst по-немецки «колбаса».

С. 67. *Смычка с Красной армией* — один из серии постоянных политических лозунгов 1920-х гг., предполагавший сближение народа (т. е. учреждений, предприятий, заводов) с армией — через личные контакты, обмен самодеятельностью, некоторую помощь в материальном обеспечении. Существовали также лозунги о смычке города и деревни, рабочего и крестьянина, было создано Общество культурной смычки, выпускались папиросы «Смычка», под таким названием выходила газета.

Начдив — начальник дивизии.

РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков); как официальное название коммунистической партии существовало с VII съезда (март 1918 г.) по XIV (декабрь 1925 г.).

Они проезжали через разные страны и нигде не видели такой свободы — на протяжении ноября-декабря 1924 г. во всех газетах страны печаталось большое количество материалов, посвященных приезду делегации английских тред-юнионов на VI Всесоюзный съезд профсоюзов. Руководитель делегации, член парламента А. Персель, сделал несколько сенсационных заявлений: «Отмечая свое пребывание в СССР в 1920 г., он подчеркнул необычайно огромные перемены в жизни рабочего Союза Республики». Еще одно: «Советская Россия является чудесной короной международного рабочего класса» («Брянский рабочий», 1924, 14 и 16 ноября). И т. п. Западная пресса сочла эти слова фальшивкой, и тогда, находясь в Грузии, Персель, к шумному удовольствию советской прессы, подтвердил их («Брянский рабочий», 1924, 18 ноября). И еще: «Персель разоблачает клеветников» («Брянский рабочий», 1924, 28 дек.). Очень похоже, что эта история отразилась в эпизодах, относящихся к иностранцам: рассказ написан именно в конце 1924 г. См. также письма 1925 года — 45, 46, 48.

Двенадцать Произведений Мировой Живописи — альбом из 12 листов черно-белых гравюр, изданный в 1923 г. в качестве премии журнала «Красная Нива» тиражом 30 тысяч экз. В альбом вошли репродукции действительно крупнейших художников мира (Тициан, Рембрандт, П. Рубенс, Э. Делакруа, И. Репин, В. Суриков и др.).

...в пользу наводнения — имеется в виду сильнейшее наводнение в Ленинграде в сентябре 1924 г. По всей стране проходила кампания помощи городу, в котором пострадало 50 тысяч семей.

С. 68. *Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь»...* — намек на то, что клуб размещен в бывшей церкви.

С. 69. *«Немцы — звери»* — образ врага, официально культивировавшийся в годы Первой мировой войны.

...клеенка «Трехсотлетие»... — в 1913 г. отмечалось 300-летие дома Романовых, что вызвало появление подобных сувениров.

«Нарпит» — всероссийская организация «Народное питание», в ведении которой находились все столовые общественного питания (общепита).

Панорамщик — владелец переносной панорамы (райка), ящика с увеличительными стеклами в передней стенке; внутри его перематывается с одного катка на другой бумажная лента с изображениями городов, знаменитых людей, различных чудищ и т. п.

План Дауэса — программа получения репараций с побежденной в Первую мировую войну Германии, разработанная в 1923–1924 гг. американским банкиром Чарльзом Гейтсом Дауэсом (1865–1951). Советская пресса называла эти репарации грабительскими.

Социал-предатели — так в советской печати именовали немецких социал-демократов Ф. Шейдемана и Г. Носке, которые выступили против революции в Германии и способствовали ее подавлению. С самого начала и до конца советской власти определение, однажды данное официальными идеологами, повсеместно повторялось без всяких изменений (ср.: «ренегат Каутский», «Иудушка-Троцкий», «и примкнувший к ним Шепилов», «ограниченный контингент советских войск» и т. п.).

С. 70. *Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа!* — 6 ноября 1924 г. «Брянский рабочий» опубликовал «Лозунги к 7-й годовщине Октябрьской революции»; под № 8 помещен лозунг, который без всяких изменений и воспроизвел Добычин.

Губернская курортная комиссия — такие комиссии создавались в профсоюзных организациях разных уровней и ведали распределением бесплатных и льготных путевок.

Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит — та же формула, лишенная логики, присутствует в приговоре суда по делу Б. Савинкова, опубликованном в дни работы Добычина над «Ерыгиным»: «Суд приговорил Бориса Савинкова к высшей мере наказания. Однако <...> суд постановил ходатайствовать перед ЦИК СССР о смягчении меры наказания» («Правда», 31 августа 1924 г.). Ранее в связи с процессом по делу эсеров «Известия Брянского Губисполкома и Губкома РКП» опубликовали передовую «Советская власть умеет разбираться» (1922, 2 июня), а на следующий день там же была напечатана статья «Кто силен — тот

милостив», в которой можно было прочитать: «ВЦИК, рассмотрев ходатайство приговоренных к расстрелу по делу об изъятии церковных ценностей в Москве, постановил заменить (следует шесть фамилий. — *Вл. Б.*) расстрел пятью годами заключения. Ходатайство остальных отклонено».

КОНОПАТЧИКОВА. Впервые: сб. «Встречи с Лиз». С. 85–93. Печ. по сб. «Портрет».

С. 71. *Женотделка* — сотрудница женотдела, т. е. отдела по работе среди женщин; такие отделы в составе партийных комитетов были созданы в 1919 г.

...так жизнь молодая проходит бесследно — начальные строки романса (слова и музыка Л. Д. Малашкина, 1842–1892).

С. 72. *...и зачем ты себе все это шил...* — Добычин довольно точно, хотя отчасти и пародируя, воспроизводит народную причеть, в традиционную форму которой (обращение к умершему, как к живому) органично входят бытовые детали.

С. 73. *«Жизнь без труда — воровство, а без искусства — варварство»* — афоризм Джона Рескина (1819–1900), английского теоретика искусства, публициста.

С. 74. *Середняк* — по официальному определению, крестьянин, имеющий средства производства, достаточные для обработки лишь собственной земли, и не эксплуатирующий чужого труда. До коллективизации середняк считался союзником пролетариата; середняк, вступивший в колхоз, — опора пролетариата. Поначалу власти заигрывали с ними, в дальнейшем многие из них были раскулачены или объявлены подкулачниками.

Рабкор — рабочий корреспондент; партийная пропаганда стремилась придать этому званию высокий общественный авторитет. 14 августа 1924 г. в «Правде» была опубликована речь Л. Троцкого «Рабкор и его культурная роль», занявшая целую газетную полосу. В неуважении к рабкору упрекал Добычина и рецензировавший сборник «Портрет» Осип Резник. См. вводную заметку к разделу «Рассказы».

Вильгельмина — Вильгельмина Хелена Паулина Мария (1880–1962) — королева Голландии (Нидерландов) с 1890 по 1948 г.

С. 75. *«Нищета в Германии»* — одна из постоянных газетных тем 1920-х гг. Имеются в виду последствия плана Дауэса. См. примеч. к с. 69.

«Тарзан» — серия романов американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950), насчитывающая около 30 томов; первая книга («Тарзан среди обезьян») вышла в 1914 г., последняя («Тарзан и сумасшедший») — в 1940 г. По мотивам романов о Тарзане неоднократно снимались многосерийные фильмы.

В Витебске <...> приколочен герб... — герб Витебска, близок к гербам других городов средневекового русско-литовского княжества: в нижней половине щита изображен всадник с мечом на белом коне.

ДОРИАН ГРЕЙ. Впервые, под названием «Сорокина», под общим заголовком «Три рассказа» (вместе с «Ерыгиным» и «Лидией»): Ковш. 1926. Кн. 4. С. 240–243. Печ. по сб. «Портрет». В сб. М рассказ называется «Дориан». Дориан Грей — герой романа Оскара Уайльда (1854–1900) «Портрет Дориана Грея» (1891). См. вступит. статью.

С. 76. *Правозаступник* — по декрету от 7 марта 1918 г., лицо, занимающееся правозаступничеством как в форме общественного обвинения, так и в форме общественной защиты; однако вскоре фактически были восстановлены и отделены друг от друга все виды профессиональной юридической деятельности: защита, обвинение и консультация. Здесь, по-видимому, юрисконсульт.

...перед ротой командир (чаще капитан или офицер. — *Вл. Б.*) *хорошо маршировал* — строка солдатской песни «Из-за леса, из-за гор едет ротушка солдат...».

... до вознесенья — праздник Вознесения Господня, отмечается на 40-й день после Пасхи.

Глагола ему Пилат (старослав.) — сказал ему Пилат; место из Евангелия (от Матфея, Иоанна и др.), где Пилат допрашивает Христа.

С. 77. *...русский, немец и поляк* (танцевали краковяк) — начало песенки-подтекстовки под мелодию краковяка.

Бутылки с вишнями — см. письмо 57.

С. 78. *Сун-Ят-Сен*, совр. написание Сунь Ятсен (1866–1925) — виднейший деятель китайского национально-освободительного движения, основатель партии Гоминдан; в последние годы жизни сотрудничал с китайскими коммунистами и проводил политику сближения с СССР.

Вальс «Диана» — «Диана, о луна...», музыка Г. Форе (1845–1924), слова Ж. де Ла Виль де Мирмона, перевод Н. Самарина.

«Джимми Хиггинс» — роман (1919) американского писателя Эптона Синклера (1878–1968).

С. 79. *В первую декаду — иссушающие ядра...* — Добычин почти буквально воспроизводит одну из газетных погодных сводок. См. также письмо 84.

Сэптэнтрионэс (septentriones, *лат.*) — семь звезд, семизвездие, т. е. созвездие Большой (major) или Малой (minor) Медведицы.

Ватерпруф — женское непромокаемое пальто.

СИДЕЛКА. Впервые: Новая Россия. 1926. № 2. С. 73. Печ. по сб. «Портрет».

С. 80. *Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице* — эпизод с открытием памятника Гусеву почти документально воссоздает реальные картины закладки и открытия памятника Игнату Фокину (1889–1919), одному из организаторов советской власти на Брянщине. 20 августа 1922 г. «Брянский рабочий» посвятил закладке памятника целый номер. В обращении президиума Губпрофсовета говорилось: «К указанному времени пролетариат города Брянска должен посетить могилу и присутствовать при закладке». Как на больших столичных демонстрациях, был напечатан план сбора и движения колонн к Васильевскому парку на улице Третьего Интернационала. 7 ноября состоялось открытие памятника. И снова — большие торжества и ряд статей. Одна из них называется «Слава пролетарскому творчеству. (К открытию памятника тов. Фокину)»: «По своему художественному замыслу и техническому исполнению памятник тов. Фокину является одним из первых в Республике и действительно достоин имени славного и стойкого борца за коммунизм <...> Светлую память о тов. Фокине <...> он воплотил в каменную глыбу, с которой как бы срастается массивный бюст тов. Фокина». Ср. с лаконичной добычинской фразой: «В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник — образец монументального искусства».

Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач! — фраза, содержащая намек на известные слова В. И. Ленина в статье «Памяти Герцена»: «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму...»

Исправдом — исправительный дом, как после революции именовались тюрьмы.

Вы жертвою пали... — («Похоронный марш») песня русских революционеров, ставшая популярной после революции 1905 г. Текст составлен из куплетов стихотворений 1870-х гг. «Вы жертвою пали...» неизвестного автора и «В дороге» А. Архангельского.

...растратчик Мишка-Доброхим — очевидно, совершал свои махинации в Доброхиме (Доброхим — сокращенное название существовавшего в 1924–1925 гг. Общества друзей химической обороны и промышленности, которое затем объединилось с другими оборонными обществами в Осоавиахим).

С. 81 *«Тэжэ»* — магазины треста «Жиркость» (сокращенно «Тэжэ»), объединявшего предприятия парфюмерной, мыловаренной и костеобрабатывающей промышленности.

Политграмота — на протяжении десятилетий все работающие граждане изучали марксизм — сначала в начальных кружках политграмоты, затем в университетах марксизма-ленинизма и т. п.

Моссельпром — пищевой трест Московского Совета Народного Хозяйства, объединявший мукомольные, кондитерские и шоколадные фабрики, пивоваренные заводы и табачные предприятия.

Где вода дорогá? — шуточная загадка, основанная на фонетическом сходстве с фразой: «Где вода да рога?»

ЛЕКПОМ. Впервые: Ленинград. 1930. № 3. Под общим заголовком «Рассказы», вместе с «Хиромантией» и «Пожалуйста». Печ. по сб. «Портрет». Публикации предшествовала заметка, о которой Добычин узнал лишь из письма Слонимской (см. письмо 128): «Эти рассказы мы помещаем как типичный образец творчества мелкобуржуазного писателя, абсолютно не связанного с нашей современностью. Просьба к читателям высказаться по поводу рассказов Л. Добычина на страницах нашего журнала. Редакция».

С. 82. *Лекпом* — лекарский помощник, фельдшер.

Цикламен — многолетнее декоративное растение, альпийская фиалка.

Мери Пикфорд (1893–1979) — знаменитая американская киноактриса.

Женни Юго, рожд. Вальтер (1904–2001) — австрийская киноактриса.

...расширившихся, как под атропином, зрачков — атропин, лекарственное вещество, извлекаемое из красавки и белены; при закапывании в глаз расширяет зрачок.

ОТЕЦ. Впервые: сб. «Портрет». С. 74–76. Печ. по сб. «Портрет».

МАТРОС. Впервые: сб. «Встречи с Лиз», под загл. «Лешка». С. 77–82. К. Чуковский записывает в дневнике 29 января 1926 г.: «Получилось при нем (А. Н. Тихонове-Сереброве. — *Вл. Б.*) письмо от Добычина. Новый рассказ «Лешка» — отличный, но едва ли пригодный для печати. (Он прочит его для детей.) Мы сейчас же написали ему письмо» (Чуковский. С. 367).

С. 85. *Трансваль, Трансваль* — начало популярной песни, посвященной англо-бурской войне 1899–1902 гг. Народная обработка стихотворения Г. А. Галиной «Бур и его сыновья» (1899). Правильнее Трансвааль.

С. 86. *...платье бедняги за корни цепляется, ветви вплелись в волоса* — строки городского (жестокого) романса «Бедная девушка, горем убитая...».

ХИРОМАНТИЯ. См. примеч. к рассказу «Лекпом». Печ. по сб. «Портрет».

С. 88. *...исполнен долг, завещанный от бога / мне, грешному* — из монолога летописца Пимена в трагедии Пушкина «Борис Годунов».

Сакко и Ванцетти — Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, итальянские рабочие-эмигранты, обвиненные в убийстве по весьма шатким основаниям, в 1920 г. были приговорены к смертной казни, что вызвало протесты в США и во всем мире, особенно в СССР; казнены в 1927 г.

С. 89. *Умерла болгарка...* — вероятно, картина на популярный сюжет русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в результате которой Болгария была освобождена от турецкого ига.

ПОЖАЛУЙСТА. См. примеч. к рассказу «Лекпом». Печ. по сб. «Портрет».

С. 90. *Гривна* — десять копеек.

Мы уже разучивали майский гимн — песня на слова «Первомайского гимна» («Славьте Великое Первое мая...»), написанного поэтом-пролеткультовцем Вл. Кирилловым в 1918 г.

С. 91. *Пла́чу и рыдаю. <...> егда вижу смерть* — стихи из 8-й песни Канона, творения Иоанна Дамаскина: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразно, безсловесно, не имущую вида» (входят в чин погребения).

САД. Впервые: сб. «Портрет». С. 89–94. Печ. по сб. «Портрет».

С. 92. *Медсантруд* — Союз работников медико-санитарного труда.

Окрэспеэс — Окружной совет профессиональных союзов.

Работпрос — Союз работников просвещения.

С. 93. *Сезонники* — крестьяне, завербованные на определенный срок в город на работы, не требующие квалификации.

Отсекр — ответственный секретарь.

Окрэмбеит — Окружное межсекционное бюро инженеров и техников.

Конартдив, ассенобоз — конно-артилерийский дивизион, ассенизационный обоз.

С. 94. *...запел «Вставай»* — «Интернационал». См. примеч. к с. 55.

ПОРТРЕТ. Впервые: «Стройка», 1930, 31 марта, № 3. С. 7–8. Печ. по сб. «Портрет». В журнале рассказу предпослано редакционное примечание: «Необычный метод работы писателя Л. Добычина, вызывавший и вызывающий большие споры, представляет собою некоторый интерес и для широкого читателя, следящего за путями развития нашей современной литературы и творческими поисками ее отдельных представителей. Предполагая еще вернуться к твор-

честву Л. Добычина, в специальном фельетоне, редакция считает нужным оговорить пока следующее: рассказ Добычина, субъективно очень любопытный, объективно — в условиях сегодняшнего состояния советской литературы — знаменует собой то же самое, что и стихи Н. Заболоцкого. „Аналитическое" восприятие мира, разлагающее этот мир на отдельные „предметные" детали, еще не соединенные между собой никакой органической связью, это уже есть то свойство, которое таит в себе опасность типично буржуазного мировоззренческого распада. Этой характерной тенденции, типичной сейчас для целой группы писательской молодежи, в ближайшем номере будет дан разбор более обстоятельный и подробный» (С. 7). Однако обещанного разбора в «Стройке» не появилось.

С. 95. *Кофта «сольферин»* — сольфериновый цвет — ярко-малиновый.

С. 96. *Улица Москвы* — см. письмо 114, объясняющее пародийный смысл текста.

Ричард Толмедж (1892–1981) — американский киноактер.

Второй Интернационал — создан в Париже в 1889 г. с целью объединения социалистических партий. Распался в 1914 г., к началу Первой мировой войны, когда европейские социалисты (исключая русских, сербских и итальянских) проголосовали за военные кредиты и в ряде случаев делегировали своих представителей в буржуазные правительства. Ленин, Р. Люксембург и др. левые обвинили вождей Второго Интернационала в оппортунизме. Воссоздан в 1922 г. Отколовшиеся от него коммунисты организовали в 1919 г. Третий Интернационал, Коминтерн. См. примеч. к с. 54.

Поляки взяли Полоцк — отголосок слухов о войне с Польшей, циркулировавших в СССР в 1920-е гг.

Анна Чилляг — создательница средства для рощения волос; ее рекламное изображение с волосами до земли печаталось в «Двинском листке» на протяжении нескольких лет.

Поль (Пауль) Крюгер (1825–1904) — в 1883–1900 гг. президент Трансваальской республики.

Луначарский двинул Рыкову — Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), революционер, писатель, теоретик искусства; в 1917–1929 гг. — народный комиссар просвещения. Алексей Иванович Рыков (1881–1938), большевик-подпольщик, в 1924–1929 гг. — председатель Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР, расстрелян. В 1928 г. Рыков примкнул к так называемому правому уклону в партии, который Луначарский публично, хотя и не очень резко, осудил (например, в речи на собрании комсомольского и профсоюзного актива Москвы, 1929).

...Митрополит Введенский едет — Александр Васильевич Введенский (1888–1946), видный деятель обновленческого крыла

православной церкви, ради спасения которой шел на компромиссы и сотрудничество с властями. Много ездил по стране, участвовал в публичных диспутах на темы религии, в том числе и с Луначарским.

С. 97. *Есть ли бог?* — о диспуте с таким названием писал «Брянский рабочий» 4 января 1923 г. Позднее был помещен и отчет об этом диспуте. Впрочем, тема эта никогда не сходила с повестки дня всевозможных антирелигиозных мероприятий.

Подшефный середняк — см. примеч. к с. 74.

Содружественная часть — воинская часть, находящаяся под культурной опекой какого-либо гражданского учреждения, то же, что позднее — подшефная часть.

...тихо кругом... — начало известного вальса «На сопках Маньчжурии» (первоначально: «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», 1906). Музыка капельмейстера И. А. Шатрова (1885–1952). Наиболее известны слова, принадлежащие поэту Скитальцу (Степану Петрову).

С. 98. *Пушкин, где ты?* — начало одной из непристойных шуток.

...в магазине Кнопа... — первая строка неприличного стишка.

Цинерария — комнатное растение, цветет яркими соцветиями.

С. 99. *...«дни есенинщины»* — после самоубийства С. Есенина (1925) «есенинщиной» стали именоваться сопряженное с хулиганством и пьянством антиобщественное поведение.

Стеклографистка — специалистка, работающая на стеклографе, приборе, который дает оттиски с формы на стекле.

«Проклятие тебе <...>, мистер Троцкий» — высланный из СССР 11 февраля 1929 г. Л. Д. Троцкий опубликовал ряд статей в английской прессе, что способствовало появлению в советской печати ходового штампа «мистер Троцкий». Его придумал партийный деятель и публицист Емельян Ярославский (М. И. Губельман), который в марте 1929 г. напечатал в «Правде» две большие статьи о Троцком: «Мистер Троцкий на службе буржуазии или первые шаги Л. Троцкого за границей» (8 марта) и «Еще о мистере Троцком» (22 марта).

«Виринея» — см. примеч. к рассказу «Лидия» (с. 462).

«Наталья Тарпова» — роман (1927–1930) Сергея Семенова (1893–1942).

«Пуанка́ре, получи по ха́ре» — Раймон Пуанкаре́ (1860–1934), французский политик, президент Франции (1913–1920), получивший прозвище «Пуанкаре-война», весьма враждебно относился к СССР и являлся постоянным объектом гневной сатиры.

С. 100. *Кабу́ки* — в 1928 г. в Москве прошли гастроли национального японского театра Кабуки, а в 1929 г. в Москве же состоялся суд над группой руководящих работников профсоюза строителей, которые организовали тайное общество «Кабуки». Целью

общества была культивация «красивой жизни», «афинских ночей» с женщинами и вином.

С. 101. *...почему не северянина изображает Бестер Ки́тон?* — имеется в виду посвященный войне демократического Севера и рабовладельческого Юга американский фильм «Генерал» (1926); Бестер Китон (1895–1966) — знаменитый американский киноактер периода немого кино.

Рахиля, <...> вы мне даны — начало арии Элеазара из оперы Ф. Галеви «Жидовка» («Дочь кардинала», 1835), которую весной 1929 г. давала в Брянске труппа режиссера Г. М. Комиссаржевского.

«Юнг-штурм» (юнгштурмовка, нем.) — верхняя рубашка полувоенного покроя, с большими карманами, носившаяся с ремнем, модная в комсомольско-молодежной среде.

...флакон с Невой и Крепостью — флакон с изображением Петропавловской крепости, расположенной на берегу Невы.

«Наш ответ китайским генералам» — имеются в виду президент Чан Кайши и сын маршала Чжан Цзолиня Чжан Сюэлян, предпринявшие попытку захватить Китайско-Восточную железную дорогу. Осенью 1929 г. китайские войска были разгромлены.

...в синей кике — головной убор замужней женщины.

За Иордан? — согласно Библии, через чудом расступившиеся воды Иордана еврейский народ вернулся на родину.

МАТЕРЬЯЛ. Впервые: «Ленинградская правда», 1988. 21 авг. Печ. по рукописи.

С. 103. *Годулевич получила вызов на соревнованье...* — см. письмо 122.

«Чудеса теней» — занимательные картинки, меняющиеся при рассматривании сквозь стекла разного цвета; один из видов развлечений для детей в 1920–30-е гг.

Крем-сода — прохладительная шипучая вода.

Венстационар — больница для венерических больных.

Лéдник — место для хранения продуктов в теплое время года, обычно — яма, погреб, вырытый во дворе, обшитый досками и засыпанный землей; весной заполнялся кусками льда, поверх которых укладывался толстый слой опилок.

Цеэрка — Центральный рабочий кооператив.

«Кол-Нидрэй» — молитва иудеев, исполняемая в Йом-Кипур (Судный день).

С. 104. *В газете появилось объявление о чистке...* — чистка, специфически советское явление 1920-х — начала 1930-х гг., публичное обсуждение политического лица и любых других качеств человека. В 1921 г. состоялась первая чистка партии, позднее нача-

лась чистка советского аппарата. Те, кого прогоняли с работы («вычищенные»), делились на три категории — по степени лишения гражданских прав. Форма террора, запугивания, унижения человека (напомним: герои Ильфа и Петрова бежали от чистки в сумасшедший дом).

Корифейка — до революции в русском театре существовало звание «корифей» (и соответственно «корифейка») ведущий артист кордебалета, танцующий в первой линии и способный исполнить небольшие сольные номера.

Председатель был шутник... — см. письмо 126. В рассказе этот эпизод по сравнению с реальным, изложенным в письме, получает более трагический и обобщенный характер.

Живая газета — самодеятельный коллектив, а также форма концерта самодеятельности, составленного по преимуществу из злободневных местных и общеполитических материалов (частушки, сценки, фельетоны).

Ходы́ — два отдельных колеса, соединенные осью, весь низ телеги без кузова; служат для перевозки бревен, жердей и т. п. грузов.

ЧАЙ. Впервые: Звезда. № 9. 1989. С. 190–191. Печ. по рукописи. См. письмо 131.

С. 105. *Содружественная часть* — см. примеч. к с. 97.

Исправдом — см. примеч. к с. 80.

С. 106. *Цеэрка* — см. примеч. к с. 103.

Жамочки — мятные пряники.

Закрытый распределитель — во времена карточной системы за каждой категорией населения были закреплены свои магазины, с очень разным уровнем снабжения; закрытый распределитель предназначался для привилегированной части горожан.

ГОРОД ЭН

Роман был задуман Добычиным в первые же годы его литературной работы. Самое раннее упоминание о нем содержится в письме от 14 марта 1926 г. Как всегда, Добычин долго вынашивал замысел, а затем трудно и медленно перелагал его на бумагу. 12 июня 1928 г. он сообщает М. Л. Слонимскому: «Роман, который Вы велели, пишется. Готово 700 слов». К маю 1933 г. были завершены лишь первые десять главок, которые Добычин просил Слонимского опубликовать, не дожидаясь окончания всего произведения. Слонимский пытался пристроить главы в «Литературном современнике», но получил отказ (см. письмо 141). Затем он предложил «Начало романа» в горьковский альманах «Год...» — и тоже неудачно. В более пространном виде

(тринадцать главок) «Начало романа» напечатано в майском номере журнала «Красная новь» за 1934 г. В книжках «Красной нови» с января по апрель 1935 г. анонсировалась «Половина романа» Л. Добычина, однако никаких других публикаций не последовало. Именно в это время Добычин допустил какое-то некорректное замечание в адрес журнала. Однако, как видно из письма Слонимского редактору «Красной нови» В. В. Ермилову от 28 января 1935 г., последний все-таки предполагал продолжить публикацию: «То, что Вы не делаете „шума“ и „оргвыводов“ в отношении напечатания романа, лишний раз характеризует Вас с лучшей стороны» (Добычин-96. С. 175–176). Публикация тем не менее не состоялась.

В 1989 г. А. Л. Григорьев передал полный беловой автограф романа в рукописный отдел ИРЛИ (Р. 1, Оп. 6. № 378, 217 лл.). На рукописи поставлен 1936 г., однако роман был закончен в конце 1934 или в первые недели 1935 г. В рукописи заглавие «Начало романа» зачеркнуто, сверху написано: «Город Эн». Таким образом, это название возникло в самый последний момент, при сдаче рукописи в набор. См. также статью В. С. Бахтина: «К истории работы Л. Добычина над романом „Город Эн“» (Добычин-96. С. 161–171).

Текст — по исходному замыслу — является н а ч а л о м, частью романа. И это именно роман, а не повесть. О романном замысле свидетельствует и анонс «Половины романа» в «Красной нови». Другое дело, закончен ли он? Этот вопрос остается открытым.

Роман подписан к печати 20 октября 1935 г., вышел в конце этого года: дарственная надпись М. Слонимскому помечена 14 декабря.

Первое отдельное издание: Добычин Л. Город Эн. М.: Сов. писатель, 1935. Тираж 7200 экз. Обложка (гравюра на дереве) художника Э. П. Визина. Редактор К. Л. Зелинский.

«Город Эн» посвящен соседу Добычина по коммунальной квартире в Ленинграде. Дроздов был рабочим парнем, бывшим беспризорником. Добычин, очень одинокий человек, привязался к нему. См. также коммент. к рассказу «Дикие».

Рец.: Островский Ю. «Город Эн» // ЛГ. 1936. 20 янв., № 4; Степанов Н. [«Город Эн»] // Лит. современник. 1936. № 2; Чудновский Н. Неудавшийся барчук: о романе Л. Добычина «Город Эн» // Вечерняя Москва. 1936. 11 февр., № 34; Штейнман 3. Исторический импрессионизм // Лит. Ленинград. 1936. 20 февр., № 9; Адамович Г. // Последние новости (Париж). 1936. 23 апр.; Герзон С. Об эпигонстве // Октябрь. 1936. № 5 (о «Городе Эн» — С. 214–215); в том же майском номере напечатан и «Литературный дневник» О. Войтинской, в котором изничтожается журнал «Красная новь» и перечисляются его грехи: «клеветнический роман Орлова „Искатель славы“, сумбурный роман Большакова „Маршал 105 дня“...пошлая повесть

Жанны Гаузнер „Париж — веселый город“ <...> формалистический роман Добычина „Город N“...» — написание показывает, что автор даже не держал книгу в руках; Поволоцкая Е. Формалистское пустословие //Лит. обозрение. 1936. № 5.

Текст трех имеющихся рукописей романа сверен совместно с А. Ф. Белоусовым. Сверка с публикацией в «Красной нови» выполнена им же без нашего участия. Печатается по изданию 1935 г. со следующими исправлениями автора в экземпляре романа, подаренном Г. Г. Горбунову и хранящемся в личном архиве А. Ф. Белоусова:

С. 111. *лицо было похоже на картинку «Чичиков»* вместо *лицо было похоже на картинку «Чичикова».*

С. 116. *был «выходящий»* вместо *был «выходящей».*

С. 124. *мы отпросились* вместо *мы отправились.*

С. 135. *пыль вертелась в них* вместо *пыль вертелась на них.*

С. 140. *двуперстно* вместо *двухперстно.*

С. 143. *то мы победили бы* вместо *что мы победили бы.*

С. 150. *выступала с Бодревичем* вместо *выступила с Бодревичем.*

С. 155. *при спуске по веревочной лестнице* вместо *при спуске веревочной лестницы.*

Нами учтены три рукописи и два печатных текста:

Два практически идентичных автографа первых десяти главок:

1. «Начало романа. Рассказ» (РГАЛИ. Ф. 622; 28 машинописных страниц находятся среди непринятых материалов в архиве горьковского альманаха «Год XVI — XXII»).

2. Рукопись «Начало романа» (НРр), хранящаяся в ИРЛИ в архиве журнала «Литературный современник» (Ф. 443, № 52, 34 стр). Подзаголовок отсутствует.

3. Беловой автограф (БА) романа (ИРЛИ. Р. 1. Оп. 6, № 378).

4. Главки 1–13 (НРп), напечатанные в журнале «Красная новь» (1934. № 5. С. 98–113). Публикация в «Красной нови» выполнена, по-видимому, с рукописи, не очень тщательно. Искажены даже фамилии персонажей: не Щукины, как у Добычина, а Щуркины, не Грикюпель, а Грикюнель и т. п. Вместе с тем текст сохранил некоторые особенности белового экземпляра, которые исчезли под пером редактора отдельного издания.

5. Прижизненная публикация романа (М.: Сов. писатель, 1935). Приводим разночтения:

С. 112. *Учительница выстроила их / Их учительница выстроила их* (НРр, БА).

Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону / Потом она прищурилась, взглянула в нашу сторону (НРр и НРп, БА).

выйдя за воро́та и опять приня́вшись за «пажи» / выйдя за воро́та и приня́вшись за «пажи» (НРр, НРп — без ударений, БА).

Колеса грохотали / Колеса грохотали на ней (НРр и НРп, БА).

— Дайте мне / — Дайте нам (НРр и НРп, БА).

— Рубль десять / — Рубль двадцать (НРр и НРп, БА).

С. 113. *Послышалось пронзительное пение, и показались похороны / Пронзительное пение послышалось, и похороны показались* (НРр и НРп, БА).

сказала мне Цецилия / сказала, как всегда, Цецилия (НРр и НРп, БА).

С. 114. *Цецилия закрыла мне лицо ладонью / Цецилия закрыла мое лицо ладонью* (НРп).

С. 116. *Колокола затрезвонили. Все встрепенулись / Колокола затрезвонили* (НРп).

собираясь к Белугиным / отправляясь к Белугиным (НРп).

С. 117. *когда гости о́тбыли / когда они о́тбыли* (НРр и НРп — без ударения, БА).

Потом мы с маман побывали у них / Потом я с маман побывал у них (НРр).

С. 118. *мы впятером прогулялись по дамбе / впятером прогулялись по дамбе* (НРп).

С. 119. *Самая большая называлась «зал» / Самая большая комната называлась «зал»* (НРп).

прислали к нам Чаплинского / прислали Чаплинского (НРп).

Маман явился ночью господин / Маман явился господин (НРр и НРп, БА).

Забежала Александра Львовна Лей / Позвонясь, вбежала Александра Львовна Лей (НРр и НРп, БА).

Мы с Сержем / Я с Сержем (НРр).

С. 120. *Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка / Селифан хлестал их. Нас ждала Маниловка* (НРп).

С. 121. *сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег / сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже больные стали приносить мацу* (НРр и НРп, БА).

под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали / под мышками поблескивали обрезы псалтырей (НРп) / под мышками обрезы псалтырей поблескивали (НРр, БА).

С. 122. *играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я о́тдал / играя на гитаре, панорамщик Янкель при́был к нам во двор. Я о́тдал* (НРр и НРп — без ударений, БА).

Александра Львовна Лей участвовала / Александра Львовна Лей присутствовала (НРр и НРп, БА).

С. 123. *поздравляли нас / поздравляли* (НРп).

сказала нам маман / сказала мне маман (НРр и НРп).

С. 124. *Нам встретился отец Андрея / Отец Андрея встретился нам* (НРр и НРп, БА).

С. 125. *Она окончила гимназию / Она кончила свою гимназию* (НРр) / *Она окончила свою гимназию* (НРп, БА).

Из окон нам была видна река / Из окон была видна река (НРп).

отправился в местечко за баранками / отправлялся за баранками (НРр и НРп, БА).

Сенокос уже прошел / Сенокос прошел уже (НРр и НРп, БА).

С. 126. *Небо было блекло / Небо было блекло. Гром колес был слышен* (НРр и НРп, БА).

С. 127. *Вдруг заслышался какой-то незнакомый звук / Приближаясь, вдруг какой-то незнакомый звук заслышался* (НРр и НРп, БА).

С. 128. *над дверью висел медный крендель / висел медный крендель* (НРр и НРп).

Горшкова жилá при училище / Горшкова учила при училище (НРп).

С. 130. *были облачка и звезды / были облачкá и звезды. На душе приятно было* (НРр и НРп).

С. 131. *и пускала дым колечками / и пускала дым* (НРр).

и перекрестился незаметно / и перекрестился (НРр).

С. 132. *вошла Евгения / таинственная, в комнату вошла Евгения* (НРп, БА).

С. 134. *Андрей подмигнул мне / Андрей подмигнул* (НРп).

я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель» / я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Мы сели (НРп).

где он числится, хотя и состоит при Карманове / где он, состоя при Карманове, числится (НРп, БА).

С. 136. *Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо» / Мы ужасно смеялись* (НРп).

я видел огни на путях / видны были огоньки на путях (НРп, БА).

С. 137. *краснея, наконец, спросила она / — наконец спросила она* (НРп).

С. 138. *отправлялась на Дальний Восток / ехала на Дальний Восток* (БА).

Я смутился / Я смущен был (БА).

С. 142. *нас стали расспрашивать / нас стали расспрашивать, что происходит сейчас в городах* (БА).

С. 146. *Возили булыжник / Возили булыжник. У няньки Кондратьевых был родственник возчик. Она обещала им, что он провезет их когда-нибудь, когда будет ехать пустой. Каждый раз, когда я их встречал, я справлялся, прокатил ли он их, и доволен был, когда они мне отвечали, что нет еще. Мне утешительно было, что не мне одному не везет. После пасхи в квартале за киркой начали строить костел* (БА).

С. 148. *сев на ступеньку / сев на ступеньки* (БА).

лучше всего называть ее так: Натали́ / лучше всегда́ называть ее так: Натали́ (БА).

С. 152. *никогда бы себе / никак бы себе* (БА).

С. 153. *слишком уже увлечен / слишком уж увлечен* (БА).

С. 154. *— Может быть, — подумал я, — глядя на эти шатры / — Может, — думал я, — быть, глядя на эти шатры* (БА).

С. 158. *Вдоль берегов на реке нагорожены были плоты / Вдоль берега, друг рядом с другом, на реке нагорожены были плоты* (БА).

С. 161. *Из-за задержек я прибежал с опозданием / Из-за этих задержек я прибежал с опозданием* (БА).

С. 162. *Йозес — Ёзес* (БА).

С. 165. *один раз на катке, и Стефания мне ее представила / один раз на катке, и стояла. Стефания ее мне представила* (БА).

С. 168. *В школе устроен был акт / В школе произошли торжества* (БА).

С. 176. *Наш директор любил / Наш новый директор любил* (БА).

С. 179. *подбирая, что можно было бы сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему / соображая, что можно сказать по их поводу будет Ершову, когда у меня с ним все станет по-прежнему* (БА).

С. 182. *Однажды там рядом / Однажды с ним рядом* (БА).

С. 183. *Мы получали «свидетельства» / Мы получили «свидетельства»* (БА).

* * *

С. 109. *Престольный праздник богородицы скорбящих* — престольный (храмовый) праздник иконы Божьей матери „Всех скорбящих радость“, во имя которой была освящена домовая церковь Двинской тюрьмы. Отмечается 24 октября. Здесь и далее все даты даются по старому стилю.

Картинка «Чичиков» — иллюстрация к «Мертвым душам».

Проскомидия — первая часть христианской литургии, на которой приготовляются святые дары для таинства причащения.

С. 110. *Один святой не имел скорбей...* — пересказывается один из древних нравственно-назидательных текстов, хорошо известный по составленному еп. Игнатием (Брянчаниновым) сборнику «Отечник» («Избранные изречения св. иноков и повести из жизни их...»).

Боа из перьев — женский шарф.

«Священная история» — книги для детей и юношества, излагающие содержание и объясняющие смысл библейских сюжетов.

С. 111. *Присутствие, где принимают новобранцев* (официальное название — уездное по воинской повинности присутствие) — учреждение, ведавшее призывом на военную службу.

Неодетая — не приодевшаяся для приема гостей, посетителей и т. п.

Скрынка (*польск.*) — сундук.

Лев XIII — граф В. Д. Печчи (1810–1903), папа римский с 1878 г. Автор энциклики «Rerum novarum», осуждавшей социализм и призывавшей к сотрудничеству труда и капитала под покровительством католической церкви.

С. 112. *Езус, Марья* (*польск.*) — Иисус, Мария (восклицание, подобное русскому «Боже мой»).

«На практике» — здесь эвфемизм: принимает роды.

Картинка «Ницше» — портрет немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900), который герой мог видеть в популярном журнале «Нива».

Нет, а Лейкин <...>. Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? — Вспоминается один из эпизодов едва ли не самой популярной и выдержавшей десятки изданий книги известного писателя-юмориста Н. А. Лейкина (1841–1906) «Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов, Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых, в Париж и обратно» (1890).

С. 113. *Ермолка* — см. примеч. к с. 60.

Пелерина — короткая накидка на плечи.

Фáкторка — посредница, комиссионер.

Она была из униаток — т. е. принадлежала в прошлом к униатской (греко-католической) церкви, созданной в 1596 г. Униатская церковь подчинялась папе римскому, признавала католические догматы, но сохраняла православную обрядность.

Есть даже медаль <...> в честь уничтожения унии — медаль, вычеканенная в память воссоединения западнорусских униатов с православной церковью в 1839 г.

Уж не двести ли тысяч мы выиграли? — максимальный выигрыш в тиражах российских государственных займов.

С. 114. *Парад* — изображается один из церковных парадов — парад, проводившийся после богослужения в первый день нового года.

В пальто с золочеными пуговицами — форменная одежда учеников реального училища.

Дрейфус Альфред (1859–1935) — французский офицер еврейского происхождения, по ложному доносу обвиненный в измене и в 1894 г. осужденный военным судом к пожизненной каторге. Дело Дрейфуса приобрело антисемитскую, националистическую окраску и вызвало энергичные протесты мировой общественности. Оправдан лишь в 1906 г.

«Выходящий» — игрок, раздавший карты и не принимающий участия в данной игре.



Л. И. Добычин. Фотография 1920-х гг.



Могила отца писателя на Двинском (ныне Даугавпилсском) православном кладбище. Декабрь 1998 г. Фото А. Ю. Арьева.

Городской собор в Двинске.
(Из коллекции Е. В. Беликова)

«Тюремный замок» (Двинская тюрьма, построенная в середине XIX в.).
Декабрь 1998 г. Фото А. Ю. Арьева.

Борисо-Глебский собор. Двинск (ныне Даугавпилс).
Освящен 15 ноября 1906 г. Декабрь 1998 г. Фото А. Ю. Арьева.



«Каменный дом Канатчикова» (напротив Борисо-Глебского собора), в котором А. А. Добычина снимала квартиру во второй половине 1900-х — начале 1910-х гг. (третий этаж надстроен позже). Декабрь 1998 г. Фото А. Ю. Арьева.



Студенты и посторонние слушатели обязаны предъявлять настоящую книжку по первому требованію лицамъ, надзирающимъ за порядкомъ въ помѣщеніяхъ СПБ. Политехническаго Института, а также экзаменаторамъ.

Выдача студентамъ чертежныхъ принадлежностей, книгъ и другихъ какихъ-либо предметовъ изъ учебно-вспомогательныхъ учрежденій, а также какихъ бы то ни было удостовѣреній изъ канцеляріи Института производится не иначе какъ по предъявленіи сего билета.

Подпись владѣльца билета Добычинъ

Настоящая книжка дѣйствительна лишь въ томъ полугодіи, на которое она продолжена.

(См. стр. 29).

С.-Петербургскій Политехническій Институтъ Императора Петра Великаго.

Лекціонная книжка

Студента

Экономическаго отдѣленія

Г-на Добычина Леонида

№ 73.

Принятъ въ Институтъ.

1911 г.

Деканъ

Студенческий билет Л. И. Добычина. 1911 г. (ЦГИА СПб).



Двинское реальное училище, в котором Л. И. Добычин учился в 1903–1911 гг. Фото начала XX в. (Из коллекции А. А. Ковалева-Кривоносова, Даугавпилс).

шая одною травой, и на ней — расписная часовня.

— Здравствуйте, Анна Ивановна... Извините, я без корсета

Фрау Анна уже стояла, в соломенной шляпке с цветами и белой кофте с синими букетиками, и, прижимая подбородок к воротнику, украшенному костяной ромашкой, приятно улыбалась. Она протягивала Анне Ивановне одну руку, а в другой что-то держала за спиной.

— Посидите, дорогая фрау Анна. Какие там корсеты — я в капоте... Откуда?

— Ходила к леснику за яйками. У меня одна кура хочет сидеть: взяла у лесничихи яйки — у ней есть хорошенькие курочки, — сказала фрау Анна, усаживаясь и ставя рядом с собой маленькую корзиночку. — Достала двенадцать штук: ну, что вы скажете?

Страница из рукописного сборника «Вечера и старухи». 1924 г. (РГАЛИ).



Л. И. Добычин. Автопортрет. 1925 г.
Из кн.: Чукоккала. М., 1979. С. 333.

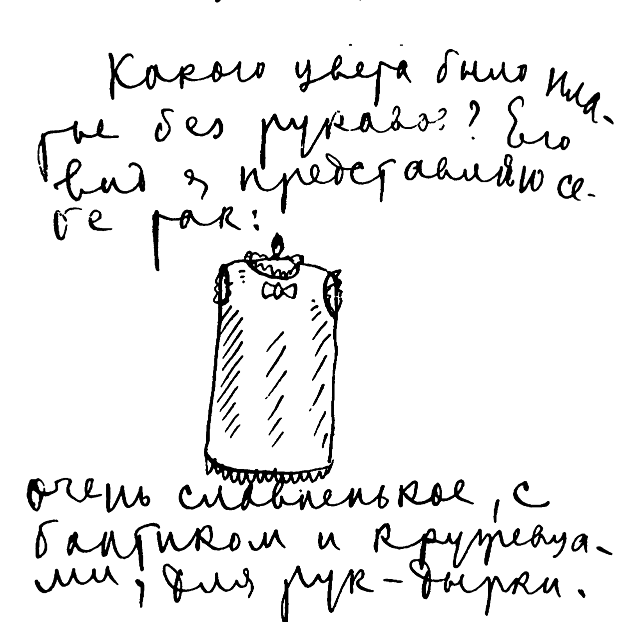


Рисунок Л. И. Добычина из письма И. И. Слонимской
от конца января 1926 г. (№ 71, архив В. С. Бахтина).



Рисунок Л. И. Добычина «Старая дева перед зеркалом». 1925 г.
Из кн.: Чукоккала. М., 1979. С. 334.

Михаил Леонидович

Когда будет напечатано про Козлову, не откажите прислать мне номер журнала — здесь он не продается.

С Ерыгиным, повидимому, ничего не выйдет?

Сегодня я получил от „Современника" деньги за рассказ. Итак, это стоит двадцать один рубль.

Ваш слуга Л. Добычин

23 февраля 1925 г

Письмо Л. И. Добычина М. Л. Слонимскому от 23 февраля 1925 г.
(Архив В. С. Бахтина).



Дмитрий Добычин, брат писателя.
(Фото из архива Э. С. Голубевой)



Николай Добычин, младший брат писателя. 1927 г.
Фото из следственного дела. (Центральный архив ФСБ РФ)

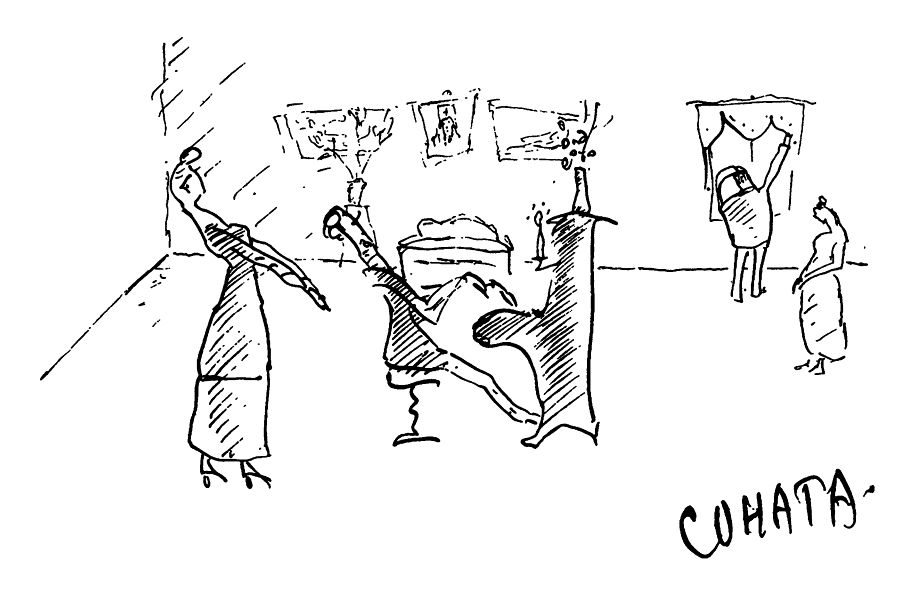


Рисунок Л. И. Добычина «Соната». Вторая половина 1920-х гг. (Архив В. С. Бахтина).

Рисунок Л. И. Добычина «Musique». Вторая половина 1920-х гг. (Архив В. С. Бахтина).



Рисунки Л. И. Добычина «У алтаря» и «У окна».
Вторая половина 1920-х гг. (Архив В. С. Бахтина).



Дом купца М. Г. Добычина, где с 27 сентября 1927 г. жила семья писателя.
Брянск, Октябрьская ул., 47. Апрель 1978 г. Фото Н. Зайцева.
Из кн.: Голубева Э. Писатель Леонид Добычин и Брянск. Брянск, 2005.

2 экземпл.

Город Эн

~~Начало романа~~ — 1 кончено!

Александру Павловичу Дроздову

1

Дождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались „паж“. Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. — Не оглядывайся, — говорила мне маман.

Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник Богородицы Скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней

Автограф первой страницы «Города Эн». 1935 (?) г. (ИРЛИ).

А. Дроздов и Л. Добычин. 1.

<u>Дикие.</u>

Еще недавно люди были очень дикие. Я расскажу немного про своих родных! Когда эта эта история, которую я здесь описываю, началась, мне было лет четырнадцать. Всё это было уже после революции, но года, когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией, которая тогда еще имела малое распространение.

Отец мой служил сторожем на станции. Он подметал ее и выполнял другие подобные работы. Кроме того он пахал = у нас в поселке все тогда пахали, чем бы кто ни занимался кроме этого.

Он был мужчина дюжий, с черной бородой, пузатый — вроде кулаков, которые бывают на картинках. Лоб у него был морщинистый, взгляд грозный, голос

Автограф первой страницы рассказа «Дикие» 1935 (?) г.
(Архив В. С. Бахтина).





Дом на Мойке (№ 62),
где в квартире 8 прошли
последние месяцы жизни писателя.
Парадный вход был заколочен,
и Л. И. Добычин проходил к себе
на второй этаж через узенькую
дверь во дворе. Март 1999 г.
Фото В. С. Бахтина.



Обложка сборника докладов, прочитанных на первых добычинских чтениях в Даугавпилсе 10–11 декабря 1990 г. (Даугавпилс, 1991).

С. 115. *Акафисты* — церковные песнопения, исполняемые в храме всеми присутствующими стоя.

Сарпинка — хлопчатобумажная ткань, полосатая или клетчатая, которая приготовлялась из тонкой, заранее крашенной пряжи.

С. 116. *На пуговицах у него были якори и топоры* — на серебряных гладких пуговицах шинели были вытиснены скрещенные топор и якорь («лапами» вверх), которые являлись эмблемой путейского ведомства.

«Шильонский за́мок» — замок на берегу Женевского озера, в Швейцарии, широко известный благодаря поэме Д. Г. Байрона „Шильонский узник" (1816, пер. В. А. Жуковского 1822).

С. 117. *Предполагалось дать спектакль* — репетируется драма итальянца Пиетро Косса «Пушкин» (1870), в переводе на русский язык опубликованная в 1900 г.

Митава (ныне — Елгава) — административный центр Курляндской губернии.

Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами — по-видимому, знаменитая картина итальянского художника Гвидо Рени «Христос в терновом венце» (1640?), множество копий которой украшали не только католические, но и православные церкви.

С. 118. *Торговая баня* — платная баня общего пользования.

Реальное училище — среднее общеобразовательное учебное заведение, в программе которого по сравнению с гимназией преобладали предметы естественно-математического цикла.

С. 120. *Панорамщик* — см. примеч. к с. 69.

«Изгнание из рая» — изгнание Адама и Евы из рая было популярным сюжетом лубочных картинок второй половины XIX в.

«*Семейство Александра III»* — известны лубочные картинки «Его императорское Величество Государь Император Александр III с Августейшим семейством», выпущенные в 1881–1882 гг. Александр III (1845–1894) — российский император (1881–1894), второй сын имп. Александра II.

«Любимый ученик» — апостол Иоанн Богослов.

С. 121. *Ла́гери* — место размещения войск вне населенных пунктов, предназначенное и специально оборудованное для обучения войск в полевых условиях.

«Так говорил <...> Заратустра» — широко известная в начале XX века книга Ф. Ницше (1883–1884, пер. 1900).

Эдуард VII (1841–1910) — король Великобритании и Ирландии с 22. I. 1901 г., коронован 26. VI. 1902. Сын королевы Виктории (ум. 22. I. 1901).

С. 122. *«Денщик подвел»* — водевиль в одном действии С. И. Турбина (1821–1884), чьи „Сцены из военно-походной жизни" (1866) долго пользовались большой популярностью.

Уже оделась дамой — об этом свидетельствует взрослый костюм героини: и длинную юбку — «до земли», и корсет (специальное устройство, служившее для стягивания фигуры и придания ей очертания, требуемого модой), и шляпу, украшенную перьями, и блузку с модными балонообразными рукавами девушка могла одеть лишь после окончания гимназии.

С. 123. *В деревне на курляндском берегу* — на левом берегу Западной Двины, который принадлежал к Курляндской губернии.

В шляпе «амазонка» — черная шляпа-цилиндр, заимствованная модой из женского костюма для верховой езды.

С брелоками — с небольшими украшениями в виде маленькой подвески из металла или полудрагоценных камней, которые прикреплялись к браслету.

Экипаж четвериком — т. е. цугом: лошади запряжены попарно, одна пара за другой (такая упряжка была широко распространена в Западной Европе).

На кучере была двухъярусная пелерина — два воротника-накидки, пришитые у ворота под верхним маленьким воротничком. Ливрейные шинели с одной или двумя пелеринами, обшитыми по борту и низу галуном, носили кучера высокопоставленных особ.

Ротонда — длинная женская накидка без рукавов с прорезями для рук.

С. 124. *Винт* — одна из самых популярных карточных игр XIX — начала XX вв.

«*Говорящая машина*» — фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном в 1877 г.

Няньки с деревенскими прическами — это могли быть только девичьи прически, так как замужним женщинам полагалось прятать волосы под головным убором. Русские девушки заплетали волосы в одну косу, спадавшую вдоль спины; белорусские же девушки обычно заплетали две косы и укладывали их венцом вокруг головы.

Орловский кондуктóр — работник Риго-Орловской железной дороги: проводник в пассажирском поезде либо служащий, сопровождавший товарный поезд и наблюдавший за безопасностью его следования и сохранностью грузов.

Прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней — облачение архиерея происходит не в ризнице, а на специальном архиерейском месте в соборе. Это является частью церковной службы. Архиерей благословляет и целует одежду, в которую его облачают: стихарь, епитрахиль, пояс, поручи, саккос, палицу, омофор, панагию, крест и митру. Вслед за этим начинается литургия.

Пахло йодоформом — препаратом йода с резким запахом, который используется в медицине как обеззараживающее средство.

«Панорама Ревеля» — речь, скорее всего, идет о каком-нибудь из альбомов литографий, открыток или фотографий с видами Ревеля (ныне — Таллин).

С. 125. *Фонари у ко́зел* — с наступлением сумерек извозчики обязаны были зажигать укрепленные по бокам экипажей фонари, в которых горели свечи или ацетилен, получавшийся из карбида кальция.

Стала снимать с себя <...> волосы — имеется в виду накладка — изделие из чужих волос, добавляемое к прическе.

Висел медный крендель — знак булочной.

С. 126. *«Мадонна <...> святого Сикста»* — картина Рафаэля «Сикстинская мадонна» (1515–1519), изображающая Богоматерь с младенцем, св. Варварой и папой Сикстом II.

Приготовительный класс — класс для подготовки к обучению в среднем учебном заведении. Для поступления в приготовительный класс нужно было знать первоначальные молитвы, уметь читать и писать по-русски, считать, а также производить сложение и вычитание в пределах до тысячи.

Па́годы с многоэтажными крышами — буддийские храмы.

Цвет наваринского пламени с дымом — цвет нового фрака Чичикова (красновато-коричневый), о котором говорится в заключительной главе второго тома «Мертвых душ».

Картонаж, изображающий Адмиралтейство — небольшая картонная модель здания Главного Адмиралтейства, где располагалось Морское министерство России, построенное в формах ампира в 1806–1823 гг.

С. 127. *«Русские ведомости»* — общественно-политическая газета, издававшаяся в Москве с 1863 по 1918 г. Орган либерально-демократической оппозиции самодержавному строю, популярный среди передовой интеллигенции.

«Биржевые» — «Биржевые ведомости», политическая и коммерческая газета, издававшаяся в Петербурге с 1880 по 1917 г. Орган умеренно-либерального направления, рассчитанный на массового читателя. Особой популярностью пользовалось второе, удешевленное издание для провинции.

Скрипел грифелем <...> писал на грифельной доске — использование грифеля (палочки из аспидного сланца) и грифельной доски (тонкой плитки аспидного сланца), предназначавшейся для писания на ней грифелем, в детском обиходе продолжалось до Первой мировой войны. Это было гораздо выгоднее, чем расходовать дорогую бумагу.

С. 128. *Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого». — Ангелы совсем другое...* — именины, празднуются в день памяти святого, в честь которого назван человек. Однако представление об этом святом, который помогает человеку и покро-

вительствует ему, зачастую сливается с представлением об ангеле-хранителе, данном человеку при крещении, и нередко святого называют ангелом-хранителем, а день его — днем ангела.

Приходящая француженка — учительница французского языка, которая сама является к ученикам, чтобы давать им частные уроки. К этому типу учителей относится и «*приходящая немка*», которая упоминается на с. 174.

С. 129. *Мороженщики в фартуках* — белый фартук с нагрудником был обязателен для продавцов мороженого.

Золоченый окорок — эмблема колбасной лавки.

В коричневом капоте <...> и желтым рюшем у воротника — капот — см. примеч. к с. 126. *Рюш* — сборчатая полоска легкой ткани или кружева, которой обшивались дамские платья, блузки, белье и т. д. Вышла из моды в начале 1900-х гг.

Она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом» — вернее, на старую барыню, которая изображена на картине Василия Максимова «Всё в прошлом» (1889).

С. 130. *Митéнки* — женские перчатки без пальцев.

Лорнетка — складные очки в оправе с ручкой.

На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и в кольчуге — описывается герб Витебской губернии.

...экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер — графский род Плятеров в начале XV в. переселяется из Вестфалии в Прибалтику, впоследствии ополячивается, разделяется на несколько ветвей, которые до Первой мировой войны владели значительными поместьями в Северо-Западном крае.

«Живая фотография» — одно из ранних названий кинематографа.

«Юдифь и Олоферн» — фильм французского режиссера Луи Фейада (1910), инсценировавшего ветхозаветный апокриф о благочестивой вдове Юдифи, которая спасла свой город от нашествия ассирийцев, убив и обезглавив вражеского полководца Олоферна.

С. 131. *...цифры по-арабски* — общераспространенные знаки чисел, заимствованные в средние века от арабов. Они могли представлять трудность для девочки из католической семьи, знакомой только с римскими цифрами.

...я увидел похороны — факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами — хоронят православного, о чем свидетельствуют белые балахоны факельщиков, и не бедного человека, у которого вообще бы не было факельщиков. В то же время корона на куполе похоронных дрог являлась его постоянным украшением и не указывает на знатность покойника.

...чугунный орел <...> сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр — в треугольном поле фронтона здания училища

помещается распластанный орел николаевского времени, который — вместо скипетра и державы — держал в лапах перуны (молнии), которые можно было принять за скипетр, и ленты с вырезом, напоминавшие змею.

«*Крещение Киева*» — одна из традиционных исторических тем в академической живописи, обращению к которой способствовали юбилейные торжества, устроенные в 1888 г. по случаю 900-летия крещения Руси.

«*Чудо при крушении в Бóрках*» — изображается крушение царского поезда 17 октября 1888 г. близ станции Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Александр III и его семья остались живыми и невредимыми. Этому событию был посвящен целый ряд картин русских художников.

С. 132. *Статский советник* — гражданский чин 5-го класса, обладатель которого мог занимать достаточно высокие должности (вплоть до вице-губернатора и ректора университета).

В трактире, над дверью которого была нарисована рыба — рисунок обозначал, что спиртные напитки не только распивались в трактире, но и отпускались на вынос.

Шкатулочка с музыкой — небольшой механический заводной музыкальный инструмент.

Граммофон — механический аппарат для воспроизведения звука, записанного на граммофонную пластинку. Изобретен в 1888 г. работавшим в США немецким инженером Э. Берлинером.

Она <...> думала, будто Ваша фамилия — Ять — телеграфист Иван Иванович Ять является одним из героев юмористического рассказа Чехова «Свадьба с генералом» (1884).

С. 133. *«Сиу и компания, Москва»* — Московский торговый дом «Сиу С. и К°» был широко известен в начале XX в. своими кондитерскими изделиями (в т. ч. и французским печеньем).

С. 134. *Либава* — ныне Лиепая.

Вуаль с кружочками — украшение для дамской шляпы или прически из полупрозрачной ткани, кружев, часто в виде сетки с орнаментальными мотивами — мушками.

Книга про Мáугли — скорее всего речь идет о следующем издании известной сказки Редьярда Киплинга: Киплинг Р. Брат волков (Из книги дебрей) / Пер. с англ. В. Кошевич. М., 1901.

Как евреи толпятся там и отрясают грехи — описывается еврейский очистительный обряд «ташлих» (вытрясания грехов): перед вечерней молитвой верующие евреи направляются к реке и с молитвами отряхивали одежды, как бы сбрасывая с себя все нечистое, все свои грехи. Обряд «ташлих» совершается в первый день Нового года (Рош-Гашана).

Каждой весной пропадают христианские мальчики — антисемитское обвинение евреев, якобы использующих в ритуальных целях кровь христианских младенцев.

«*Свиное ухо*» — евреев и мусульман, не употребляющих в пищу мясо свиней, дразнили, складывая из полы одежды «свиное ухо».

Шинель офицерского цвета — офицерскую шинель светло-серого сукна носили классные чины полиции (частный или становой пристав, помощник пристава, околоточный надзиратель), тогда как нижние чины — шинели солдатского образца из темно-серого сукна.

Газета «Двина» — «Двиной» именуется «Двинский листок» — самая старая и долгое время единственная газета, выходившая в Двинске в 1900–1915 гг. «Экстренным выпуском» газеты именуется особое прибавление к ней, впервые вышедшее 28 января 1904 г. и полностью посвященное нападению Японии.

С. 135. *Япония напала на нас* — это произошло в ночь на 27 января 1904 г.

«*патриотические открытые письма*» — почтовые карточки (открытки) с художественным изображением патриотического характера.

Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии броненосцев и крейсеров — они помещались в выходившем с 1891 г. еженедельном иллюстрированном приложении к издававшейся с 1868 по 1917 г. ежедневной политической и литературной газете «Новое время», выражавшей националистически-консервативные взгляды высших слоев русского общества.

Корпия — нащипанные из старой полотняной (хлопковой или льняной) ткани нитки, употреблявшиеся в качестве перевязочного материала.

Черный передник — имеется в виду одно из богослужебных облачений священника — епитрахиль (надеваемая на шею узкая полоска из парчи или бархата, украшенного позументом и крестами). При исповеди священник возлагает епитрахиль на голову исповедующегося, когда произносит отпущение ему грехов.

Волшебный фонарь — первоначальное название проекционного фонаря (одного из видов проектора).

...с картинкой, называвшейся «Нóли ме тáнгере» — изображается узнавание Марией Магдалиной воскресшего Христа, который останавливает ее порыв к нему словами «Не прикасайся ко мне» — в латинском переводе «Noli me tangere» (Иоанн, 20:17). Один из устойчивых мотивов иконографии Марии Магдалины: от раннехристианского искусства — до картины Александра Иванова («Магдалина у ног Христа», 1835).

С. 136. *...в форме «сестры»...* — форма сестры милосердия. Летом сестра милосердия носила холстинное платье коричневого цвета, белый передник с нашитым на нагруднике красным крестом и белую головную косынку.

Господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. — Христианский народ, — говорили они, — а помогает японцам — Англия считала Россию своим главным врагом, поэтому в войне между Россией и Японией, сохраняя формальный нейтралитет, всячески поддерживала Японию, предоставляя ей займы, продавая оружие и другие военные материалы.

Дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом — о корсете см. примеч. к с. 123. Стеклярус — род крупного бисера: короткие трубочки из цветного стекла, употреблявшиеся для украшения тканей.

Фестончики из парусины — волнистые или зубчатые узоры по верхнему краю веранды.

Крокет — игра, в которой шар ударами деревянного молотка проводится через расположенные в определенном порядке проволочные воротца.

С. 137. *Плéве убит* — министр внутренних дел, шеф жандармского корпуса В. К. Плеве был убит 15 июля 1904 г. эсером-террористом Егором Сазоновым.

В училище завтра молебен — молебен в училищной церкви устраивался по случаю начинающихся учебных занятий.

«*Мысли мудрых людей*» — «Мысли мудрых людей на каждый день. Собраны гр. Л. Н. Толстым». Выпущены издательством «Посредник» в виде книги и в виде отрывного календаря в августе 1903 г.

«Товарищ, календарь для учащихся» — издавался Отто Кирхнером в Петербурге с 1884 по 1917 г.

Белые переднички — праздничная форма гимназисток, которые в обычные дни носили черные передники.

С. 138. *В «ленте»* — речь идет о полоске шелковой ткани определенного цвета и размера, предназначенной для ношения наград при праздничной форме, которая была обязательной для присутствующих на богослужении в особые церковные и государственные праздники.

Он нам показывал, как надо креститься двуперстно — т. е. так, как крестятся старообрядцы, которые не признают троеперстия, введенного патриархом Никоном в середине XVII в.

Я рассказал кое-что из «Истории»... — едва ли не все элементарные курсы русской истории для средней школы пересказывали известное место из «Стратегикона» византийца Маврикия, посвященное искусству славян скрываться под водой.

С. 139. *Гаолян* — злаковое растение рода сорго, возделываемое на Дальнем Востоке.

Фанзá — китайское жилище из глины или камня на каркасе из деревянных столбов.

...клóбук, с которого сзади что-то свисало... — монашеский головной убор: высокий цилиндр без полей с покрывалом, край которого спадает тремя концами на спину.

...какого-то князя убили... — речь идет об убийстве эсером-террористом Иваном Каляевым 4 февраля 1905 г. Московского генерал-губернатора великого князя Сергия Александровича.

С. 140. «*Гоголь в Васильевке*» — картина Василия Волкова «Н. В. Гоголь в Васильевке» (1892). Васильевка — имение отца Гоголя, Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, где Гоголь прожил первые девять лет жизни и куда он неоднократно приезжал впоследствии. Его приезду в Васильевку летом 1832 г. и посвящена картина В. Волкова.

«*Арабские сказки для взрослых*» — один из т. н. «полных переводов» арабских сказок «Тысяча и одной ночи», где более или менее сохранялся эротический элемент, в отличие от их адаптированных изданий для детей.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому... — описывается любимый праздник латышей Лиго, восходящий к языческим временам.

С. 141. *Уже выписаны для охраны имения были солдатики* — с января 1905 г. в Двинском и других западных уездах Витебской губернии начались аграрные беспорядки, которые к осени переросли в открытую борьбу крестьян с помещиками.

...и пели про Стесселя — воспроизводится отрывок одной из солдатских песен периода русско-японской войны, в котором фигурирует генерал-лейтенант А. М. Стессель (1848–1915), сдавший Порт-Артур японцам.

Заключение мира! — мир с Японией был заключен 23 августа 1905 г.

Витте нарочно подстроил все это... — суждения инженерши Кармановой отражают распространенные среди российских обывателей толки о мотивах, которыми руководствовался председатель Совета Министров С. Ю. Витте (1849–1915), заключая Портсмутский мир с Японией.

...щеголял уже в форме — все учащиеся средних учебных заведений должны были носить установленную форму одежды. Она была обязательна не только в училище, но и вне его (кроме дачи и заграницы).

Уроки «закона»... — уроки Закона Божия.

С. 142. *...именины наследника* — тезоименитство наследника престола цесаревича Алексея Николаевича отмечалось 5 октября.

«Преблагий» — «Преблагий Господи!..», молитва перед учением.

«*Черносотенец*» — член крайне правых организаций в России в 1905–1917 гг., выступавших под лозунгами монархизма, шовинизма и антисемитизма, боровшихся с «крамолой» и устраивавших еврейские погромы.

«Апельсин» — так называли самодельные бомбы террористов.

«Шпик» — агент Охранного отделения.

Она была «правая»... — придерживалась националистических, монархических и контрреволюционных взглядов.

С. 143. *«Декокт спасения»* — отвар из лечебных трав.

Унция — единица вышедшего из употребления аптекарского веса (29,86 г).

«*Красный смех»* — знаменитый рассказ Л. Н. Андреева (1904), в яркой, экспрессионистической форме которого выразились «безумие и ужас» войны.

Крейцбург — ныне станция Крустпилс, с 1962 г. является частью города Екабпилса.

С. 144. *Моленная* — молитвенный дом старообрядцев-беспоповцев.

...всем исповеданиям дали свободу... — свобода совести была провозглашена Манифестом 17 октября 1905 г.

Курзал — помещение для концертов, собраний и т. п. на курорте.

...портрет Петрункевича — Петрункевич Иван Ильич (1843–1928), земский и общественный деятель, участник либерально-оппозиционного движения, один из лидеров конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы. Умер в эмиграции.

...речь Муромцева — Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, профессор Московского университета, член ЦК конституционно-демократической партии, председатель I Государственной Думы. Один из выдающихся русских лекторов и ораторов начала XX в.

С. 145. *«Кара́тельная»* — «карательная экспедиция», военный отряд для подавления мятежа и беспорядков в местностях, находившихся на военном положении (6 августа 1905 г. на военном положении была объявлена Курляндская губерния, 22 ноября 1905 г. — Лифляндская губерния, 12 декабря 1905 г. — западные уезды Витебской губернии).

...где закопаны висельники — висельников, как и прочих самоубийц, избегали хоронить на общественных кладбищах, закапывая их в оврагах, на пустырях и т. п.

Учебник «закона» — учебник Закона Божия.

«*Фелонь*» — то же, что риза, литургическое облачение православного священнослужителя: длинная широкая одежда без рукавов с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук.

С. 146. *Электрический театр* — кинотеатр.

С. 147. *Грива Земгальская* — местечко Иллукстского уезда Курляндской губернии, расположенное на левом берегу Западной Двины напротив Двинска.

...несколько дней «фуговáл» — сбегал с уроков, не ходил на уроки (*лат.* fuga — бегство, побег, изгнание).

С. 148. *...ты не видел борцов?* — имеются в виду чемпионаты по «французской» борьбе, которые в начале XX в. устраивались в столичных и провинциальных цирках и привлекали массу зрителей.

«студенческий бал» — благотворительный концерт-бал, который устраивался на рождественских каникулах для сбора пожертвований в пользу малообеспеченных студентов.

...в «лотерее аллегри» — лотерея, в которой выигрыш выплачивался немедленно, а на пустом, не выигравшем билете писалось «аллегри» (*ит.)* — «будьте веселы».

...в мундире со шпагой... — студенческая парадная форма.

...«распорядительском банте» — большой бант из белых шелковых лент, который носил дирижер для танцев, выбиравшийся из наиболее расторопных студентов.

...с *«почты амура»* — бальное развлечение: участники обмениваются записками свободного и смелого содержания, поскольку они не подписываются.

С. 149. *...под оливковой сеткой* — служила для защиты седоков от комьев снега и грязи, летевших из-под лошадиных копыт.

Крайний правый — черносотенец: монархист, антисемит и противник конституционного строя.

...по закладной — документ, оформляемый при получении кредита под залог какого-либо имущества.

Собор — Владимирский собор на Центральном холме Севастополя, построенный в 1888 г. В подвальном помещении собора располагается открытый для посещений склеп — усыпальница выдающихся российских флотоводцев, адмиралов В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова и их учителя М. П. Лазарева.

Панорама — батальная панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя», открытая в 1905 г. в связи с пятидесятилетием Севастопольской обороны 1854–1855 гг. в специально построенном для нее круглом здании.

Мечеть — мечеть Хан-Джами, построенная в 1552 г. знаменитым турецким архитектором Синаном по образцу храма св. Софии (Айя София) в Стамбуле (Константинополе).

Церковь — Свято-Николаевский собор, построенный в 1898 г. в византийском стиле.

С. 150. *Матинэ* (*фр.)* — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани.

«*Чадра*» — легкое покрывало женщин-мусульманок, закрывающее голову и лицо (кроме глаз) и спускающееся по плечам вниз.

«*Газ*» — легкая полупрозрачная ткань из шелка или тонко скрученного хлопка. *Расшитый блёстками* газ — это, по-видимому, газ-кристалл, для производства которого использовались разноцветные нити: такая ткань отличалась радужным блеском, переливчатостью драгоценного камня.

«*Кво вадис?*» — «Quo vadis» (*лат.*), роман польского писателя Генрика Сенкевича (1894–1896) о борьбе первых христиан с нероновским деспотизмом. Удостоен Нобелевской премии (1905). В русском переводе «Камо грядеши?».

С. 151. *«Жизнь Иисуса»* — знаменитый первый том «Истории происхождения христианства» (1863) французского историка и философа Ж. Э. Ренана, рассматривавшего Иисуса Христа как идеализированного человека.

...получали «комиссию» — вознаграждение за рекламу крема.

Караимская дама — из караимов, небольшого народа, по своей религии принадлежавшего к одной из древнеиудейских сект.

Извозчики были одеты по-зимнему. — вместо низкого, как бы приплюснутого, «кучерского цилиндра» с приподнятыми полями, извозчики зимой носили круглую меховую шапочку, надевали рукавицы и обувались в теплые валенки.

«*Графская пристань*» — построенная в 1846 г. в античном стиле, одна из главных достопримечательностей Севастополя.

С. 152. *...дочерью Федькой* — здесь: просторечная форма женского имени Феодотия, Федотья.

с папкой «мюзик» — черная папка для нот с толстыми шнурами и с тисненной надписью «Musique» (*фр.* «Музыка»).

С. 153. *Дежа* — квашня: кадка для заквашивания и замешивания теста.

...изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди — икона «Тайная вечеря».

С. 154. *Крупичатый* (правильно — крупитчатый) — упитанный.

...интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон» — книжки, описывавшие подвиги сыщика Ната Пинкертона, самого популярного из героев «сыщицкой литературы», которая с 1907 г. стремительно распространилась среди русской учащейся молодежи.

С. 155. *Как демон из книги «Лермонтов»...* — имеется в виду главный герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841).

«*Соната апассионата*» — известная фортепианная соната Л. Бетховена (1806). Апассионата (*ит.* apassionata) — страстная.

...бормотал ему что-то про «воображение и память» — исповедующийся ученик кается в онанизме, который, как тогда считалось, вызывается воображением и способствует ослаблению памяти.

С. 156. *...день «божьего тяла»* — день католического праздника Тела Христова (Corpus Domini), во время которого освящается употребляемая при причастии католиками облатка. Отмечается в девятый четверг после Пасхи.

С. 157. *«Ожидания» Диккенса* — роман Ч. Диккенса, «Большие ожидания» или «Большие надежды» («The Great Expectationes», 1861).

Пфеферкухен (нем.) — перцовое печенье.

Православное братство — религиозно-национальное объединение, служившее для защиты и укрепления православия в борьбе с иноверцами и раскольниками.

С. 158. *Вдовий лист* — документ, удостоверявший право вдовы на получение либо половины пенсии, причитавшейся ее покойному мужу, либо единовременного пособия, если он умер, не выслужив пенсии.

Часовенка в память «усекновения главы» — т. е. в память обезглавливания Иоанна Крестителя (отмечается 29 августа).

Мы увидели Ирода... — изображается евангельский сюжет обезглавливания Иоанна Крестителя (Матф. 14:3-11).

«мадам» — здесь: учительница французского языка.

С. 159. *автомобильная шляпа* — специальная шляпа для поездки в автомобиле, поверх которой надевался шарф или вуаль, а также неизменные очки.

...эти малые — суриршин и бóниншин — ироническое обыгрывание фамилий персонажей: «Оба мáльца, Сурир и фон-Бонин...» (см. с. 167).

...учиться в коммерческом — коммерческое училище (преимущественно частное), среднее учебное заведение, готовившее для торгово-промышленной деятельности и для поступления в высшие коммерческие и технические учебные заведения.

С. 160. *Йозес (рояли)...* — К. А. Йозес (1843–1912), владелец магазина музыкальных инструментов.

Закс (спички)... — Ш. Я. Закс (1842–1902), владелец спичечной фабрики.

Грилихес (кожа)... — Г. Я. Грилихес (1840?–1904), владелец кожевенного завода.

Двое и птица... — икона Св. Троицы (Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой в виде голубя).

С. 161. *Дерпт* — ныне Тарту.

...разговоры Подростка с Версиловым — из романа Достоевского «Подросток» (1875).

«Катехизис» — изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. Написан митр. Филаретом (Дроздовым) в 1823 г.,

изменен и дополнен в 1827 г. Его окончательная редакция служила руководством по Закону Божию во всех учебных заведениях России.

«*Балакирев*» — имеется в виду какое-то из многочисленных изданий анекдотов шута Балакирева, первое из которых относится к 1830-м гг. Иван Балакирев (1699–1763) — придворный шут при императрице Анне Иоанновне.

«*По Волге*» — народная песня «Вниз по матушке, по Волге».

Суворов и Скобелев — русские полководцы А. В. Суворов (1729/1730–1800) и М. Д. Скобелев (1843–1882).

С. 162. *...встав на подмостках во фронт* — встав прямо, сдвинув пятки ног и вытянув руки по швам.

С. 163. «*Греческий*» *нос* — прямой нос, линия которого параллельна линии лба либо продолжает ее.

...отплясывая «хиавату» — модный танец 1900-х — начала 1910-х гг., стилизованный под индейскую пляску. Название восходит к имени одного из индейских вождей XV в., прославленного «Песнью о Гайавате» Генри Лонгфелло (1855); пер. Ив. Бунина (1896).

...любуется <...> кометой — очередное появление кометы Галлея в 1910 г.

С. 164. *Электрическая конка* — трамвай.

«*Сатирикон*» — еженедельный сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1908–1914 гг. и пользовавшийся большой популярностью.

Аматёрша — любительница (*фр.*).

«*Юн ви*» — «Une vie» (*фр.),* роман Ги де Мопассана «Жизнь» (1883).

С. 165. *Вот, наконец-то, и в Турции нет уже абсолютизма...* — в июле 1908 г. в Турции произошла революция, в результате которой была установлена конституционная монархия.

...из жизни одного лихача — городской извозчик высшей квалификации: имел хороших, резвых лошадей и щегольской экипаж. Жизнь лихачей порождала немало рассказов об их проделках и криминальных связях.

С. 166. *Прошло <...> сто лет от рождения Гоголя* — Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 г.

В школе устроен был акт — имеется в виду праздник, устроенный в Двинском реальном училище 20 марта 1909 г. по случаю столетней годовщины со дня рождения Гоголя.

«*Тройка*» — лирическое отступление «Эх, тройка, птица-тройка!..», завершающее первый том «Мертвых душ».

...«*попечитель учебного округа*» — начальник всех учебных заведений округа, состоявшего из нескольких губерний. Витебская губерния входила в состав Виленского учебного округа, управление которого находилось в Вильне (ныне — Вильнюс).

Выжига — плут, пройдоха, прижимистый человек.

Городское училище — учебное заведение с 6-летним сроком обучения, дававшее общее элементарное (а по сути дела — законченное начальное) образование.

С. 167. «*Тайная ве́черя*» — знаменитая роспись Леонардо да Винчи в трапезной миланского монастыря Санта-Мария делле Грацие (1495–1497).

Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее... — имеется в виду Третьяковская галерея.

...восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза — описывается картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885).

...на Уточкине — Сергей Исаевич Уточкин (1876–1915), один из первых русских летчиков, совершал публичные полеты во многих городах России и за рубежом.

«*Кандидат на судебные должности*» — выпускник юридического факультета, который три года подготавливается к самостоятельным занятиям по судебной части при Окружном суде или при Судебной палате, после чего должен получить свидетельство, что он доказал на службе свои познания по судебной части, и мог быть зачислен в штат судебного учреждения.

С. 168. *...рисовала нам «девушку боком в малороссийском костюме»* — изображение модели в национальном (украинском) костюме, равно как и зарисовка различных этнографических типов в анфас и в профиль (*боком* — просторечие!) широко распространено в русской живописи XIX в.

«*Линия*» — линия Риго-Орловской железной дороги.

С. 169. «*Пустыня*» <...> «*бывшая дотоле безлюдною...*» — фраза восходит к учебнику протоиерея Петра Смирнова «История христианской православной церкви», предназначавшемуся для изучения Закона Божия в 6-м классе реального училища, в котором в это время и учится наш герой.

...читал «Мизантропа» или «Дон-Жуана» — комедии (1666 и 1665) Жана Батиста Мольера.

С. 170. *...серую куртку с шнурами...* — это венгерка: короткая куртка из сукна, отделанная шнурами по швам и на груди в подражание гусарскому доломану или ментику. Излюбленная одежда провинциальных помещиков.

Барон — низший дворянский титул в России. Местные бароны принадлежали к немецкому титулованному дворянству Курляндской и Лифляндской губерний.

С. 171. «*Денщик — лиходей*» — см. примеч. к с. 122.

Затрубили «вечернюю зо́рю» — военный сигнал при отходе ко сну.

Я читаю «Серáпеум» — речь идет о повести немецкого египтолога и популярного автора исторических романов Георга Эберса «Серапис» (1885), в котором описывается разрушение фанатиками-христианами в 389 г. храма языческого бога Сераписа — Серапеума, являвшегося последним оплотом свободомыслия и культа красоты, характерных для эллинистического мира.

«Дамский мир» — ежемесячный журнал мод, литературы и жизни женщины в домашнем кругу и обществе, выходивший в Петербурге с 1907 по 1918 г.

Ефросиния Полоцкая — вернее Евфросиния (около 1100 — около 1167) — дочь полоцкого князя Святослава-Георгия Всеславича. Отрекшись в молодости от мира и постригшись в монахини, она основала два монастыря, ставшие центром православия на полоцкой земле. Евфросиния — первая русская игуменья, причисленная к лику святых. Ее мощи покоились в Киеве, откуда в 1910 г. они торжественно переносятся в Полоцк, в честь чего 20 мая 1910 г. в Двинске был устроен крестный ход.

С. 172. *«Так что же нам делать?»* — социально-критический трактат Льва Толстого (1882–1886). Впервые напечатан за границей. В России книгу удалось издать только в 1906 г.

...сшила наколку — украшение из ткани или кружев, накладываемое на женскую прическу. Наколка была не обязательна для горничной, но являлась признаком преуспевания хозяев.

Трубный оркестр — духовой оркестр.

...велел нам носить вместо курток рубахи — в начале 1910/1911 учебного года новый директор ДРУ Г. И. Оношко распорядился привести форменную классную одежду учащихся в соответствие с требованиями министерского циркуляра от 13 ноября 1881 г.: однобортные ученические куртки заменялись суконными рубахами русского покроя (косоворотками).

С. 173. *...подивились на фурманов* — «Fürhmann» (*нем.*), извозчик. Если учесть, что рижские извозчики носили синие пальто-крылатки с золотыми пуговицами, то можно предположить, что у вокзала стояли личные кучера знатных особ, которые дожидались прибытия своих хозяев. См. примеч. к с. 123.

Их лошади были запряжены без дуги — т. е. по-европейски, используя шорную упряжку на постромках.

...в соборе... — рижский кафедральный Христорождественский собор, построенный в русско-византийском стиле в 1884 г.

...в главной кирхе — Домская церковь, построенная в XIII в. и являющаяся древнейшим зданием Риги.

«Котелок» — твердая мужская шляпа с округлой тульей и небольшими полями.

...осматривал туфельку Анны Иоанновны... — бальная туфелька, которая будто бы принадлежала племяннице Петра I, герцогине Курляндской с 1710 г. и российской императрице с 1730 г. Анне Иоанновне (1693–1740), являлась одной из достопримечательностей рижского «Дома Черноголовых» (где располагалось общество немецких холостых купцов).

...канал с лебедями... — рижский городской канал, устроенный из бывшего крепостного рва.

...нас повели в монастырь — имеется в виду Спасо-Евфросиновский монастырь, где в древнем храме Христа Спасителя с 1910 г. хранились мощи преп. Евфросинии Полоцкой.

«*поклониться мощáм*» — мощам Евфросинии Полоцкой.

С. 174. «*Законоведенье*» — нынешнее правоведение, основы правовых знаний.

«*Акт*» — торжественное собрание. Описывается годичный акт в Двинском реальном училище, который обычно проходил 1 октября, так как был приурочен к престольному празднику училищной церкви, освященной во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

...картина учителя чистописания и рисования Сеппа — посвящена одному из чудес Иисуса Христа (Матф. 9:18-25), которое довольно часто изображалось в академической живописи. В 1871 г. за картину «Воскрешение дочери Иаира» золотой медали Академии художеств был удостоен Илья Репин, у которого впоследствии учился Пауль Сепп (1874–1954).

С. 175. «*Степь*» — повесть Чехова (1888).

неприличное место из «Исповеди» — в начале книги третьей первой части «Исповеди» (1766–1769) Ж.-Ж. Руссо рассказывает об удовольствии, которое испытывал его герой, когда, блуждая по темным аллеям, издали показывал женщинам свой половой орган.

«*Пиквикский клуб*» — роман Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).

«*Лучший*» <...> «*проводник христианского воспитания — взор...*» — весьма вольный пересказ советов еп. Феофана Затворника (Говорова) для воспитания младенца христианином из его книги «Путь ко спасению» (1868–1869); цитировались в учебниках по православному христианскому нравоучению для дополнительного класса средней школы.

С. 176. *...«эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу»* — восходит к характеристике тургеневских героинь из учебников по «новейшей русской литературе», которая изучалась в дополнительном классе средней школы.

Акциз — здесь: акцизное управление, занимавшееся сбором косвенного налога на предметы внутреннего производства, изготовлявшиеся и продававшиеся частными лицами (крепкие напитки, табак, сахар, спички и т. д.).

...до ксендзжарни «Освята» — книжный магазин и читальня польско-католического общества «Просвещение» («Oświata», *польск.*).

«Газета — два грóша» — дешевая, массовая газета, основанная католическими священниками и издававшаяся в Вильне в 1910–1911 гг. на польском языке («Gazeta 2 grosze»).

С. 177. *...лицо его напоминало лицо Достоевского* — имеется в виду известный портрет Достоевского кисти Василия Перова (1872).

...пенсне с черной лентой — на одном стекле пенсне обычно имелась петелька, в которую вдевался тонкий шелковый шнурок, оканчивавшийся металлическим крючком, при помощи которого пенсне либо прикреплялось к одежде, либо закреплялось за ухо.

...умер Толстой. — Лев Толстой умер 7 ноября 1910 г.

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесть наконец за латинский язык — так как в реальных училищах не преподавался латинский язык, их выпускники должны были для поступления на медицинские факультеты российских университетов сдать дополнительный экзамен по латыни.

С. 178. *Эспаньолка* — узкая и короткая остроконечная бородка.

«дэ амитицие верэ» (*лат.*) — неточное название одного из учебных текстов в «Начальном руководстве к изучению латинского языка» М. М. Михайловского. Он называется «De vera amicitia» («Об истинной дружбе»). Из этого руководства, выдержавшего множество изданий, взяты и все остальные латинские слова и выражения.

«Русичи, братья поэта-печальника...» — заключительная строфа стихотворения учителя словесности Двинского реального училища Л. Л. Долотского «Слава поэту, маску снимавшему...», посвященного памяти Гоголя.

...в этой форме — студенческая форма состояла из фуражки со знаком учебного заведения на околыше, двубортной тужурки, узких брюк, черных ботинок или штиблет и шинели офицерского покроя.

С. 179. *...во Владимирском юнкерском* — имеется в виду военно-учебное заведение, учрежденное как С.-Петербургское юнкерское пехотное училище и впоследствии преобразованное в военное училище, которое в 1910 г. было переименовано во «Владимирское» в память великого князя Владимира Александровича (1847–1909), более двадцати лет командовавшего войсками гвардии и Петербургским военным округом.

«Нат Пинкертон и современная литература» — известная книга Корнея Чуковского (1908), посвященная популярной литературе и массовой культуре в России начала XX в.

Я читала недавно один интересный роман — судя по всему, речь идет о нашумевшем романе Евдокии Нагродской «Гнев Диониса» (1910).

С. 180. *...Шустер посещает Подольскую улицу* — посещение учащимися публичных домов грозило исключением из училища.

Он требует книги и узнаёт, кто здоров — по результатам медицинского освидетельствования проституток, которое должно было проходить не менее одного раза в неделю.

С. 181. ... *получали «свидетельства»* — документ об окончании седьмого, дополнительного класса реального училища, который давал право на поступление в высшее учебное заведение.

...*не выдержал в технологический* — провалился на вступительном экзамене в Технологический институт в Петербурге.

...*и только плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал* — хозяин дома путает синус (тригонометрическую функцию) и плинтус (планку, закрывающую щель между стеной и полом).

С. 182. «*Свидетельство о политической благонадежности*» — свидетельство о том, что данный человек «под судом и следствием не состоял и в нравственном и политическом отношении ни в чем предосудительном замечен не был». Это свидетельство являлось одним из обязательных документов для поступления в высшее учебное заведение.

...*за Двиной в «пасторате»*... — в лютеранском приходе, расположенном на левом берегу Западной Двины.

Пéйсах должен был вместе с своею семьей в конце лета уехать в Америку — весной 1911 г. была развязана мощная антисемитская кампания в связи с убийством в Киеве Андрюши Ющинского, отголоски которой заметны в последней главе романа. Это вызвало рост еврейской эмиграции из России, начавшейся еще в середине XIX в. В 1911 г. евреев уехало больше, чем уезжало в предыдущие годы.

...*номера на извозчичьих дрожках*... — специальный жестяной знак с указанием номера на право езды, который извозчики получали, пройдя осмотр и уплатив городской сбор. В начале XX в. номер стал прикрепляться к облучку и задку экипажа.

...*застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их* — принадлежность летней формы морских офицеров, которая после восстания на крейсере «Очаков» в ноябре 1905 г. стала напоминать о его руководителе, революционном лейтенанте П. П. Шмидте (1867–1906).

ДИКИЕ

Впервые: Звезда. 1989. № 9. С. 191–195. Печ. по рукописи. Еще в 1987 году И. И. Слонимская передала составителю письма и несколько рукописей Добычина, в том числе этот рассказ. Рукопись на 28 страницах, писана хорошо известным почерком и сохраняет все особенности добычинской работы: членение текста на смысловые отрезки, частое употребление ударений. Рассказ подписан двумя

фамилиями: А. Дроздова и Л. Добычина, но автор у него, вне всякого сомнения, один. Об этом говорили мне Л. Рахманов, И. Слонимская и писал в своем письме В. Каверин. Возможно, материалом для «Диких», как и для «Шуркиной родни», послужили рассказы Александра Дроздова (в письме к Л. Н. Рахманову Добычин так и именует его — Шурка). Полудеревенская-полугородская специфическая жизнь маленького пристанционного поселка описана только в этих двух произведениях.

С. 185. *...идиотизм деревенской жизни* — цитата из «Коммунистического манифеста» (1848) Маркса и Энгельса, часто звучавшая в годы коллективизации как оправдание насилия и ставшая крылатым выражением.

Середняк — см. примеч. к с. 74.

С. 186. *Книга про купца Калашникова* — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837) М. Ю. Лермонтова, входившая в гимназический курс литературы.

Ламповщик — служащий железной дороги, обязанный следить за состоянием лампового хозяйства.

Старушка из раскольниц — значительная часть верующих не приняла реформ, проведенных патриархом Никоном в 1660-е гг., и продолжала исполнять церковную службу и обрядность по-старому. Отсюда и название: старообрядцы, староверы. Слова «раскольник», «раскольница», которыми пользовалась официальная церковь и которые отчасти вошли в общее употребление, старообрядцы считали для себя оскорбительными.

Шинкарка — здесь: женщина, занимающаяся тайной торговлей вином.

С. 189. *Смотритель зданий* — то же, что современная должность коменданта.

Нэпман — частный предприниматель в годы НЭПа (новой экономической политики, 1922 — конец 20-х гг.). Партийная пропаганда внедряла в сознание обывателя негативное отношение к нэпману: «нэпач», «чуждый элемент» и т. п.

Шарабан — открытая повозка с поперечными скамьями.

Чалый — лошадь серой масти с примесью другого окраса.

С. 190. *...подписывалась на заем...* — речь идет об одном из первых выигрышных (или лотерейных) займов, которые проводились в Советской России, начиная с 1922 г.

Страстная неделя — см. примеч. к с. 135.

...и побежал в чем был на станцию, чтобы пожаловаться в гепеу — на железнодорожных станциях существовали оперпункты Государственного политического управления (ГПУ), предназначенные для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.

С. 192. *Свиные уши* — см. примеч. к с. 134.

ШУРКИНА РОДНЯ

Как и рукопись романа «Город Эн», повесть «Шуркина родня» с весны 1936 г. хранилась у А. Григорьева (см. примеч. к письму 159). В 1989 г. поступила в рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом). С. 1–43 являются вторым или третьим экземпляром машинописи, содержат небольшую авторскую правку; С. 44–76 — беловая рукопись. Первоначальное заглавие «Благополучный конец» зачеркнуто, сверху написано «Шуркина родня». Автор не дал произведению никакого жанрового наименования, но по всем канонам это повесть.

По словам А. Григорьева, Добычин предлагал «Шуркину родню» в несколько мест, однако ее всюду отвергли.

Впервые в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 220–267. К сожалению, в этом издании ударения, как пишет публикатор А. Ф. Лапченко, сохранены «в основном». Печ. по авторскому тексту (Р. I. Оп. 6. № 379).

С. 199. *...свернул «козью ножку»* — самодельная папироса, самокрутка, сделанная в виде небольшого перегнутого рожка.

С. 200. *...нет ли «синенького»* — денатурат, подкрашенный спирт для технических и бытовых нужд с ядовитыми добавками, делающими его непригодным для питья. Однако в годы гражданской войны и даже значительно позднее денатурат разными способами очищали (здесь: «нацедили в стакан через корку»).

С. 201. *...за усачом...* — по-видимому, усач обыкновенный, довольно крупная речная рыба из семейства карповых.

С. 202. *Пора бабушке вставать...* — Детская потешка, известная во многих вариантах.

Преображенье — праздник Преображения Господня, отмечается 6 (19) августа. См. также примеч. к с. 51.

С. 203. *Дроги* — телега без кузова.

Дерюжная торба — мешок из самого грубого холста (дерюги).

...«донесения главнокомандующего» — печатные листки с информацией о положении на фронтах, подписанные главнокомандующим русской армией великим князем Николаем Николаевичем (в ноябре 1915 г. верховным главнокомандующим стал сам Николай II).

...в день «усекновения» — см. примеч. к с. 158.

С. 204. *«Кукушка»* — паровоз «Коломенский усиленный» ($К^{У}$), появившийся в 1910 г. «Кукушками» стали называть короткие, местного значения, поезда.

Под воздвиженье... — Воздвиженье креста Господня, празднуется 14 (27) сентября.

Тарантас — повозка с рессорами.

С. 205. *«Правда дороже, чем золото»* — неточное заглавие сборника отрывков из проповедей о. Иоанна Кронштадтского «Правда дороже золота», составленного одним из лидеров секты иоаннитов

В. Ф. Пустошкиным и пользовавшегося в 1910-е гг. большой популярностью в народной среде.

«листки из Почаева» — газета «Почаевский листок» издавалась с 1887 г. Почаевской Успенской лаврой.

С. 207. *Случай с Пентефрием и похотливой женой его...* — библейский рассказ об Иосифе Прекрасном, которого пыталась соблазнить жена начальника фараоновой стражи (Книга Бытия, XXXVII, 36; XXXIX, 1–20). Популярный сюжет, известный также по многим духовным стихам и живописным полотнам.

В Рыме... <...> быть и попа не видать — искаженная поговорка «В Риме быть и папу не видать».

С. 209. *Кекуок* — модный танец начала XX века.

Колониальные товары — первоначально: товары, привозимые из колоний, преимущественно пряности, позднее — вообще продукты неевропейского происхождения и просто бакалея.

Кьятр — театр.

С. 211. *«На сопках»* — см. примеч. к с. 97.

Просвирня — женщина, занимающаяся в церковном приходе печением просвир (просфор).

С. 213. *«Утешение болящим», сочиненное епископом Петром и отпечатанное в городе Казани* — брошюра «Наставление и утешение в болезни и в предсмертное время еп. Петра» (в миру — Федора Екатериновского, 1820–1889), впервые напечатанная в 1872 г. и неоднократно переиздававшаяся в конце XIX — начале XX вв.

С. 215. *«Радко Дмитриев»* — «Радко Дмитриев» (1859–1918), генерал, участник Балканских войн 1912–1913 гг. Во время Первой мировой войны, когда Болгария стала союзницей Германии, принял русское подданство, поступил на русскую службу и поначалу был очень популярен. Расстрелян ЧК в Пятигорске в числе других заложников-генералов.

«Фиорая» — «Цветочница» («Fioraia», *итал.*). Картин с таким названием множество.

С. 216. *Пыльник* — легкий плащ.

С. 218. *...царя больше нет* — Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 г.

С. 219. *Самара уже государство...* — после захвата Самары 8 июня 1918 г. чехословаками в городе была создана временная власть из членов Учредительного собрания — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч). Летом его власть распространилась на Самарскую, Симбирскую, Казанскую, Уфимскую и часть Саратовской губернии. Однако 7 октября 1918 г. в Самаре вновь была установлена советская власть.

С. 220. *...с скрипом <...> с своим коробом* — Добычин одинаково поправил машинописный текст, в котором было: «со скрипом», «со своим коробом».

С. 221. *Карамель «Крючков»* — названа в честь донского казака Кузьмы Крючкова (1890–1919), героя Первой мировой войны, прославленного патриотической прессой.

С. 223. *...на радуницу* — в девятый день после Пасхи, являющийся днем поминовения усопших.

Чехи — во время Первой мировой войны большое количество чехов, призванных в армию Австро-Венгрии, сдались в плен. В мае 1918 г., возвращавшиеся домой по Сибирской ж. д., они подняли вооруженное восстание и захватили ряд городов вдоль ж. д. — Челябинск, Омск, Сызрань и др. 8 июня ими была взята Самара.

С. 225. *...новый Златоуст* — Иоанн, один из отцов Восточной церкви (ок. 344–407), яркий оратор, богослов, проповедник аскетического образа жизни.

Схизматическая вера — вероучение, отходящее от ортодоксии (схизматики для католиков — православные, для православных — старообрядцы).

С. 226. *...после успенья...* — см. примеч. к с. 59.

...в митенках... — см. примеч. к с. 130.

С. 227. *Финка* — финский нож, обычно с особым вырезом на конце лезвия.

Кистень — гирька на коротком ремешке, оружие, традиционно связываемое с разбоем (ср. с пословицей: кому кистень, а кому четки).

С. 235. *Колчаковская десятка* — ассигнация, выпущенная колчаковским правительством в Сибири, вряд ли имевшая хоть какую-то ценность на советской территории.

С. 238. *Под благовещенье...* — один из христианских праздников. Согласно Евангелию архангел Гавриил возвестил деве Марии о грядущем рождении Иисуса Христа. Празднуется 25 марта (7 апреля).

Мадьяры — пленные венгры, подданные Австро-Венгрии, участвовавшие в Первой мировой войне на стороне Германии, т. е. воевавшие против России; часть из них приняла участие в гражданской войне на стороне красных.

С. 242. *Однодневная перепись* — проводилась в августе 1920 г.

С. 243. *...заболели «испанкой»...* — пандемия гриппа, охватившая Европу и унесшая в 1918–1919 гг. 20 миллионов жизней; первые сведения о ней пришли из Испании, хотя вирус «испанки» впервые был зарегистрирован в американском штате Канзас.

ПИСЬМА К ПИСАТЕЛЯМ
(1924–1936)

Живя в Брянске, Л. Добычин остро ощущал свою культурную изоляцию. Этим объясняется его интенсивная переписка со многими литераторами — К. и Н. Чуковскими, Е. Шварцем, Е. Тагер,

В. Кавериным и др. Особенно тесно он сблизился с М. Л. Слонимским и его женой Идой Исааковной. Михаил Леонидович Слонимский (1897–1972), тогда тоже еще достаточно молодой прозаик (он был моложе Добычина на три года), вел большую литературно-общественную и редакционно-издательскую работу, входил в состав нескольких редколлегий, был сотрудником ряда журналов.

Легко понять Добычина, постоянно обижавшегося на то, что Слонимский отвечает не на каждое его письмо или задерживается с ответом. Но можно понять и Слонимского, который очень много работал, ездил; к тому же, отослав рассказ, Добычин чуть ли не со следующего дня начинал справляться о его судьбе, которая, естественно, решалась не сразу и зависела не только от Слонимского, а от массы привходящих обстоятельств, в том числе и цензурных. По письмам видно, как свирепствовала тогда цензура, запрещала журналы, отдельные публикации и даже фразы.

Ида Исааковна Слонимская (1903–1999) занималась в студии Н. Гумилева, дружила с известными писателями, сама целиком была погружена в литературную жизнь. С ней Добычин охотно беседовал, наезжая в Ленинград, сопровождал ее в Филармонию, в театр.

Леонид Николаевич Рахманов (1908–1988) — прозаик и драматург. Познакомился с Добычиным уже в Ленинграде, через Г. Гора, с которым вместе начал печататься. Геннадий Самойлович Гор (1907–1981), тогда тоже еще совсем молодой писатель, с момента знакомства с Добычиным и до последних дней своей жизни — самый горячий его почитатель.

С глубоким уважением отзывался о Добычине и Л. Н. Рахманов. В начале 1987 года, стремясь содействовать возвращению добычинского наследия, он передал автору этих строк хранимые им письма Добычина и порекомендовал сделать то же самое И. И. Слонимской.

Так, благодаря семье Слонимских и Л. Н. Рахманову, сто десять писем и несколько рассказов Л. Добычина, сберегавшиеся более полувека, были сохранены и увидели свет.

Письмо М. М. Шкапской отправлено в последние недели или даже дни жизни Добычина. По тревожному настрою, ожиданию трагедии оно перекликается с последним письмом М. Л. Слонимскому.

Настоящий том впервые объединил все эпистолярное наследие Добычина, включая и ранее не печатавшиеся письма и записки.

Свой архив, и в том числе многочисленные письма писателей к нему, в отличие от художественных произведений, Добычин, уходя из жизни, сохранить не захотел. Поэтому его собственные письма особенно важны — и для изучения биографии, и для понимания его внутреннего мира. По письмам видно, как медленно и трудно работал Добычин над своими произведениями. Словом, письма — важная составная часть его творчества.

Авторские сноски в письмах отмечены звездочкой.

Все письма, за исключением писем К. И. Чуковскому, печатаются по автографам. Письма К. И. Чуковскому печатаются по: НЛО, 1993, № 4.

К. И. ЧУКОВСКОМУ (1924–1931)

Письма 1–39 вместе с содержательными комментариями впервые опубликованы Александрой Петровой («Вы мой единственный читатель...») в «Новом литературном обозрении» (НЛО), 1993, № 4. С. 123–142. В письмах к М. Л. Слонимскому и К. И. Чуковскому Добычин часто приводит одни и те же факты и имена. Чтобы избежать повторений и унифицировать форму подачи материала, комментарии А. Петровой пришлось сократить и в немногих случаях перекомпоновать и добавить несколько новых.

1

...два рассказа в четвертой книжке... — имеются в виду рассказы «Козлова» и «Встречи с Лиз», предназначавшиеся для журнала «Русский современник». В № 4, 1924 появился только один рассказ — «Встречи с Лиз». Второй рассказ («Козлова») напечатан не был, так как журнал был закрыт.

Вещь не переписанная — рассказ «Евдокия».

2

...эту рукопись — имеется в виду рассказ «Евдокия».

3

...послал в «Современник» маленькую... — очевидно, речь идет о рассказе «Нинон» из сборника «Вечера и старухи».

Катерина Александровна — героиня рассказа «Евдокия».

...что значит «по первому требованию»? — см. письмо 154.

...пять человек в одной комнате — в Брянске Добычин жил вместе с матерью Анной Александровной (рожд. Орловой), братом Дмитрием, сестрами Верой и Ольгой.

«Повесть» — имеется в виду рассказ «Ерыгин».

4

...эту гадкую рукопись... — имеется в виду рассказ «Евдокия»; некоторые его детали использованы в «Ерыгине».

6

Фишкина — героиня рассказа «Встречи с Лиз».

«Коломна, 25 декабря...» — ср.: «Коломна, Никола-на-Посадьях, 2 янв. 1924 г.» (Русский современник 1924. № 1. С. 150) — помета под романом Б. Пильняка «Голый год».

Как долго не выходит... — о цензурных и материальных затруднениях редакции «Русского современника» см. Чуковский. С. 288, 289, 293–295, 300–301. См. также комментарии М. О. Чудаковой в кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 471.

«Нарпит» — см. примеч. к с. 69.

«типичный образец нэпманской литературы»... — вот один из критических откликов на первые три номера журнала: «В „Русском современнике“ нэпманская литература показала свое подлинное лицо» (Розенталь К. // «Правда». 1924. 5 ноября). См. также: Лелевич Г. Несовременный Современник // Большевик. 1924. № 5/6; Горбачев Г. Единый фронт буржуазной реакции // Звезда. 1924. № 6. «Русский современник» ответил статьей Е. И. Замятина «Перегудам» (1924. № 4); без цензурных изъятий статья опубликована только в 1989 г. (Книжное обозрение. 1989. № 18).

Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958) — прозаик.

7

«— Вы берете, Иван Капитонович, взятки? — Никогда!!» — неточная цитата одного из анекдотов о городничих-«бессребрениках» в «Пошехонских рассказах» (1883) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

8

...с Бабелем, «Концом мелкого человека» и «Виринеей» — главы из «Конармии» И. Бабеля и «Конец мелкого человека» Л. Леонова опубликованы в № 3 (20), а повесть Л. Сейфуллиной «Виринея» — в № 4 (21) «Красной нови» за 1924 г.

«Записки Ковякина» — повесть «Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным» Л. Леонова напечатана в № 1, 2 «Русского современника».

...почему журнал не выходит! — журнал был задержан в типографии из-за материальных затруднений издателя.

«Магарам» — Николай Иосифович Магарам, издатель «Русского современника».

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) — писатель, член группы «Серапионовы братья».

...в «Бузотёре» — в сатирическом журнале «Бузотер», выходившем с 1924 г., были напечатаны рассказы М. Зощенко «Паутина» (1924. № 2) и «Светлый гений» (1925. № 4).

9

Почему «Козлову» перекрестили в «Учительницу»? — под таким названием в 4-м номере «Русского современника» был анонсирован рассказ, входивший в состав 5-го номера журнала, не вышедшего из-за запрета.

Есть Ваша статья... — имеется в виду «Лепые нелепицы».

...мне больше всего жаль... — в сборнике «Встречи с Лиз» купюра восстановлена. (С. 27.)

...из газеты «Труд» — см. статью «Свобода печати у буржуазии» за подписью Г. М. («Труд». 1925. 16 янв.)

10

...«лучше не называть, в каком департаменте» — обыгрывается фраза из повести Гоголя «Шинель» (1841).

«Привет безбожнику» Онуфрия Зуева — «Тетрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева», автором которой был Е. И. Замятин.

...«всемирная величина Стеклов» — Юрий Михайлович Стеклов (Нахамкис, 1873–1941), в 1917–1925 гг. главный редактор «Известий», автор статьи «Симптом начала или конца», которой посвящено одно из «примечаний» Онуфрия Зуева.

11

...«что-то припомнилось» — фраза из рассказа «Ерыгин». См. также письмо 41.

Богдановская Вера Владимировна — секретарь редакции журнала «Русский современник». См. письма 41, 155, 156.

12

Навряд ли я смогу... — в конце февраля — начале марта 1925 г. Чуковский основал детский отдел при издательстве «КУБУЧ» (Комиссия по улучшению быта ученых) и начал заказывать книги некоторым авторам (и, в частности, видимо, Добычину).

Я читал Вашу книжечку... — имеется в виду книжка Чуковского «Мойдодыр. Кинематограф для детей» (Пг.; М., 1923).

13

...про ко́зу — рассказ «Лидия». См. примеч. к рассказу «Лидия».

16

«Валюкенас» <...>«Варейкис» <...> «Эдемска» — Валюкенас — герой рассказа «Савкина»; фамилии «Варейкис» в рассказе нет, хотя это как раз фамилия известного в 1925 г. партийного деятеля, в 1937 г. расстрелянного; «Эдемска» позднее появилась в «Городе Эн».

...о Фридрихе «дер Гроссе»... — Фридрих II (1712–1786), прусский король из династии Гогенцоллернов, полководец.

«Система б. о.» — очевидно, имеется в виду система Боевой организации партии эсеров. Возможно, речь идет о какой-либо публикации из истории осуществлявшегося эсерами до 1917 г. террора. (Но, возможно, речь идет о военно-спортивной системе защиты без оружия — ср.: «самбо» — самооборона без оружия.)

18

...святой Кукша и епископ с помоями — см. рассказ «Козлова».

...вроде Максима Ковалевского — Максим Максимович Ковалевский (1851–1916), русский историк и юрист, член I Государственной Думы, Государственного Совета, редактор журналов «Страна» и «Вестник Европы». Был широко известен по портретам, запечатлевшим его дородность и внушительный вид. Учась на Экономическом отделении Политехнического института, Добычин слушал лекции Ковалевского и успешно сдал ему экзамен по государственному праву.

19

Жалею бедняг Толстого и Федина... — о чем идет речь, установить не удалось.

Сейфуллина хотя Вам и звонила... — см. примеч. к рассказу «Лидия».

...на местоположении Брянска вблизи Орла и Тулы... — т. е. неподалеку от мест, где жили И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой.

21

...другая — имеется в виду рассказ «Сорокина».

Шварц — Евгений Львович Шварц (1896–1958), драматург; в те годы секретарь журнала «Ленинград», в 1925–1931 гг. — редактор детского отдела Госиздата.

22

Ковшмейстеры — издатели альманаха «Ковш» (1925–1926).

...она уедет — вероятно, имеется в виду несохранившийся рассказ «Казанский», возможно, он же «Блинова и Воблина» (см. письма 23, 24, 70, 79).

23

...две вещи... — книги Е. Шварца «Вороненок» (Л.: Радуга, 1925), «Рассказ старой балалайки» (Л.: Госиздат, 1925).

24

...как Вы в Лондон (без копейки) — Чуковский жил в Лондоне в 1903–1904 г., будучи корреспондентом газеты «Одесские новости».

«Казанский» — см. примеч. к письму 22.

25

...мсье Клячко — Лев Моисеевич Клячко (1873–1934), журналист, владелец издательства детской литературы «Радуга»(1922–1930).

...о кошке — этот текст Добычина неизвестен.

Коля — Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), сын К. И. Чуковского, в доме которого Добычин с ним и познакомился; писатель, один из немногих друзей Добычина.

Невский-28 — адрес Дома Книги. Здесь помещалось Ленинградское отделение Госиздата, в том числе и его детский отдел, руководителем которого с 1925 г. был Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964). Там же работал и Е. Л. Шварц (см. примеч. к письму 28).

...Вам на суд — Рассказ «Лешка» (в сб. «Портрет» — «Матрос») через неделю (28 января) был отослан Чуковскому.

День скорби — вторая годовщина со дня смерти В. И. Ленина.

26

О провале моих халтур — речь идет о рассказе «Лешка».

Иона («Ёна») — Иона Рафаилович Кугель (1873–1941/42), заведующий вечерним выпуском «Красной газеты». См. также примеч. к письму 70.

...мою драму — произведений Добычина в «Красной газете» не обнаружено.

...мое рисование.. — в рукописном альманахе К. И. Чуковского «Чукоккала» Добычин оставил два карандашных рисунка, один из которых датирован 30 ноября 1925 г. В комментариях к альманаху, писавшихся в 1960-е гг., Чуковский называет Добычина незаурядным рисовальщиком.

...вы читали Фета... — «Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит...» (Чуковский. 24 января 1926 г. С. 359–360).

27

...за сенсацию о Тынянове и Тихонове — возможно, имеются в виду сообщенные Чуковским отзывы Ю. Н. Тынянова и А. Н. Тихо-

нова о добычинских рассказах. Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) — литературовед, прозаик. Александр Николаевич Тихонов, псевдоним Серебров (1880–1956) —литератор, издатель.

...хороший рассказ — «Конопатчикова».

«Круг» — издательство артели русских писателей (1922–1929), выпускавшее одноименный альманах.

...как народ в гениальной драме А. С. Пушкина (см. Саводника) — отсылка к заключительной ремарке трагедии «Борис Годунов» (1825): «Народ безмолвствует» и к «Очеркам по истории русской литературы XIX века» (первое изд. — 1906) Владимира Федоровича Саводника (1874–1940), где содержится детальный разбор «Бориса Годунова».

Марья Борисовна — Мария Борисовна Чуковская (1880–1955), жена К. И. Чуковского.

...чтение этого непристойного рассказа — имеется в виду рассказ «Лешка».

28

...послал Лежневу — Исай Григорьевич Лежнев, наст. фам. Альтшулер (1891–1955), издатель журнала «Россия» (1922–1925); после запрещения журнала начал выпускать «Новую Россию» (1926), но был арестован и выслан из страны. Позднее вернулся и, резко изменив взгляды, работал в «Правде».

...он такой Бедняк — в начале 1926 г. Лежнев переживал, как в свое время редакция «Русского современника», материальные и цензурные затруднения.

...рассказ (протрубленный) — «Конопатчикова».

...выручайте Шварца... — см. примеч. к письму 21.

...мне враждебны его кумиры — иронически обыгрываются первые строки «Новой песни» («Отречемся от старого мира...», 1875) П. Л. Лаврова.

Дуся Слонимская — Ида Исааковна Слонимская (1903–1999), жена М. Л. Слонимского.

«Кюхля» — роман (1925) Ю. Н. Тынянова.

29

Кубуч — см. примеч. к письму 12.

...совет мосьё Иванова — К. Иванов, с февраля 1926 г. заместитель ответственного редактора газеты «Брянский рабочий».

...родственники Поэтессы Поляковой — неустановленное лицо.

Пяст — Владимир Алексеевич Пяст, наст. фам. Пестовский (1866–1940), поэт и переводчик, в 1926 г. продолжал сотрудничество с «Красной газетой».

31

«Я забыт в сердцах, как мертвый...» — Пс. 30; 13.

Цукерманша — Евгения Иосифовна Цукерман (1899–1971), библиотекарь брянского клуба им. Карла Маркса. В Брянском областном архиве сохранился документ о ее зачислении на службу в качестве секретаря культотдела Губпрофсовета с 5 января 1921 г. Там же работал и Добычин. Об их дружеских отношениях см. многочисленные упоминания Цукерман в письмах Добычина.

...Фет очень «коротенький» — имеется в виду издание: А. А. Фет. Стихотворения. Пб., Аквилон, 1922.

Конашевич — Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963) художник, мастер книжной графики, иллюстратор.

О Пантелее Романове — Пантелеймон Сергеевич Романов (1895–1938), популярный в 1920-х гг. прозаик, бытописатель русской жизни.

32

...это глупое письмо — см. письмо 74.

Что касается «А. К. Воронского»... — Александр Константинович Воронский (1884–1937) — критик, организатор и первый редактор «Красной нови», руководил также издательством «Круг», расстрелян. Произошло какое-то недоразумение: в «Дневнике» Чуковского (С. 366) со слов А. Н. Тихонова записано, что он передал рукописи Добычина Воронскому и «Воронскому, кажется, нравится».

...за заметку о Л. Сейфуллиной — резкая рецензия Ю. Н. Тынянова на книгу Л. Сейфуллиной «Инвалид. Александр Македонский. Четыре главы» (М., 1924) была напечатана в «Русском современнике» за подписью Ю. Т.

33

«Арсен Люпен» — благородный грабитель, герой романов и рассказов французского писателя Мориса Леблана (1864–1941) («Джентльмен-громила», «Взломщик-джентльмен», «Вор-джентльмен» и др.). С начала века до 1930 г. вышло более тридцати книг этого цикла. Арсена Люпена как популярного персонажа западной литературы упомянул М. Горький в своей речи на Первом съезде советских писателей.

...поместил мою фамилию... — фамилия Добычина была помещена в списке постоянных авторов «Новой России» на обложке 2-го номера за 1926 г., хотя Добычин печатался в журнале впервые. Там же сообщалось: «„Новая Россия“ по типу приближается к англо-американским журналам...»

36

«Мысль» — кооперативное издательство (1916–1930). См. примеч. к письму 92.

Сметанич — Валентин Осипович Стенич, наст. фам. Сметанич (1898–1939), переводчик, критик, в те годы сотрудник издательства «Мысль», расстрелян. См. также письмо 95.

...Миша Слонимский выпустил роман — имеется в виду роман «Лавровы». См. примеч. к письму 90.

...Ваш роман печатается... — в мае-июне 1926 г. в «Красной газете» (веч. вып.) печатался кинороман Чуковского «Бородуля» (под псевдонимом Такисяк).

37

Позвольте попросить Вас принять эту книжку — сборник «Встречи с Лиз».

38

провинциальный сувенир — рукопись рассказа «Портрет».

39

...мне не хотелось ее портить — вторая книга Добычина «Портрет» датирована 1931 г. (вышла в 1930 г., см. письмо 159).

М. Л. и И. И. СЛОНИМСКИМ (1925–1936)

41

«Современник» — здесь и далее речь идет о журнале «Русский современник», издававшемся при участии К. Чуковского в 1924 г. После четвертого номера был запрещен.

Богдановой — правильно: Богдановская. См. примеч. к письму 11 и письма 155, 156.

...в журн. «Ленинград» — членом редколлегии журнала (выходил в 1923–1925 гг.) был М. Л. Слонимский.

...начал бы Ерыгина со второго абзаца... — первый абзац рассказа «Ерыгин» сохранен во всех изданиях.

43

«Нинон» — рассказ из рукописи первого сборника Добычина «Вечера и старухи».

«Машина Эмери» — сборник рассказов М. Слонимского (1924).

44

...про Козлову... — Имеется в виду рассказ «Козлова».

...получил от «Современника»... — гонорар за рассказ «Встречи с Лиз».

45

Попробуем сделать в Ерыгине некоторые перемены — в печатный текст эти смягчающие, по мнению автора, фразы не внесены.

46

...вычеркнуть в первом абзаце <...> два звукоподражания... — в первый абзац правка внесена, предложение вычеркнуть «Совьет репёблик» и «реакшьон» не учтено.

47

...к выпуску «Ковша» — об альманахе «Ковш» см. примеч. к письму 22. В его редколлегию входил М. Слонимский.

49

...не «довольный», а «сияющий» — в сб. «Встречи с Лиз» стоит контрастный эпитет «мордастый».

50

...исправить «довольный» на «сияющий» — см. примеч. к письму 49.

51

...в истории о Кукине... — имеется в виду рассказ «Встречи с Лиз».

54

Посылаю козу — См. примеч. к рассказу «Лидия».

56

...Сочинение об отъезжающей... — имеется в виду рассказ «Сорокина». См. письма 60, 62, 65, 68 и предисловие.

...в честь мадам Сейфуллиной... — см. примеч. к рассказу «Лидия».

57

...писал на Социалистическую... — на Социалистической ул., 14, было расположено издательство «Ленинградской правды», выпускавшее и журнал «Ленинград».

«Мадама» — роман «Мадам Бовари» (1857) Гюстава Флобера (1821–1880).

«Бутыли на окнах» — см. примеч. к с. 77.

...как у Сейфуллиной... — см. примеч. к рассказу «Лидия».

«Картонный Домик» — петроградское издательство (1918–1922), владельцем которого был С. И. Бернштейн.

Мосье Кузьмин — Добычин, вероятно сознательно, писал фамилию поэта с мягким знаком. См. письмо 64. Михаил Алексеевич Кузмин (1875–1936) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. См. письмо 153.

58

...исправления к Козе... — исправления по первым двум пунктам в печатный текст внесены; вместо предложенного в письме «— Ихний? — уставилась Зайцева», в сб. «Встречи с Лиз»: «...просияла Зайцева» (скорее всего, это корректурная правка самого автора).

59

...адрес (постоянный) будет не «Брянск», а «Ленинград» — первая попытка Добычина переехать в Ленинград; вторую, и тоже неудачную, он предпринял в конце 1929 г.

60

...на Николаевскую... — на Николаевской (позднее улица Марата) жили Слонимские.

61

Как хорошо бы, если бы удалось — книжку — по-видимому, М. Л. Слонимский предложил Добычину подумать о сборнике (при том, что у него было к этому времени написано лишь несколько рассказов, а напечатано — всего три).

Какого это «Современника» альманахи хотят выходить в Москве? — альманах при журнале «Русский современник» издан не был.

...что такое — журнал «Россия». — Добычин постоянно спрашивает и сам оценивает направление и нравственный уровень того или иного журнала и его редактора. «Русский современник» и «Россия» (после запрета — «Новая Россия») были лучшими тогдашними журналами и считались оппозиционными.

62

...сочинил Сорокину... — рассказ «Сорокина». См. примеч к письму 56.

64

...рассказ «Растратчица» — по-видимому, написан не был.

...Кузьмину, этому гордецу... — см. письмо 153 и примеч. к письму 57.

...ЧЕТЫРЕ(!!!!) Ваших книги... — к 1925 г. М. Слонимский выпустил уже пять.

70

...с Фединым — Константин Александрович Федин (1892–1977) прозаик, член группы «Серапионовы братья», впоследствии руководитель Союза писателей СССР.

...сочинение о Блиновой... — имеется в виду рассказ «Казанский». См письма 22 и 79. Опубликован не был, текст его утрачен.

Альтшулер — Лежнев. См. примеч. к письму 28.

...был ли напечатан в «Красной»... — «Красная газета». См. примеч. к письму 26.

...мой XIV съезд... — о каком произведении идет речь, неясно. XIV съезд партии проходил 18–31 декабря 1925 г.

Наппельбаум — Ида Моисеевна Наппельбаум (1900–1992), поэтесса, жена писателя М. А. Фромана. Незадолго до кончины сказала нам, что мало знала Добычина, хотя он бывал у них: «Возможно, однажды похвалила какой-то его рассказ».

...думаю о предстоящей годовщине серапионов... — первое заседание группы прошло 1 февраля 1921 г. С тех пор на протяжении многих лет, иногда и почти тайно (о чем рассказывала Е. Полонская), серапионы отмечали эту дату.

На обороте рукой И. И. Слонимской: «Мишка, категорически — напиши Добычину. Неужели трудно. Звонил Венька, я сказала, что Серапионы сегодня у Федина и что ты читаешь.

Миленькой!»

(Венька... — Вениамин Александрович Каверин, наст. фам. Зильбер (1902–1989), писатель, член группы «Серапионовы братья».)

71

<И. И. Слонимской> Начального листа нет. Судя по содержанию, конец января.

Приписываете Мусе Терапани — Мария Сергеевна Алонкина, в замужестве Терапани (1901 – около 1936), секретарь Дома Искусств, подруга И. И. Слонимской. См. также письмо 116.

«Тяжелые времена» — сборник рассказов Зощенко выходил в 1926 и 1927 гг.

Ольга Пояркова — брянский библиотекарь.

...обогнал пять евангелисток и трех евангелистов — евангельские христиане, одно из протестантских ответвлений, ориентиру-

ющееся прежде всего на «Новый Завет». В России евангелисты появились в 1870-х гг..

благочестивый интернационал... — начав строчкой «Интернационала» (см. примеч. к с. 55), евангелисты дальше его перелицовывают: вместо «бог» ставят «меч» и т. д.

Марья Ивановна — женщина, помогавшая по хозяйству в семье Слонимских.

...рассказ Федина про бочки... — рассказ «Бочки» (из цикла «Абхазские рассказы», 1924–1925) на самом деле был напечатан в «Новом Робинзоне» (1925. № 9); «Красная нива» опубликовала другой рассказ из того же цикла — «Суук-Су» (1926. № 31).

Юркун — Юрий Иванович Юркун, наст. имя и фам. Иосиф Юркунас (1895–1938), писатель, друг Кузмина, расстрелян.

Полонская — Елизавета Григорьевна Полонская, рожд. Мовшенсон (1890–1969), поэтесса, входила в группу «Серапионовы братья».

Тихонов — Николай Семенович Тихонов (1896–1979), поэт, член группы «Серапионовы братья»

Вс. Рождественский — Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977), поэт, близкий к акмеистам.

В. Андреев — Василий Михайлович Андреев (1889–1942), прозаик, умер в лагере.

Такой я был в марте 1916 г. — эта фотография неизвестна.

73

Гайк Адонц — Гайк Георгиевич Адонц, псевд. Петербургский (1892–1937), цензор, политредактор Ленинградского отделения Гиза (Государственного издательства), литератор, расстрелян.

Ионов — Илья Ионович Ионов, наст. фам. Бернштейн (1887–1942) поэт, был назначен зав. Ленинградским отделением Гиза, репрессирован.

Тихонов — Серебров. См. примеч. к письму 27.

В «Красной Нови» видел рецензию на рассказ А. Слонимского «Черныш» — «Красная новь» — первый советский толстый литературный журнал (1921–1942). Автором рассказа является Михаил Слонимский, а не его брат, тоже писатель, Александр Слонимский (1884–1964); рецензия Ник. Беленького на третью книгу альманаха «Ковш», в которой упоминается «Черныш», напечатана в февральском номере «Красной нови» за 1926 г.

74

«Круг» — см. примеч. к письму 27.

«А. К. Воронскому не понравилась...» — см. примеч. к письму 32.

75

Зайцев — неустановленное лицо.

Давид Копперфильд — герой одноименного романа (1849–1850) Ч. Диккенса (1812–1870).

Цукерманша — см. примеч. к письму 31.

«Душа моя скорбит смертельно» — слова Иисуса Христа в Гефсимании о своем мученическом земном пути (Матф., 26:38).

76

...буду и я Писать Роман... — первое упоминание о романе, возможно, уже о замысле «Города Эн».

Арсения Люпена — см. примеч. к письму 33.

...«Петера Фосса, похитителя миллионов»... — роман (1913, пер. 1924) немецкого писателя Эвальда Герхарда Зелигера (1877–1959). Второе заглавие — «Человек без имени»

девчонки — возможно, младшие сестры Добычина Ольга и Вера.

«Яшмовая трость» — сборник рассказов (1897, пер. 1925) французского писателя Анри де Ренье (1864–1936).

«Райуполтоп» — районный уполномоченный по заготовке топлива.

...бородой такого фасона, как у Гаршина на портрете — Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888), прозаик, художественный критик. Здесь, очевидно, имеется в виду его портрет работы Ильи Репина (1884).

«Сонины проказы» — книга графини де Сегюр, рожд. София Федоровна Ростопчина (1799–1874), написана и издана по-французски. Первый русский перевод 1864 г., под разными названиями: «Приключения Сонечки», «Проделки Софи» и др.

«Ле́ пуркуа» — «Le pourquoi» (*фр.*); возможно, речь идет о популярной книжке конца XIX в. «Любочкины Отчего и Оттого», которую составил Э. А. Гранстрем (1843–1918): вышедшая первым изданием в 1899 г., она несколько раз переиздавалась.

Никитин — Николай Николаевич Никитин (1895–1963), прозаик, член группы «Серапионовы братья».

«О. Генри» — псевдоним Уильяма Сидни Портера (1862–1910), американского автора остросюжетных новелл.

«Пант. Романову» — Пантелеймон Романов. См. примеч. к письму 31.

«Си́львестр Боннар» <...>. «Желаний Жана Сервьяна» <...>. «Красная лилия» — романы Анатоля Франса, наст. фам. Тибо (1844–1924) «Преступление Сильве́стра Боннара» (1881, пер. 1899), «Желания Жана Сервиана» (1872, пер. 1916), «Красная лилия» (1894, пер. 1901).

«Мистерии» — роман (1892, пер. 1910) норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859–1952).

«Новые чары» — роман Федора Сологуба, наст. фам. Тетерников (1863–1927), «Навьи чары» («Творимая легенда», 1907–1913)

«Море» — роман (1910, пер. 1923) немецкого писателя Бернгарда Келлермана (1879–1951).

«Мертвый Брюгге» — роман (1892, пер. 1904) бельгийского писателя Жоржа Роденбаха (1855–1898).

Банг — Герман Банг (1857–1912) датский писатель и критик.

Стриндберг — Юхан Август Стриндберг (1849–1915), шведский писатель.

Эверт — Эрих Эверт (1878–1934), немецкий писатель и литературовед.

Мережковский — Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866–1941), писатель, философ; в конце 1919 г. уехал из России.

Бунин — Иван Алексеевич Бунин (1870–1953), писатель; в 1920 г. эмигрировал, в 1933 г. получил Нобелевскую премию.

Андреев — Леонид Николаевич Андреев (1871–1919), писатель, с конца окт. 1917 г. жил в Финляндии.

Шерлок Холмс — сыщик-интеллектуал, герой всемирно известного цикла рассказов и повестей Артура Конан Дойла (1859–1930).

В. Резанов — имеется в виду писатель и философ Василий Васильевич Розанов (1856–1919).

М. К. — возможно, Михаил Карлович Клеман (1897–1942), литературовед, переводчик; составитель сб. «Литературные манифесты французских реалистов» (1935) и мн. др.

77

МББ — Московско-Белорусско-Балтийская ж. д.

«Нибелунги» — двухсерийный немецкий фильм (1924), режиссер Фриц Ланг.

«Рассказы» Федина — имеется в виду сб.: «Рассказы». М., 1926 (Б-ка «Огонек»).

«Илья Садофьев» — не от Семирамидиных ли это идет Садов — Илья Иванович Садофьев (1889–1965), пролетарский поэт. Сады Семирамиды — висячие сады, созданные легендарной основательницей Вавилона царицей Семирамидой, одно из семи чудес света.

...с широкой масленицей — масленая, или сырная неделя, последняя перед Великим постом, сопровождалась веселыми играми, хороводами, катанием на санях и т. п.

...до Красной Горки — первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье; считалось девичьим праздником; в этот день засы-

лали сватов, устраивали свадьбы. Название объясняется обычаем встречать в этот день на холме восход солнца.

...работы по Военизации Населения — государственная политика по вовлечению населения в строительство и укрепление Красной Армии путем создания оборонных общественных организаций (Доброхим, Осоавиахим и т. п.), системы военных уголков на предприятиях, допризывной подготовки и т. п.

Вышли ли афоризмы «Пальцем в грудь» Нельдихена? — Сергей Евгеньевич Нельдихен (1891–1942), поэт, участник третьего Цеха пэтов, в 1941 г. арестован, погиб в лагере. В разделе «Что нового у писателей» (Красная газета. Вечерний выпуск. 1925. 17 декабря) было помещено сообщение о его книге «Пальцем в грудь». Книга не вышла. Однако в его сб. «Он пришел и сказал» (М., 1930, появился в 1929) есть раздел «Пальцем в грудь».

78

...второй номер «Новой России»... — здесь напечатан рассказ Добычина «Сиделка».

«Черный пудель» Р. Хиченса — повесть английского писателя Роберта Хиченса (1864–1950), изданная «Всеобщей библиотекой» (1923. № 52); ранее в пер. выходила в 1917 и в 1918 гг.

«Тюрлюпен» — «Арсен Люпен». См. примеч. к письму 33.

79

...про Лёшку... — имеется в виду рассказ «Лешка» (в сб. «Портрет» переименован в «Матрос»).

Видела во сне... — окончание несохранившегося рассказа «Блинова и Воблина» (см. письма 22–24, 70).

80

«Доротти Вернон» — американский немой фильм, «костюмно-историческая мелодрама» с Мери Пикфорд, в СССР демонстрировалась в 1925–1929 гг., иногда под названием «Рифы жизни».

«Азеф» — пьеса А. Толстого и П. Щеголева (отд. изд. 1925), премьера спектакля состоялась в Ленинграде, в Большом драматическом театре 3 апреля 1926 г.

81

Записка на листочке. Возможно, относится к предыдущему письму.

...об Анне Николавне — речь идет, по-видимому, об А. Н. Капориной, сотруднице Издательства писателей в Ленинграде.

82

...на последнем месте — «Три рассказа» («Ерыгин», «Лидия». «Сорокина») Л. Добычина заключали альм. «Ковш» (М.; Л. 1926).

83

«Великое — вечное» — американская мелодрама «Великое вечное» (оригинальное название «Полевые лилии», 1924); на экранах СССР шла с 1925 по 1930 г.

...кланяться Семеновым... — речь идет о семье редактора журнала «Звезда» или о семье писателя С. А. Семенова.

84

«На посту» — литературно-художественный журнал (1923–1925); был закрыт, вместо него в 1926–1932 гг. выходил журнал «На литературном посту». Скорее всего, речь идет о последнем номере журнала (1925. № 1), в котором напечатан грубый фельетон В. Ермилова «Как это было бы» с эпиграфом, сообщавшим, что на международном конгрессе писателей русскую литературу предложено представительствовать «известным белогвардейцам, давно прекратившим литературную деятельность — Куприну и Бунину». А в самом фельетоне говорится: «Русские люди, живущие сейчас в большевистском аду, живут только в „России". Поэтому от этого славного журнала и пахнет так хорошо знакомым нам крепким запахом...» Напомним: журнал «Россия», с которым у Добычина именно в это время начали налаживаться отношения, в 1925 г. был закрыт. В 1926 г. в «Новой России» публикуется его рассказ «Сиделка».

Шлю Вам портрет Сейфуллиной — см. примеч. к рассказу «Лидия». К письму приложена вырезка из настенного календаря — черно-белый портрет Л. Сейфуллиной с подкрашенными карандашом щеками.

85

...рад, что Вам понравилось... — скорее всего, речь идет о рассказе «Лешка», отправленном 20 июня.

Можно ли под заглавием написать «Зайцеву»? — посвящения брянскому знакомцу писателя нет ни под каким из его напечатанных текстов.

...портрет Федора Гладкова... — Федор Васильевич Гладков (1883–1958), прозаик, автор вознесенного советскими критиками романа «Цемент» (1925).

...похоже на тов. Крупскую в детстве... — Надежда Константиновна Крупская (1869–1939), жена Ленина, занималась большевистской печатью, проблемами педагогики.

К «Похоронам»... — имеется в виду рассказ «Конопатчикова».

87

...про меня написано в «Печати» <...>, а что в «Новом Мире»... — см. примеч. к рассказу «Ерыгин». Упоминания имени Л. Добычина в «Новом мире» до 1927 г. нам неизвестны.

«Завоеватели» — возможно, имеется в виду роман итальянского писателя Паоло Альбатрелли, наст. имя и фамилия Франческо Перри (1885–1974), объявленный к изданию и вышедший в 1927 г.

88

А. Лежнев — см. примеч к письму 28.

Напечатает ли Лёшку добрая «Звезда»? — впервые рассказы и письма Л. Добычина появились в «Звезде» только в 1989 г. (№ 9).

Эльза Триоле — русско-французская писательница Эльза Триоле (1896–1970), сестра Лили Брик, во втором браке — жена Луи Арагона. Начала печататься в 1922 г.; в 1925 г. вышла ее книга «На Таити», главы из повести «Земляничка» (Красная новь. 1925. № 12; отд. изд. 1926) и др.

90

«Лавровы» — роман М. Л. Слонимского (закончен в 1925 г., опубликован: «Звезда. 1926. № 3, 4). Отд. изд. 1927.

92

«Мысль» должна была заплатить... — речь идет о гонораре за первую книжку Добычина «Встречи с Лиз», вышедшую в этом издательстве.

94

...помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле — строки из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей».

95

Сметанич — см. примеч. к письму 36.

«Издательство писателей» — правильнее: Издательство писателей в Ленинграде.

96

«Средний проспект», «Северный вокзал» — роман (1927, отд. изд. 1928) и рассказ М. Л. Слонимского.

98

...кончаете Фому и составляете рассказы про Париж... — имеются в виду роман М. Л. Слонимского «Фома Клешнев» (отд. изд. 1931) и ненаписанные рассказы о Париже.

101

...лягушка в воду прыгнет — эвфемизм, подменяющий более грубое речение.

...вышла Сметаничева книжка, а о ней нигде ни разу не упомянули — речь идет о книге Л. Добычина «Встречи с Лиз», вышедшей в издательстве «Мысль», где работал В. О. Стенич (Сметанич) и уже отрецензированной Н. Степановым (Звезда. 1927. № 11).

...про Альтшулера расспрашиваю — т. е. про Лежнева. См. примеч. к письму 28.

102

...напишу к осени первую часть... — имеется в виду роман «Город Эн».

...в этом романе — щиплют корпию — единственная деталь романа, упомянутая в письмах. См. примеч. к с. 135.

103

«Средний проспект» — см. примеч. к письму 96.

...буду смотреть «По Европе» — сведений об этом, по-видимому, документальном, фильме не имеется.

105

...пришлю Вам свое «начало» — имеются в виду первые 10 главок романа «Город Эн».

В 10 номере Поста... — имеется в виду «журнал марксистской критики» «На литературном посту», сменивший в 1926 г. закрытый в 1925 г. журнал «На посту».

106

«Средний проспект» — см. примеч. к письму 96.

...я насладился «Западниками» — о каком произведении идет речь, установить не удалось.

Если Федин в самом деле сказал... — в одну из зарубежных поездок К. Федин, говоря о современной советской литературе, хорошо отозвался и о Добычине. Об этом Добычину написал Слонимский.

107

Приходит Зощенко... — на конверте запись И. И. Слонимской: «Они с Зощенкой не нашли контакта при встрече у нас. Д. весь набычился и подавал какие-то...<многоточие в оригинале> реплики, З. старался завязать разговор — ничего не вышло. И. С. <19>73».

«Не могу молчать» — статья Льва Толстого против смертной казни (1908).

108

...Вы были секретарем у Гржебина... — Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1929), художник-график, с 1905 г. участвовал в крупных издательских проектах, в 1919 г. основал в Петрограде изд-во своего имени с филиалами в Москве и Берлине, привлек к сотрудничеству М. Горького, А. Бенуа, А. Блока, Е. Замятина, К. Чуковского и др. Изд-во просуществовало до 1923 г., после чего Гржебин остался в эмиграции.

«Литературные салоны» — книга «Литературные салоны и кружки первой половины XIX в.» вышла в 1930 г. под ред. и со вступ. статьей Н. Л. Бродского. М. Слонимский отношения к ней не имел.

«1793 год» — роман (1874) Виктора Гюго (1802–1885) вышел в сокращенном переводе М. Слонимского в 1923 г.

109

...в интервью тов. Федина дан ль етранже — аллюзия на сатиру И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже» (1840–1844). См. также примеч. к письму 106.

112

...Заболоцкий и Олеша — Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958), поэт, и Юрий Карлович Олеша (1899–1960), прозаик.

Бабель — Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940), прозаик, расстрелян.

...вроде Петера Альтенберга... — Петер Альтенберг, наст. имя и фам. Рихард Энглендер (1859–1919), австрийский прозаик, мастер импрессионистических миниатюр.

113

Институт истории искусств — бывший Зубовский институт, впоследствии Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, ныне — Российский институт истории искусств.

114

«Г. Л. Рысюкову» — неустановленное лицо. Посвящений ему ни в одном из текстов Л. Добычина не найдено.

...про Каверина — см. примеч. к письму 70.

«ИПП» — по-видимому, Л. Добычин неправильно прочел аббревиатуру «ИПЛ», т. е. «Издательство писателей в Ленинграде».

116

Зоя Александровна — З. А. Никитина (1902–1973), работник Издательства писателей в Ленинграде, жена Н. Н. Никитина, впоследствии — М. Э. Козакова. См. письма к ней: 157–159.

Муся Алонкина — см. примеч. к письму 71.

117

«Желания Жана Сервьяна» — см. примеч. к письму 76.

118

Тынянов сочинил название «Пожалуйста»... — рассказ вошел в книгу, озаглавленную «Портрет».

Олянский — Самуил Миронович Алянский (1891–1974), издатель, в 1929–1932 гг. стоял во главе Издательства писателей в Ленинграде.

«Мангеттен» — «Manhattan transfer» (1925), роман американского писателя Джона Дос Пассоса (1896–1970). Русск. пер.: Манхэттен. Л., 1927 и 1930.

Похвалил при них Тагерию — Елена Михайловна Тагер (1895–1964), писательница, в 1938 г. была арестована, провела в лагерях и тюрьмах восемнадцать лет. См. письмо 121.

Тынянова — Лидия Николаевна Тынянова (1902–1984), прозаик, детский писатель; сестра Ю. Н. Тынянова, жена В. А. Каверина.

119

...как у Тагерши... — имеется в виду книга рассказов Е. М. Тагер «Зимний берег» (Л., 1929).

Варковицкая (Л. Николаевна) — по-видимому, Лидия Моисеевна Варковицкая (1892–1975), детская писательница, сценарист, редактор Ленинградского отделения Госиздата.

120

РКИ — Рабоче-Крестьянская Инспекция (первоначально — РаКрин, Рабкрин), система контрольных органов, созданная по решению пленума ЦК партии в январе 1920 г.

...не знает Линии — не знает «генеральной линии партии».

...под вознесенье... — праздник Вознесения Господня отмечается на сороковой день после Пасхи.

...как кончается евангелие Иоанна... — «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь» (Иоанн, 21, 25).

121

Коля — Николай Чуковский. См. примеч. к письму 25.

Шварц — Евгений Шварц. См. примеч. к письму 21.

Тагерия — Елена Тагер. См. примеч. к письму 118.

Эрлих — Вольф Иосифович Эрлих (1902–1937), поэт из группы имажинистов, друг Есенина, расстрелян.

С Веней Кавериным я галантен... — см. примеч к письму 70 и письма 112, 114, 117, 127.

123

...персонажиха в «Сельской Идиллии» — о каком произведении идет речь, трудно сказать.

«К кому вы хорошо относитесь?» — см. письма 121, 122.

«Шумные соседи» — американская комедия (1929), в СССР — с того же года.

«Навстречу Гибели» — «Навстречу гибели: Повесть о плаваньи и смерти капитана Ля-Перуза» Николая Чуковского (М.; Л., 1929 и 1930).

...посчастливилось насчет конфет (...с изображением коровы) — в условиях дефицита выкупить на карточки то, что хочется, в том числе особенно ценимые сливочные тянучки «Коровка», считалось большой удачей.

...смотрят «Дину Дзадзу» — фильм режиссера Ю. Желябужского «Дина Дза-Дзу» (1926).

...допустили на 16 съезд — XVI съезд партии проходил с 26 июня по 13 июля 1930 г.

124

...соваться внутрь Гостиного... — внутри Гостиного двора помещалось Издательство писателей в Ленинграде, в 1934 г., объединенное с Московским товариществом писателей под маркой «Советский писатель».

...не РАБОТЫ ЗАРЗАР — речь идет о художнице Ирине Васильевне Варзар (1904–1995).

Цукерманше нагорело за неизъятие резолюций 16-ой партконференции... — на 16-й партконференции (23–29 апреля 1929 г.) был

принят «оптимальный вариант» плана Первой пятилетки, обсужден вопрос «о путях подъема сельского хозяйства и налоговом облегчении середняка», о проведении чистки в партии и др. Однако решения этой конференции были перечеркнуты начавшейся коллективизацией.

125

Сý лé Жемó ý ль Амфóр — Sous les Gémeaux ou l'Amphore (Созвездие Близнецов или Амфоры, *фр.)*. Созвездие Амфоры — древнее название Созвездия Водолея.

Доктор Водонос — Созвездие Амфоры называли также Созвездием Водоноса.

126

«Элисо» — фильм режиссера Н. Шенгелая (Госкинопром Грузии, 1928).

«Коллежский регистратор», «Торговцы славой» и «Последний бек» — фильмы: режиссера Ю. Желябужского по повести Пушкина «Станционный смотритель» (Межрабпом-Русь, 1925); режиссера Л. Оболенского — экранизация пьесы французских драматургов М. Паньоля и П. Нивуа «Продавцы славы» (Межрабпом-фильм, 1929); режиссера Ч. Сабинского (Узбекгоскино, 1930).

Моя сестра вчера была на чистке — см. примеч. к с. 106.

«Хоз. Затр.» — хозяйственные затруднения: понятие официальной пропаганды, используемое на протяжении многих лет; так, еще в 1926 г. в «Красной нови» (№ 5), которую постоянно читал Добычин, были помещены статьи Э. Квиринга «Хозяйственные затруднения» и В. Смирнова «К вопросу о наших хозяйственных затруднениях».

Катерина Ивановна — жена Е. Л. Шварца.

127

«Ленинграда» я не видел... — см. примеч. к рассказу «Лекпом».

Чумандринская записка — Михаил Федорович Чумандрин (1905–1940), один из руководителей ЛАППа (Ленинградской ассоциации пролетарских писателей), редактор журнала «Ленинград» (1930–1931).

Фома — «Фома Клешнев». См. примеч. к письму 98.

...кто этот прекрасный юморист... — речь идет о М. М. Зощенко. См. примеч. к письму 107.

«Крупная неприятность» — комедия в 6 частях режиссеров М. С. Каростина и А. Д. Попова (Союзкино, 1930).

...подозрение, что сценарий сочинен Колей Никитиным — как сценарист «Крупной неприятности» значится А. Д. Попов. См. примеч. к письму 76.

МЕЛЬКАЕТ ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ НА ЗЕЛЕНИ ДЕРЕВ — первая строка стихотворения «Приметы осени» (1855) поэта Николая Порфирьевича Грекова (1810–1866); стихотворение это входило во многие дореволюционные хрестоматии.

128

...какое впечатление произвело Примечание — см. примеч. к рассказу «Лекпом».

В «Стройке» было лучше — см. примеч. к рассказу «Портрет».

129

рассказец «Матерьял» — в сборник «Портрет» этот рассказ не вошел, но дал название следующему, неопубликованному, сборнику.

130

В письме рисунок обложки: сверху слово «Пушкин», ниже — «Письма».

...поговорить с Алянским — см. примеч. к письму118.

131

...тираж <...> «не менее 4000» — тираж сборника «Портрет» 2000 экз.

...рассказ про детский сад... — по-видимому, рассказ «Чай», впервые опубликованный в журнале «Звезда» (1989, № 9).

...боевик про Саламбо́... — французский фильм (1925) по роману Г. Флобера; в СССР демонстрировался с 1929 г.

...дочь Гамилькара — карфагенский полководец Гамилькар (ум. в 229 г. до н. э.), отец Ганнибала.

132

Я пробую написать Вам... — между 14 сентября 1930 и 6 ноября 1932 г. в переписке Добычина со Слонимским наступила пауза. Судя по всему, она объясняется обидой Добычина на адресата, который не всегда аккуратно отвечал на его письма.

133

...позаботиться об этом маленьком рассказе — по-видимому, о рассказе «Чай». См. письмо 137.

135

Я прочитал <...> Фому — см. примеч. к письму 98.

136

...при наличии Грудного Сына — сын Сергей, ныне известный композитор, родился 12 августа 1932 г.

«ЛОКАФ» — Литературное Объединение Красной Армии и Флота, основано в августе 1930 г., издавало журналы «ЛОКАФ» в Москве (с 1933 г. — «Знамя») и «Залп» (1931–1934) в Ленинграде.

137

Вот два рассказа... — имеются в виду «Матерьял» и «Чай». См. примеч. к письмам 129 и 131. Сборник рассказов «Матерьял» полностью публикуется в настоящем издании.

139

Не откажите прочесть эту Первую Часть... — речь идет о первых десяти главках романа «Город Эн».

141

Если не удастся в «Современнике»... — Слонимский передал рукопись в редакцию «Литературного современника», но она опубликована не была. Предлагал он эти 10 главок и в альманах Горького, также безуспешно. В более расширенном виде (13 главок) начало романа «Город Эн» было напечатано в «Красной нови». См. примеч. к роману.

142

...письмо М. Э. Коханову... — Добычин неверно прочитал фамилию, речь идет о писателе Михаиле Эммануиловиче Козакове (1897–1954).

143

«Евгений Левинэ» — «Повесть о Левинэ» (1935). Евгений Левинэ (1883–1919) — немецкий коммунист, руководитель Баварской советской республики (1919).

144

...отвели комнату Косова — неустановленное лицо.

...на углу проспектов 25 октября и Володарского — в 1944 г. были восстановлены старые названия: Невский и Литейный. Добычин получил другую комнату (Мойка, 62, кв. 8).

Маргулис — возможно, Александр Иосифович Моргулис (1898–1938), ленинградский писатель, расстрелян.

145

...«надоев уже нам»... — предложенное исправление было внесено в текст «Города Эн» (главка 17).

Леди А́стор дает отпор антисоветским выпадам герцогини Э́толл. — Нэнси Астор (1879–1964) — первая женщина член английского парламента (1919–1945). Герцогиня Катарина Этолл (1874–1960) — английская общественно-политическая деятельница, автор нескольких книг, член парламента (1923–1931).

146

Коля Степанов — Николай Леонидович Степанов (1902–1972), автор рецензий на сборник «Встречи с Лиз» (Звезда. 1927. № 11) и «Город Эн» (Литературный современник. 1936. № 2), впоследствии известный литературовед.

Лозинский — Залман Борисович Лозинский (1898–1936) — до 1936 г. ответственный редактор журнала «Литературный современник», директор Ленинградского института литературы и искусства Комакадемии, расстрелян.

...какого-нибудь Левы Левина — Лев Ильич Левин (1911–1998), критик, опубликовавший об Л. Добычине в 1931 г. статью «Автопортрет врага» (см. предисловие, с. 11).

...как выразился в 1861 году митрополит Филарет... — Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783–1867), митрополит Московский, автор Манифеста от 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян. Добычин почти дословно приводит заключительную фразу манифеста: «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».

Л. Н. РАХМАНОВУ (1934–1935)

147

Я прочел «Базиля» — повесть Л. Н. Рахманова «Базиль» (1933).

...попробовал «Племенного»... — роман Л. Н. Рахманова «Племенной бог» (1931).

148

...с Зоей Александровной или Анной Николаевной... — имеются в виду З. А. Никитина (см. примеч. к письму 116) и А. Н. Капорина (см. примеч. к письму 81).

Селина в том числе... — Луи-Фердинанд Селин (1894–1961), французский писатель, автор книги «Путешествие на край ночи» (1932, пер. 1934), очень популярной в те годы.

Как Тимирязев? — в это время Л. Н. Рахманов работал над сценарием фильма «Депутат Балтики» (1936, совместно с Д. Дэлем).

Укатил ли Гор... — см. вступительную заметку к разделу писем.

149

Шурка написал мне... — Речь идет об Александре Павловиче Дроздове, соседе Добычина по коммунальной квартире, с которым он настолько подружился, что посвятил ему роман «Город Эн», а под рассказом «Дикие» поставил две фамилии — свою и Дроздова. См. вступительные заметки к рассказу «Дикие» и к «Городу Эн».

Татьяна Леонтьевна — жена Л. Н. Рахманова.

150

...чтоб ему был плач и скрежет зубов! — переиначенная цитата из Евангелия (Матф. 22:13: «...там будет плач и скрежет зубов...»).

М. М. ШКАПСКОЙ

151

Впервые — в нашей статье «Судьба писателя Л. Добычина» (Звезда. 1989. № 9. С. 179).

Печ. по автографу, хранящемуся в РГАЛИ (Ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 300, л. 20).

Мария Михайловна Шкапская (1891–1952) — поэтесса, очеркистка, детский писатель. По-видимому, была особенно дружна с Добычиным. Свидетельство тому не только его письмо, но и письмо, написанное ей (в Москву) поэтессой Елизаветой Полонской в разгар собрания о формализме в марте-апреле 1936 г.

ПИСЬМА И ЗАПИСКИ ДЕЛОВОГО ХАРАКТЕРА. НАДПИСИ НА КНИГАХ

П. И. ИВАНОВУ

152

Впервые — в статье А. Ф. Белоусова «Студенческое дело Л. Добычина» // Добычинский сборник – 4. Даугавпилс. 2004. С. 18.

Петр Иванович Иванов — один из помощников профессора-заведующего студентами.

...хочу поступить в Ташкентское военное училище... — ни в какое военное училище Л. Добычин так и не поступил.

Скобелев — с 1924 года Фергана, город в Узбекистане.

М. А. КУЗМИНУ

153

Впервые — в статье «Судьба писателя Л. Добычина» (Звезда. 1989. № 9. С. 179). Печ. по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ (Ф. 232, оп. 1, ед. хр. 182).

Михаил Алексеевич Кузмин — см. примеч. к письмам 57 и 64. Судя по всему, Кузмин не ответил Добычину, однако полученную рукопись сохранил.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ СОВРЕМЕННИК»

154

Печ. по автографу, хранящемуся в семье Н. К. Чуковского.

В. В. БОГДАНОВСКОЙ

155–156

Письма приведены А. Петровой в примечаниях к публикации «Вы мой единственный читатель...» (НЛО. 1993. № 4).

Вера Владимировна Богдановская — см. примеч. к письму 11.

З. А. НИКИТИНОЙ

157–159

РГАЛИ (Ф. 2533, оп. 1, д. 172). Печ. впервые.

Зоя Александровна Никитина (1902–1973) — см. примеч. к письму 116.

159

«авторские экземпляры» — имеется в виду второй сборник Л. Добычина «Портрет».

А. Л. ГРИГОРЬЕВУ

160

Алексей Львович Григорьев (1904–1990) — литературовед, впоследствии профессор, зав. кафедрой в Государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена.

НАДПИСИ

161

Печ. по автографу, хранящемуся в семье М. С. Слонимского. Надпись сделана не на книге, а на отдельном листочке.

162–163

Печ. по автографу, хранящемуся в семье Н. К. Чуковского.

163

...и чтоб не терять — экземпляр, подаренный Н. К. Чуковскому, затерялся (впоследствии нашелся). Тогда Добычин подарил Марине Николаевне, его жене, другой.

СБОРНИК «ВЕЧЕРА И СТАРУХИ»

Самая ранняя из известных рукописей Добычина, оформленная как книга. Создавалась в течение 1923 и в начале 1924 г. В мае этого же года была отослана на отзыв М. Кузмину (см. письмо 153). Находится в его фонде в РГАЛИ. Обнаружена нами в 1987 г. Рукопись насчитывает 76 страниц. Автор, как и в дальнейшем, всячески стремится «разогнать» ее с помощью дробного членения. Состоит из двух разделов: «Вечера» и «Старухи». Название каждого раздела обозначено на отдельном листе. Рассказ «Письмо», единственный из этой рукописи, опубликован под названием «Козлова» при жизни автора (см. с. 49–53 наст. изд.). Отдельные фразы и ситуации из ранних произведений Добычин перенес в создававшиеся позднее.

Печ. по беловому автографу (Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 477).

ВЕЧЕРА

ТИМОФЕЕВ. Впервые: Расколдованный круг. С. 498–499. Имеет много общего с рассказом «Тетка», позднее сокращенным и опубликованным под названием «Прощание» в сб. «Портрет».

С. 329. *Фильянка. <...> Фильянская железная дорога.* — см. примеч. к с. 48.

КУКУЕВА. Впервые: Расколдованный круг. С. 499–501.

СТАРУХИ

НИНОН. Впервые (без сохранения авторской разбивки на абзацы): Звезда. 1989. № 9. С. 187–188.

С. 334. *...нас вели прикладываться...* — поклониться и поцеловать чудотворную икону или мощи.

ЕВДОКИЯ. Печ. впервые. В переработанном виде и с новым названием («Старухи в местечке») Добычин подарил этот рассказ В. А. Каверину (см. раздел «Другие редакции»).

С. 337. *Акцизный* — чиновник акцизного ведомства. См. примеч. к с. 176.

С. 342. *Деяния* — «Деяния святых апостолов», часть «Нового завета», в которой говорится о трудах апостолов после кончины и вознесения Иисуса Христа.

Ветер бурный, называемый эвроклидон — штормовой восточный ветер в восточной части Средиземного моря; — упоминается в «Деяниях святых апостолов» (27: 4).

С. 343. *Пфеферкухен* — см. примеч. к с. 157.

С. 344. *«Круг чтения»* — сборник назидательных рассказов на каждый день, подготовленный Л. Толстым (М., Посредник, 1906).

С. 346. *Троицын день* — день Святой Троицы, пятидесятница, отмечается на пятидесятый день после Пасхи, один из двенадцати главных христианских (двунадесятых) праздников.

...Ирод закусывал с гостями <...> перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса, нарисованная Цыперовичем над трактирной дверью — см. примеч. к с. 158. Этот эпизод перенесен в «Город Эн» с еще более резкими, эпатирующими деталями. См. начало гл. 25.

С. 347. *Просфора* — просвира, просвирка — белые круглые хлебцы из крутого теста, используемые при причастии.

Хоругвь — церковное знамя, стяг, носимый во время крестного хода.

Как будто капельки святых даров... — в качестве святых даров, символизирующих кровь и тело Христово, употребляется разбавленное вино и хлеб (просфора).

С. 349. *Иванов день* — см. примеч. к с. 140.

...на фисгармонии канты играла... — фисгармония, клавишный музыкальный инструмент, изобретенный в 1813 г. Гекелем, по форме напоминает пианино; канты — песни.

С. 350. *...война объявлена!* — объявление 19 июля (1 августа) 1914 г. Германией войны России.

С. 351. *«Боже, царя храни»...* — см. примеч. к с. 58.

ПИСЬМО. С незначительными изменениями и под другим заглавием рассказ был опубликован в журнале «Ленинград» (1925. № 9). См. вступ. заметку и примеч. к рассказу «Козлова».

СБОРНИК «МАТЕРЬЯЛ»

Весной 1933 г. Добычин послал М. Л. Слонимскому рукописи ненапечатанных рассказов — «Матерьял» и «Чай», а также машинопись сборника «Матерьял». Как следует из сопроводительного письма (см. письмо 137), Слонимский ранее сообщил Добычину о невозможности опубликовать книгу. Однако Добычин все-таки захотел передать ему сборник — на сохранение.

Добычин отредактировал тексты с точки зрения их проходимости в печать и улучшения слога. Но редактура эта незначительна. См. комментарии к соответствующим рассказам основного корпуса.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

СТАРУХИ В МЕСТЕЧКЕ. Впервые (без сохранения авторской разбивки на абзацы): Лит. обозрение. 1988. № 3. С. 100–102. См. введение и примеч. к рассказу «Евдокия». Печ. по журнальной публикации.

С. 426. *Бредешь по ротам и видишь синий купол с звездами* — Ротами (от 1-й до 13-й) назывались улицы в Петербурге, расположенные в районе казарм гвардейского Измайловского полка и пересекающие Измайловский проспект; в 1923 г. переименованы в Красноармейские; речь идет о Троицком соборе, построенном в 1827–1835 гг. по проекту архитектора В. Стасова.

...в ротондах — см. примеч. к с. 123.

ЕРЫГИН. Печ. впервые по автографу. Смягченный вариант одноименного рассказа, посланный Слонимскому на случай, если текст первого варианта покажется Добрым Начальникам слишком смелым. Эпитет «мордастый» (применительно к некоему начальнику товарищу Генералову) заменен на «довольный», снято ироническое упоминание РКП (б) и т. п. Однако удалось напечатать первоначальный текст. См. примеч. к «Ерыгину» в основном корпусе.

ОТЕЦ. Печ. впервые по автографу. См. вводную заметку к рассказу «Отец» в основном корпусе. Рукопись на пяти четвертинках машинописного листа заканчивается фразой: «Огоньки зажглись у станции и переливались». Возможно, поначалу рассказ так и завершался. Внутренняя цельность в этом тексте тоже есть. Печатный вариант, ничего не добавляя по существу (главное: «Но зато я не плохой отец»), расширяет видимый мир, добавляет новые штрихи к психологическому портрету отца. В пределах имеющихся страниц восстановлено авторское членение на смысловые куски и несколько ударений.

ТЕТКА. Впервые: Расколдованный круг. С. 562–567. Печ. по беловому автографу (ИРЛИ. Ф. Р. 1. Оп. 6. Ед. хр. 129). В политически смягченном варианте под названием «Прощание» рассказ опубликован в сборнике «Портрет». См. его в основном корпусе и примеч. к нему, а также предисловие.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ПРОИЗВЕДЕНИЙ, УПОМИНАЕМЫХ В ПИСЬМАХ

(*цифра означает номер письма*)

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Добычин
Полное собрание сочинений и писем

Редакторы *А. К. Славинская*, *А. Ю. Арьев*

Корректор *Н. В. Виноградова*
Верстка *В. М. Бердник*
Менеджер издания *В. В. Рогушина*

Подписано к печати 15.03.2013. Формат 60×90 1/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Усл. псч. л. 34. Уч. изд. л. 32,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 135.

Санкт-Петербургская общественная организация
«Союз писателей Санкт-Петербурга»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр. д. 7-9.
Отдел реализации **(812) 273-37-24**

Отпечатано с оригинал-макета в «ИПК „Бионт“».
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 86.




журнал звезда